АНТАНАС ВЕНЦЛОВА

БУРЯ В ПОЛДЕНЬ





АНТАНАС ВЕНЦЛОВА

БУРЯ В ПОЛДЕНЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

ПЕРЕВОД С ЛИТОВСКОГО В. ЧЕПАЙТИСА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1978

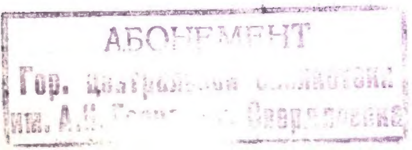
С(Лит)2
В 29

Антанас Венцлова (1906—1971), лауреат Государственной премии СССР, с первых дней установления советской власти в Литве принимал активное участие в общественной и культурной жизни республики, работал над составлением проекта конституции республики, занимался созданием нового репертуара театров.

Обо всем этом и повествуется в документальной повести, где проходит целая галерея портретов выдающихся писателей, художников, артистов, педагогов, государственных деятелей Литвы.

А. Венцлова — участник Великой Отечественной войны — рассказывает также о боевых делах Литовской дивизии и об освобождении Литвы от фашистской оккупации.

В $\frac{70303-001}{083(02)-78}$ 277—78



Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

«По ком звонит колокол»

Эта книга — продолжение «Весенней реки» (1964, русское издание — 1967) и «В поисках молодости» (1966, 1969) — повествует о восстановлении советской власти в Литве, Великой Отечественной войне и первых послевоенных годах. Это время изобиловало эпохальными событиями, влиявшими не только на судьбы отдельных людей, но и на судьбы Литвы, Европы и всего мира. В эти годы люди в нашей стране узнали немало горя, испытали наивысший духовный подъем. Я оказался одним из миллионов затянутых в этот великий водоворот. Совершенно понятно, что мне под силу передать лишь то, что я сам видел, слышал и пережил за эти годы. Я долго раздумывал, стоит ли мне вообще браться за перо и описывать это время. Все-таки пришел к выводу, что людям моего поколения мой личный опыт напомнит о их собственных переживаниях и испытаниях, а нашим детям мой рассказ приоткроет известный лишь понаслышке тернистый путь нашего народа к свободе, войну, обрушившуюся на нас, и первые послевоенные годы. Быть может, он научит еще сильнее дорожить тем, что завоевано с таким трудом, ценой таких испытаний.

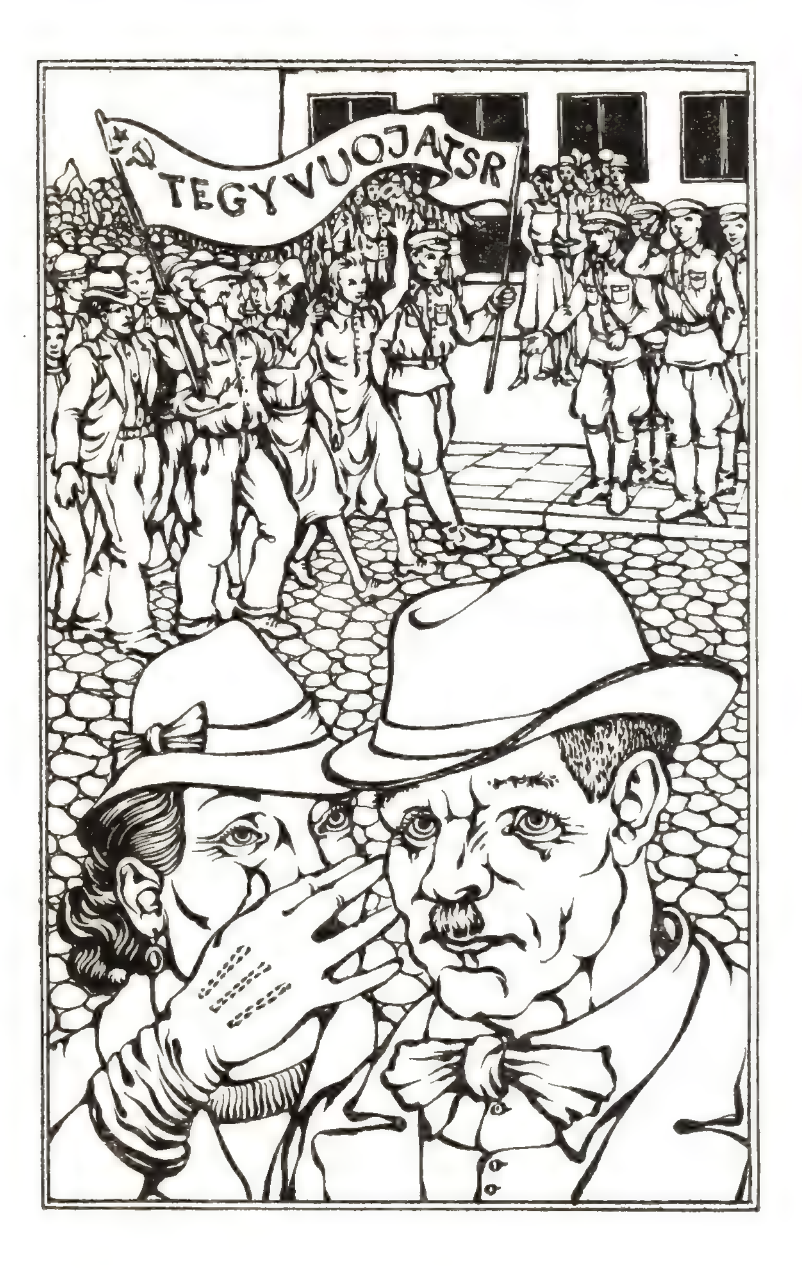
Читатель не должен забывать о том, что эта книга — не история недавней эпохи. В ней я избегал говорить даже о самых значительных событиях, если сам в них непосредственно не участвовал. В мои намерения не входило дать систематическую картину времени, — такое полотно может быть создано лишь совместными усилиями многих очевидцев.

Как и в предыдущих книгах, автор здесь также пользуется сведениями периодической печати тех лет, своими записями и дневниками. Он снова встречается с людьми, о которых говорил, дает портреты своих новых друзей. Эти портреты, без сомнения, несколько субъективны, как и все повествование в этой и предыдущих книгах.

Автор



ПОРА НАДЕЖД И СВЕРШЕНИЙ


TEGY VUOJATSR

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мы вернулись из Москвы домой. Закончилась сессия Верховного Совета СССР. В вечерних сумерках в Вильнюсе, у железнодорожного вокзала, в свете прожекторов колыхалась тысячная толпа, развевались алые стяги, выступали вернувшиеся из Москвы и встречающие. То же ждало нас и в Каунасе. Казалось, что волна народного ликования, поднявшаяся после падения фашистского строя, все еще не утихомирилась. Она продолжает бушевать на площадях городов, она дышит, сверкает тысячами глаз, верит в новую жизнь тысячами сердец. . .

Литовская Советская Социалистическая Республика добровольно вступила в семью народов Советского Союза. Эта будничная фраза, которая в те дни звучала в сотнях газетных статей и в устах тысяч ораторов, казалась невиданной, удивительной. Для одних она слышалась словно воплощение мечты и победы, а для других — гремела похоронным звоном.

Что будет дальше? Как будет развиваться экономическая, культурная жизнь, наконец, личная жизнь каждого гражданина? Что даст новый строй рабочим, крестьянам, интеллигенции? Вот вопросы, которые возникали у каждого гражданина республики, что бы он ни делал, чем бы ни жил, во что бы ни верил, чего бы ни боялся.

Будущее всегда загадочно для человека. Было бы неправильным утверждать, что в те дни перспектива будущего казалась ясной каждому прогрессивному интеллигенту. Он ведь только в самых общих чертах, чаще всего

по печати и фильмам, знал будни жизни в Советском Союзе. Как будут реализованы идеи Ленина в литовской действительности, какие достижения свершатся в ближайшее время и с какими трудностями придется столкнуться, — все это виделось как в тумане.

Советская Литва родилась как результат длительной борьбы трудящихся под руководством Коммунистической партии. И теперь новый строй поддерживали сознательные рабочие, трудовое крестьянство, часть интеллигенции — писателей, учителей, профессоров, актеров, музыкантов, художников. Непримиримыми врагами нового строя были все те, кому он нес гибель, — банкиры, помещики, крупные спекулянты, значительная часть чиновничества и духовенства. Часть крестьян-середняков радовалась тому, что избежала кабалы крупных землевладельцев, но с недоверием ждала новых реформ — коллективизации, которая, как все чувствовали, неизбежно придет в Литву.

Значительные группы честных людей колебались: на одних повлияла длительная антикоммунистическая пропаганда, другие боялись, что экономическое и политическое переустройство будет слишком резким, третьим казалось, что принцип интернационализма и развитие национальной культуры — вещи несовместимые. Молодая Советская Литва была очень пестрой по социальному составу, интересам, стремлениям. В ней кипела сложная, подчас трудно различимая борьба классов, идеологий, социальных и культурных устремлений.

Я снова в Каунасе, в том городе, где прожил пятнадцать лет, где я учился, работал, писал, мечтал. Поздно вечером вернувшись на новую квартиру на улице Донелайтиса, я почувствовал себя бесконечно усталым после событий последних дней. Лечь и спать — день, два, три — вот чего мне больше всего хотелось. Но уже назавтра в Спортгале откроется съезд литовских учителей. В нем будет участвовать подавляющая часть наших просветителей. Мне придется с глазу на глаз встретиться с ними — ведь мне поручили, опираясь на тысячи этих людей, в корне менять политику просвещения, всю систему образования и воспитания и, что еще важнее, менять ее дух.

Систему просвещения в Советском Союзе я теоретически знал лишь в общих чертах. Находясь в Москве, я попросил, чтоб меня принял нарком просвещения РСФСР,

бывший дипломат, академик Владимир Потемкин. Я побывал у него вместе с другими руководителями системы просвещения Прибалтийских республик, находившимися тогда в Москве. Мы довольно долго выясняли некоторые вопросы, но всего этого было мало. Нельзя слепо копировать чужой опыт — надо было использовать его применительно к национальным особенностям.

В свое время буржуазия тщательно готовила просветительные кадры. Власти, и в первую очередь органы охраны порядка, внимательно следили, чтобы прогрессивные люди, особенно коммунисты, не проникли в среду учителей.

Но никакими силами нельзя было подавить революционное самосознание, нельзя было и отнять у учителей любовь к своему народу и ненависть к режиму. Тесно соприкасаясь с народом, лучшие наши учителя радостно встретили провозглашение советской власти. Многих из таких учителей я сам хорошо знал.

Разумеется, были и другие — фанатически преданные прежним порядкам, готовые, как говорится, сложить за них голову. Некоторые находились под большим влиянием духовенства и еще вчера шпионили за учениками, насильно гнали их в костел... Буржуазия вербовала из учителей кадры для союза шаулисов [1], организации, прививавшей национализм и шовинизм. Правда, усилия таутининков [2] были не особенно успешными: к ним примыкали в основном откровенные карьеристы или просто напуганные люди.

Школ было мало, в старой Литве далеко не все дети кончали даже начальную школу. Было много взрослых людей, которых буржуазия оставила безграмотными. Возникла очень актуальная проблема не только начального и среднего, но и высшего, а также специального образования — детям рабочих и крестьян предстоит изучить разнообразные профессии и начать руководить заводами, сельским хозяйством, наукой, искусством, наконец, всей культурой. Так что задачи очень большие, требуют особого напряжения сил, и самим учителям придется пере-

---

[1] Шаулисы (стрелки) — полуфашистская военизированная организация.

[2] Таутининкай — националистическая партия фашистского толка, в 1926—1940 годах правившая в Литве.

ориентироваться, переменить свои взгляды, понять требования времени.

На съезд учителей, или, как его тогда многие называли, конгресс, прибыло примерно десять тысяч человек, — иначе говоря, почти все (тогда в школах всего работало 10 474 учителя). Такого съезда педагогов Литва еще никогда не видела.

«Народный учитель начинает новую жизнь... Но новое время накладывает на учителя новые обязанности. Учитель не может остаться и не останется в стороне от этого похода к новой жизни, который начал весь край, — писала газета «Тиеса». — Многим показалось странным, что все учителя собрались вместе и нашли общий язык. Ведь до свержения фашизма только члены союза учителей-таутининков могли собираться, а с другими учителями власти так и не находили общего языка».

Основные доклады на съезде сделали Юозас Жюгжда *[1] и Винцас Жилёнис *. Огромный зал Спортгале был набит битком. Учителей приветствовал Мечис Гедвилас * — сам бывший учитель, Винцас Креве *, Мотеюс Шумаускас * и другие. Выступали Юстас Палецкис *, Пиюс Гловацкас *, Пятрас Цвирка *, много рядовых педагогов, в том числе мой первый учитель Казис Климавичюс *. Пришлось выступить и мне.

Я кончил писать свое выступление уже на рассвете. Так и не выспавшись после напряжения последних дней, отправился на съезд. Я знал, что многие сомневаются в судьбе национальной культуры в новых условиях и что этими сомнениями пытается воспользоваться реакция. Поэтому в своем выступлении я подчеркнул именно этот момент.

«При воспитании молодежи в социалистическом духе никоим образом нельзя забывать о национальном моменте, — говорил я, — все, что есть хорошего у нашего народа, — его искусство, национальные танцы, ткани, костюмы, наш удивительно богатый и прекрасный фольклор, лучшая часть нашей литературы — все это следует развивать, беречь, укреплять. В великую симфонию народов Советского Союза мы должны влить свою мелодию, которая звучит в нас со времен наших отцов и дедов, не пере-

---

[1] Фамилии, отмеченные в тексте звездочкой, объяснены в примечаниях.

стававших мечтать о свободе и сражаться за нее даже в годы жесточайшего гнета».

Общественность Литвы с большим вниманием следила за работой съезда. Прогрессивные учителя искренне высказались за новую жизнь.

Враги нового строя не посмели публично выразить своих мыслей. Но под конец съезда они все же напомнили о своем существовании, — поднявшись, запели гимн буржуазной Литвы. Мы, конечно, не имели ничего против демократических идей, которые когда-то выразил Винцас Кудирка * в «Национальной песне». Но гимн многие годы распевали фашисты и клерикалы, и он, увы, приобрел соответствующий оттенок; мало того — его скомпрометировали полиция и администрация трудовых лагерей в Димитравасе и Пабраде, которые заставляли революционеров петь этот гимн. Поэтому в эти дни народ стихийно отказался от буржуазного гимна. И вот сейчас все это напомнило прогрессивным учителям и всем создателям новой Литвы, что старый мир придется побеждать не только в экономике и культуре, но и в сознании людей.

Несмотря на все старания реакционных слоев, жизнь шла своим чередом. Когда я несколько лет назад захотел сочетаться гражданским браком, в Каунасе многим это показалось если не концом света, то хотя бы пощечиной привычным обычаям, которые рьяно защищало духовенство. Теперь, в дни съезда учителей, состоялось первое публичное гражданское бракосочетание — уже не в Клайпедском крае, а в бывшей временной столице Каунасе. В брак вступал министр юстиции нового правительства, историк Повилас Пакарклис *. Это тоже было знамением времени...

Из тех дней я хорошо помню длинные и многочисленные заседания в дворце «Пажанга» на Лайсвес-аллее, где готовился проект новой Конституции Литовской ССР. Проект обсуждали Юстас Палецкис, Адомас-Мескупас *, Повилас Пакарклис и другие. Взяв основные положения Советской Конституции, выражающие сущность нового государства рабочих и крестьян, мы старались наделить проект всей той спецификой, которая была характерна для нашей молодой республики. Народный Сейм, собравшийся 24—25 августа на новую сессию в здании министерства юстиции, обсудил и принял проект Конституции. Здесь Людас Гира * прочитал поэму, строфы которой

вскоре вошли в школьные хрестоматии. Мне пришлось выступить на сессии по вопросам образования. Кстати, тогда изменились и некоторые привычные названия — Народный Сейм превратился в Верховный Совет Литовской ССР, министры стали наркомами.

Наркомат просвещения, как и другие учреждения республиканского значения, не знал отбоя от посетителей. Все двигалось, менялось, как говорится, переворачивалось вверх ногами. Бесконечные заседания, — сразу же надо было реорганизовать все: начальные и средние школы, Каунасский и Вильнюсский университеты, детские сады, специальные и ремесленные училища, надо было думать о новом репертуаре театров и новых экспозициях музеев. Более того — нужны были новые школы, новые театры, новые кафедры в университетах, новые библиотеки, новые школьные учебники. Все эти заботы навалились на нас разом. Правда, учебный год начинался немного позднее — только в середине сентября, но это не предвещало передышки.

Мы поняли, что многим учителям, которые, быть может, и хотели бы изменить направление преподавания и воспитания, будет трудно сделать это в тех школах, где они давно работают и где все знают их как сознательных или несознательных приверженцев старого режима. Поэтому мы решили многих учителей — особенно из средних школ — перевести в другие школы. Конечно, мы чувствовали, что масса педагогов очень пестра. Можно было надеяться, что определенная часть учителей, воспитанных в реакционном духе, со временем станет на нашу сторону, но будут и такие, которые не перестанут мешать нам и прививать молодежи клерикальные или шовинистические идеи. Придется в срочном порядке подготовить новых учителей из числа рабочих и крестьян.

Работать было трудно еще и потому, что мои помощники, при самых наилучших побуждениях, были больше романтиками, нежели деловыми исполнителями конкретной работы. Каждый день у них возникали сотни и тысячи вопросов. Кто на них ответит, если не народный комиссар? И накапливалось такое множество проблем, что иногда казалось — рухнешь под их грузом и не встанешь. От бесконечных сложных вопросов голова шла кругом. Вернувшись домой поздним вечером, я часто не мог заснуть до утра.

Если сложная работа в нашем Наркомате все-таки проходила довольно гладко и последовательно (так казалось не только нам), то в основном потому, что с первых же дней Народного правительства на ответственные посты были назначены опытные педагоги, честные, трудолюбивые люди, всей душой преданные новой жизни.

Не могу не упомянуть добрым словом своего заместителя Жюгжду. Заступив после буржуазного министра К. Йокантаса в министерство просвещения, я подумал, кому смогу поручить самую трудную, будничную работу по общему руководству министерством. И тут же я вспомнил педагога, который когда-то работал еще в реальном училище Мариямполе, а потом в различных, чаще всего частных, школах, автора многих учебников, переводов, серьезных статей. Я знал, что этот человек — последовательный противник фашизма и клерикализма. Я немного знал его и лично. Ничуть не сомневался в его порядочности, трудолюбии и честности. Но когда я вызвал его переговорить, наша беседа была долгой и трудной. Он говорил, что не справится с такой работой, что вряд ли ему будет доверять новая власть (раньше он был социал-демократом), и еще выдвигал какие-то причины. Когда мы все-таки договорились и в обычном порядке, во дворце президента республики, его утвердили на эту должность (надо было работать — ждать некогда), против этой кандидатуры высказались многие, о чем я узнал от Пятраса Цвирки. Некоторые из руководящих товарищей сомневались в правильности моего выбора. Где только мог, я защищал кандидатуру Жюгжды и очень радовался, когда мне удалось ее отстоять. В первые советские годы, да и позднее, этот человек проделал гигантскую работу, перестраивая наши школы, организуя прогрессивную интеллигенцию (впоследствии он проявил себя и как научный руководитель).

Вторым моим заместителем еще во времена министерства стал Людас Гира. Его назначили без моего ведома. Как и Юозас Жюгжда, он был гораздо старше меня. Но если Жюгжда был профессиональным педагогом, то Гира никогда не сталкивался с этой работой. Как известно, он был одним из виднейших поэтов, публицистов, критиков, редакторов своего времени, а последние несколько лет в буржуазном министерстве просвещения работал секретарем комиссии по изданию книг. Людас Гира — человек

чрезвычайно подвижный, всегда полный инициативы, идей. Политически это тоже весьма своеобразная личность. Он много лет в своих сочинениях восхвалял действительность буржуазной Литвы. Но в последние годы политические и идейные взгляды Гиры претерпели заметные изменения. В стихах, статьях и выступлениях он начал критиковать буржуазию, ее «патриотизм», ее своекорыстие и продажность. Гира несколько раз побывал в Советском Союзе, и это оказало на него огромное влияние. Далеко не все левые тогда верили в прогрессивность Людаса Гиры и устойчивость его взглядов. Но, видно, переоценка идеологических ценностей в сознании писателя оказалась серьезной и глубокой. Чем дальше, тем больше он симпатизировал Советскому Союзу. Это совершенно понятно на фоне полевения литовской интеллигенции, если вспомнить об угрозе нацизма с Запада, о политическом гнете в самой Литве, о полном бессилии буржуазной Литвы перед лицом шантажа панской Польши и гитлеровской Германии.

(Насколько Гира в свое время был популярным, признанным поэтом и деятелем, настолько он становился все более ненавистным человеком для буржуазии. Так и не сделав карьеры, не заняв высокого и хорошо оплачиваемого места, не приобретя поместий или домов, Гира среди своих разбогатевших друзей и приятелей молодости все время оставался своеобразным отверженным, измученным долгами. А теперь этот отверженный не просто открыто не соглашался со старым режимом, но и занял позиции, резко противоположные всему буржуазному строю. Людас Гира слишком известная личность, и с ним не так уж легко бывало справиться административными мерами. На его полевение реакция смотрела как на предательство интересов и идеалов буржуазии. Особенно яростно нападали на Людаса Гиру литовские националисты в своей печати в годы гитлеровской оккупации, да и после войны, в эмиграции. Считая себя, как и когда-то, истинными и единственными патриотами Литвы, эти людишки легче «признали» людей, давно известных своими антибуржуазными взглядами, чем Гиру, который прежде был с ними в одном лагере. Брань в адрес этого поэта, внесшего крупный вклад в нашу культуру, не смолкает до сих пор.)

Людас Гира не очень-то подходил для административной работы. Он не отличался ни методичностью, ни на-

стойчивостью, когда надо было проводить четкую линию. Правда, и здесь у него не было недостатка ни в идеях, ни в планах. Мы поручили ему организовать образование взрослых. Задача была ясной: ликвидировать тяжелое наследие прошлого — безграмотность, организовать различные вечерние школы, народные университеты, курсы по повышению общей культуры. Но Гира, не укладываясь в рамки своих обязанностей, часто вмешивался в другие области, куда нередко привносил так нежелательную в то время анархию. Он не умел беречь свой авторитет и в отношениях с другими служащими и посетителями. Само собой понятно, что в первые месяцы нового строя к нему так и хлынули «бывшие начальники» и просто «бывшие люди» в поисках помощи, содействия в советских учреждениях, «заступничества», и ему трудно бывало отказать в звонке или рекомендательном письме. А такое посредничество не всегда приносило пользу общему делу республики.

Я то и дело слышал различные рассказы о Людасе Гире, чаще с комическим оттенком, — это была экспансивная, яркая и своеобразная личность. Иногда у нас с ним бывали и серьезные конфликты, о которых я расскажу позднее. Видя недостатки Гиры как организатора, я назначил к нему в помощники очень тактичного, трудолюбивого педагога Юозаса Генюшаса *, отца известного теперь дирижера. Если в области образования взрослых уже в первый советский год была проделана большая работа, то большей частью благодаря именно Генюшасу, географу Пеликсасу Шимкунасу * и другим преданным сотрудникам.

Средним образованием руководил ближайший помощник Юозаса Жюгжды, педагог и литератор, автор первой обширной в Литве монографии о Юлюсе Янонисе * — Пятрас Микутайтис *. Делами начального образования занимался мой товарищ по гимназии Винцас Жилёнис, которого дела швыряли по всей Литве. Это были люди, на которых я мог положиться.

Почти все вопросы, которыми сейчас занимается Министерство культуры, в то время находились в ведении отдела нашего министерства — Управления по делам искусств. Начальником Управления я назначил литератора Пятраса Юодялиса *. Когда-то он издал три номера журнала «Пьювис» («Разрез»). Нам, выпускавшим тогда



«Третий фронт»[1], «Разрез» казался неприемлемым, буржуазным изданием. Позднее, как и многие каунасские интеллигенты, Юодялис полевел. Без сомнения, большую роль в этом сыграла и его первая жена — марксистка, а также изучение советской литературы, впоследствии, может быть, беседы с Валисом Драздаускасом *, Пятрасом Цвиркой и другими прогрессивными писателями. Мы с Юодялисом встречались редко, но я знал, что он положительный и благородный человек, глубоко знающий как литовскую, так и мировую (особенно русскую, польскую) литературу, хорошо осведомленный в проблемах театра, музыки, изобразительного искусства. Позднее Юодялис печатал зрелые и оригинальные статьи в наших изданиях — в «Литературе» и «Просветах». Мне казалось, что такой человек сможет руководить нашей культурной жизнью в новых условиях. Должен сказать, что Юодялис работал умно и солидно, не раз помогал решать животрепещущие вопросы театральной, музыкальной жизни, работы музеев и библиотек. Правда, я заметил, что он быстро загорается новыми проектами, живет ими некоторое время и даже увлекает других, а потом о них забывает и берется за следующий. Это мне казалось главным недостатком этого умного человека.

Вот основные люди, на которых мне пришлось опираться в своей работе. Я не упоминаю нескольких десятков других, которые пришли тогда работать в наш Наркомат. Рабочий день очень редко кончался в установленное время, — многие служащие безропотно трудились до позднего вечера, понимая значение момента и важность работы.

Погрузившись в постоянные дела, мы почти забыли, что на Западе бушует война, что там падают бомбы и горят города. Об этих жестоких событиях напоминали нам газеты. Они сообщали, что германские самолеты бомбят Лондон, и поместили репортаж И. Эренбурга «Последние дни Франции», — когда читали его, мороз подирал по спине. В тех же газетах — новые произведения признанных и совсем незнакомых поэтов, среди которых, пожалуй, самым сильным была поэма Саломеи Нерис *

---

[1] «Третий фронт» («Тречяс фронтас», 1930—1931) — антифашистский журнал, издаваемый молодыми писателями, закрытый буржуазной цензурой.

«Путь большевика». Внимание всех деятелей литературы и искусства да и всей общественности привлекло сообщение, что правительство Советского Союза в будущем году в Москве проводит Декаду литературы и искусства Прибалтийских республик. Я сразу же понял, что большая часть этой работы выпадет на нашу долю — на Управление по делам искусств.

ЛЮДИ РЕВОЛЮЦИИ

Теперь мне пришлось столкнуться с множеством людей, которых я раньше совсем не знал.

Еще в гостинице «Лиетува», где обосновался организационный штаб Народного Сейма, я впервые увидел легендарного ксендза Людаса Адомаускаса *. Я слышал разговоры о его упрямстве, твердости воли, несгибаемом характере, а встретил пожилого человека с мягкими, приятными чертами лица, седобородого, с дружеским взглядом теплых голубых глаз. Потом на заседаниях Народного Сейма в Государственном театре я тоже встречал его каждый день (он был избран Председателем Народного Сейма, хотя заседания обычно вел не он, а Мечис Гедвилас). Я понял, что это действительно человек благородного, ласкового, дружелюбного характера и непоколебимых убеждений. Позднее я встречался с ним, когда он работал первым наркомом Государственного контроля. Это место ему было доверено потому, что все, кто знал Людаса Адомаускаса еще по тюрьме, считали его кристально честным, неподкупным человеком, непоколебимым защитником нового строя. В самом начале войны этот человек погиб, скошенный пулей фашистских палачей.

Меня очень интересовал и другой революционер, носивший мешковатый и, видно, непривычный для него костюм, — со спокойным бледным лицом, серыми глазами, короткой стрижкой. Это был знаменитый Пранас Зибертас *. Ложно обвиненный в уголовном преступлении, он провел в буржуазных тюрьмах целых двадцать лет — всю свою молодость. Вышел из тюрьмы уставшим, поседевшим, но не сломленным. Словно удивляясь тому, что свершилось, он широко открытыми глазами смотрел на людей, своих товарищей по заключению и на новых, которых прежде не знал. Пятрас Цвирка не

раз рассказывал мне с неподдельным восхищением об уме, скромности, упорстве Зибертаса. Кажется, Цвирка собирался что-то писать о его жизни и поэтому старался почаще с ним встречаться. Я помню Зибертаса на исторической сессии Верховного Совета СССР летом 1940 года, на высокой трибуне сессии, на массовых митингах в Каунасе — все такого же, с бледной улыбкой на лице мученика. В начале войны его тоже расстреляли фашисты.

Удивительно ласковой и доброй казалась старая революционерка Мария Василяускайте, прошедшая все тюрьмы Литвы. Дочь батрака, она знала много горя, но не разуверилась в людях, верила в победу правды, в социализм. Мне казалось, что наша Жемайте * должна была быть похожей на эту женщину, всегда улыбающуюся, говорящую тихим, доверительным голосом, казалось все время думающую, как бы тебя не обидеть.

Каролис Диджюлис импонировал своим умением убеждать, организовать, своим дружеским отношением к людям, недавно пришедшим в отряд старых революционеров. Рижский рабочий, он позднее стал профессиональным революционером; он был образованным человеком и расценивал события с точки зрения всего Союза и даже мировой революции. Он старался не выделяться и как бы говорил: вместе сделаем все, чего от нас потребует партия.

Это были революционеры старого поколения, как и Игнас Гашка *, бывший учитель, один из первых организаторов советской власти на севере Литвы в 1918—1919 годах, — неразговорчивый человек, казалось готовый несколько раз умереть, но не предать дела революции. Он тоже с лихвой познал «университеты» тюрем буржуазной Литвы.

Встречаясь с этими людьми, я удивлялся, что они приняли меня, совсем нового человека, запросто, с доверием, ничем не показывали своего превосходства, которое дали им революционная борьба, тюрьмы, форты, военно-полевые суды. Эти люди, думалось мне, каждым днем своей сознательной жизни заслужили право стоять в первых рядах создателей Советской Литвы. Эти люди не сломились под тяжелыми испытаниями — их не подкосили камеры, карцеры, подпольная борьба, длившаяся десятилетиями. Они казались мне романтичными, на це-

лую голову выше многих других. Почти все они говорили, что читали некоторые из моих книг и вместе с другими заключенными разбирали «Третий фронт». Это меня удивляло и радовало.

Но это были революционеры старшего поколения. Примерно одних лет со мной был Казис Прейкшас *. Впервые я увидел его в кабинете секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы, уже в первые дни новой республики, когда я пришел посоветоваться по каким-то вопросам, — кажется, о том, как составить новые контингенты студентов вузов, чтобы в них попало побольше детей рабочих и крестьян. Я увидел молодого рослого, плечистого, голубоглазого человека в ладно сидящем костюме. Он посмотрел на меня с легким интересом и сказал, что давно знает меня как писателя. Пока мы разговаривали, дверь кабинета то и дело открывали незнакомые сотрудники, они то приносили какие-то бумаги на подпись, то о чем-то спрашивали. Несколько раз Прейкшас говорил по телефону, насколько я понял — с первым секретарем ЦК Антанасом Снечкусом *. Он не торопился с решением моих вопросов, хотя мне они казались очень срочными, просто неотложными, — пометил что-то в своем блокноте и обещал посоветоваться с товарищами. И тут же заговорил о писателях, сказал, что партия хочет собрать их в единую организацию и ищет подходящее помещение, где бы писатели и деятели искусства могли бы собираться, беседовать, работать сообща. Он говорил не торопясь, подчеркивал, что все прежде надо как следует обсудить, обдумать с другими и только потом решать; спросил меня о моих помощниках, которых он не знал. Чувствовалось, что он был оторван от нашей республики. В последнее время он жил и работал в Москве, а раньше участвовал в гражданской войне в Испании. Другие факты его биографии тогда мне не были известны, но и то, что я знал, вызывало интерес к новому знакомому. Позднее мне пришлось целый ряд лет тесно сотрудничать с Прейкшасом.

Очень часто я виделся со своей знакомой еще по Мариямполе Михалиной Мешкаускене *. Еще в реальном училище эта высокая, видная девушка, тогда Навикайте, входившая в организацию аушрининков [1], была резко на-

[1] Аушрининкай — ученическая организация социалистического толка.

строена против буржуазного режима. Мне нравились ее смелость, настойчивость. Она была энергичной, деятельной, нередко высказывалась против духовенства и прочих душителей свободы. Любила читать серьезные книги, участвовать в школьных представлениях, путешествовать. Я знал, что в нее безнадежно был влюблен мой друг Казис Борута *. Эта любовь не прошла и тогда, когда Борута поступил на гуманитарный, а Навикайте на юридический факультет Каунасского университета. Потом эта красивая и смелая девушка восемь лет провела в тюрьмах, порвала с партией эсеров-максималистов, к которой поначалу принадлежала, и вступила в Компартию. Я встретил ее снова после тюрьмы, в которой она провела самые прекрасные годы юности. Она казалась измученной, но по-прежнему энергичной, деятельной. Мне пришлось с ней разговаривать в основном по вопросам издания «Литературы» (по поручению партии, она организовала «Литературу» как журнал Народного фронта). Благодаря ее усилиям журнал взялся редактировать Винцас Креве-Мицкявичюс, а сотрудничали в нем чуть ли не все антифашистские писатели.

Теперь, когда рухнул буржуазный строй и создавалось народное правительство, а затем и Советская Литва, Михалина Мешкаускене с прежней энергией работала всюду, куда бы ее ни позвала социалистическая республика. В дни народного правительства она, организатор Комитета помощи политзаключенным, руководила торжествами встречи заключенных, освобожденных из Каунасской каторжной тюрьмы. Она активно участвовала в различных встречах, совещаниях интеллигенции. Организовывала, агитировала, разъясняла. Рекомендовала руководящим товарищам многих интеллигентов для работы — на посты министров, редакторов, руководителей различных учреждений. Она могла это делать потому, что, выйдя из тюрьмы, сблизилась почти со всей прогрессивной интеллигенцией, многих знала лично. До войны Мешкаускене работала редактором «Крестьянской газеты», а позднее была начальником Управления по делам искусств. Мне не раз приходилось совещаться с ней по различным вопросам. Она всегда восхищала меня своей бескомпромиссной верой в идеалы социализма, боевым пылом, желанием помочь друзьям во всем. Встречаясь, мы часто вспоминали молодость, Мариямполе, и

нам было отрадно, что оба встали на один путь, ведущий к одной большой цели. Позднее, в вихре войны и в послевоенные годы, мы не часто встречались с Михалиной, но наша дружба осталась прочной и искренней.

Как Центральный Комитет партии, так и все центральные учреждения размещались в Каунасе. Мы чувствовали, что необходимо поближе ознакомиться с делами просвещения в Вильнюсе. Здесь было немало специфических нелегких вопросов, которые следовало решать без промедления. Просвещение в Вильнюсском крае было, пожалуй, еще более отсталым, чем во всей Литве. Много проблем возникало из-за здешней пестроты наций и языков.

В то время Вильнюс в национальном отношении был самым разношерстным городом, какой мне только приходилось встречать. Здесь жило много поляков (их число еще увеличили беженцы войны), треть населения города составляли евреи, сохранившие свои древние восточные обычаи. Были также и литовцы (власть буржуазной Польши старалась создать для них невыносимые условия), белорусы и другие. Некоторые районы Вильнюсского края были сплошь литовские, но встречались и такие деревни, где говорили на нескольких языках. Справедливо решить, на каком языке преподавать в школе, разделить учителей по языкам было очень сложным и политически важным вопросом.

В Вильнюс я приехал с Юозасом Жюгждой. Влекло побывать на горе Гедиминаса, где я не бывал с прошлой осени, поблуждать по университетским дворикам, по переулкам старого города, по живописным улочкам еврейских кварталов, где кишмя кишели люди. Но с самого утра мы начали заседать, пригласив работников просвещения города и края. Потом продолжительное совещание в горкоме партии, где познакомились с его секретарем Повиласом Балтрушкой *, недавно вышедшим из тюрьмы революционером Янкелисом Виницкисом * и другими. Мы побывали и у вильнюсского бургомистра Йонаса-Кястутиса Друтаса, который привел нас в восхищение своим джентльменством и отличным знанием запутанных вильнюсских дел. Друтас — старый вильнюсец, бывший член подпольной Компартии Западной Белоруссии, работавший в годы панской Польши вместе с литовцами, например с видным деятелем Коммунистического

движения Вильнюсского края Йонасом Каросасом и с поляками — Стефаном Ендриховским, Ежи и Иреной Штахельскими, писателем Ежи Путраментом и другими (после войны они заняли руководящие посты в Польше). Он надавал нам много советов и, насколько помню, сказал, что все было бы гораздо легче решать, если бы в Вильнюс перебрались руководящие учреждения республики (после войны Друтас стал одним из видных польских дипломатов — он был послом в Анкаре, Риме и Париже).

Так или иначе, посещение Вильнюса было очень нужным и полезным. День совершенно измотал меня. Поужинав в «Жорже» (ныне «Вильнюс»), я собирался идти в гостиницу искать комнату (Жюгжда, кажется, еще раньше ушел отдыхать), но, выйдя на улицу, я встретил нового начальника Вильнюсского уезда, художника Антанаса Казанавичюса * (мужа писательницы Алдоны Казанавичене-Диджюлите *). Это был человек с большим и добрым сердцем, которого я несколько раз встречал в Клайпеде и в Каунасе. Без долгих размышлений Казанавичюс сказал:

— Послушай, зачем тебе идти в гостиницу, если можешь переночевать у меня? У нас огромная квартира, места сколько угодно!

— К чему тебя стеснять? Переночую в гостинице.

— Ну, уж нет, братец, — продолжал Казанавичюс, взяв меня под руку. — Живу рядом, на центральной улице... Обидишь, если не воспользуешься нашей квартирой. Есть и диван, и свободная кровать. Прошу тебя...

Немного поупрямившись, я увидел, что все равно не вырваться из рук благодетеля, и согласился. Мы прошлись по опустевшей улице (была полночь), потом по неосвещенной лестнице поднялись на третий этаж большого дома. Казанавичюс стал шарить в карманах в поисках ключа, но его почему-то не оказалось.

— Вот черт! Куда-то засунул ключ, а другой Ванда забрала.

— А где она? — спросил я.

— Отпросилась к знакомым. Может, к кавалеру пошла, пользуясь случаем, что хозяйки нет дома.

— А где твоя жена?

— Вчера в Минск уехала, знакомиться с работой детских садов.

— Знаешь что, дружище, — сказал я Казанавичюсу, — все-таки будет лучше, если я вернусь в гостиницу и сниму комнату...

— Ну, уж нет, — заупрямился хозяин. — Зачем тебе гостиница? Погуляем немножко, вернется Ванда, и выспишься всласть...

Пришлось согласиться. Мы спустились на улицу и принялись гулять из конца в конец. Когда мы проходили мимо его дома, Казанавичюс каждый раз поднимал голову и смотрел, не светятся ли окна. Прошел час, второй, ноги стали ныть, страшно клонило ко сну, а Ванды все не было.

Еще несколько раз я пытался уйти в гостиницу, но, видя, что мой гостеприимный хозяин меня не отпустит, отдался на волю судьбы. Наконец в половине третьего Казанавичюс увидел, что по улице возвращается Ванда. Не упрекнул (человек он был очень мягкий), только спросил, при себе ли у нее ключ. Ванда отперла дверь, и мы вошли в темную прихожую. Хозяин повернул выключатель, но свет не загорелся. Он вошел в комнаты и щелкал выключателями, но света не было во всей квартире.

— Ну и чертовщина! — сказал Казанавичюс. — Как нарочно, света нет. Ванда, поищи свечу!

— Нету свечи, — отозвалась сонная Ванда.

— А купить не могла?

— Будто я знала, что понадобится! — буркнула Ванда и зевнула вслух.

— Ну и чертовщина! — снова повторил хозяин. — Хоть спички на кухне найди!

Ванда нашла спички, зажгла одну и вернулась в огромную комнату, посреди которой стояли мы с хозяином. В мерцающем свете я разглядел стол, несколько стульев, диван.

— Надо бы закусить, — сказал хозяин.

— А чего я соберу? — отрезала Ванда. — Денег-то не оставили.

— Я сыт, — вставил я. — Кажется, уже говорил...

— А, правда, — вспомнил хозяин. — А вот чаю бы...

— Сахар кончился, — сказала Ванда. — Да и дров теперь со двора не принесешь.

— Ну и черт с ним, с чаем! — отмахнулся хозяин.

Спичка давно погасла, и мы стояли где-то неподалеку

от стола. Глаза привыкли к темноте. С улицы в комнату сочился свет фонарей.

— Вот, у меня гость, — сказал хозяин. — Слышала про писателя Венцлову? Постели ему тут, на диване, а может, лучше там, в той комнате, кровать постели...

— Да белья нету...

— Как так нету?

— А вот и нет. Хозяйка, когда уезжала, все закрыла, а ключа не оставила.

— Ну и чертовщина! Что же делать будем?

— Ничего, я все-таки в гостиницу пойду. Может, еще достану...

— В гостиницу? Видишь, сколько у нас тут места! Знаешь что, ты ложись просто на диван и спи!

— Я тоже пойду спать... — сказала Ванда и снова вслух зевнула.

— Иди, иди, Ванда! А завтра непременно купи свечи и принеси дров... А то чертовщина какая-то...

Ванда ушла, а я начал раздеваться. Хозяин изредка чиркал спичкой, чтоб мне было светлее. Я лег на диван. Казанавичюс принес из спальни подушку, дал свое осеннее пальто вместо одеяла.

Сев рядом со мной, он рассказывал мне о своей молодости, о жизни в Паневежисе, о том, как по воскресеньям они с женой и Саломеей Нерис, которая тогда преподавала в Паневежской гимназии, ездили в Ясногурку и другие живописные окрестности города... Но я уже спал.

(С тех пор каждый раз, когда я приезжаю в новый город и кто-нибудь из друзей или знакомых предлагает мне ночлег, я защищаюсь всеми правдами и неправдами, памятуя о необычайной доброте сердечной и гостеприимстве своего старого друга...)

В СЕМЬЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Не прошло и трех месяцев с момента падения старого строя, а в жизни каунасских литераторов и деятелей искусства произошли разительные перемены. До той поры Общество писателей несколько лет ютилось в пыльной комнатушке под лестницей в гостинице «Метрополь». Такое положение весьма точно отражало отношение власть имущих к литераторам и литературе. На содержание Театра драмы и оперы правительство давало деньги

(это были репрезентационные учреждения — в оперу водили зарубежных гостей, а балет несколько раз выезжал за границу с гастролями). Но на литературе власти не надеялись заработать — не замечалось, чтобы произведениями наших писателей кто-либо интересовался за пределами Литвы. Кроме того, из сообщений департамента безопасности министры знали, что многие наши писатели не только не поддерживают фашистское правительство, а настроены против него. И не только какой-нибудь Пятрас Цвирка или Костас Корсакас *, а в последние годы даже Винцас Креве. Эти писатели при каждом удобном случае в своих произведениях поносят международный (а вместе с ним, надо понимать, и литовский) фашизм, выступают против поджигателей войны, а Советский Союз считают единственным серьезным врагом международной реакции, другом Литвы и других малых государств. Ясно, что поддерживать таких писателей для сметоновцев значило копать себе яму.

Уже после войны Аугустинас Грицюс * рассказал мне случай, свидетелем которого он был; эта история, на мой взгляд, очень ярко отображает невежество и презрение правящих кругов по отношению к литовской литературе. Однажды писатели старшего поколения, большинство из которых даже не были оппозиционерами, упросили главу кабинета министров Юозаса Тубялиса * принять их и выслушать их пожелания. А пожелания эти были более чем скромные. Писатели хотели, чтобы власти поддержали хоть один литературный журнал, немного расширили сеть библиотек, чтобы тиражи книг увеличились и не только издатели получали пользу от писательского труда, но и авторы поощрялись кое-каким гонораром. Фаустас Кирша * излагал требования писателей, а Тубялис нервно курил сигарету за сигаретой. Когда Кирша кончил, он спросил:

— Так-то это так, но вы мне скажите, написал ли кто-нибудь из литовских писателей «Фауста»?

Все были ошеломлены таким неожиданным вопросом. Уставились друг на друга, раздумывая, что ответить премьеру. А что тут ответишь, если действительно ни один «Фауста» не написал... И Тубялис, махнув рукой и оставив все еще не опомнившихся писателей одних, вышел из кабинета...

Вряд ли следует здесь говорить о материальном поло-

жении наших литераторов в то время. Было оно весьма затруднительным. Только несколько писателей, или, точнее говоря, писак, примазавшихся к официальной газете и другой печати таутининков, жили более или менее сносно. Приличнее других были обеспечены писатели старшего поколения, профессора университета — Креве, Сруога *, Путинас *. Кое-кто из самых талантливых и, конечно, продуктивных писателей, как, например, Пятрас Цвирка, пытались прожить одной литературой, но часто оказывались без цента в кармане; полиция описывала за долги стол, стулья и этажерку с книгами (другой мебели у них, как правило, не было). Время от времени их выручали премии издательств. Но таких писателей было всего лишь несколько. Другие одаренные авторы, скажем, Казис Бинкис *, свой талант нередко разменивали на легковесные фельетоны, куплеты, различные газетные поделки. У многих были службишки, обычно мелкие, где-нибудь в канцелярии нотариуса или налоговой инспекции, в департаменте министерства. Отсидев шесть часов, вечером, ночью или в воскресенье они пытались излить на бумагу то, что скопилось в душе. Конечно, их творчество тоже частенько бывало случайным, незавершенным. Подобным было и положение писателей-учителей. Немало литераторов работало в газетах. Здесь они очень редко могли напечатать что-нибудь серьезное, продуманное, выношенное. От них требовали сенсационных описаний, дешевых репортажей, плоских рассуждений на темы политики и мещанской жизни. Писателей в Литве было немало, несколько десятков, но их продукция в основном оставалась скудной и не лучшего качества. Мало кто мог позволить себе путешествовать по миру, мало кто знал иностранные языки, мало кто получил серьезное образование.

Падение буржуазии и рождение нового строя без колебаний встретили те писатели, которые уже и раньше находились в резкой оппозиции, имели кое-какие связи с Советским Союзом и его культурой, — Пятрас Цвирка, Саломея Нерис, Витаутас Монтвила *, Людас Гира, Йонас Шимкус *, Костас Корсакас, Теофилис Тильвитис *, Юозас Балтушис *, Юлюс Бутенас *. Советскую Литву своими произведениями приветствовали или сделали заявление в печати Винцас Миколайтис-Путинас, Балис Сруога, Казис Бинкис, Антанас Мишкинис *, Витаутас Сириос Гира *. Со своими произведениями в совет-

ской печати начали выступать и Юозас Грушас *, Юозас Паукштялис *, Аугустинас Грицюс, София Чюрлёнене *, Ева Симонайтите *, Петронеле Оринтайте *, молодой поэт Казис Брадунас *. Всюду печатался Людас Довиденас *, ранее довольно близкий к таутининкам. Писатели правого лагеря во главе с Бернардасом Бразджёнисом * держались в стороне, хотя даже сам Бразджёнис в первый советский год успел издать книгу для детей. (Один писатель бывшего правого лагеря, сейчас живущий в Литве, рассказывал мне, что весной 1941 года Бразджёнис показывал ему несколько своих «советских» стихов, спрашивая совета, давать ли их в печать. Этот писатель не взялся решать такой вопрос и предложил ему посоветоваться с Цвиркой. Но Бразджёнис, по-видимому, постеснялся показать свои новые стихи Цвирке — своему давнившему идейному врагу. Вскоре началась война, и читатели некоторое время спустя увидели в печати антисоветскую брань Бразджёниса. Моему собеседнику тогда показалось, что некоторые из этих стихов были те же самые, наспех переработанные из «советских» в антисоветские. Такова, как говорится, мораль...)

Ни одного писателя, какие бы позиции он до той поры ни занимал, мы не оттолкнули. Печать охотно принимала произведения каждого, но, разумеется, отдавала предпочтение такому материалу, который критиковал прошлое и утверждал новое. Это совершенно понятно в период исторических сдвигов. Теперь за каждую литературную или журналистскую работу авторы получали гонорар. Это первое. А второе — с первых же дней новое правительство вместе с председателем Организационного комитета Союза писателей Пятрасом Цвиркой начало подыскивать подходящее помещение для писателей. И эти поиски завершились успешно.

В центре Каунаса, неподалеку от Военного музея, возвышалось прекрасное здание, принадлежавшее банкиру Вайлокайтису. Прихватив драгоценности и семью, он примерно в одно время со Сметоной * удрал в Германию, а дом остался — с прекрасными просторными комнатами, обитыми шелком стенами, мраморными ванными, отличным, хотя и не очень большим, залом, замечательными кухнями. В доме было несколько квартир, устроенных со всеми возможными тогда в Каунасе удобствами и роскошью. Все это теперь перешло в ведение писателей.

В дом на постоянное жительство от тестя, профессора Меркелиса Рачкаускаса *, в Верхней Фреде, перебрался Цвирка. Здесь получили квартиры тяжело больной Бинкис, Йонас Марцинкявичюс *, который вечно ютился в лачугах Вилиямполе, хотя и был одним из самых продуктивных писателей, Корсакас, Симонайтите. Поскольку, как я уже упоминал, в доме был и зал, здесь решили основать так называемый Клуб писателей и работников искусств. Его открыли в сентябре 1940 года. Зал был украшен портретами Горького, Маяковского, Жемайте, Янониса, картинами наших художников — Склерюса *, Гальдикаса *, Казокаса *, Рачкаускайте * и других. В торжественном открытии клуба участвовали многие виднейшие представители литературы, искусства, театра — Нерис, Чюрлёнене, Грушас, художники Пятрас Калпокас *, Адомас Гальдикас, Стяпас Жукас *, певцы Кипрас Петраускас *, Винце Йонушкайте * и многие другие.

Этот дом стал главным центром деятельности писателей и различных работников искусств. Кстати, примерно в это время было основано и первое советское Государственное издательство (его директором был назначен Костас Корсакас, а заместителями — директор бывшего «Спаудос Фондаса» Балис Жигялис * и директор «Сакаласа» Антанас Кнюкшта *). Когда, улучив свободную минуту, я заходил в этот дом, каждый раз я встречал здесь друзей. Одни советовались об издании журнала, другие спорили о каких-то рукописях, беседовали с художниками об иллюстрациях новых книг. Как когда-то в кафе Конрадаса, так и теперь здесь днем и вечером можно было застать любого, кто был тебе нужен.

Вечером клуб радушно распахивал двери перед каждым работником литературы и искусства, кто только хотел провести здесь свободное время, поделиться с друзьями замыслами, послушать лекции и споры о литературе советских народов, о нашем культурном наследии. Особенно вопросы культурного наследия тогда были неясными для многих и вызывали разноречивые мнения. Бывший сотрудник «Третьего фронта» Валис Драздаускас в газете опубликовал статью, в которой вознамерился доказать, что все созданное прогрессивными писателями — чепуха, а литературу будут создавать те, кто вышел из тюрем, кто приходит от сохи и от станка. Это был, разумеется, так называемый левацкий выпад, против

которого вскоре появился в печати протест, подписанный несколькими писателями. Одним тогда казалось, что такие творцы, как Майронис * или Вайжгантас *, связанные с правыми слоями, должны быть отброшены, другие доказывали, что этих больших писателей «нельзя отдать буржуазии». Это было началом долгих и нелегких споров — споров, которые продолжались и после войны.

В клубе начались и совещания по вопросам будущей Декады литературы и искусства. Видный композитор Стасис Шимкус * здесь ознакомил собравшихся с фрагментами новой оперы «Деревня у поместья», Фаустас Кирша читал переводы советских поэтов, Витаутас Монтвила энергично руководил начинающими писателями, которые целыми толпами рвались в литературу, надеясь сказать новое слово о недавнем прошлом и настоящем.

У посетителей клуба возникали сотни вопросов, на которые они хотели получить исчерпывающий и быстрый ответ. Немалая часть писателей и работников искусства еще не отрешилась от старых идеалов и взглядов, жила идеями идеалистической философии и эстетики. Ныне им следовало глубже понять коренной поворот нашего народа, его причины и следствия, проникнуться марксистско-ленинским отношением к жизни и искусству. Каждому, кто хотел плодотворно работать, надо было многое переоценить, от многого отказаться и многое усвоить заново. В клубе начались встречи с революционерами, с мастерами литературы и искусства, приезжавшими к нам в гости из других республик. Всю эту деятельность нельзя было представить без кипучей энергии Пятраса Цвирки, без раскрывшегося таланта Витаутаса Монтвилы, без улыбки Саломеи Нерис, без остроумия Теофилиса Тильвитиса.

В Каунасском театре и Спортгале начались гастроли знаменитых московских певцов, балерин, музыкантов, которые привлекали толпы каунасцев. Советское искусство было не похоже на ту халтуру, которую так часто наряду с серьезной художественной продукцией привозили в Каунас из Риги и с Запада различные любители легкой наживы. К нам сейчас приезжали только серьезные силы, представители истинного современного и классического русского и мирового искусства.

Хотелось бы шире поговорить о некоторых из наших тогдашних гостей. Из Киева в Каунас приехал один из

виднейших украинских поэтов — Микола Бажан — с женой. Не только писатель большого таланта и общественный деятель, но и истинный интернационалист, человек высокой культуры, он приехал помочь нам организовать Союз писателей, а также подготовить Декаду, особенно ее литературную часть. Он сразу же привнес в нашу писательскую жизнь какую-то серьезность, понимание важности задач, хорошее, дружеское настроение. Бажан объяснял нам, что перевоспитание интеллигенции — длительная и нелегкая работа, что здесь нужны такт, терпимость, выдержка в объяснении смысла нового мира, его преимущества, неизбежности пути всех народов к социализму. Когда я впервые встретил Миколу Бажана, он мне прежде всего понравился своей аккуратностью, элегантностью. Таким же чистым, безукоризненным он был и в разговоре, в поведении. В более поздние годы с этим знаменитым украинским поэтом дружили Цвирка и другие литовские писатели. До сих пор мы встречаемся с Миколой Бажаном как с искренним другом нашего народа (кстати, он прекрасно написал о Литве, о ее боях с немецкими рыцарями в поэме «Даниил Галицкий»).

Мы видели и писателя Владимира Лидина. До войны вышел на литовском его роман «Могила Неизвестного солдата». Лидин помог нашим журналистам и писателям организовать новые издания, рассказывал о московских литераторах, о их работе и делах (а видел и знал он действительно многих интересных людей, в том числе и Юргиса Балтрушайтиса *). Этот изящный человек с любопытством следил за быстро меняющейся жизнью Литвы, бывал всюду, где только мог, и напечатал в журнале «Новый мир» несколько репортажей, озаглавленных «Литовские записки». Это были первые факты плодотворного, позднее так расширившегося сотрудничества культур.

В ВИЛЬНЮСЕ

Новые значительные события меняли лицо республики. Роздали земли, принадлежавшие помещикам и кулакам, которые имели более 30 гектаров. В деревнях власть взяли в свои руки истинные труженики, которых правительство сразу же освободило от всех долгов и просроченных платежей. Газеты печатали репортажи Цвир-

ки, Балтушиса, Марцинкявичюса и других о новой земельной реформе. Эти репортажи и сейчас остаются яркими документами эпохи.

Первый советский учебный год мы начали большим праздником в той же каунасской Спортгале, где недавно собирались учителя. На сей раз никто не гнал учеников в костел, — раньше первый день каждого учебного года начинался с костела. Казалось непривычным, что в школах не стало капелланов, — церковь отделили от государства, конкордат[1] с Ватиканом был расторгнут. Многие молодые ксендзы, отказавшись от своей профессии, продолжали работать в школе — преподавали латынь, которая поначалу еще входила в программу. (Позднее, по-видимому получив указание от своего начальства, ксендзы перестали навещать Наркомат просвещения, и их массовый отход от церкви прекратился.)

Уже той же осенью в средние и высшие школы было принято значительно больше учащихся и студентов из семей бедных крестьян и рабочих. Многие получили стипендию, — этого мы еще не видывали — нам приходилось самим зарабатывать себе на хлеб.

Назревала необходимость перевести главные правительственные учреждения в столицу Вильнюс. Первым перебрался наш Наркомат просвещения. Мы решили обосноваться в старой части Вильнюса, неподалеку от костела св. Анны, среди узких переулков, от которых веяло стариной. На улице Волана стоял старинный дом, где недавно, в годы панской Польши, размещались учреждения, ведавшие просвещением в Вильнюсе. Здание для нас было маловато, и мы получили по соседству белый кирпичный дом — для управления ликбеза. Переезд в Вильнюс прервал работу в Наркомате лишь на несколько дней, а вот с жильем для служащих, да и для меня самого, было нелегко. Правда, в Вильнюсе уже жила часть профессуры, и, по совету Балиса Сруоги, мне удалось получить квартиру на горе, на улице Кудирки. Здесь я прожил до начала Великой Отечественной войны. В том же доме обосновался и Юозас Жюгжда и другие старые приятели и знакомые — Казис, Борута, Юозас Микенас *, Альгирдас Якшявичюс * с женой Моникой Миронайте *,

---

[1] Конкордат — договор между Ватиканом и правительством какой-либо страны, устанавливающий взаимоотношения между ними.

недавно назначенный нами проректор Вильнюсского университета Юозас Булавас *.

Вильнюс полюбился мне, еще когда я впервые увидел его до польско-германской войны. Хотя я привык к Каунасу и прожил в нем пятнадцать лет, Вильнюс сразу покорил меня своей красотой, историей, романтическим очарованием. Как только возникла мысль перевести Комиссариат в столицу, я не колебался ни минуты — мне казалось, что именно там мы и должны находиться. Перебравшись в Вильнюс, я ощутил, будто прожил здесь весь век. Очень часто довольно долгий путь от дома до Комиссариата я проходил утром пешком — каждый раз с любопытством смотрел на дома, обыкновенные и вычурные, заглядывал в еврейские кварталы, дивился оживленности улиц, множеству крохотных лавчонок, живописным одеждам, бойкости детей. Евреи казались усталыми, изможденными, — по-видимому, рядом с процветающими купцами здесь жила и беднота, такая же, какую года два назад я видел на улицах Кракова. Мне нравилось гулять по переулкам старого города, где, как я знал, когда-то ходил Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий, Людвиг Кондратович и наши Симонас Даукантас *, Симонас Станявичюс *, Йонас Басанавичюс *, Жемайте, наконец, великие революционеры — Феликс Дзержинский, Винцас Капсукас *... Да, это город, поразительный по своей архитектуре, традициям, пестроте населения. Сложная и запутанная история оставила на нем неизгладимый отпечаток. На улицах еще можно было встретить вчерашних хозяев Польши, изредка бодро шагала колонна красноармейцев... Эти контрасты не могли не вызывать разнообразные мысли о судьбе нации и государства и о роли отдельной личности в сумятице непостоянства времени...

В Вильнюсе работа тоже занимала основную часть времени. Заседания, совещания, снова заседания, непрекращающийся поток посетителей, великое множество проектов и предложений, изложенных устно и на бумаге, — все это рекой текло в Наркомат, и не всегда вовремя можно было охватить все дела и планы. Но радовало то, что на наших глазах рождались новые научные и культурные учреждения, этот энтузиазм творческих работников, желание отдать свои знания и талант народу с каждым днем получали все бо́льшие возможности.

8 октября 1940 года — канун годовщины возвращения

Вильнюса Литве. Новое правительство приложило много усилий, чтобы в этот день открыть Вильнюсский драматический театр. От души поработал новый директор театра Ромуальдас Юкнявичюс *, его актеры и технический персонал, но не меньше труда вложил и наш Комиссариат, его Управление по делам искусств. В теперешнем здании театра оперы и балета на улице Басанавичяус собрался весь тогдашний цвет вильнюсского общества, рабочие, представители различных национальностей, населявших Вильнюс. В президиуме торжественного собрания находились видный драматург Винцас Креве, Пятрас Цвирка, Мечисловас Гедвилас, Йонас-Кестутис Друтас, Пиюс Гловацкас. Современно, ярко прозвучал театральный монтаж Балиса Сруоги «С восточной стороны», который поставил Р. Юкнявичюс.

Той же осенью родилась Государственная филармония. Мысль о ее создании возникла в нашем Комиссариате во время бесед с музыкантами. Каждому работнику культуры было ясно, что музыкальной жизни в Литве нужны более широкие горизонты. Когда я на заседание Совета Народных Комиссаров принес проект Государственной филармонии, подготовленный Управлением по делам искусств, раздались голоса наркомов:

— Опять Венцлова с проектами... Опять будет требовать денег...

— Да, товарищи. Я с проектами, и средства, без сомнения, понадобятся... Но они позарез нужны не мне, а культуре нашей новой республики...

Помнится, проект некоторым товарищам показался неясным, зато другие горячо поддержали его. Все-таки вопрос поначалу отложили, потребовав более точные обоснования, смету и уточнение штатного расписания. На следующем заседании я снова просил слова и не успокоился до тех пор, пока не одобрили идею филармонии. Я чувствовал себя как после выигранной битвы. Вызвал в Наркомат Йонаса Кардялиса *, высокого, медлительного, сутулого человека, бывшего деятеля ляудининков [1]. Он писал рецензии на концерты и оперные спектакли. Теперь он сидел без работы, потому что «Литовские ведомости», в редакции которых работал Кардялис, уже закрылись. Я знал его как медлительного, но надежного

---

[1] Ляудининкай — либеральная мелкобуржуазная партия.

работника и предложил ему взяться за организацию филармонии. Он должен был в краткие сроки создать симфонический оркестр, хор, ансамбли народной музыки и народных танцев, собрать талантливых людей, которые бы повысили культуру народного танца, песни. Самодеятельность находилась еще только в зачаточном состоянии, — в свое время буржуазные власти не проявляли интереса к народному искусству, а правящая верхушка и все литовское мещанство охотно и поспешно перенимали заграничные боевики, низкопробные песенки, третьесортную эстрадную музыку...

Организация филармонии потребовала немало энергии и нервотрепки. Десятки раз мы совещались, уточняли различные проекты, обсуждали, как справиться с тем или иным препятствием. Но я был с лихвой вознагражден за все, когда прибыл в помещение теперешней Государственной филармонии на открытие нового культурного учреждения, когда впервые публично выступил молодой, еще не окрепший симфонический оркестр, еще непривычные, вновь возрожденные народные инструменты, когда на сцене стали кружиться в танце молодые танцовщицы в чудесных национальных костюмах. Это был большой, незабываемый праздник, хотя в первом выступлении новорожденной филармонии еще с трудом угадывалось то высокое искусство, к которому она пришла в более поздние годы.

Периферия тоже нуждалась в культурных учреждениях, и уже в первый советский год наш Комиссариат учредил Паневежский драматический театр, которым стал руководить талантливый режиссер, человек большой культуры и масштабов Юозас Мильтинис *. И сейчас, видя его постановки, блистающие фантазией, режиссерской и актерской изобретательностью, я вспоминаю давнишние годы и радуюсь, что посеянное тогда зерно принесло такие замечательные плоды.

(Бывший руководитель Государственной филармонии Йонас Кардялис стал эмигрантом. Он жил в Канаде, издавал газету и поливал грязью достижения родной Литвы за то, что она не идет по буржуазному пути, как бы ему хотелось. Говорят, на старости лет он поддался влиянию ксендзов и монахов — в квартире бывшего безбожника Кардялиса висело распятие... Что ж, не мне было его учить, да и был он куда старше меня. И наряду

с этим не могу не гордиться другим человеком, который в то время взялся за трудную организационную и творческую работу. Я имею в виду Юозаса Мильтиниса, который под конец войны не ушел служить чужим богам, а наладил тесную связь с советской жизнью и вширь и вглубь развил свой огромный талант, которым гордится Литва и который знает вся наша страна...

Я надеюсь, читатель простит это отступление, от которого я просто не мог удержаться, — столь низко пали некоторые покинувшие родину творческие интеллигенты и столь удивителен расцвет таланта тех, кто остался в Советской Литве. Это явление надо непременно отметить в летописях нашего времени...)

Большую радость приносила в Вильнюсе более тесная, чем раньше, дружба с Винцасом Креве. Нам не раз приходилось встречаться по делам Вильнюсского университета, еще чаще — по вопросам организуемой Академии наук.

Винцас Креве уже с гимназических лет, когда я впервые прочитал его «Предания старых людей Дайнавского края», «Шарунаса» и прекрасные рассказы о деревне, был и остался для меня одним из самых крупных (иногда казалось — крупнейшим) наших писателей. В университете он был моим профессором. Когда издавали журнал «Литература» и альманах «Просветы», с ним я встречался все чаще. Я знал, что ему понравилась моя книга «Ночь». Вернувшись из Клайпеды в Каунас, я часто видел Креве в кафе «Метрополь» за чашкой кофе (за тем же столиком обычно сидели и Цвирка, Корсакас, Сруога, Бальджюс *, Аугустинайтис *, Скарджюс *). Посасывая сигарету, вставленную в длинный мундштук, с улыбкой на бледном, морщинистом, но очень приветливом лице, Креве не торопясь высказывал свои мнения. Его политические взгляды мне подчас казались не до конца продуманными и последовательными. Но он явно не любил таутининков и особенно Сметону и при каждом удобном случае, не боясь неприятностей, потешался над ним.

— Будь я Сметоной, — шутил Креве, — я бы делал иначе. Созвал бы писателей, угостил бы их, платил бы получше... Они, без сомнения, написали бы что-нибудь приличное да и меня помянули бы добрым словом... Нет, Сметона неумный парень...

Сидя за столиком, собеседники принимали рассуждения Креве за шутку, не считая его тщеславным...

Он частенько издевался над всевозможными карьеристами, приспособленцами, с возмущением говорил, что в Литве расплодились шпионы и доносчики — они так и кишат в университете, в учреждениях, даже в деревнях осведомители выдают полиции мирных крестьян, если те хоть слово скажут против власти. А за последние годы кризиса и забастовки сувалкийцев у крестьян накопилось много горечи. Креве не любил и некоторых своих коллег профессоров — он часто прохаживался по их адресу за чашкой кофе. Насколько помню, больше всего вызывал издевки Креве проект клерикального профессора Казиса Пакштаса * переселить литовцев куда-то в Анголу или в какое-нибудь латиноамериканское государство. Он уважал Сруогу, хоть иногда подшучивал и над ним; авторитетом был для него профессор Лев Карсавин. В библиотеке семинара русской литературы, которую читали Креве и Сруога, были почти все важнейшие литературоведческие советские работы, монографии о писателях, даже сочинения многих советских авторов. Все это мы, разумеется, жадно читали. Враждебность к таутининкам и клерикалам и несомненные симпатии к Советскому Союзу, где он бывал и жизнью которого интересовался, на мой взгляд, определили тот факт, что после крушения фашистского режима Креве сразу же дал согласие войти в народное правительство. Но, видимо, не все пошло так, как Креве представлял себе поначалу. Он ушел из правительства и все внимание сосредоточил на науке, мечтал об организации Академии наук, в которой он, разумеется, надеялся стать руководителем. (Позиция Креве в тот год, его посещение в Москве тогдашнего наркома иностранных дел В. М. Молотова и беседы с ним — все это сложные политические вопросы, в которых я не считаю себя компетентным. Но когда я прочитал заявление, которое во время гитлеровской оккупации националисты путем шантажа вынудили сделать Креве, многому я просто не поверил — бросались в глаза грязные замыслы вдохновителей...)

По вопросам организации Академии наук бесчисленное множество раз нам пришлось совещаться с Креве. Иногда мы разговаривали на центральной улице Вильнюса, в подвальчике, в ресторане, где готовили шашлы-

ки. До той поры я еще не пробовал этого кавказского деликатеса, и Креве уговаривал меня:

— Если ты хочешь иметь понятие об Азербайджане, Грузии и Армении, ты должен почаще заходить в этот ресторанчик. Здесь можешь получить шашлык, зажаренный на вертеле по всем правилам, по вкусу не отличающийся от тамошнего. И вино здесь что надо.

И правда, шашлык пахнул дымом и, приготовленный с луком и приправленный какими-то неизвестными травами, был настоящим лакомством. Особенно если его запивать хорошим сухим вином.

Винцас Креве хорошо знал научный мир нашей республики и его проблемы. Я заметил, что он с большим упорством осуществляет свою идею — набирает нужных людей, планирует структуру Академии. В подготовке всей сложной документации, которую впоследствии надо было представить Совету Народных Комиссаров, Креве, насколько помню, помогли опытные работники нашего Комиссариата. По вопросам Академии приходилось разговаривать с Креве и во время частых поездок в Каунас. Креве продолжал преподавать в Каунасском университете, а мне в Каунасе приходилось бывать на заседаниях Совета Народных Комиссаров. У Креве был небольшой автомобиль устаревшей марки, но в Каунасе я обычно забирал его в свою машину. Ездить с ним всегда бывало интересно. Нередко мы сворачивали на непривычные дороги, — например, через Тракай и Аукштадварис. Креве без устали рассказывал о различных исторических событиях, связанных с этими местами, и, кстати, радовался тому, что советская власть сразу же позаботилась о реставрации Тракайского замка (в нашем Наркомате были созваны литовские и польские специалисты, выделены средства и начаты работы, которые прервала война; сейчас эти работы успешно продолжаются).

Как-то мы остановились в городке Езнас, и Креве тросточкой, с которой он не расставался, долго и подробно показывал мне место, где когда-то стоял дворец вельмож Пацов, выстроенный чуть ли не по образцу Версаля и имевший триста шестьдесят пять окон, двенадцать ворот и пятьдесят две двери, то есть столько, сколько в году дней, месяцев и недель.

В этих частых поездках пришлось поближе познакомиться с характером Креве.

Как-то перед нами по большаку ехал грузовик, поднимая тучи пыли. Наш шофер погудел ему, но водитель грузовика не обратил внимания — едет посередине дороги, да и только. Я видел, что Креве начинает сердиться — сжимает свои кулачки и гневно морщится. Только через добрых полчаса нам удалось обогнать машину и вырваться вперед. Вдруг Креве остановил автомобиль, выскочил из него и, встав посреди дороги перед приближающимся грузовиком, принялся размахивать руками, подняв вверх тросточку. Я не понял, зачем он это делает. Грузовик остановился, шофер тоже выскочил из кабины, и я услышал, как Креве сердито кричит:

— Ты что, с ума сошел? Ведь знаешь, кто тут едет...

Я не расслышал, что ответил шофер. Креве вернулся в машину и еще долго возмущался беспорядком на дорогах и нахальством шофера: мол, каждый грузовик обязан пропустить вперед легковую машину, да еще правительственную! Откровенно говоря, такое волнение Креве показалось мне преувеличенным и даже комичным, но оно соответствовало характеру писателя, упорному, не уступающему ни в чем, хотя вообще-то ласковому и доброму.

Ко мне Креве всегда относился добродушно. Но однажды он, кажется, порядком на меня рассердился. Дело обстояло так. Я обмолвился, что в нашем Комиссариате работает опытный главный бухгалтер, который умело распоряжается финансами, составляет сметы и отлично проводит все финансовые операции. Это я сказал вскользь, между прочим. Но Креве не забыл о моем рассказе. Однажды, когда мы ехали с ним в Каунас, он начал просить, чтобы я уступил этого бухгалтера будущей Академии наук. Зная, что в таком многоотраслевом учреждении, каким тогда был наш Комиссариат, без опытного бухгалтера можно сломать шею, я не согласился. Но Креве не успокоился. На эту же тему он разговаривал бóльшую часть дороги, используя все возможные и невозможные аргументы. Я держался за свое. Креве волновался, нервничал, даже переменился в лице. Но я, видя настойчивость своего бывшего профессора, тоже заупрямился. Почувствовав, что ничего не выйдет, Креве вдруг замолк и перестал отвечать на мои вопросы. Съежившись в углу машины, он так и не проронил ни слова до самого Каунаса. Когда в Каунасе мы остановились у его квар-

тиры на аллее Видунаса и он вышел из машины, я спросил, когда заехать за ним в Вильнюс. Но Креве не ответил и, даже не подав руки, ушел. Я был удивлен и чувствовал себя неловко, но я ведь и правда не мог удовлетворить его просьбу... Целый месяц Креве избегал меня, да и я, — как теперь вижу, напрасно, — не торопился снова наладить с ним дружеские отношения.

Подготовительные работы кончились, и в январе 1941 года правительство приняло решение об учреждении Академии наук Литовской ССР. Первым президентом Академии, как и можно было ожидать, в апреле избрали Винцаса Креве, а первые заседания проходили в библиотеке Врублевских, в теперешнем читальном зале библиотеки Академии наук. Начало было весьма скромным, — когда правительство утвердило Устав Академии, несколько виднейших ученых республики стали ее членами и членами-корреспондентами, и началась дальнейшая организация научного учреждения, уже не на бумаге, а в жизни.

Так или иначе, основание Академии наук было одним из крупнейших достижений нашей культуры того времени. То, о чем много лет мечтали в буржуазной Литве люди науки, стало явью. (Конечно, никто из тех, кто участвовал тогда в организации Академии наук, даже отдаленно не могли себе представить, что она, несмотря на разрушения войны и оккупацию, вырастет в большое учреждение национальной культуры, влияние которого будет ощущаться во всей жизни республики.)

МИНСК И ЧИТА

Вернемся немного назад.

Первое полугодие новой республики подходило к концу. В нашей жизни многое изменилось. Передовицы газет призывали срочно готовиться к Декаде литературы и искусства. Каунасский драматический театр ставил «Мещан» Горького, «Спекулянтов честью» Паньоля, в опере шли «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Паяцы», «Корневильские колокола». В кино показывали уже виденные и еще неизвестные советские фильмы — «Мы из Кронштадта», «Человек в футляре», «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Последний табор». Литва впервые

вместе со всей страной отпраздновала годовщину Октябрьской революции. Все еще непривычными казались демонстрации с портретами вождей, красными знаменами — их ведь не разгоняла полиция. Реакционеры, не успевшие вслед за Сметоной удрать на Запад, сидели в своих квартирах, тихие, спокойные, чего-то выжидали, — без сомнения, им казалось, что положение еще не устоялось. Эти «бывшие люди» перестали ходить в наркоматы, — они знали, что положение не изменишь, не вернешь национализированное имущество и прежние привилегии. Я помню дамочку, в полуподвале пышного особняка которой я когда-то жил. В первые дни новой власти она пришла ко мне жаловаться, что ее слуги и дворники, такие послушные и вежливые раньше, начали бунтовать и не слушаются своей повелительницы. Увидев, что меня не растрогаешь и не докажешь своих прав, она вышла из моего кабинета и больше не появлялась...

Перед Новым годом каунасская опера показала новый спектакль — «Тихий Дон» И. Дзержинского, в котором пел Кипрас Петраускас.

Оба каунасских театра отпраздновали свое двадцатилетие. Они находились в ведении нашего Комиссариата, и пришлось приложить немало усилий, чтобы эти юбилеи отметить достойно.

В декабре мы с Цвиркой побывали в Минске, на тридцатипятилетнем юбилее творческой работы белорусского поэта Янки Купалы. Здесь мы впервые были в гостях у писателей братского народа. Завязывались знакомства с новыми людьми; мы уже много слышали о Максиме Танке, вильнюсце, друге наших вильнюсских писателей, познакомились и с новыми людьми — Петрусем Бровкой, Петром Глебкой, Михасем Лыньковым, Кондратом Крапивой, Филиппом Пестраком (он тоже жил в Вильнюсе и сидел в вильнюсской тюрьме), с детским писателем Янкой Мавром, который жил в Литве еще в 1905 году. Помню торжественное заседание в огромном Минском оперном театре в честь юбиляра, которое началось почему-то очень поздно, почти в полночь (на нем мне пришлось поздравлять юбиляра от имени наших писателей). В президиуме рядом с нами, литовцами, сидели гости из Москвы — поэты Алексей Сурков и Сергей Городецкий, представители Украины и других республик. Помню вечер в доме поэта, где хозяева угощали нас различными

блюдами и напитками, а гости — нескончаемыми тостами и веселыми рассказами. Уже тогда нас очаровали добродушие, чуткость, свойственные белорусам, их большая симпатия к Литве. Интересные беседы были у нас с хозяином и его женой Владиславой, которую все называли «тетей». Она знала многих литовских деятелей старшего поколения.

Никто из сидящих здесь не мог и подумать о том, что через каких-нибудь полгода в огне войны погибнет этот гостеприимный домик и большая часть всего Минска, что Янка Купала, как и мы, станет беженцем...

Минск тогда казался типичным губернским городом, — только в центре возвышался огромный дворец правительства, в котором, кажется, находились все комиссариаты Белоруссии, и новые, законченные и недостроенные, высокие дома, а по окраинам город, как и наш Каунас, был застроен деревянными домиками. Правда, здесь не было таких лачуг — Бразилки, какие тогда уродовали облик Каунаса.

В минской гостинице, едва проснувшись и включив радио, я услышал известие, которое удивило и обрадовало, — меня выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Я услышал фамилии других кандидатов — Винцаса Креве, Саломеи Нерис, Александраса Гудайтиса-Гузявичюса *,генерала Винцаса Виткаускаса *, Марии Василяускайте, профессора Владаса Кузмы *, Изабеле Лаукайтите * и других моих хороших знакомых.

Перед самым Новым годом в моей квартире в Вильнюсе зазвонил телефон. Я поднял трубку и услышал вначале неясный стрекот, а потом четкий мужской голос.

— С вами говорит сотрудник редакции газеты «Забайкальский рабочий» из города Читы, — представился мой невидимый собеседник. — Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. У нас есть просьба. Не могли бы вы нам коротко рассказать о просвещении в Советской Литве?

Без карты я не мог точно себе представить, где находится Чита, — я не знал, что она почти в два раза дальше от Литвы, чем Мадрид, почти на таком же расстоянии, как Нью-Йорк.

Корреспондент газеты сказал, что он будет стенографировать все, что я расскажу, и что он хорошо меня слышит. Я тоже отлично разбирал его голос, когда он меня

прерывал, уточняя ту или иную деталь. Когда разговор был закончен, корреспондент спросил:

— Какой у вас теперь час?

Я ответил, что восемь часов вечера.

— А у вас?

— В Чите утро. Сотрудники собираются в редакцию. А какая в Вильнюсе температура?

— Несколько градусов мороза.

— А у нас тридцать пять ниже нуля по Цельсию.

Мы еще раз поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Я попросил, чтобы редакция прислала мне номер, в котором будет напечатано интервью. После Нового года я получил эту газету. Наверху страницы я увидел схематический рисунок того пути через множество городов, по которому проходил наш разговор. Ниже — само интервью. Я удивился, что весь мой рассказ был передан довольно точно, без особых ошибок. Взяв карту Советского Союза, я еще раз мысленно отправился в далекую Читу, все еще с трудом привыкая к масштабам нашей новой родины.

Новый, 1941 год мы встретили в Каунасе, в Оперном театре. В традиционной «Травиате» Альфреда пел Кипрас Петраускас. На встрече Нового года актеров и сотрудников театра приветствовали руководители правительства — Палецкис и Гедвилас. Было много душевных улыбок, тостов, поздравлений. Последнее полугодие по обилию впечатлений, трудов, замыслов равнялось прежним десятилетиям. Настроение всех собравшихся было удивительно безмятежным, никто и не подумал, что следующий Новый год многие встретят далеко от Литвы, лишенные дома, родных, близких...

ДЕЛА, ВСТРЕЧИ, КУРЬЕЗЫ

1941 год начался с подготовки к выборам в Верховный Совет СССР. Наша республика уже имела все свои органы власти и теперь должна была отправить представителей во всесоюзный парламент. Мою кандидатуру выдвинул город Мажейкяй. Я помню долгий путь в этот пограничный с Латвией город на поезде, встречи с местными представителями Советской власти, учителями, предвыборные митинги, — я говорил о делах республики, о перспективах, о великих преобразованиях. Жители Мажей-

кяй и его окрестностей показывали мне свои школы. Было видно, что нужны новые школьные здания, — старые чаще всего были деревянные, обветшалые, они плохо обогревались, не хватало помещений для новых классов. Учителям работать здесь трудно — душно, тесно, да и их собственные квартиры в домах случайных хозяев не годятся для культурной жизни. Но меня радовало, что на митингах, в которых я участвовал, активно выступали крестьяне и учителя, они говорили с пылом и убеждением — за Советскую власть, за новую Литву. Потом они пригласили меня в местный музей, который поразил богатством экспонатов, — здесь было множество любопытных этнографических и исторических древностей, собранных и расположенных с большой любовью. Одно это показывало усилия местной интеллигенции просвещать свой народ, ее уважение к документам жизни, горя, борьбы и творчества народа. После встреч с избирателями я вернулся, словно вдохнув чистого воздуха... Оказывается, и этот далекий уголок республики думает и живет теми же делами и заботами, как и наш Вильнюс, Каунас... В Мажейкяй завязалось знакомство с крестьянином Йонасом Тауринскасом, который, как я узнал, вместе со многими революционерами раньше работал в подполье, а теперь энергично взялся за организацию новой жизни. Тауринскас казался рассудительным, деятельным человеком, четко представляющим себе, куда направлять усилия своих земляков. (Этот прекрасный человек и замечательный революционер в начале войны эвакуировался в глубь Советского Союза и, не дожив до конца войны, умер в Казани.)

Выборы в Верховный Совет СССР состоялись 12 января. В тот день я находился и голосовал в Вильнюсе. Насколько можно было судить, выборы прошли еще более организованно, чем в прошлом году в Народный Сейм. Вместе с другими меня впервые выбрали депутатом.

Уже в конце следующего месяца мы собрались в знакомом зале заседаний Кремля. В Совете Союза по вопросам бюджета Литвы поручили выступать Мечису Гедвиласу, а в Совете Национальностей — мне.

Ни тогда, ни раньше, ни позднее — я никогда не чувствовал себя по призванию общественным или государственным деятелем. С юности я мечтал быть писате-

лем — пускай самым скромным, но только писателем. Эта работа всегда привлекала меня, восхищала, казалась полной смысла. Мне даже в голову не приходило, что придется выполнять такую работу, которая свалилась на меня теперь. Доверие других, несомненно, приятно человеку. Но на свои новые обязанности я смотрел как на временное явление и собирался при первом удобном случае отказаться от них и снова отдаться писательству. Думал: слишком уж серьезная и ответственная теперь пора, я не имею права отказываться от порученной мне работы. Но наверняка вскоре появится больше кадров (это было новое, неизвестное нам раньше слово) и я смогу вернуться к своему письменному столу...

На сессию и обратно мы ехали поездом. Представился случай поближе познакомиться с другими депутатами и разговориться с ними. Каждый рассказывал что-нибудь из своего опыта последних месяцев, из встреч и разговоров с людьми о том, как раздавали землю, национализировали предприятия, — все было интересно, дополняло сведения, которые имел сам. Во время сессии снова встретил знакомых депутатов различных республик, видных писателей, ученых, исследователей Арктики... В залах Кремля и в гостинице «Москва» в те дни собрался — можно сказать без преувеличения — тогдашний культурный и интеллектуальный цвет страны.

Перед сессией, в начале февраля, в Каунасе, в бывшем зале Дворца офицеров, проходил Пятый съезд Коммунистической партии Литвы. После долгих лет нелегальной деятельности, после преследований и разгромов, Коммунистическая партия полгода назад вышла из подполья и стала руководить жизнью новой республики. Теперь съезд проходил не в глубоком подполье и не за границей, как было раньше, а в самом центре Каунаса.

В просторном зале сидели видные наши революционеры и рядовые члены партии, недавно вышедшие из тюрем, концлагерей, жившие в ссылке, сражавшиеся в Испании. Теперь они собрались, чтобы подытожить пройденный путь, главное — несколько месяцев свободы, бурных, деятельных, а кроме того, и конкретно поработать — обсудить и принять народнохозяйственные планы республики на 1941 год. Я не был членом партии и участвовал в работе съезда на правах гостя. Для меня это было настоящей школой принципиальности и требовательности.

Ораторы мало говорили о достижениях, хотя они были налицо, — прежде всего они говорили о том, что не сделано или сделано плохо. Пять дней продолжался съезд, и все пять дней на нем царила такая же атмосфера товарищества и откровенности. В зале во время заседаний и в фойе во время перерывов можно было видеть представителей творческой интеллигенции — писателей, композиторов, актеров. А люди, которые только что с трибуны высказывали своим товарищам горькие, даже, казалось бы, безжалостные слова, после весело разговаривали с этими же товарищами или пили вместе пиво в буфете.

На Западе продолжалась война. Многие государства Европы уже были повержены фашистской Германией. Никто не мог гарантировать, что, опьянев от легких побед, Гитлер не нарушит пакт с Советским Союзом и не направит свою военную машину на восток. Публично об этом не говорили, но в Литве каждый чувствовал нависшую угрозу. И когда тот или иной оратор говорил о необходимости укреплять военную мощь державы, каждому было ясно, кто именно наш главный враг и от кого нам придется защищаться.

В преддверии съезда было подписано соглашение между Советским Союзом и Германией о репатриации граждан. Из Литвы могли уехать лица немецкого происхождения, а из Польши, в основном из населенного литовцами «сувалкийского треугольника», через Калварию перебирались в Литву наши соотечественники. Это были в основном крестьяне, имевшие в Литве родственников и мечтавшие поселиться здесь. Между тем из республики улепетывали не только каунасские немцы — уехала и часть «бывших людей», которые узами брака были связаны с немцами или другими путями могли доказать (подчас и обманом) свое немецкое происхождение.

Классовая борьба не кончилась. Национализация подсекла корни капиталистов, но в деревне осталось в неприкосновенности кулачество, а в городах — мелкая буржуазия и духовенство. Общество самым наглядным образом делилось на две части — одна сотрудничала с советской властью, другая, не смея открыто протестовать, тем не менее проявляла враждебность, распускала всевозможные слухи.

А жизнь шла своим чередом... Кто-то рождался, кто-то умирал... Кто-то женился, кто-то разводился; одни

любили, другие ненавидели; одни думали о благе республики, другие пытались побыстрее приспособиться к новым условиям и извлечь из них для себя выгоду... В Комиссариате перед моими глазами изо дня в день разыгрывалась извечная человеческая комедия...

Скромнее всех вели себя учителя. Дела у них были самые обыденные — просили перевести на другое место или оставить на прежнем. Но приходили и граждане, желавшие получше устроиться или хлопотавшие за своих знакомых... Пришел как-то средней руки актер и начал доказывать, что другие его затирают, получают лучшие роли и жалованье, а у него ведь большие способности, не сравнить с каким-нибудь Кипрасом Петраускасом или Борисасом Даугуветисом *... Профессор Игнас Йонинас * долгими часами изводил меня, — дескать, если я не поставлю на место вильнюсского архиепископа Ялбжиковского (как будто это было в моих силах), то произойдут страшные вещи... Кроме того, профессор почему-то непременно хотел, чтобы сторожам университета специальным указом вменили носить форменные куртки с блестящими пуговицами. Увидев, что я не внимаю его предложениям, он, недовольный, покидал мой кабинет. Балис Сруога зашел ко мне по серьезному делу — он хотел написать для московской Декады пьесу о восстании крестьян Шяуляйской экономии и просил на время освободить его от занятий в университете; получив отпуск, он энергично взялся за дело; так родилась его пьеса «Доля предрассветная».

Несколько раз заходил Витаутас Монтвила — то рекомендовал прогрессивных учителей, то хлопотал о коллективном сборнике «Первое Мая», который готовил вместе с Жилёнисом, то заботился о школьных хрестоматиях (изданию их помешала война).

Была еще и такая история.

Однажды мимо курьера, который докладывал о посетителях, в мой кабинет в Вильнюсе ворвалось шестеро или семеро рослых, здоровенных парней. Выстроившись шеренгой, они двинулись к моему столу. Наконец остановились в нескольких шагах от меня. Я встал и, с удивлением глядя на них, ждал, что они скажут.

— Сталинская Конституция гарантирует нам... — громко сказал один, сделав еще шаг вперед.

— Подождите, ребята. Скажите: кто вы такие и по

какому делу? — попытался я было выяснить цель их посещения.

— Конституция!.. — крикнул другой, и я заметил, что все они в крайнем раздражении.

Слово зá слово, выяснилось, что они «актеры» недавно основанного Каунасского музыкального театра. Художник Стяпас Жукас и музыкант Антанас Макачинас (умерший в Вильнюсе в 1954 году) собрали их, рабочих каунасских фабрик, и решили устроить театр. Я сразу же понял, что Жукас, не отличавшийся особенными организационными талантами, поддался на уговоры Макачинаса и взялся не за свое дело. Он не подумал, что на создание и содержание театра понадобятся немалые средства. Театры республики тогда находились в нашем ведении, и наряду с действующими мы создавали и новые театры. Но о Каунасском музыкальном, который возник, кажется, при так называемом Агитпропе, я ничего не знал... Прошло месяца три, набранные с фабрик «артисты» забеспокоились, не получая зарплаты и не зная, как им придется дальше жить. По-видимому, это их и заставило бросить все и поехать в Вильнюс, в Наркомат просвещения.

— Подождите, ребята, — сказал я им. — Меня удивляет ваше посещение. Мы официально ваш театр не организовывали, вас не набирали и ничего вам не обещали.

Тогда первый из них, рослый, статный красавец, снова выступил вперед, протянув руку к столу, и, повысив голос, крикнул:

— Но ведь Конституция нам гарантирует...

Увидев, что у этих парней скоро лопнет терпение, я сказал:

— Езжайте-ка вы лучше домой и скажите своему руководству — пускай явится сюда. Я выясню, что к чему.

На следующий день в мой кабинет вошел Стяпас Жукас.

— Ого, у тебя тут роскошно! — сказал он, оглядевшись, и сел напротив меня. Он дышал с трудом — его астма угрожающе прогрессировала. — Мои ребята говорят — хотел со мной побеседовать...

— Что вы там за кашу заварили в Каунасе? — довольно резко спросил я, вспомнив вчерашний разговор с делегацией. — Оторвали людей от станка, занимаете их время, а теперь не платите денег — вчера они тут у меня

буянили. Сомневаюсь, чтоб из этих молодцов вышли артисты...

— Я тоже сомневаюсь. — Стяпас закашлялся и с трудом отдышался. — Макачинас и другие уговорили... Говорят, из простых рабочих создадим театр... Пускай все видят, чего стоят рабочие...

— А твой Макачинас подумал, что, прежде чем петь, нужно окончить консерваторию, нужно серьезно работать и серьезно учиться — да еще несколько лет подряд?

— Мы их научим, — говорил Стяпас. — Научим... Конечно, учить надо... Без этого ничего не выйдет...

— Научите... — Я все еще продолжал сердиться. — А кто им будет жалованье платить все это время, на что они жить будут, вы подумали?

— Знаешь, об этом-то мы и не подумали, — откровенно признался мой собеседник, виновато глядя на меня. — Будь добр, выдели денег, заплатим им за эти три месяца, а потом...

— Что потом? Потом будет то же самое... Когда открывали свой театр, у меня не спрашивали...

— Трудности роста, — оправдывался Стяпас. — Профсоюзы обещали нам, но у них сейчас денег нет. А ведь прекрасно — рабочий театр, понимаешь? Не каких-нибудь там господ, а самих рабочих...

— Но будет ли толк?

— Непременно будет..., — ответил Стяпас. — Непременно... Увидишь. Главное, выбраться из временных затруднений...

Не придумав ничего лучшего, я пообещал заплатить «артистам» жалованье за три месяца, если с этим согласится совет недавно учрежденного при нашем Наркомате фонда культуры, и Стяпас Жукас, повеселев, попрощался:

— Вот спасибо, брат, а то черт знает что, никакого покоя из-за этих артистов. Ни днем, ни ночью. Просто на улицу выйти нельзя. Того и гляди, что поколотят...

— Кого?

— Ясно, кого, — нас, организаторов...

Стяпас попытался рассмеяться, но ни мне, ни ему смешно не было.

Жалованье «актерам» выдали, но через несколько дней я узнал, что театр все же закрылся, а парни разбрелись — многие, наверное, вернулись к прежней работе.

(Когда я гляжу на ранние городские пейзажи Стяпаса Жукаса — на его «Бразилку», «Улочку», «Предместье», — я всегда вспоминаю деревянный домик в Жалякальнисе, неподалеку от Художественного училища, где жил когда-то художник. Я не помню ни названия улицы, не нашел бы и этого покосившегося, облупленного дома, но по сей день перед моими глазами стоит промозглая комната с заиндевевшими окнами, железная колченогая койка, два табурета, некрашеный шаткий столик. Эту комнатушку от множества квартир пролетариев Каунаса отличало разве то, что на стенах висели карикатуры и каунасские пейзажи, в углу стояли полотна, а на столе, рядом с объедками, громоздились бутылочки с тушью, перья, кисти, краски.

Не помню, по какому делу я зашел как-то к своему знакомому. Кажется, он хотел показать мне свои новые работы — острые, хлесткие сатиры на каунасских буржуев, на тех буржуев, которые тогда управляли капиталом, а значит, и культурой, которые жирели и загнивали, может, предчувствуя, что близок конец их господства...

Стяпас Жукас показывал мне листы с новыми карикатурами, и я, не раз уже видевший его произведения, думал, что молодому художнику удались образы угнетателей — помещиков, капиталистов, кулаков, ксендзов, высоких чиновников и дамочек. Когда я рассматривал работы, художник едва слышно смеялся, словно сам дивился тому, как метко ему удалось передать черты этих жалких личностей.

Я смотрел на эти листы с выразительными рисунками, а Стяпас Жукас, облокотившись на стол, то подправлял нос какому-нибудь «герою» — и нос становился еще выразительней, то сажал другому на голову котелок — и рисунок сразу оживлялся. И все время тихонько посмеивался, словно восхищаясь своей работой, будто нашел то, что долго искал.

Со Стяпасом Жукасом, как и со многими учениками Художественного училища, я был знаком уже довольно давно. Дружба с молодыми художниками в основном шла через Пятраса Цвирку, а иногда и через других учеников училища, живших в общежитии «Жибурелис» или снимавших углы где-то в городе.

Особенно часто я встречался с Жукасом в 1931 году, когда в Каунасе действовал спортивный клуб рабочих

«Надежда». Стяпас Жукас сразу же почувствовал, что нужен именно такой художник, как он. Для стенгазеты клуба «Юный пролетарий» Цвирка, Нерис и я писали статьи, стихи, готовили переводы революционных песен, а Стяпас Жукас с Пятрасом Тарабилдой * рисовали карикатуры. Одни из них Стяпас готовил дома, а другие создавал тут же, в клубе, в окружении рабочей молодежи, которая с великим интересом следила за работой художника. Пролетарский дух клуба был по душе художнику, он чувствовал себя здесь в своей стихии. Работал он с огромным пылом, каждый раз находил все новые типы для своих карикатур, в новых ракурсах изображал фабрикантов и нанимателей, фашистов и клерикалов, кулаков и полицейских, международных поджигателей войны. Держал себя всегда он тихо, — никто не замечал, когда он появлялся в клубе и когда снова исчезал. Я встречался со Стяпасом Жукасом и позднее, когда его остроумные карикатуры все чаще появлялись в оппозиционной печати. В рисунках художника чувствовалась зрелость. Без сомнения, он многому научился у советских художников Кукрыниксов, у карикатуриста Бориса Ефимова, работы которых попадали в Каунас через советскую печать — газеты, журналы, альбомы. В работах Стяпаса, на мой взгляд, можно найти и отголоски творчества знаменитых западных художников революционеров — Георга Гросса и Франца Мазереля. Это не означает, что Стяпас Жукас подражал им, нет. Но эти художники были хорошо известны во многих странах, в том числе и в Литве. Во всяком случае, мы, сотрудники «Третьего фронта», интересовались ими и любили. По-видимому, любил их и Стяпас Жукас.

Обширное наследие художника (в 1951 году был издан отдельный альбом) до нас дошло далеко не полностью. Не берёг своих работ и сам автор. Очень много рисунков погибло под карандашом фашиствующих цензоров, так и не дойдя до читателей, многие уничтожила война.

В последние годы буржуазной власти Стяпас Жукас особенно сблизился с революционными художниками, которые сплотились вокруг нелегального журнала сатиры и юмора «Шлуота».

Жукас тогда был неоспоримым авторитетом для своих коллег художников и левых писателей. Все следили

за его работами, как только они появлялись в печати, все восхищались остроумием художника, его четкой политической направленностью, все хохотали, видя его карикатуры, метко издевающиеся не только над явлениями жизни буржуазной Литвы, но и над фашизмом, международной реакцией. Левые писатели часто встречались со Стяпасом, который работал не покладая рук, не боясь ни обысков, ни арестов, не раз выпадавших на его долю. И сам Жукас нередко навещал левых писателей. Я уже писал о его посещении Казиса Боруты в Паесисе.

В 1940 году, как только рухнул режим литовского фашизма, Стяпас Жукас, как и другие лучшие представители литовской интеллигенции, без колебаний вступил на новый путь. Как художник, он весь свой талант отдал новой советской республике, став серьезным карикатуристом не только внутренней, но и международной темы. Своими талантливыми работами он высмеивал прошлое и прославлял победу трудящихся. В этот год я был очень занят и не часто встречался с художником — разве что в Каунасе, в Доме писателей, куда он приходил на дискуссии или просто на встречу со старыми друзьями. Когда другие спорили, Стяпас Жукас обычно слушал, редко вступая в разговор.)

Очень частым гостем был у меня Пятрас Цвирка. Его заботили писательские дела, материал недавно основанного журнала «Раштай» и гонорары для авторов; кроме того, он просил назначить пособие для больных писателей, в первую очередь для Казиса Банкиса. Я радовался, когда мог немного помочь тем, кто нуждался в поддержке.

Пятрас Цвирка, как всегда, смешил меня своими бесконечными веселыми историями. Вот он только что побывал у моего заместителя Людаса Гиры.

— Знаешь, открываю дверь кабинета (на мой стук никто не ответил) и вижу — Гира повернулся куда-то к окну, меня не замечает и изо всех сил кричит по-русски: «Первая буква Л. ...Да, да, Лев, Лев, понимаете, Лев! Нет, нет, не Елена, а Юрий, вторая буква ю... Да, да, повторяю — Людас Константинович... Да, да, правильно, Людас Константинович. Гира, Гира, теперь по буквам: гимн... да, да, гимн или гимназия, потом Иванов, понимаете?» И так кричит в трубку, так ей кланяется, что ни-

чего не слышит, даже того, что я уже подошел и стою у него за спиной...

— А с кем он там разговаривает? — удивился я.

— С Минском, конечно! — ответил Цвирка. — Как будто не знаешь, что он договорился с какой-то белорусской газетой и каждое утро передает туда новости. — И Цвирка опять стал изображать Гиру: — «Да, да, очень хорошо, все очень хорошо, вот, значит, все взрослые... понимаете, взрослые все учатся... Настроение прекрасное, понимаете... Да, да, так и напишите...»

— М-да!.. Я ничего не знаю об этой его новой должности — корреспондента минской газеты...

— Он, кажется, еще передает известия и в Киев...

Как во всем, так и в этом Гира оставался энтузиастом...

Я махнул рукой. Гира был значительно старше меня, я годился ему в сыновья, и было бы бестактностью делать ему замечания из-за таких, как мне казалось, мелочей.

(В конце месяца пришел главный бухгалтер и показал счет за разговоры по телефону. Сумма меня огорошила. Бухгалтер, потупя глаза, немного смущаясь, сказал:

— Львиная доля счета — за междугородные переговоры вашего заместителя товарища Гиры...

Волей-неволей пришлось выступить в роли «скупца» и приказать всем служащим сократить количество междугородных разговоров...)

...В Наркомат начали приходить странные письма. Я бы не обратил на них внимания, если бы они не были подписаны довольно известным тогда литератором Стасисом Дабушисом *. Дабушис писал научно-популярные книжки, кое-что переводил, безжалостно переиначивая на литовский лад имена и места действия, но больше всего прославился толстой книгой о собственном вкладе в литовскую культуру. Теперь он жаловался — жил, мол, в Паневежском уезде, в поместье Упите, у помещика Бистрамаса, где были хорошие условия для работы, а вот комиссар, назначенный новой властью, переселил его в плохую комнату. Дело не стоило выеденного яйца, но мне стало жалко человека, и я позвонил наркому земледелия Матасу Мицкису *. Несколько дней спустя получаю новое послание от Дабушиса: да, его вернули в прежнюю

комнату, зато комиссар, который поначалу казался ласковым и симпатичным, вдруг рявкнул на супругу Дабушиса (в своем письме он назвал ее «совершенством»), да так, что та лишилась чувств, а потом, придя в себя, забрала их гениального отпрыска, уехала с ним в Паневежис и устроилась в комнатушке рядом с уборной, откуда идет дурной запах. Когда Дабушис поехал за ней, она, рыдая, отказалась вернуться в Упите, пока оттуда не выгонят комиссара. И Дабушис просил меня выселить из поместья комиссара... Мне уже стало не по себе. В конце концов, какое мое дело? Но письма шли одно за другим, полные всяческих просьб, пожеланий, требований. Наконец пришло письмо, написанное в трагических тонах. Проситель снова перечислял все свои заслуги, о которых не забывал и в прежних письмах, говорил, что очень несчастен, почти или даже полностью ослеп, и просил меня... выделить ему пособие в пять тысяч рублей. Самое любопытное, что из этой суммы он хотел получить на руки только три тысячи — две просил передать на нужды комсомола. Я показал это послание Юозасу Жюгжде. Тот рассмеялся и сказал: «Погодите, я недавно обнаружил у себя в столе прошение того же Дабушиса...» И Жюгжда принес из своего кабинета документ, адресованный министру буржуазного правительства, клерикалу Ляонасу Бистрасу. У него Дабушис тоже просил пять тысяч литов, причем на руки просил три тысячи, а две даровал на мессу в честь святого Антония...

НАРКОМЫ

Как я уже упоминал, почти все наркоматы и сам Совет Народных Комиссаров тогда находились в Каунасе. В Совете Народных Комиссаров, обосновавшемся в красивом двухэтажном особняке на улице Донелайтиса, где раньше находился буржуазный кабинет министров, очень часто проходили заседания, в которых приходилось участвовать и мне. Поэтому каждую неделю два, а то и три раза я ездил в Каунас.

Заседания теперь обычно вел Председатель СНК Мечис Гедвилас. Я познакомился с ним в марте или апреле 1940 года, когда мы — Цвирка, Шимкус, Марцинкявичюс, Жилёнис — побывали в Тельшяй на литературном вечере. Мечис Гедвилас, тогда директор больничной кас-

сы Тельшяйского округа и один из деятелей Народного фронта, член подпольной Коммунистической партии, руководил вечером, который носил явно антифашистский характер. После вечера Гедвилас пригласил нас к себе, где мы познакомились с его большой и очень дружной семьей. Из разговоров за ужином и после ужина стало ясно, что Гедвилас—непоколебимый антифашист, человек с широким кругозором, отлично разбирающийся не только в делах Литвы, но и в международной политике. В его квартире были все литературные новинки, в том числе много советских книг. Раньше Гедвилас работал в Тельшяй вместе со знаменитым адвокатом Александрасом Торнау *. В свое время в антифашистской газете «Жемайтис» с Гедвиласом сотрудничал и мой друг Жилёнис. Вот этот человек и руководил первым Советом Народных Комиссаров Литовской ССР. Заседания он вел живо, даже весело, с юмором, не позволял — как и Креве-Мицкявичюс — наркомам слишком долго выступать. Он любил точность, четкие аргументы и ясные решения. Энергичное лицо поначалу казалось угрюмым, но очень скоро ты привыкал к этому человеку и понимал, что он простой, искренний и дружелюбный. Я часто удивлялся его выдержке. Помню, как-то Совет Народных Комиссаров собрался поздно, уже около полуночи. С периферии были вызваны и все председатели уездных комитетов (или еще начальники уездов). Обсуждался бюджет республики. По-видимому, сама жизнь требовала срочно подготовить и срочно же обсудить его. Гедвилас председательствовал на заседании с обычной энергией. Наркомы и председатели уездных комитетов тут же просили слова и выражали свои финансовые претензии или делали замечания. Несмотря на все усилия Гедвиласа, заседание затянулось на несколько часов. Без сомнения, Гедвилас нечеловечески устал — ведь днем на него давил не меньший груз, чем на других. Но он не показывал своей усталости. Бесконечное заседание, которое закончилось уже на рассвете, он до конца вел бодро, остроумно, даже весело. И когда все кончилось, он вышел из зала таким же свежим, как будто только что начал рабочий день.

Я поближе познакомился и с некоторыми другими членами первого Народного правительства и Совета Народных Комиссаров.

Очень горячим, импульсивным человеком был министр

земледелия, потом нарком Матас Мицкис. Дела он решал очень быстро. Яро ненавидел помещиков — как старых, польских, так и новых, сметоновских. В речах любил приподнятый тон, бывал подчас патетичным. Смеялся от души, оглушительно, заразительно, но иногда впадал в угрюмое и раздраженное настроение. Это был агроном высокой квалификации, родом из-под Рокишкиса, разговорчивый, приветливый с людьми, остроумный человек.

Мягким и добрым характером отличался нарком обороны края, генерал Винцас Виткаускас. Он казался скорее дипломатом, чем воином. Когда-то, офицером царской армии, он участвовал в мировой войне. Вежливый, благовоспитанный, он в решающие моменты проявлял находчивость и волю. После возвращения Литве Вильнюса Виткаускас прибыл в него во главе литовской армии из Каунаса. Когда в Литве рухнул буржуазный строй и полковник С. Гаушас попытался вывести из Мариямполе гарнизон и уйти с ним в гитлеровскую Германию, Виткаускас резко воспротивился этому, и воины остались на родине. Генерал не отличался крепким здоровьем — его мучила астма. Этого подлинного патриота, в решающий исторический момент отшатнувшегося от вражеского лагеря и примкнувшего к своему народу, глубоко уважали как правительство республики, так и вся Литва.

Нарком юстиции и народный комиссар Повилас Пакарклис казался мне не столько политиком, сколько ученым. Каждый раз, когда я встречался с ним, он непременно заводил разговор о проблеме древних пруссов, о государстве крестоносцев и его походах против древней Литвы. Он любил рассуждать о филологических проблемах, хотя в этом оставался скорей любителем, чем специалистом. Биография и эволюция взглядов Пакарклиса были своеобразными, — в свое время он угодил в сметоновскую тюрьму как сторонник Вольдемараса *. Встретившись здесь с коммунистами и познакомившись с ними поближе, он со временем стал другом Советского Союза и искренним врагом фашизма. Это был простой человек, платививший за дружбу дружбой, не очень практичный в обыденной жизни, живший не повседневными делами, а своими научными теориями.

Наркомом местной промышленности был Мотеюс Шумаускас. Если упомянутые выше наркомы являлись интеллигентами, которых довольно широко знали еще в

буржуазное время, то он был из рабочей среды, на собственной шкуре познавший буржуазный «рай». Шумаускас по своей сути и воспитанию был типичным пролетарием, человеком большой энергии и упорства, дисциплинированным коммунистом, всей душой преданным советскому строю, для завоевания которого он отдал лучшие годы своей молодости. Со стороны можно было подумать, что Шумаускас бывает сердитым и раздражительным (в этом не было бы ничего удивительного, ведь он в своей жизни испытал столько горя, обид). Но, познакомившись с ним поближе, ты видел, какой это обаятельный, приветливый человек, добрый и справедливый к товарищам, но в то же время беспощадный к врагам.

Некоторое время в Народном правительстве работал нарком финансов Эрнестас Галванаускас*. Я знал его по Клайпеде, когда он был ректором нового Торгового института, а я — преподавателем. Все считали этого бывшего буржуазного дипломата хитрым человеком и хорошим организатором. Я полагаю, что и то и другое было правдой. Когда он вошел в правительство новой республики, это многим показалось очень странным, а кое-кто воспринял его поступок как желание определенной части буржуазной интеллигенции не повторять ошибок некоторых русских интеллигентов во время Октябрьской революции, когда они бойкотировали Советское правительство и погибли или оказались в эмиграции. Да и Галванаускас, по-видимому, не собирался всерьез работать в новом правительстве. Поговаривали, что у этого оборотистого политика за границей большие капиталы и плантации на острове Мадагаскар. Вскоре он исчез из правительства и — из Литвы. (Недавно эмигрантская печать сообщила, что Галванаускас, старый и больной, вернулся во Францию с Мадагаскара, освободившегося из-под французского владычества, и, потеряв имущество, умер... Я полагаю, что его жизнь сложилась бы иначе, если бы он остался в Литве и отдал бы свои знания и опыт финансиста своему народу...)

РАБОТА И УЛЫБКИ

Работа по ликвидации безграмотности и малограмотности постепенно приобретала более организованные формы. Совет Народных Комиссаров 22 февраля 1941 го-

да принял соответствующее постановление по этому вопросу. В ближайшие годы в республике нужно было ликвидировать безграмотность, а малограмотные должны были стать сознательными творцами социализма, грамотными людьми.

Новое Государственное издательство, которым теперь руководил Корсакас, развернуло широкую деятельность. Старые издательства и книжные магазины были национализированы. Позарез были нужны книги, отвечающие новым условиям, — как художественные, так и политические. Следовало срочно сплотить вокруг издательства авторов, набрать переводчиков, редакторов. Писатели, разумеется, не успели за столь короткий срок написать злободневные произведения. Поэтому выходили книги, подготовленные еще раньше. Вышли «Зять» Креве, «Сказка за сказкой» Цвирки, «Избранное» Нерис, второе издание моей «Ночи».

В недавно основанном Вильнюсском драматическом театре Ромуальдас Юкнявичюс поставил пьесу Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69». Это значительное произведение, изображающее события гражданской войны, дышащее революционной правдой, шло не только во всех городах Советского Союза, но было известно во многих странах. Талант Юкнявичюса в этом спектакле засверкал новыми гранями. Оказалось, что режиссер умеет вжиться в идеи и образы нового мира и выражает все это в волнующей пластической форме. (Позднее я не раз рассказывал о спектакле автору, Всеволоду Иванову, и он, вспоминая свою поездку в Литву еще в буржуазные годы, очень сожалел, что не видел постановку Юкнявичюса.)

Моя работа несколько облегчилась, когда в середине апреля при Совете Народных Комиссаров было учреждено Управление по делам искусств (начальником его назначили Михалину Мешкаускене). В ведение нового Управления перешли театры, филармония, музеи, библиотеки. Наш Комиссариат освободился от солидного груза, и мы могли сосредоточить свои усилия в других областях.

Хоть у нас и не хватало опыта, но его с лихвой возмещало рвение, и работа шла довольно последовательно. Все школы действовали. Вышли первые советские учебники, — например, «История СССР». Другие учебники го-

товились к изданию. Для детей мы начали выпускать иллюстрированный журнал «Генис», который выходит и по сей день. Был основан Фонд культуры — учреждение, о котором в буржуазные годы только мечтали прогрессивные интеллигенты. Целью его была срочная финансовая поддержка тех начинаний, которые не предусматривались в бюджете. В Фонд культуры средства поступали из пожертвований населения. Каждый мог внести деньги на счет, открытый в банке. Так как фамилии жертвователей публиковались в печати, то вносили деньги многие, особенно часто «бывшие люди», желавшие доказать свою лояльность новому строю. При Фонде культуры был создан специальный совет из представителей важнейших творческих организаций, который распределял средства. Многих писателей и художников удалось поддержать из тех средств. Насколько помню, деньги были выделены и Дому писателей в Вильнюсе, новым театрам, различным другим учреждениям. (Позднее все средства на культуру выделялись в бюджетном порядке, и Фонд культуры перестал существовать.)

Служащие Наркомата привыкли к своей работе, и она шла более гладко, чем вначале. Все поняли свои права и обязанности, знали, кто за что отвечает. Хоть и сильно уставали от больших нагрузок, все работали охотно, даже с вдохновением, — каждый видел, что его труд приносит радостные плоды. Но, конечно, не обходилось и без недоразумений, неувязок.

Кажется, после моего возвращения из Москвы, с Восьмой сессии Верховного Совета СССР, в мой кабинет вошел Людас Гира и стал с пылом рассказывать:

— Знаете, товарищ нарком, — он любил титулы, — просто сердце радуется... Все так и кипит, бурлит... Ко мне столько народу приходит со всякими идеями, что я не успеваю всех принять в кабинете... Принимаю на лестнице...

— Как это на лестнице? — удивился я.

— Вот хотя бы вчера... Ухожу после работы домой, а меня еще ждут человек двадцать... И я с ними на лестнице... У одних заявление приму, с другими по душам поговорю... По-семейному, без церемоний...

— Все-таки я попросил бы принимать посетителей в своем кабинете.

Но Гира, словно не расслышав моего совета, с прежним пылом продолжал:

— Сколько поляков ко мне ходит... На днях вот приходили с предложением открыть театры. Я подсчитал (вы же знаете, после войны много поляков приехало в Вильнюс из глубины Польши), что можно было бы открыть восемнадцать новых театров!..

— Восемнадцать театров? Но кто в них будет ходить? И кто сможет содержать столько театров?

— Ну конечно, восемнадцать польских театров для Вильнюса — многовато. Но все так хотят работать, просто горят, — объяснял Гира, — вот я и пообещал некоторым финансовую помощь...

— Но театры не входят в ваше ведение. Как вы могли?.. — начал сердиться я.

— Прошу прощения, товарищ нарком, что я не согласовал с вами. Как раз теперь я и намеревался с вами это дело утрясти...

— Товарищ Гира, мне очень неприятно, но я вынужден сказать вам, что вы выходите за рамки своей компетенции...

В другой раз он пришел ко мне в кабинет и доверительно сказал:

— Знаете что, товарищ нарком, под вечер в Вильнюс приезжает знаменитая польская писательница Ванда Василевская. Тайно, вы понимаете, — ведь ее мужа убили польские националисты... Надо ее встретить на вокзале. Ваша машина просторнее, вот я и хотел попросить...

— Хорошо, берите и встречайте...

В тот день машина мне была не нужна. Назавтра, немного задержавшись утром дома, я позвонил шоферу, чтобы тот приехал за мной на улицу Кудирки. Ответила его жена, сказала, что муж вчера куда-то уехал с Гирой и до сих пор не вернулся. Я позвонил шоферу Гиры, но и там получил тот же ответ. Неужели Гира так надолго — целый день и ночь — задержался на вокзале? Просто уму непостижимо! На работу я пошел пешком.

Только под конец рабочего дня в кабинете появился Гира.

— Где вы так долго пропадали? — не особенно любезно спросил я у него.

— Да, да, сейчас я вам расскажу... — ответил Гира

и скороговоркой, захлебываясь, начал длиннейшую историю.

Оказывается, на двух машинах — на моей и своей — он поехал на вокзал и там прождал несколько часов, а потом узнал, что Ванда Василевская из соображений конспирации едет в Вильнюс не поездом, а на автомобиле, откуда-то со стороны Бреста и Минска. Не долго думая, желая проявить вежливость и радушие, поэт решил встретить польскую писательницу где-то на полдороге. Они блуждали по литовским и белорусским дорогам, проездили всю ночь и все утро, но, так и не встретив нигде гостью, вернулись домой... (А Василевская почему-то вообще не приехала в Вильнюс.)

Мой шофер, отвозя меня после работы домой, дополнил живописными деталями ночную поездку по незнакомым дорогам. Было и смешно и грустно... Потому, что Гира всю эту бессмысленную езду по дорогам и проселкам затеял из лучших побуждений, как он говорил — на благо дружбы народов. Об этом происшествии Гира рассказывал так откровенно, искренне, что я ни на минуту не мог усомниться в добрых намерениях и джентльменстве своего заместителя.

В жизни нашего Наркомата веселых и грустных историй было хоть отбавляй. Может, и не стоит все тут рассказывать. Но трудно удержаться и не упомянуть об одном сотруднике, с которым и позднее часто приходилось встречаться и который всегда поражал своим остроумием, находчивостью, веселыми шутками.

Как-то в мой кабинет вошел тощий, высокий, голубоглазый человек. Он сказал, что хотел бы получить службу, если можно, в центре, потому что живет в Вильнюсе. Я спросил, кем он работал раньше, он спокойно ответил:

— Я был начальником полиции...

Я отрезал, что для бывших начальников полиции в нашем Наркомате мест нет. Тогда гость стал рассказывать про себя подробнее, и тут выяснилось, что начальником полиции он был в Вильнюсе при Народном правительстве, а в досоветские годы работал учителем, хотя и редко, поскольку, как коммунист, долгие годы провел в тюрьмах. Рассказывал он обо всем этом обстоятельно и наконец сказал, что его зовут Адомас Чиплис *.

Я назначил его инспектором по особым поручениям, то есть посылал его в школы, если надо было расследо-

вать ссоры, недоразумения между учителями. Адомас Чиплис основательно выполнял порученное ему задание, а вернувшись, докладывал о поездке, украшая рассказ комическими эпизодами и деталями. Это мне очень нравилось, — пожалуй, в этом виновата моя писательская жилка...

По сей день помню многие из его рассказов, но особенно запала в память одна история.

— Всякие приключения бывали, когда я работал в Вильнюсе начальником полиции, — как-то на досуге рассказывал Чиплис. — Пришла ко мне какая-то роскошная польская дама. Взволнованная, растроганная, но весьма благовоспитанная. Прежде всего она спросила у меня, на каком языке удобнее всего со мной беседовать. Я ответил, что по-французски. Дама, не моргнув глазом, повела длиннейшую историю, из которой я понял только одно — какие-то негодяи украли у нее шубу. Правда, про шубу она сказала, как только вошла, по-польски, а теперь повторяла по-французски, подкрепляя жестами, голосом, мимикой красивого озабоченного лица. Рассказывала она очень долго, не меньше получаса, а я только изредка кивал головой. Когда она наконец кончила, я сказал: «Мерси, мадам», — и, взяв листочек, написал записку, дающую право на покупку новой шубы из магазина, где были собраны национализированные меха. Дама, кланяясь и благодаря, покинула мой кабинет. Вскоре до меня дошли слухи, что в Вильнюсе еще никогда не было такого вежливого и образованного начальника полиции, как теперь, — дамочка рассказывала, что целый час беседовала со мной на своем любимом французском языке и мой акцент был безукоризненен.

— Ну, если знаешь французский...

— «Бонжур» и «мерси, мадам» — вот и вся моя наука, — ответил он, весело улыбаясь.

НАКАНУНЕ БУРИ

Как и прежде, мне хотелось чаще встречаться с друзьями, делиться с ними впечатлениями, смеяться, но работы у всех было невпроворот, и, лишь наведываясь в Каунас, я проводил несколько счастливых часов в Доме писателей или, по старой привычке, заходил на чашку кофе к Конрадасу. Публика в кафе Конрадаса немного

изменилась — отдельные таутининки, которые здесь обычно сидели, сбежали за границу, несколько завсегдатаев клерикалов тоже перестали бывать в кафе. Но здесь по-прежнему можно было застать почти всех актеров, поэтов, писателей и журналистов. Среди журналистов тоже произошли изменения. Главные газеты теперь редактировали другие люди. Официоз «Лиетувос айдас» («Эхо Литвы») в первые дни Народного правительства перенял Йонас Шимкус. Вскоре газету переименовали в «Дарбо Лиетува» («Трудовая Литва»), а теперь уже не стало и «Дарбо Лиетувы» — вместо нее выходила «Тарибу Лиетува» («Советская Литва»). Другую крупную газету — «Тиеса» — редактировал Генрикас Зиманас *, большинство ее сотрудников были новыми людьми в журналистике. Не было здесь ни редакторов, ни ближайших сотрудников газет таутининков, христианских демократов и ляудининков. Новые люди пили здесь кофе, рассуждали о политике, о будущем Литвы.

В Доме писателей кипела работа. Уже выходил первый советский журнал литературы и искусства «Раштай» («Произведения»). Его ответственным и главным редактором был Цвирка. В новом журнале со своими произведениями уже с первых номеров выступали, наряду с ближайшими сотрудниками журнала, — П. Цвиркой, С. Нерис, Т. Тильвитисом, — Чюрлёнене-Кимантайте, Симонайтите, Грушас, Грицюс и многие другие. Журнал посвящал целые номера литературам братских народов — латышской и грузинской, приступал к оценке культурного наследия (правда, довольно робко и не всегда правильно), публиковал марксистские статьи по вопросам теории литературы и искусства.

Цвирка отвел мне в Доме писателей комнатку с койкой и столом. Во время частых приездов в Каунас мне не раз приходилось засиживаться в Клубе писателей. Поздно ночью не всегда хотелось возвращаться в Вильнюс, тем более что иногда утром бывали дела в Центральном Комитете или в Совете Народных Комиссаров. В комнатке я не только отдыхал, но и работал.

В клубе часто встречал своих старых друзей и знакомых — Боруту, Нерис, Балтушиса, Жукаса, Монтвилу, Тильвитиса, Бутенаса, а также писателей старшего поколения — Киршу, Симонайтите. Частенько заглядывал сюда и Кипрас Петраускас, который близко сошелся с

Цвиркой, несмотря на разницу в возрасте, а также художник Юстинас Веножинскис *, композитор Стасис Шимкус. Не раз бывал здесь и Людас Гира, приезжавший также по делам из Вильнюса. Чтение и обсуждение новых произведений, политические и литературные доклады, беседы писателей и журналистов из других братских республик — вот содержание этих вечеров в клубе. Начинающие писатели, которых опекал Монтвила, в апреле создал первую свою секцию при Оргкомитете Союза писателей.

Все больше знакомств завязывалось с писателями других республик. В начале мая в Москве проходила Декада армянской литературы и искусства, на которую был послан Казис Борута. Проведший свое детство в Москве в годы первой мировой войны, Борута вернулся сейчас полный впечатлений, восхищенный литературой и искусством армянского народа. Он воочию убедился в том, какое уважение к культуре братских народов проявляет столица нашей Родины.

В середине мая в Литве побывали видные белорусские поэты Янка Купала и Якуб Колас вместе с другими деятелями культуры Белоруссии. С обоими поэтами я уже был знаком. Янка Купала, с привлекательным интеллигентным лицом, мягкий и как бы смущающийся при встречах с малознакомыми людьми, и Якуб Колас, с лицом и манерами крестьянина, вернулись в город своей молодости Вильнюс, который они не видели уже много лет. В юности Янка Купала дружил в Вильнюсе с Людасом Гирой, Стасисом Шимкусом, Марией Ластаускене * и другими представителями нашей культуры, поэтому и теперешняя встреча с литовцами для наших гостей, по-видимому, была очень приятной. Они встретились не только с Гирой, но и с Винцасом Миколайтисом, Альбинасом Жукаускасом * и некоторыми другими писателями, находившимися тогда в Вильнюсе. Они интересовались историческими и культурными достопримечательностями города, восхищались его красотой, отыскали дома, в которых когда-то жили, в которых находились белорусские культурные учреждения, посетили небольшой музей белорусской этнографии и культуры, действовавший тогда в Вильнюсе. Янка Купала был приятно удивлен, когда рядом с поразительными слуцкими поясами и произведениями белорусского народного творчества нашел свои

юношеские рукописи и древние белорусские издания, напечатанные в Вильнюсе...

А весна в Вильнюсе была просто дивной. Каждое утро яркое солнце заливало огнем руины замка на горе Гедиминаса * и холмы вокруг города. У подножья замка, в Бернардинском саду, который мы сейчас называем Садом молодежи, на берегах Вильняле цвела черемуха. В хрустальной воде Вильняле в теплые и ясные вечера отражалось поразительно голубое небо, в котором высились сказочные башни. Гудели улицы, полные пестрого, оживленного движения, люди шли мимо дворцовых фронтонов, мимо арок, с которых свешивались листья дикого винограда. Ветер приносил в город запах лугов и цветов. Древняя столица была полна энергии, стремительности, желания творить, жить, радоваться...

Дни стали длиннее, и теперь после работы я частенько уезжал в еще незнакомые, но такие восхитительные окрестности Вильнюса. Никогда не надоедало приезжать в Тракай. Руины исторического замка, воспетые Майронисом, уже стояли в лесах, и я радовался, что и нам выпало счастье помочь спасению древнего памятника. Старожилы Вильнюса вели нас в крохотный ресторанчик, где нам подавали вкусную рыбу по-караимски, там мы расписывались в книге гостей, в которой уже были записи видного польского поэта Чеслава Милоша и других. Потом мы катались на лодке, и озеро волновалось точно так же, как во времена Кястутиса *, Витаутаса * и Майрониса... Покой окружал нас со всех сторон, и было радостно, словно я после долгих лет отсутствия вернулся в отчий дом, о котором мечтал в тиши ночей. Острова зеленели изумрудами, весла плескались в воде, голубой купол неба висел над озером и городком, а ты дышал благоухающим ветром и смотрел в хрустальную воду. Бесшумно скользили рыбы, зеленели и алели водоросли, пахло аиром и камышом. Над головой высоко в небе парил орел, у самой воды сновали стрижи, а в зелени островов мычал козодой и трещали, чирикали, свистели невидимые птицы. Ты находился в природе, вечной как земля, никогда не успокаивающейся, как и твое сердце... И ты снова вспоминал, что ты писатель, и всей душой тосковал по бумаге и чернилам...

А как чудесно бывало в Веркяй, где из парка открывается удивительный вид на излучину Нерис и леса Ва-

лакампяй! Дворец безжалостно потрепало время, но как дышали историей эти места, которые избрали для отдыха и веселья вельможи прошлого! А дальше — Зеленые озера, вода в которых действительно кажется зеленой, а воздух напоен запахами мха, еловых шишек и грибов, которых здесь растет несметное количество. Нет, хотя Каунас тоже окружен живописной природой, там нет таких озер, нет таких лесов, нет такого обилия красоты. Только Вильнюс могли избрать наши праотцы местом для своей столицы, — краше места нигде не найдешь!

Когда я видел эти озера, леса, зеленые ели, когда смотрел на ясное небо, по которому лишь изредка проносились озаренные солнцем весенние облака, предвещая теплое лето, хотелось жить, дышать, любить и работать, работать... Хотелось, чтобы наша жизнь была ясной, как это небо, такой же очаровательной, как эти озера и леса...

Но весна была далеко не такой безмятежной, какой хотелось людям видеть ее.

Многие западные государства лежали в руинах, были разгромлены и порабощены. Пали Осло, Брюссель, Париж, Белград, Афины. За работой как-то некогда было думать об угрозе войны. И все же нельзя было ее не чувствовать. Учителя, приезжавшие с западной границы Литвы, рассказывали, что Красная Армия кое-где начинает возводить укрепления. Поговаривали, что в литовском небе появляются немецкие разведывательные самолеты и советская противовоздушная артиллерия почему-то не стреляет в них (тогда мы еще не знали, что армии было предписано соблюдать с немцами наивысшую осторожность и не поддаваться на провокации). Пограничники довольно часто задерживали на территории Литвы гитлеровских лазутчиков. Среди населения ползли всевозможные слухи. Не было никакого сомнения, что и в Каунасе и Вильнюсе действует немецкая агентура. Ведь раньше эти города, подобно Риге и Таллину, были известны как важные центры международного шпионажа. Когда в Прибалтийских республиках упрочилась Советская власть, шпионские гнезда притаились, но своей деятельности не прекратили. Теперь агенты гитлеровской Германии вербовали пособников из недовольных советской властью слоев населения, в первую очередь из бывших полицейских, разбежавшихся сотрудников сметоновской службы безопасности, офицеров (в литовской ар-

мии издавна служило много немцев, которые конечно же перешли в подчинение к гитлеровцам). Обученные диверсанты из числа бежавших в Германию полицейских, офицеров и сотрудников бывшей службы безопасности перебрасывались в Литву для организации так называемой «пятой колонны». Реакционные силы объединялись и ждали подходящего момента.

Было бы странным, если бы советская госбезопасность бездействовала. По-видимому, она знала об истинном положении вещей и в середине июня в Литве провела аресты. Увы, немало гитлеровских агентов осталось на свободе, а в то же время было арестовано много случайных людей.

В эти дни мне приходилось очень трудно. Ко мне шли люди, умолявшие вызволить своих родных или знакомых. Увы, мои возможности были слишком ограниченными. Я побывал у Казиса Прейкшаса в Центральном Комитете и просил его заступиться за невиновных учителей, которые оказались арестованными. Он сказал мне, что явные ошибки непременно будут исправлены.

События же развивались все более стремительно. Люди сидели у радиоприемников и чего-то тревожно ждали. Было очень трудно сосредоточиться и выполнять повседневную работу.

По-настоящему устав после долгого рабочего дня, я под вечер вместе с гостившим тогда в Вильнюсе украинским поэтом Миколой Бажаном и его женой поехал немножко отдохнуть к Зеленым озерам. Мы старались говорить о литературе, но мысли и беседы то и дело возвращались к тому, что не могло не заботить нас и всех граждан нашего государства, — войне. Разобрав события и положение со всех возможных точек зрения, приняв во внимание безмятежный тон, которым отличались статьи в газетах этих дней, мы с Бажаном пришли к выводу, что война между Советским Союзом и гитлеровской Германией непременно начнется, но, конечно, не сейчас... Может, через год-другой, может, через несколько месяцев (что нам казалось менее вероятным)... Отдохнув и немножко успокоившись, мы вернулись в Вильнюс.

Теплый, безмятежный вечер 21 июня 1941 года — такой же, как многие вечера до него. Мы ждали завтрашнего дня, такого же солнечного и теплого. Я подумывал о воскресном отдыхе...

БУРЯ В ПОЛДЕНЬ





НАШЕСТВИЕ

Древний Вильнюс медленно просыпался. В условленный час к дому подъехал шофер. День был солнечным, в небе проносились легкие теплые облачка.

Мы с Элизой сели в машину (сын Томас гостил у бабушки в Каунасе, в Верхней Фреде). Впереди был самый длинный и, казалось, самый прекрасный день года. После напряженного труда, после всех тревог последних дней нас ждал заслуженный отдых.

Задержавшись у киоска, я купил газеты. Передовица — «Дворец культуры рабочих»; красивый снимок — озеро с лодкой и подпись: «Приятный отдых на тракайских озерах». По случаю пятой годовщины со дня смерти Максима Горького помещены его портрет и статья моего любимого автора Константина Федина «Горький-писатель». Немало сообщений о войне в Европе, в Африке и Азии. Начали печатать новый роман Ильи Эренбурга «Падение Парижа»...

Мы с Элизой смотрели на проносящиеся мимо вильнюсские предместья, на деревянные лачуги рядом с дорогой в Каунас. Эти лачуги портили прекрасный облик Вильнюса... Потом, на горе, машина свернула влево, в сторону Тракая. Миновав Лентварис, мы увидели знакомый деревянный городок со статуей святого на столбе посредине большой площади. Перед нами открылись сверкающие на солнце воды тракайских озер; вдали, наклонясь, плыли яхты. Трудно было оторвать от них глаза.

Мы поискали лодку, но людей на пристани было немало, и полные лодки уже удалялись от берега в сторону замка. Кто-то позвал нас; оказалось, что это студенты

Вильнюсского университета; парни и девушки радовались погожему утру и предстоящему безделью. У одного была даже гармоника. Мы отчалили от берега, наши спутники смеялись, пели песни, студент играл. Они нас, конечно, узнали, в лодке сразу же воцарилась дружеская, свободная атмосфера, да и разница в годах не казалась такой уж большой — в январе мне исполнилось всего лишь тридцать пять лет. Вскоре мы уже шутили и пели вместе со студентами. Лодка уплывала все дальше от берега, легкий ветерок ерошил наши волосы, а рука, погруженная в прозрачную воду, ощущала приятную прохладу.

Мы высаживались то на одном, то на другом острове — всюду была поразительно сочная зелень. Галдели птицы, в тени кустов на листьях и цветах еще сверкала роса. Студенты уже пытались танцевать.

Потом мы снова колесили по озеру, добираясь до дальних уголков, откуда из-за островов даже не было видно Тракая. Другие лодки остались позади, и нас окружал покой. Голубое небо простиралось над озером, в голубизне проплывали пуховые облака, озаренные солнцем. Воскресная тишина успокаивала взбудораженные нервы, и действительность, наполненная заботами и тревожными слухами, осталась где-то далеко.

Высоко в небе куда-то на восток, один, потом другой раз пролетели самолеты. В первый раз их пролетело пять или шесть, потом они летали по десяти — двенадцати. Только когда эти полеты участились, мы обратили на них внимание, но были спокойны. Ведь в небе каждый день пролетали советские самолеты, все давно привыкли к этому. Глядя вверх, кто-то обмолвился — не немецкие ли это самолеты, — но это замечание не вызвало большого интереса, и мы снова плыли по озеру, наполненные тем же добрым, беззаботным настроением.

Только порядком проголодавшись, часа в три дня, мы наконец пристали к берегу. Попрощавшись со студентами, направились к своей машине. Лишь теперь заметили необычную суматоху в городке. Люди бегали по улицам, искали, на чем бы вернуться в Вильнюс, милиционеры были явно взволнованы. Кто-то из местных властей, узнав меня, подошел и негромко сказал:

— Вы знаете, тут кое-кто уже порывался мобилизовать вашу машину...

— Это почему же? — удивился я.

— Война... — сказал рядом незнакомый человек. — Самолеты видели?

Только теперь я начал осознавать, что надвинулось что-то неизбежное, страшное, неведомое.

Человек смотрел на нас как на наивных чудаков.

— Еще ночью началось. Говорят, наши ворвались в Пруссию, наша авиация бомбила Берлин...

Кто там разберет, сколько правды в его словах... Ворвались в Пруссию? Бомбят Берлин?

К нам подошли какие-то незнакомые должностные лица с явным намерением забрать нашу машину. Узнав меня, отошли, и мы смогли уехать в Вильнюс.

В Вильнюсе улицы кишели людьми. Сперва казалось, что они, как всегда по воскресеньям, гуляют, беседуют, наслаждаются досугом. Но когда мы остановились на центральной улице у горкома партии, то увидели, что люди тревожны, испуганы, растеряны. Я взбежал по лестнице и спросил, где секретари. Секретарь Балтрушка в своем кабинете с кем-то совещался. Я не хотел им мешать. Какой-то сотрудник Комитета, которого я встретил, тоже подтвердил слухи, что наша армия ворвалась в Пруссию. Хотелось бы этому верить, тем более что мой собеседник рассуждал:

— Ничего! Красная Армия уже отразила врага. Скоро окончательно разгромит. Врага мы будем громить на его территории!

Последнюю фразу не однажды мы слышали в выступлениях различных докладчиков, читали в газетах. Она успокаивала. Когда я вышел на улицу, где-то за вокзалом ухнули взрывы. Говорили, что немцы бомбят склады. Элизу я послал домой. Встреченные знакомые рассказали, что они шли по улице где-то в районе старого города, когда немецкий самолет сбросил бомбу, она пробила потолок, потом было видно, как в зале долго качалась и кружилась люстра. Кто-то сказал, что несколько трупов лежат у Зеленого моста. Пока мы разговаривали, за вокзалом снова ухнули взрывы, но самолетов что-то не было слышно.

Я снова зашел в горком партии. Здесь я встретил несколько сотрудников. Они пересказывали речь Молотова и оптимистически говорили о ходе войны. Я глубоко верил в мощь Красной Армии и готовность нашей страны

отразить любые неожиданности. И все-таки меня охватила тревога. Я хорошо понимал, что военное счастье очень переменчиво, что если даже наша армия действительно вошла в Пруссию, это еще не значит, что районы, находящиеся поблизости с Германией, и в первую очередь Литва, не могут быть временно оккупированы. В тот же день поползли противоположные слухи — что Алитус и Каунас уже заняты и что немцы подходят к Вильнюсу. Усталый, голодный, я вернулся домой. Я обрадовался, что Элиза довольно спокойна. Она волновалась только из-за сына, который был в Каунасе. Пересказал ей услышанное, стараясь оптимистически изобразить положение. Я расхаживал по квартире, в которой мы жили несколько месяцев, смотрел на любимые книги, которые собирал уже много лет, и мне не верилось, что жизнь наша рушится, что сейчас, в этот час, в эту минуту, происходит ломка в жизни миллионов людей.

К вечеру над городом появились немецкие самолеты. Со звоном полетели стекла из окон. В огородах и садах оглушительно рвались бомбы. Улица заполнилась дымом. Еще в городе я слышал, будто у немцев нет металла и они швыряют цементные бомбы. Когда я сбежал по лестнице, кто-то принес в подъезд показать еще горячий осколок бомбы. Он был темный, почерневший, с острыми зазубринами, точь-в-точь такой, какие я видел ребенком в годы первой мировой войны на полях нашей деревни. И все равно не верилось, что началась война, настоящая, долгая, жестокая, кровавая, бесчеловечная война...

Снова падали бомбы — где-то совсем близко. Несколько раз недалеко от лютеранского кладбища выстрелили наши зенитки и тут же замолкли. И было странно, что нигде не было наших самолетов, которые отогнали бы гитлеровских стервятников, как их вскоре стали называть.

Опять со звоном вылетели стекла из окон соседних домов, опять били зенитки. Незаметно наступал вечер самого длинного дня года. Кто-то вбежал в комнатушку под лестницей, в которой мы сидели, и сказал, что под нашей квартирой случилось несчастье. На улице разорвалась бомба, и осколок рикошетом влетел в комнату квартиры Юозаса Жюгжды. Хозяина не было дома — он еще вчера по делам уехал в Каунас. На диване сидела жена Жюгжды, наша добрая приятельница, и жена мо-

его сотрудника Генюшаса. Осколок попал в ноги Жюгждене и почти отрубил их. У Генюшене было разбито колено. Элиза, бросив все, побежала к раненым, а я начал искать в телефонной книге номер скорой помощи. Но телефон уже бездействовал, дозвониться не удалось. Не действовал и водопровод, — видно, бомбы нарушили сеть. А вокруг продолжало греметь. Я побежал в город за врачом. Где-то на теперешней улице Сераковского я отыскал врача и вернулся с ним в наш дом. Элиза сказала, что соседняя квартира залита кровью, что Жюгждене умирает. Когда бомбежка затихла, я вышел из дома в садик. Здесь толпились озабоченные соседи. Среди них я заметил Людаса Гиру и его жену. Все боялись сидеть дома, чтобы не погибнуть под развалинами.

Недолгую ночь просидели в доме, под лестницей, куда, казалось, не могли залететь осколки. В доме не было электричества, но на улицах еще горели фонари. Солдат, проходивший мимо, принялся кричать, что это кто-то нарочно сигнализирует врагу. Вытащив револьвер, он стал метко стрелять по фонарям, и стекляшки с тихим звоном осыпались на тротуар. Примерно в полночь бомбежка прекратилась.

Возвращаться в свою квартиру — без окон, без воды, без электричества и без телефона — было незачем. Мы с Элизой сидели на полу и тихо разговаривали. У нас не было никаких планов, мы не знали, что будем делать даже сегодня, когда рассветет. Кругом царила непривычная тишина. Изредка по тротуару стучали шаги прохожих. Жюгждене уже умерла, а Генюшене скорая помощь увезла в больницу. А мы без конца разговаривали, с необычайной радостью и грустью вспоминая наше знакомство, жизнь в Клайпеде и в Каунасе, нашу удивительную любовь. Казалось, теперь лучше бы вообще перестать жить, ничего больше не чувствовать, не видеть ужасов, которые, несомненно, в ближайшие дни и годы придется испытать всем, всем, а значит, и нам. И я уже подумал: не лучше ли взять из стола револьвер и все кончить...

Это была, конечно, случайная мысль в минуту слабости. Да и инстинкт жизни в нас был силен. Нам казалось, что мы только-только начали жить, дышать, только-только начали осмысленное существование. И теперь, когда все рушилось и гибло, жить хотелось еще сильней — и любить, и радоваться, и растить сына, и работать, и

всем этим дорожить во много раз сильнее, чем до сих пор... Удивительно прекрасной казалась нам теперь жизнь мирного времени с повседневными заботами, делами и мечтами, с маленькими радостями, — казалось, она никогда больше не вернется...

Элиза тревожилась о сыне. Если б он был здесь... Но, может, там, в Каунасе, ему лучше, может, тут он больше будет подвергаться опасности? Мы знали, что нет никакой возможности связаться с Каунасом... Во всяком случае, в ближайшее время... А что будет дальше? Что будет дальше?..

Рассвело. Невыспавшиеся люди расхаживали вокруг дома, показывали друг другу обнаруженные на земле осколки и говорили:

— Бомбы совсем... не цементные...

— Но небольшого калибра... Скоро у них кончится весь запас...

— Пока солнце взойдет, роса глаза выест...

— Калибра-то небольшого, но нашей соседки уже нет...

— Жюгждене умерла?.. Вечная память... Хорошая была женщина...

— А что дальше-то будет?

Люди поглядывали друг на друга и избегали слишком откровенно выражать свои мнения.

Я ушел в Наркомат.

Путь, как я уже говорил, был не близкий. На улицах полно людей. Одни — спокойные, другие нагружали тележки имуществом и куда-то тащили их. Толпы испуганных горожан собирались в подворотнях еврейских кварталов и вполголоса о чем-то говорили. Кое-где на углах улиц торчали парни с нахальными лицами, зло улыбались и курили. Я прошел мимо нескольких домов, в которые угодили бомбы. Упавшая стена завалила пол-улицы, и люди смотрели на этот завал. Женщины рыдали. В другом месте обвалилось полдома, и на втором и третьем этажах в комнатах виднелась опрокинутая мебель, лежали покореженные железные койки... Первые картины войны...

Хотя было рабочее время, в Наркомате слонялись из кабинета в кабинет лишь несколько сотрудников. Я не знал, что им сказать. По-видимому, большинство служащих находились дома и ожидали, что будет дальше, или

пытались спастись, как кто мог. Я направился в свой кабинет. Кто-то сообщил, что машина нашего Наркомата уже мобилизована. Осталась только одна машина, потому что на третьей в субботу уехал по делам в Каунас Жюгжда и пока не вернулся. Я поднял трубку телефона. Телефон молчал. Включил настольную лампу — электричества не было. Я почувствовал смертельную усталость и, сидя за столом, задремал. Потом мне пришло в голову вызвать шофера и поехать в горком — вдруг там что-нибудь узнаю или получу какие-то инструкции. Но прежде всего я заглянул домой. Может, следует жену и самые необходимые вещи отправить куда-нибудь за город, пока не начались новые налеты? Подъехав к дому, я увидел, что на улице толпятся соседи. Здесь были Моника Миронайте (ее муж, Альгирдас Якшявичюс, недавно умер) и Юозас Микенас. Казиса Боруту вместе с женой неделю назад я отвез на своей машине в Бирштонас лечиться. Они, по-видимому, все еще там. Новый проректор Вильнюсского университета Юозас Булавас грузил в машину имущество. Когда я спросил, куда он собирается ехать, Булавас ответил, что хочет увезти свою семью подальше от бомбежек, за Нерис, в деревню Ерузале. Эта мысль мне показалась разумной. Но Элиза отказалась уехать одна. Как раз в эту минуту к дому подъехали знакомые и вынесли из машины Томаса, сонного, перепуганного. Увидев мать, он прижался к ней. Теперь мы были все вместе, и я думал, что лучше всего сейчас последовать примеру Булаваса. Из машины также вышли Галина Корсакене * с дочуркой Ингридой — они искали Костаса, который вчера еще уехал из Каунаса. Узнав, что Костаса мы не видели и не знаем, добрался ли он вообще до Вильнюса (он ведь мог уехать и через Укмерге, в сторону Зарасай), Галина впала в отчаянье и заявила, что останется с Элизой. Я сказал, что будет лучше, если обе они с детьми сразу же сядут в машину и уедут в Ерузале, пока город не бомбят.

Некоторое время спустя шофер, вернувшись, рассказал, что у Зеленого моста горят дома, подожженные немецкой бомбой. Женщин и детей он доставил удачно. Теперь я посадил в машину Монику Миронайте с дочуркой Дагне и отправил их туда же. Предложил поехать и жене Микенаса, но та отказалась. Шофер съездил и вернулся к дому, где я его ждал; выяснилось, что бензин

в машине на исходе. Тогда мы объездили весь город, но ни в одной колонке бензина не оказалось. Я надеялся достать его у выезда в Каунас, но и там рабочий сказал, что отдал последний бензин военным машинам. Мне впервые пришло в голову, что любая мелочь может человека, даже с машиной, превратить в совершенно бессильное существо...

Подъехали к горкому партии. Какой-то сотрудник объяснил, что не знает, где секретари, — они совещаются с военным руководством. При этом удивился, что я еще в городе, посоветовал временно выехать, — разумеется, только временно, пока наши не отразят немцев...

Больше я ничего не мог узнать. Снова вернулся домой. Как ни странно, автомобиль двигался — бензин еще был.

Я забежал в квартиру. Ходил по битому стеклу. Заглянул в столовую, где висел прекрасный натюрморт Марии Цвиркене — алые цветы, зашел в свою рабочую комнату, всю стену которой занимали книги, собранные мною за долгие годы, — многие из них были для меня живыми существами. Столько раз я общался с ними, читал, гладил их обложки! Зашел в спальню. Всюду были признаки уже кончившейся жизни, теплой и волнующей, и не верилось, просто нельзя было поверить, что все это — только руины, обломки прежнего, которое рухнуло и которое больше не вернется...

Спустившись на улицу, я встретил соседа, жившего неподалеку, — своего заместителя Людаса Гиру. Взволнованный и озабоченный, тоже не спавший всю ночь, он спрашивал, что я собираюсь делать. Я рассказал все, что знал, и ответил, что нам как будто бы лучше временно уйти из города. Гирене пришла с сумочкой, я взял плащ, и мы уехали — на восток.

Бензина хватило до окраины города. Машина резко остановилась, шофер сказал: «Все. Дальше ни с места». Мимо нас по дороге в обе стороны сновали машины — легковушки и грузовики. Делать было нечего. Выскочив на дорогу, мы принялись останавливать проезжающие машины, но бесполезно. Наконец какой-то грузовик остановился на обочине — за рулем сидел молодой солдатик. Он вытирал пот с лица и спрашивал у нас, как проехать в Ошмяны. Мы объяснили, что он едет в обратную сторону, и солдатик уже начал было разворачивать свою ма-

шину. Мы попросили у него бензину. Он сказал, что горючего у него в обрез, но все-таки налил, как говорил наш шофер, каких-нибудь пол-литра. Возможно, бензина было больше, потому что мы отъехали от города еще на десять километров. Машина снова остановилась. Прошел добрый час, пока нам не повезло, — за бутылку какого-то напитка, который прихватила с собой Гирене, мы снова получили немного бензина. Все больше машин двигалось с запада, из Вильнюса, и, обгоняя друг дружку, торопились на восток. Встречались знакомые лица, но никто не останавливался, ни от кого ничего не узнаешь. Еще у Вильнюса мы видели толпы людей, которые шли по дорогам из города с тяжелыми чемоданами и с рюкзаками. Другие шли налегке, останавливали грузовики, следующие на восток, пытались устроиться на них. Люди быстро уставали, и на обочинах уже валялись брошенные чемоданы и другие предметы.

Когда бензин снова кончился, мы простояли несколько часов. По-видимому, эта жидкость, без которой не может двигаться ни наша, ни вражеская машина, все больше дорожала. Все, кого нам удавалось остановить, говорили, что у самих нет бензину и ни за какие деньги они не могут его дать. Положение стало трагикомическим — автомобиль есть, но стоим на месте.

Наконец нам снова удалось достать бензин. Шофер, разговорчивый паренек из-под Орши, заявил нам, что немцы будут непременно разгромлены — это вопрос времени. Может, понадобится два, может, три месяца, но до Нового года войне конец. Нас немного успокоил этот наивный оптимизм, — хотелось верить, что так и будет.

Вдалеке справа в погожее, жаркое летнее небо поднимались высоченные столбы дыма. Это горели дома, а может, даже склады с бензином, подожженные немецкими бомбами. На полях никого, — крестьяне оставались дома или стояли у дорог, смотрели на машины, движущиеся на восток и на запад. На восток машин ехало куда больше.

Мы достигли границы Белоруссии. На дороге образовалась пробка — добрый десяток грузовиков и легковых машин. Солдаты проверяли документы. Увидев меня у машины, из одного грузовика выпрыгнул Йонас Марцинкявичюс и воскликнул:

— Видишь, что делается!.. Не всех пропускают... А я, как на грех, забыл документы...

Йонас торопливо рассказывал, что приехал сюда из Каунаса, что жена осталась в Литве... О ходе войны ему ничего не известно, хотя он думает, что не скоро вернемся домой...

Показав солдатам депутатский мандат, я сказал, что Йонас Марцинкявичюс мой добрый знакомый и что я прошу его пропустить. Я сам удивился тому, что мое вмешательство помогло, — Йонас, повеселев, взобрался на грузовик, в котором уже сидели люди, и раньше нас двинулся в путь...

ДОРОГИ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Пыль стояла столбом, и иногда в двух-трех шагах нельзя было различить, кто едет впереди. Мы хотели где-нибудь остановиться и переждать — несколько часов или несколько дней — и вернуться в Вильнюс. Ведь там остались наши, там осталось все, в чем был смысл нашей жизни! Когда мы остановились в Сморгони, к нам подошел журналист из каунасской газеты «Труженик» (я не мог вспомнить его фамилию, хотя он перед войной в Вильнюсе брал у меня интервью) и сказал:

— Тут один радио слушал. Говорит, немцы заняли Каунас. И Алитус. Сегодня они будто бы уже будут в Вильнюсе. Вы слышали?

— Нет... — ответил я, оглушенный страшным известием.

Журналист огляделся.

— Только прошу не передавать дальше. Вы знаете, люди быстро паникуют. А тут, — негромко добавил он, — час назад двух шпионов поймали...

— Где они? — наивно спросил я.

Журналист только махнул рукой.

Мне стало не по себе. Вернувшись к машине, я засомневался, стоит ли все это рассказывать Гире. Но шофер, ходивший искать воды, сам сказал нам:

— Вот черт... Что теперь делать-то? Ведь в Вильнюс вернуться уже нельзя...

— Кто вам сказал? Переночуем где-нибудь в деревне, а завтра вернемся, — отрезал Гира.

— Да уж не скоро вернемся, я-то знаю, — загадочно ответил шофер.

По правде говоря, он, кажется, и не рвался в Виль-

нюс. Я знал, что шофер никак не может ужиться с женой, собирался разводиться, и вот наконец ему представилась возможность некоторое время не видеть ее...

Наше горючее снова подходило к концу, но мы уже подъезжали к Молодечно. У пунктов сбора новобранцев стояли длинные очереди мужчин. Они курили и терпеливо ждали своей очереди. Кто-то сказал, что час назад немцы сбросили несколько бомб, но ничего не разрушили — бомбы разорвались где-то в огородах, а одна вонзилась на рыночной площади. Из деревень в городок пешком шли мужчины, провожаемые плачущими женщинами.

В Молодечно еще был порядок, и без больших просьб или споров мы получили немало бензину. С таким запасом, пожалуй, могли бы даже вернуться в Вильнюс. Но с кем бы мы ни разговаривали (а таких, кто бы пускался в откровенные разговоры о ходе войны, было очень немного), никто не мог сказать ничего определенного. Правда, здесь никто уже не утверждал, что наша армия вошла в Пруссию, что авиация бомбит Берлин. Несколько раз высоко-высоко пролетели явно немецкие самолеты, — по-видимому, разведывательные. Изредка доносился издалека смутный гул — немецкие самолеты, видно, снова что-то бомбили...

Под вечер мы свернули с дороги в незнакомую деревню. В центре колхоза деревянные избы, не отличавшиеся особенной привлекательностью, — вокруг ни деревца. Людей мало. В большом дворе копошатся куры, на улице бродят угрюмые женщины, весело скачут дети, швыряя камнями в заросший пруд. Нас встретили без особого удивления, и, когда мы спросили, не могли ли бы где-нибудь переночевать (прошлой ночью мы не сомкнули глаз), какая-то женщина вяло махнула рукой на новый деревянный дом и сказала:

— Ночуйте...

Никто не спросил, кто мы, откуда. Вошли в дом. Это была школа. Открыли дверь в класс. Аккуратно выстроились парты, словно только час назад отсюда разошлись дети.

Сев за парты, мы подкрепились тем, что прихватила из дома заботливая Гирене. Никому другому из нас такое не пришло в голову... Ведь мы должны были вот-вот вернуться в Вильнюс...

Обсудив положение, мы решили, что, по-видимому, здесь придется переночевать, а утром направимся в Минск. Там есть знакомые и, что самое главное, правительство Белоруссии. В Минске мы, без сомнения, получим точную информацию о ходе войны и наконец-то узнаем, как обстоят дела в нашем Вильнюсе и Каунасе. Может, за это время немцев уже успели отбросить (я все еще не мог и не хотел верить в рассказы журналиста)...

Так мы думали. Но, откровенно говоря, где-то в подсознании уже поселилась и крепла мысль, что мы питаемся иллюзиями, что в Вильнюс нам не вернуться не только завтра, но и через месяц, а то и через год. Ведь сейчас только начало войны. Все говорит о том, что это начало неблагоприятно для нас. А может, рано судить? Ведь это только второй день войны. Все еще впереди...

Ночь в колхозе прошла спокойно. Рано утром мы услышали пенье петухов и, чувствуя ломоту в костях, выбрались из-за парт, за которыми ночью дремали. Колхозница принесла яйца, но пожаловалась, что у нее нет хлеба. Кое-как позавтракав, мы отправились в Минск, пригород которого маячил вдалеке, словно утонувший в утреннем тумане...

Перед самым городом, когда мы выбрались на широкую дорогу, началось истинное столпотворение. Непрерывным потоком катили грузовики и легковые машины, брели беженцы; прямо по полям лошади тащили орудия, утыканные ветками деревьев. Лошади тоже были замаскированы ветками. Никто нас не останавливал, не спрашивал документов. Мы въехали в город и остановились у огромного недостроенного здания, — кажется, Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии.

И тут же завыла сирена воздушной тревоги. Прохожие бросились бежать. Следуя за другими, мы спустились в подвал недостроенного здания, оставив машину на улице. Здесь отчетливо был слышен грохот зениток и разрывы падающих бомб. Дрожали потолок и стены, на нас сыпалась штукатурка. Но здесь, где за несколько минут собралось не менее двухсот человек, было как-то спокойнее, почему-то не верилось, что в такое скопление людей может попасть бомба. В подвале царил полумрак, можно было различить лица, и я узнал нескольких товарищей из Каунаса, в том числе работника ЦК Йонаса

Зданавичюса, с которым не совсем ладил, так как не выносил его грубого характера и левацких загибов (позднее он погиб на фронте от несчастного случая). Зданавичюс начал убеждать, чтобы мы, литовцы, как только кончится бомбежка, вместе отправились на восток, так как речи не может быть о возвращении домой. У него нет точных сведений, но он не сомневается, что Каунас уже оккупирован, а то и Вильнюс.

Я сказал, что, на мой взгляд, двигаться такой толпой (из Каунаса и Вильнюса сюда прибыло человек двадцать) нет смысла. Если уж ехать дальше, не думая больше о возвращении домой, то гораздо удобней это сделать небольшими группками, ведь так легче пристроиться на грузовик или на поезд... Зданавичюс со мной не соглашался, требовал, чтобы я выполнял его указания, но я ответил, что тут он для меня не начальник...

А бомбы все рвались и рвались, падая где-то рядом, и иногда казалось, что потолок и стены нашего убежища раскачиваются и вот-вот рухнут. Когда бомбежка затихала, люди начинали шепотом разговаривать. О своих будничных делах, о бабушке, оставленной дома, о детях, отдыхающих за городом, о том, что нарушилось движение городского транспорта, что сегодня утром были перебои с продуктами. Словно сговорившись, люди избегали упоминать о войне, но изредка кто-то тяжело вздыхал или раздавалось:

— О господи, господи...

В убежище поговаривали, что немецкие самолеты налетают волнами, они сбрасывают на город фугаски и зажигательные бомбы, а через минуту появляются новые — и так без передышки... Никто не знал, правда ли это. Поговаривали о шпионах и диверсантах.

Конечно, шпионы были на самом деле, но люди, а иногда и органы милиции или солдаты представляли, что шпионов и диверсантов очень много, и хватали каждого подозрительного. После того, как мы встретили на границе Белоруссии Йонаса Марцинкявичюса, его задержали где-то под Минском. Подозрение прежде всего вызывала его броская, кустообразная шевелюра, к которой каунасцы давно привыкли; тут именно из-за нее его приняли за шпиона. Сам Марцинкявичюс впоследствии мне рассказывал об этом случае. Когда его уже собирались ликвидировать, мимо проезжал какой-то командир Крас-

ной Армии, знавший Марцинкявичюса еще по Каунасу. Он остановил свою машину и крикнул:

— Послушайте, что тут происходит?

— Меня хотят расстрелять, как немецкого шпиона... — ответил Марцинкявичюс.

Командир выскочил из машины и потребовал отпустить своего знакомого. Но кто-то из окружающих сказал:

— Вы только посмотрите, какая у него шевелюра... Да и документов у него нет...

Документов у Йонаса Марцинкявичюса никогда не было, без них он прожил и всю войну. Это может показаться невероятным, но так было. Некоторые эпизоды, связанные с его «беспаспортным состоянием», я расскажу в дальнейшем.

— Именно это и доказывает, что задержанный вами не шпион, — убеждал командир. — Шпион будет одеваться и вести себя так, чтобы его никто не отличил от наших людей. Он был бы никудышным шпионом, если бы отправился шпионить с такими волосами. Во-вторых, вам следовало бы знать, что у шпионов всегда есть документы, и очень ловко подделанные, которые трудно отличить от настоящих...

Аргументы показались убедительными, Йонаса отпустили, и командир, усадив его в свою машину, помчался дальше...

...А на Минск все падали и падали бомбы. В укрытии мы просидели очень долго, казалось — вечность. Выйти никто не пытался, потому что не было отбоя. К счастью, ни одна бомба не угодила в дом, в подвале которого мы сидели, хотя потолок и стены все время дрожали и качались.

Бомбежка кончилась уже в сумерки. Когда мы вышли из убежища, улицы были в дыму. Он еще в убежище разъедал глаза. У тротуара мы увидели свою машину. Упавшие неподалеку бомбы осыпали ее землей. Но самое удивительное, что машина, как только шофер включил зажигание, сразу завелась. Действовал мотор, шины были в порядке. Необычайно обрадовавшись, мы забрались в машину, и шофер посигналил выходящей из убежища толпе, чтобы нам дали дорогу.

Мы решили без промедления отправиться в Мо-

скву, — по-видимому, только там узнаем о положении дел, и станет ясно, что нам делать.

Проехали метров сто. На мостовой зияла огромная воронка. На другой улице обрушился дом. Наш опытный шофер кружил по улочкам и переулкам, пока не выбрался на уцелевшую улицу, усыпанную битым стеклом. Завернули за угол, на дорогу, которая вела из города. Перед нами открылась длинная, широкая улица, горевшая на всем протяжении. Пылали высокие дома, было светло и жарко, бежали люди, кто от огня, кто, казалось, к огню. Слышались крик и плач. Улица была свободна, и шофер пустил машину напрямик, и мы пролетели, в буквальном смысле слова, сквозь огонь. Смеркалось, и пожары в разных частях города становились все видней. В небо валили клубы огня и дыма, дым стлался по земле. По улицам сновали люди с мешками, они толкали детские коляски, изредка с воем пролетали санитарные машины. То тут, то там ничком и навзничь лежали люди, — не верилось, что они уже мертвы...

Наша машина снова кружила по незнакомым улицам и переулкам. Лишь через каких-нибудь полчаса мы выбрались на край города, на дорогу, которая спустя версту-другую вольется в шоссе Минск — Москва. По нему могли ехать свободно рядом несколько машин, здесь были невозможны пробки, в которые мы попадали несколько раз перед Минском. Такие пробки — истинное бедствие во время войны, особенно там, где может появиться враг.

Впереди, позади и рядом с нами ехали сотни машин. И не только машин, люди шли таким густым и длинным потоком — без начала и конца, — что казалось, в городе было несметное множество жителей и все они теперь, бросив свои дома, фабрики, магазины, спешат побыстрей уйти от места, где их ждут новые налеты врага — и смерть. Одни медленно шагали по обочинам дороги, другие шли прямо по полям, по каким-то низинным местам, может быть, болоту. Шли почти не разговаривая, разве что перекинутся самым нужным словом. Мать искала в толпе потерянного ребенка. Мужчина остановил нашу машину, спросил, нет ли с нами врача — рядом с дорогой рожает женщина.

Людской поток не уменьшился и тогда, когда мы выехали на шоссе. Наша машина едва пробивалась вперед.

Когда мы въехали на пригорок, вдруг спустила шина. Вышли из машины и оглянулись, как жена Лота на родной город.

Казалось, что весь Минск в огне. В отсветах пламени мелькали стены домов, изредка взлетал рой искр, — это, наверное, обваливались потолки. Небо на юго-западе было угрожающе кровавым, и озаренные пламенем поля кишели людьми, бегущими из города. Несильный ветер приносил дым, иногда было трудно дышать. Мы снова смотрели на город со странной радостью, что покинули его, и со страшной тревогой и отвращением. «Вот он, фашизм!.. Вот она, немецкая культура! Наверное, так горел Рим, подожженный Нероном, — подумал я, вспомнив «Камо грядеши» Генрика Сенкевича. — Впрочем, Рим тогда вряд ли был больше современного Минска...» В голову лезли странные образы, какие-то описания пожаров и литературные сравнения. И тут мысль неумолимо возвращалась к тому, что не выходило из головы, — к Литве, к Вильнюсу, к близким... Надо было поступить иначе — взять их с собой, не оставлять на произвол судьбы! Да кто мог предположить, что, выехав из Вильнюса, мы больше в него не вернемся? Да, не вернемся... Я смотрел на залитое пожаром небо, на горящий город, который теперь, ночью, выглядел огромным, и почувствовал еще глубже, чем когда-либо, что идет война неописуемо жестокая, страшная, неудержимая, неумолимая, что судьба отдельного человека, деревни, города, тысяч деревень и городов сразу стала непрочной, шаткой и никто не знает, кто останется в живых, а кто умрет завтра, через неделю, год...

Всей душой я верил, что моя страна непременно победит врага. Я верил в ее исполинскую мощь, патриотизм людей, в их отвагу, преданность. Но я глядел на охваченное огнем небо, на людей, куда-то бессмысленно бегущих под дождем, усталых, отчаявшихся, и мне было ясно одно: начался зловещий период нашей жизни, как ночь без звезд, — нет, как тягостный кошмар...

Мы проехали несколько километров и остановились у перелеска. Мы страшно устали и задремали в машине. Проснувшись под утро, увидели, что в лесу полно красноармейцев — они устанавливали орудия и маскировали их ветками деревьев. Некоторые рыли окопы на опушке. Мы отъехали в сторону. Над нами на бреющем полете

пролетело несколько немецких самолетов. Мы выскочили из машины и бросились наземь. Подняв затем голову, я увидел, как солдаты с винтовками наперевес уводят Людаса Гиру. Я успел заметить побледневшее лицо Гиры и его нервно подергивающуюся голову: он уже понял, что его приняли за шпиона или диверсанта. Я тут же бросился вдогонку за солдатами, которые со мной не пожелали вступать в переговоры. К счастью, из перелеска вышел командир. Я показал ему депутатский мандат и растолковал, кто мы и куда направляемся. Командир с покрасневшими глазами на помятом лице внимательно рассмотрел документ, повертел его, наконец махнул рукой, повелев солдатам отпустить задержанного.

Когда мы отъехали на какой-нибудь километр от этого места, вдруг снова услышали свист и вой самолетов. В лесочке, где расположилась артиллерия, упало пять или шесть бомб, самолеты умчались куда-то вправо от нас и, взмыв вверх, исчезли в небе.

Неподалеку в лесу стоял красивый деревянный дом. Подумав, что здесь можно напиться, — страшная жажда мучила нас еще со вчерашнего дня, — мы свернули на асфальтовую дорожку и вскоре остановились под деревьями (мы уже понимали, что всюду надо прятаться от самолетов). Новый, светлый дом был совершенно пуст. Двери и окна открыты, ветер развевал гардины. В комнатах стояли детские кроватки. На некоторых только матрацы, а другие были и с подушками, одеяльцами, постели скомканы, казалось, что жильцы дома ушли внезапно. В столовой на столе — продолговатая ваза с земляникой. Ягоды еще свежие, и мы горстями черпали их и жадно ели.

Вернулись на шоссе. Притихшее ночью движение снова усилилось. На запад мчались тяжело груженные грузовики и цистерны с бензином. Почти до Борисова мы проехали относительно спокойно и без приключений. Только когда подъехали к борисовскому мосту через речку Березину, в которой когда-то тонула армия Наполеона (этот факт почему-то ожил в памяти), вдруг опять завыли самолеты и вокруг забухали бомбы. «Хотят разрушить мост», — подумал я, понимая, что, если это случится, мы будем отрезаны и, кто знает, переправимся ли вообще на другой берег. «Вперед!» — крикнул я шоферу, и он, не успев разглядеть предупредительные надписи в начале моста, дал полный газ. Перила моста и вода мелькнули

мимо, еще где-то неподалеку ухнуло несколько бомб, но мы уже были на другой стороне.

День стоял жаркий, и мы, устав от бессонных ночей, свернули налево, в густой лес, в котором, кажется, не было солдат, а только стояло несколько легковых машин. Затормозив, узнали, что это беженцы из Минска. Они очень удивились, что нам удалось под бомбежкой проскочить мост, и строили догадки, разрушили немцы мост или нет. Какое-то время спустя мы увидели, что с запада снова хлынул поток машин, — значит, мост уцелел. . .

Узнав, что мы из Вильнюса, нас принялись расспрашивать о судьбе города, но мы ничего не могли сказать. Кто-то слышал, что Вильнюс уже занят гитлеровцами, другие говорили, что нет. Это характерное явление первых дней войны — никто ничего точно не знал.

По пути в Оршу раз десять или больше над шоссе появлялись немецкие самолеты. Услышав вой самолетов, переходящих на бреющий полет, мы выскакивали из машин и падали в кювет, потом вставали и, увидев, что все в порядке, ехали дальше. К счастью, дорога еще не была забита машинами, пробок не возникало. Самолеты лишь изредка стреляли по машинам, в основном бомбили какие-то важные объекты рядом с дорогой.

Мы добрались до Орши. Это довольно крупный город, большей частью деревянный. Люди здесь вели себя спокойно, когда мы спросили, сразу показали столовую. Столовая работала. В ней за длинными столами сидело много посетителей — рабочих или крестьян. Мы тоже заняли место за столом, за которым сидели еще человек десять. На нас никто не обращал внимания, только, услышав, что мы говорим по-литовски, поинтересовались, кто мы, но узнав, что из Вильнюса, сразу успокоились. Крупная, полная девушка с крашеными бровями, стуча высокими каблуками, принесла по тарелке жирного, густого борща, потом подала гуляш. В буфете было пиво, и мы с наслаждением выпили по кружке. Здесь тоже говорят о войне, но не верят, что сюда придут немцы, — все поразительно спокойны, поев, уходят из столовой, а их места занимают другие.

Мы хотели купить газеты, но в киоске их уже не было. Газеты вывешены в витринах. Мы подошли и стали читать. Была напечатана речь Молотова, сказанная позавчера; о положении на фронтах говорилось общими фра-

зами, из которых трудно было что-то понять. Газета писала, что враг будет побежден и вышвырнут с нашей территории. . .

Смертельно уставшие, мы приближались к Смоленску. Город расположен поодаль от шоссе, и мы не знали, найдем ли здесь ночлег. Еще далеко от города, в дачной зоне, виднелись артиллерийские батареи с поднятыми вверх дулами, изредка палатки с войсками, пулеметы, пушки. В городских скверах были вырыты зигзагообразные окопы. В некоторых скверах такие окопы только рыли. Мы спросили, где гостиница, и нам показали новое, довольно красивое здание. Но его занимала какая-то воинская часть. Мы радовались, что еще не испытываем голода, потому что здесь столовые кормили в основном солдат. Увидев управление милиции, я вошел и сказал, что мы едем из Вильнюса, страшно устали и хотели бы где-нибудь переночевать. Начальник долго рассматривал наши документы, наконец, убедившись, что мы внушаем доверие, привел в пустую комнату своего учреждения и посоветовал передохнуть здесь.

Ночь была тревожной. Уснуть так и не удалось. Только-только задремали, как завыла сирена воздушной тревоги. Мы вышли во двор, и кто-то велел нам забраться в окоп. Он был устроен неплохо, даже с крышей. Но в нем было темно, хоть глаз выколи, — рядом слышалось только дыхание сонных людей. Сидеть в окопе надоело, люди начали высовываться. Так поступили и мы. В воздухе то и дело вспыхивали неизвестно кем пущенные ракеты, высоко над городом прогудел самолет. Зенитки не стреляли, и мы решили, что самолет наш, хотя наших самолетов в эти первые два дня войны почти не было видно.

Утром мы почувствовали, что начальник милиции, с кем-то посоветовавшись, собирается конфисковать нашу машину (и вроде бы не для военных целей). Он напомнил, что наша машина иностранной марки, и сказал, что удивляется, как это нам удалось так далеко на ней заехать. Улучив минуту, когда вокруг не было сотрудников милиции, мы сели в машину и укатили из Смоленска на восток. Некоторое время думали, не погонятся ли за нами милиционеры.

Еще одну ночь мы провели в Вязьме, небольшом городке направо от шоссе Минск — Москва. Он чем-то напоминал собой уездные центры, описанные Гоголем или

Салтыковым-Щедриным. Лишь несколько мощеных улиц. Каменные дома тоже только в самом центре. Возвышались луковки древних, давно не ремонтированных церквей. Огромные вывески с исполинскими буквами висели над дверьми магазинов. С полей ветер приносил запах сена. На окраинах города разгуливали коровы и козы. Местные власти встретили нас с большим интересом и сочувствием, отвели в исполком, усадили за стол, покрытый сукном, и внимательно слушали мой рассказ о начале войны в Вильнюсе и о нашей поездке, а этот мой рассказ энергично дополнял и уточнял Людас Гира. Потом нас отвели в чистую столовую со старомодной мебелью и сытно накормили. Спали мы где-то в районе железнодорожного вокзала.

Ночь выдалась спокойная, вражеские самолеты не прилетали. Встав наутро и выехав в центр города, мы увидели толпы людей. Вязьму уже заполнили беженцы из пограничных районов страны, наверно приехавшие поездом — пешком они бы так быстро сюда не добрались. Люди сидели в сквере на траве, на тротуарах в тени домов и что-то жевали; беженцы забили магазины, которые все еще торговали товарами мирного времени.

В толпе я увидел жену Казиса Прейкшаса. Она взволнованно рассказала, что оставила в Вильнюсе или потеряла в дороге свои документы. Как женщине, ей пока сходило с рук, но она прекрасно понимала, что без документов может быть плохо. Мы долго ломали голову, пока не пришла мысль сходить к местному нотариусу и составить соответствующую справку (я не помню, почему мы не обратились в милицию). Нотариус сразу все понял, очень долго редактировал справку, за правильность которой я поручился депутатским мандатом. Все-таки, пока мы придумали, что делать, пока нашли нотариуса и все устроили, прошло несколько часов.

Большинство людей, попавших в Вязьму, теперь стремились в Москву. У комендатуры уже стояли длинноющие очереди в ожидании пропусков — пропуска выдавались лишь в исключительных случаях. Все-таки мне удалось проникнуть к коменданту. За столом сидел ужасно усталый, невыспавшийся человек. Я удивился, что комендант понял меня с полуслова и приказал тут же выписать мне и моим спутникам пропуска в столицу.

Как только мы из Вязьмы вернулись на Московское

шоссе, нас остановил военный патруль. Теперь нас проверяли каждые пять километров. Мы благополучно добрались до Можайской дороги. Я вспомнил, что под этим городом когда-то произошла знаменитая Бородинская битва; в какой-то книге я видел даже изображение памятника в честь этой битвы. Где же состоится решающее сражение между Гитлером и Красной Армией, которое определит судьбу войны? Ни один человек на нашей планете не мог тогда этого сказать. . .

Машина стала выходить из строя, мотор чихал. Дорога от шоссе до Можайска была на удивление плохой — рытвина на рытвине. Хорошо, что давно не было дождя и земля высохла, а то бы сразу застряли. Несколько раз шофер копался в моторе, но машина снова чихала, останавливалась, и мы с великим трудом добрались до Можайска и затормозили у каменного здания местного комитета партии.

Секретарь был занят. Только через добрый час он принял нас в солнечном кабинете. Узнав, кто мы и что мы голодны (в Вязьме мы не успели позавтракать), сам через весь городок повел нас в столовую. Секретарь был молодой, симпатичный, но очень озабоченный и, как и другие ответственные работники, встреченные нами, невыспавшийся. Когда я начал рассказывать, что мы испытали по пути от Вильнюса, он негромко сказал:

— Не надо вызывать панику... Люди сейчас так встревожены. . .

Мы продолжали разговаривать шепотом, хотя рядом никого и не было — каждый шел, не обращая на нас внимания. Слышались жалобы, что в городе не достать хлеба, что куда-то не идут автобусы, что люди ждут их уже который час. . .

И тут мы увидели необычную картину. Через площадь городка (Можайск скорее не город, а городок — здесь тоже большей частью дома деревянные) два красноармейца, выставив винтовки, куда-то ведут. . . немца! Да, самого что ни на есть немца, в зеленой солдатской форме, простоволосого, бледного, нахально глядящего холодными стальными глазами вперед. Весь вид солдата, кажется, так и говорил: «Можете делать со мной что хотите, но армию Гитлера вам не остановить. . . Сами видите, мы уже почти в Москве. . .»

В Можайске в этот час, чуть ли не на пятый день

войны, увидеть немца в полной форме — было невероятно. Немного позднее мы узнали, что где-то в окрестностях Можайска был сброшен немецкий десант. Можайск тогда находился в глубоком тылу, и, видно, гитлеровское руководство добивалось прежде всего психологического эффекта: немецкие солдаты в боевой форме, появившиеся чуть ли не в пригородах Москвы (отсюда до столицы километров сто, не больше), должны были вызвать панику. Не знаю, какой была судьба других десантников. Полагаю, что паники они не вызвали, погибли или укрылись в лесах, где тоже вряд ли долго продержались. Так или иначе, это был первый немец, которого я видел в эту войну... Лет одиннадцать или двенадцать до этого, по пути в Альпы, в Баварии, на железнодорожном полустанке, я видел первого нациста — кривоногого, лысого. Тогда он показывал нам свастику, на всякий случай спрятанную под лацканом пиджака, и объяснял, кто он такой, — настанет время, и его единомышленники-де перебьют евреев и «поставят на место» Францию... Без сомнения, ни ему, ни нам тогда не приходило в голову, что может случиться через десять с лишним лет. Гитлеровец в Можайске вызывал сотни мыслей, вопросов, переворачивал вверх ногами все наше понимание войны, военной психологии...

Наша машина, увы, отказалась нам служить. Чтоб починить ее, понадобилось бы два, а то и три дня (в ремонтных мастерских не хватало рабочих). Долго раздумывали, что делать, и решили: оставить машину в ведении секретаря горкома, взяв у него расписку, а до Москвы добираться поездом. Секретарь, относившийся к нам дружески, позаботился, чтобы нас усадили в вагон. В поезде ехали рабочие и возвращались домой задержавшиеся в Можайске и других подмосковных поселках дачники, москвичи и люди, приезжавшие сюда по делам. В вагоне все сидели мрачные, с нами почти никто не заговаривал, а если кто и спрашивал, то мы помнили указание можайского секретаря «не вызывать паники» и не рассказывали случайным встречным переживания последних дней.

Люди толковали о своей работе, родственниках, о прерванном отпуске. Молодая красивая женщина рассказывала, сидя в углу купе, что ей надо вернуться в Москву, а оттуда ехать к мужу в Брест, на границу Польши. Кто-то сказал, что она опоздала — Брест уже заняли немцы.

Что ж, если не в Бресте, то где-нибудь в Белоруссии она непременно найдет мужа!

— Эх, девица, — сказал бородатый старик, — говоришь ты как младенец. Думаешь, твой муж сидит и ждет, пока ты приедешь? . . Война, понимать надо!

Женщина смахнула краешком платка слезу и тяжело вздохнула.

— Хорошо еще, детей у нас нет. . .

Чернявый парень в спецовке объяснял пассажирам:

— У немцев же бензину не хватает. Нечего в моторы заливать. . . А мотор без горючего работать не будет. . .

— Горючего, горючего. . . Горючее у них теперь синтетическое. . . — сказал усатый интеллигентный человек.

Парень расхохотался.

— Чепуха, дядя! . . На синтетическом далеко не уедешь. . .

Одни поддерживали парня, другие — усача. За разговором явно таились два мнения: одни не верили или не хотели верить в мощь немцев, другие понимали, что с ними нелегко будет справиться. Но прямо никто не выражал своих мыслей, особенно мысли о том, что немцы сильны.

— А ягод-то, ягод в лесу! — напевно сказала женщина, приоткрыв свою корзинку. — Просто одна к одной. . .

— Тоже нашли чем заняться — ягоды собирают! — снова заговорил усач. — Окопы рыть, готовиться к возможным неожиданностям. . .

— Без паники, без паники, папаша! — откликнулся парень в спецовке.

Усач замолчал, плюнул в открытое окно и, вытащив из кармана жестяной портсигар, в котором находились курительная бумага и табак, принялся скручивать цигарку.

Поезд шел нормальной скоростью, останавливался на многочисленных полустанках пригородов Москвы. Одни пассажиры выходили, другие заходили в поезд. Наконец мы оказались на уже знакомом Белорусском вокзале.

МОСКВА В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

В Москве на первый взгляд вроде ничего не изменилось. Но только на первый взгляд. На вокзалах в поезда, идущие на запад, садились солдаты. Вагоны то-

варные. Из открытых дверей глядели серьезные, суровые лица солдат. Мрачно играла гармонь. Не надеясь найти на площади такси, мы спустились в метро. Давка была гораздо больше, чем раньше в ранний вечерний час. Люди серьезнее, никто не улыбался, не шутил, каждый думал тяжелую думу. Приехав в центр, мы пересели на другую линию и вышли на знакомой Арбатской станции. Отсюда недалеко улица Воровского и наше Постоянное представительство при Совете Народных Комиссаров СССР — красивый двухэтажный дом, в котором я впервые оказался в 1936 году, когда мы приезжали в Москву, — прием давал посол Литвы Юргис Балтрушайтис. Прошло всего пять лет... Изменился строй в Литве, Балтрушайтис еще раньше ушел в отставку и уехал к сыну в Париж, и вот теперь я снова в Москве — человек, который неизвестно когда увидит снова любимых людей и родную землю...

Багажа у нас не было, мы пешком добрались от метро до цели своего путешествия. По Арбатской площади шагали солдаты в полном снаряжении, мимо с шумом проезжали набитые битком трамваи. На углу улицы мы заметили первые плакаты военного времени: на одном красноармеец протыкал штыком крысу — Гитлера, на другом Родина-мать просила своих детей защитить ее...

Мы вошли в здание Постпредства. Постпредом был мой знакомый Повилас Ротомскис *, человек моих лет. Когда-то, еще до советского времени, я встречался с ним в Каунасе, в книжной лавке прогрессивных учителей, где он, коммунист, вышедший из тюрьмы, работал продавцом. Я знал его и как переводчика рассказов Максима Горького и романа Эптона Синклера «Автомобильный король». Ротомскис и его жена Тамара нас, первых беженцев из Литвы, встретили очень душевно, выделили две комнаты и вкусно покормили. За ужином в комнате своего хозяина мы на минуту как бы забыли трагическое состояние Литвы и даже всей страны. Нет, забывать об этом нельзя было ни на мгновение. Мы рассказывали Ротомскисам, как узнали в Литве про войну, как бомбежка застала нас в Минске, как горел весь город... От них же мы узнали очень мало нового. Было ясно, что немцы, нарушив пакт о ненападении, внезапно атаковали нас и местами глубоко вторглись на нашу территорию. Никто точно не знал, где идут бои, какие города уже

оккупированы гитлеровцами. Ротомскис сказал, что и в Москве царит невеселое настроение; это совершенно понятно — многие москвичи уже сражаются на фронтах, многие досрочно призваны в армию, и их семьи волнуются о близких. Все знают, что на страну напал сильный и коварный враг, но никто не сомневается в том, что он будет разгромлен и изгнан. Конечно, думать, что это случится в ближайшие недели или месяцы, — наивно. Война, по-видимому, окажется затяжной и тяжелой. С нашим правительством в Каунасе связь прервалась в первый же день войны, и у Ротомскиса не было никаких сведений о судьбе руководящих товарищей, наших писателей и деятелей искусства. Мы были первыми беженцами из Литвы, которым на шестой день войны, то есть 27 июня, удалось добраться до Москвы.

Спать мы ушли поздно вечером. После напряжения последних дней мы ощутили невероятную усталость и заснули сразу тяжелым, каменным сном.

Наутро я вышел погулять по военной Москве.

Улицы были полны людей, как и в мирное время. По мостовой шагали и шагали войска. Они ехали также на грузовиках, чаще всего в западном направлении. Некоторые отряды проходили с песней. Кое-где на тротуарах останавливались женщины, мужчины и дети; они махали солдатам. Женщины вытирали глаза, плакали или даже громко рыдали. Люди сгружали с машин мешки с песком и несли их к большим витринам на улице Горького. Несколько раз милиция и военные патрули проверили мои документы. В киосках торговали мороженым, соками, лимонадом. Женщины у лотков продавали папиросы «Казбек», а также букинистические книги, которые покупали военные и штатские. На стендах висели объявления — в четырнадцати городских театрах все еще шли спектакли мирного времени. МХАТ ставил «Трех сестер» и «Анну Каренину». Большой театр был закрыт (может быть, уехал на гастроли), но работал филиал, где пели Козловский и Лемешев. Как и до войны, у театральных касс терпеливо выстраивались длинные очереди.

В витринах были расклеены газеты. В них много места занимали сообщения о войне — о «тяжелых оборонительных боях» на Минском, Брестском, Одесском и других направлениях. Часто указывалось, что силы врага преобладают. Читать эти сообщения было невесело, но

и у них тоже толпились люди, жаждавшие узнать об истинном положении дел.

В магазинах было еще немало различных товаров — обуви, валенок, игрушек, материалов. Удивляло то, что в магазины можно было попасть и купить все необходимое. Работали рестораны и закусочные. Зайдя в закусочную недалеко от Арбатской площади, я получил хороший кофе с булочкой и сосиски. Посетители заказывали горячие блюда, традиционные сто граммов водки или пиво.

Уже в первые дни войны населению было предложено сдать радиоприемники. Разумный шаг, поскольку враг, как выяснилось впоследствии, сообщал о своих невиданных победах, полном разброде в Красной Армии, передавал множество глупых сообщений в надежде подорвать моральный дух не только солдат, но и мирного населения. Позднее мы увидели немецкие газеты, привезенные с фронта, и прочитали в них, что в Москве-де царит всеобщая анархия, что «банды большевиков» на перекрестках улиц стреляют друг в друга, что ночью на одичавшие улицы Москвы прибегают волки и воют на разные голоса. Нам, которые как раз жили в Москве и видели, что, несмотря на трудности военного времени, город героически держится и порядок не нарушается, было смешно читать подобные «сообщения»... (Подобные сведения гитлеровская пропаганда чаще всего преподносила во второй или третий год войны, но и раньше подобных «жемчужин» в их газетах и радиосообщениях было хоть отбавляй...»)

Я совершенно ничего не знал не только о своей семье, с которой так неожиданно и злополучно расстался. Ни весточки не было и о друзьях. Где Креве, Цвирка, Нерис, Корсакас, Монтвила, Марцинкявичюс? Где, в конце концов, Борута? За него я был спокоен — перед самой войной, как я уже говорил, я отвез его в Бирштонас на лечение. Не могли же немцы бомбить такое место, как Бирштонас... Я не подумал, что как только придут гитлеровцы, изо всех углов вылезут фашистские пособники с белыми повязками на рукавах и начнут ловить всех подозрительных, и не только ловить, но и зверски убивать... Но обо всем этом мы узнали значительно позже...

«Правда» напечатала статью Янки Купалы «Германский фашизм — злейший враг белорусского народа». Статья потрясла меня.

«Если враг сорвет яблоко, созревшее в нашем саду, —

писал великий белорусский поэт, — оно разорвется гранатой в его руках!

Если он сожнет горсть наших тяжелых колосьев, зерна вылетят и поразят его свинцовым дождем!

Если он подойдет к нашим чистым студеным колодцам, они пересохнут, чтобы не дать ему воды!»

Я знал, что после Первого съезда латышских писателей Янка Купала, Якуб Колас и другие белорусские писатели заезжали в Каунас. Это было перед самой войной. Я обрадовался, что они успели отступить. Янка Купала наверняка сейчас находится где-нибудь в прифронтовой полосе, а может быть, и в Москве. . .

«Вот что должны делать писатели!» — подумал я, прочитав статью Янки Купалы. Гневным словом — вот чем мы можем помочь великой борьбе!

Статья захватила и Людаса Гиру. Дня два мы прикидывали свои возможности. Пожалуй, единственное, что мы можем, — это как можно скорее организовать литовские передачи по московскому радио.

Когда мы пришли в старый дом в конце площади Пушкина, за редакцией «Известий», нас принял председатель Радиокомитета, молодой энергичный Дмитрий Поликарпов, который позднее некоторое время работал секретарем Правления Союза писателей СССР. Поликарпов был утомлен, ежеминутно на его столе звонил телефон. Узнав, кто мы и как оказались в Москве, он вспомнил мои статьи и стихи Гиры в московской печати. Сразу же завязалась простая беседа о том, что нас всех заботило. В Москве в это время уже находилась актриса Казимера Кимантайте*. И вопрос о литовском дикторе был решен сразу же. Кажется, еще в последние дни июня московское радио начало передавать на Литву сводки Совинформбюро о ходе войны и другой материал, который мы успевали переводить из московских газет или писать сами. Теперь я стал частым гостем в Радиокомитете. По сумрачным коридорам большого дома бегали (не ходили, а действительно бегали) работники редакций. В руках они держали листы с машинописным текстом. Из открытых дверей комнат долетал стрекот десятка пишущих машинок. Люди в коридорах разговаривали по-русски, по-белорусски и по-украински, раздавалась немецкая, французская, английская и итальянская речь. Было видно, что здесь и днем и ночью кипит работа, цель

которой — информировать мир о том, как сражается и чем живет Советская страна...

Мы приступили к литовским радиопередачам и сразу же почувствовали радостное удовлетворение. Ни минуты мы не сомневались в том, что нас в Литве слышат. Казалось бесконечно важным, чтобы наши люди знали, что даже в годину нежданного бедствия, в эти первые дни войны, они не оставлены на самих себя: Москва, сердце великой страны, не забыла о них. Это чувство подстегивало и нас, заставляло трудиться по многу часов в день, быстро и хорошо готовить материал, оперативно передавать в эфир. Казимера Кимантайте оказалась замечательной сотрудницей: она была на своем посту и днем и ночью.

Мы не переставали думать и волноваться за близких и друзей, оставшихся в Литве. Это стало навязчивой идеей, она не покидала нас ни во сне, ни наяву. И каким было наше удивление, когда в один июньский день мы увидели, что по лестнице нашего дома идет Саломея Нерис со своим сыном. Оба поднимались с трудом, тяжело передвигая ноги, запыленные, нечеловечески усталые, загоревшие до черноты под жарким летним солнцем.

Встреча при таких необыкновенных обстоятельствах была и печальной и радостной. И Нерис и мы не надеялись так скоро встретиться. Лишь на другой день, немного отдохнув, она рассказала нам о своем ужасном путешествии из Каунаса через Зарасай, Даугавпилс, Великие Луки, Ржев. Она видела на дорогах раненых и убитых, сама не раз глядела в лицо смерти — поначалу в Латвии, где ее чуть не расстреляли латышские айзсарги, эти кровавые пособники Гитлера. Во время бомбежки она потеряла сына, которого нашла только через некоторое время. По пути погибло все, что Саломея взяла с собой, — одежда и рукописи. С благодарностью она упоминала о незнакомом советском командире, который где-то под Ржевом посадил ее в свою машину и привез прямо в Москву.

Саломея говорила, что первый день войны она провела в Каунасе, в Союзе писателей, но уехала не вместе с другими; об их судьбе она ничего не знала. Правда, в Ржеве она встретила Йонаса Шимкуса, который помог ей по-братски (долго нес ее уставшего сынишку), но и

с ним они где-то разминулись, и больше она его не видела.

Поэтессу до глубины души потрясло все увиденное и пережитое за последние дни. Но она не жаловалась, не плакала, а только крепче сжимала губы. Воспаленные глаза оставались сухими.

Ротомскисы встретили Саломею с таким же человеческим теплом и сочувствием, как и нас. Она получила комнату, смогла отмыться, жена Ротомскиса помогла Саломее одеждой. Вечером мы сидели в комнате Ротомскисов и пили хороший кофе мирного времени и французское вино, оставшееся еще из запасов Юргиса Балтрушайтиса, окунувшись на время в уютную семейную атмосферу и забыв на минуту о своем горе. Ротомскис сказал, что получил указание вычистить все чердаки и кладовки дома, чтобы нигде не оставалось воспламеняющихся материалов — бумаги, тряпок, дров. Уже на следующее утро служащие Постпредства принялись за работу. Не считая прочего хлама, из склада во дворе выгрузили несколько тысяч пустых бутылок из-под французского вина. Их долго валили на машины и куда-то увозили. . .

Иногда вместе с Саломеей и ее сынишкой, иногда один я уходил в город. Никто не обращал на нас особого внимания. Только изредка, услышав, что мы говорим не по-русски, у нас проверяли документы. Как-то Саломея вернулась с сыном заплаканная. Оказывается, Баландис где-то в сквере начал играть с детьми, но те, услышав, что он говорит на незнакомом языке, закричали:

— Шпион, немец, бить его!

Это была детская реакция на то, что дети слышали от взрослых, но Саломее это показалось обидным и нечеловечным. Как мог, я успокаивал ее. . .

Шли первые недели войны. Радио и газеты сообщали о все более страшных вещах — гитлеровские полчища ломятся в глубь страны. Москва с каждым днем меняла свое лицо, становилась все суровей. Окна учреждений, огромные витрины магазинов по-прежнему закрывали мешками с песком. Стекла были крест-накрест оклеены полосками бумаги. На лестничных площадках стояли ящики с песком. Город готовился встретить налеты вражеской авиации. Заметно исчезали товары из магазинов, из киосков, с уличных лотков. Вместо папирос начали продавать махорку в пачках. Не всегда можно было до-

стать спички, — некоторые пользовались зажигалками, а кое-кто уже брался за кремень. . . В город исподволь возвращался быт эпохи гражданской войны. А по улицам и площадям днем и ночью шагали воинские колонны, угрюмые, безмолвные, печатая шаг тяжелыми сапогами, хотя из-под пилоток и шлемов глядели юные, добрые ребячьи глаза. Победить и умирать шли молодые парни, оставив дома плачущих родителей, невест, а многие и жен, детей. . .

Ночью город утопал в непривычной, неприветливой темноте. Была середина лета, долго не смеркалось, но улицы пустели рано, — кто мог, спешил домой. Ночью нужны были пропуска. Если где-нибудь в подворотне даже в самом начале сумерек кто-то зажигал спичку, прохожие кричали:

— Скорей тушите! Враг видит. . .

Это было наивно, — в воздухе не было вражеских самолетов, а если бы даже они были, вряд ли бы они разглядели огонек спички и нашли бы по нему цель. Но вместе с тем это показывало и дисциплинированность населения. Вечером патрули и дворники следили за тем, чтобы были хорошо замаскированы окна и подъезды.

Все чаще я ходил с Саломеей по Москве. Печальным взглядом смотрела она на шагающих солдат, на озабоченных, торопливо снующих прохожих.

— Сколько боли, сколько горя теперь у людей! — говорила поэтесса. — Сыновья и отцы идут на фронт. И вернутся ли они? Никто не знает. Еще только первые недели войны. . . Когда смотришь на этих солдат, хочется быть среди них. Надо победить врага. Надо вернуться в родной край. . .

Я смотрел ей в глаза и видел, что Саломее нестерпимо больно. Она оставила домик в Палемонасе, рассталась с мужем, угодила в страшный вихрь войны, и никто не знает, куда унесет ее с сыном этот вихрь.

В первые же дни в Москве Саломея нашла тихий уголок в Постпредстве за не занятым никем столом. Она давала сыну бумагу и карандаш, которым он проворно чертил удивительно правильные круги и рисовал взрывающиеся бомбы и самолеты, сама же поэтесса что-то писала в блокноте. Это еще не были стихи. Ошеломляющий гром войны и людское горе еще не превратились в волнующие образы. Она делала то необходимое дело,

которым были заняты и мы, — переводила для наших радиопередач сводки Совинформбюро, самые интересные статьи советских писателей из центральной печати, в том числе и статью Янки Купалы. Все чаще начали появляться в печати выступления Алексея Толстого, Николая Тихонова, Евгения Петрова, Ильи Эренбурга, Александра Корнейчука, Ванды Василевской и других видных советских писателей, стихи Алексея Суркова, Николая Тихонова, Константина Симонова, Веры Инбер, Ольги Берггольц и многих других поэтов. По радио передавали военные песни, и больше других будоражила всех «Священная война»:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война. . .

БОМБЫ ПАДАЮТ НА ГОРОД

Прошло двенадцать дней, которые казались невероятно долгими. Первые дни, недели войны. . . Однажды утром вся Москва, вся страна, весь мир услышали голос, который ждали давно. Впервые с начала войны выступил Сталин.

Было утро 3 июля. Громкоговорители доносили негромко произносимые слова, которые говорил явно усталый человек. Несколько раз было слышно, как он наливал и пил воду. Но каждое слово, сказанное с грузинским акцентом, все слушали с большим вниманием.

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! — с необыкновенной теплотой, не так, как всегда, говорил он. — Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Сталин открыто, ничего не стараясь скрывать, рассказал о коварном нападении, о героическом сопротивлении Красной Армии. Он сказал, что гитлеровские армии уже оккупировали Литву, значительную часть Латвии, запад Белоруссии и часть Западной Украины. «Над нашей Родиной нависла серьезная опасность», — безжалостную и жестокую правду констатировал тихий голос.

Дальше он говорил о том, что на защиту Родины поднимается весь советский народ, что враг жесток и неумолим, что его цель — захват наших земель, нашего хлеба и нефти, восстановление власти помещиков, уничтожение

национальной культуры советских народов, превращение их в рабов немецких князей и баронов. . Сталин призывал перестроить всю работу страны на военный лад, организовать всестороннюю помощь Красной Армии, начинать широчайшую партизанскую войну, безжалостную борьбу с дезертирами, паникерами, шпионами и диверсантами. При вынужденном отходе армии надо стараться увезти все ценное имущество, а то, что нельзя увезти, — уничтожить, чтобы не оставить врагу.

Речь кончалась волнующими словами:

«Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение. . .

Все силы народа — на разгром врага!

Вперед, за нашу победу!»

Я думаю, что не преувеличу, сказав, что речь Сталина (она сразу же появилась во всех газетах и много раз передавалась по радио на разных языках, в том числе и по-литовски) произвела гигантское впечатление на население нашей страны. «Правда была горькой, но она была наконец сказана, — уже после войны в своем романе «Живые и мертвые» писал об этой речи Константин Симонов. — И с ней прочней стоялось на земле. . .»

В той же книге Симонов метко пишет: «Его (Сталина) любили по-разному: беззаветно и с оговорками, и любуясь, и побаиваясь; иногда даже не любили. Но в его мужестве и железной воле не сомневался никто. А как раз эти два качества и казались сейчас необходимее всего в человеке, стоявшем во главе воевавшей страны».

Положение бесконечно тяжелое, но мы — победим. Так думали тогда и мы, литовцы, оказавшиеся в Москве.

А наших в Москве стало появляться все больше. Отступившие из Каунаса руководящие работники республики — Антанас Снечкус, Юстас Палецкис, Мечис Гедвилас, Казис Прейкшас, Адомас-Мескупас и другие — через Зарасай и Даугавпилс, тем же путем, что и Саломея Не-

рис, приехали в Москву и тоже остановились в Постпредстве. Чуть позднее появился Александрас Гузявичюс.

Приехал председатель Радиокомитета Литвы Юозас Банайтис *, прибыл редактор газеты «Тарибу Лиетува» Йонас Шимкус. Они могли наладить литовские радиопередачи из Москвы гораздо лучше, чем мы с Гирой. Наша работа, что ни говори, была «любительской». Теперь число передач увеличилось, для них уделяли больше времени, да и содержание их стало более разнообразным. Прибывшие рассказывали об изобиловавшей опасностями дороге от Каунаса до Москвы, о налетах немецкой авиации на шоссе Каунас — Зарасай, о гибели одного из самых благородных людей, каких я знал, — Пиюса Гловацкаса. Пиюс Гловацкас оказал влияние на меня, когда я учился во втором классе Мариямпольской гимназии. Позднее он долгие годы провел в тюрьмах буржуазной Литвы. Он вышел из заключения по амнистии еще летом 1939 года; во время Народного правительства работал вместе с Винцасом Креве в Министерстве иностранных дел, потом был назначен председателем Государственной плановой комиссии. Когда я снова встретился после долгих лет с Пиюсом Гловацкасом, — он, как и в юности, казался серьезным, ласковым, но волевым человеком. Когда я напомнил ему о мариямпольских временах и доме барышни Пликюте, где его полемика с атейтининками во мне вызвала настоящий внутренний переворот, он едва мог вспомнить меня, маленького гимназистика, одного из многих. А мне было приятно: вот тот человек, который, сам того не зная, сыграл большую роль в моей жизни. Ведь если я теперь здесь, вместе с новой Литвой, в этом заслуга и Пиюса Гловацкаса.

И вот этого человека уже нет в живых. Печальнее всего, что он погиб совершенно случайно, бессмысленно — в самые первые дни войны.

Приехавшие сообщили нам, что и Цвирка эвакуировался из Каунаса. Они с женой уехали на машине, оставив крохотного сына Андрюкаса у тещи Эляны Рачкаускене, но машина по дороге, видимо, сломалась, потому что в Латвии кто-то видел, как они садились на поезд. Эвакуировалось несколько молодых писателей, но почему-то не оказалось с ними ни Теофилиса Тильвитиса, ни Витаутаса Монтвилы, ни, наконец, Винцаса Креве...

О том, где другие наши друзья, которым удалось отступить из Каунаса, у нас не было никаких вестей...

Литовскими радиопередачами теперь руководил Юозас Банайтис. Я знал его еще по Каунасскому университету, — когда-то мы посещали один и тот же гуманитарный факультет, ходили по тем же коридорам. Тогда Юозас Банайтис примыкал к правым, печатал в журнале «Науёйи Ромува» роман «Романтика колокольни», но так его почему-то и не кончил, выступал с новеллами, написанными в ультрасовременном, «новаторском» стиле (после каждого слова — точка), сотрудничал в альманахе «Гранитас», организованном Юозасом Келюотисом * (этот «гранит» мы обычно называли квашней). Остро полемизировал в студенческой печати с Валисом Драздаускасом о направлении и концепциях «Третьего фронта». Но впоследствии он стал глубже думать о Литве и международном положении, о судьбе нашей культуры. Он прекратил связи с правыми и еще в буржуазные годы, работая учителем музыки в Каунасской гимназии (он окончил консерваторию по классу виолончели), в 1937 году вступил в Коммунистическую партию Литвы. Это была тайна, о которой мы узнали только в начале советского времени.

Юозас Банайтис был очень мягким, тактичным, культурным человеком. Это подчеркивала и его наружность — он ходил всегда в аккуратном костюме, в наглаженных рубашках. Это был думающий человек. Я помнил продолжительную беседу с ним, когда он посетил меня в Клайпеде (примерно в 1938 году). Он не скрывал своих левых настроений, симпатий к испанским республиканцам, глубоко понимал роль Советского Союза в канун войны. Со мной Банайтис говорил открыто, сокрушался, что события 1937 года в Советском Союзе вызывают у него беспокойство — трудно, мол, поверить, что люди, отдавшие революции долгие годы, вдруг стали врагами социалистического государства и народа... По правде говоря, эти события волновали и тревожили тогда не одного Банайтиса — у всех приверженцев СССР в Литве они вызывали тяжелые раздумья.

При встречах мы обычно не вспоминали тех лет, когда между Банайтисом и нами, сотрудниками «Третьего фронта», велась достаточно острая полемика. Радовало, что этот образованный музыкант, глубокий ценитель литературы и искусства оказался в движении Народного

фронта. Он писал и в нашем журнале Народного фронта «Литература»... С первых же дней Народного правительства Банайтис вместе с другими лучшими представителями нашей интеллигенции включился в жизнь новой республики.

Может быть, стоит упомянуть здесь об одной комической истории, которая хорошо показывает атмосферу тех дней. Юозас Банайтис, прибыв в Москву, вместе с Шимкусом зашел в ресторанчик на Арбатской площади, куда я тоже заглядывал. Увидев, что посетители просят «шкалик» или «двойную», они не могли разобраться, сколько это будет (в Литве было принято заказывать графин или графинчик различной величины), осторожно попросили по пятидесяти граммов водки. Кое у кого это сразу вызвало подозрение: эти двое не москвичи, даже не русские, поскольку явно не знают местных нравов... Подошел незнакомый гражданин и попросил предъявить документы.

Мы по-прежнему жили на улице Воровского. Как я уже упоминал, дом Постпредства был довольно просторным. Внизу большой полуподвал (здесь когда-то, в 1936 году, мы с Цвиркой посетили Ромуальдаса Юкнявичюса, который тогда стажировался в московских театрах). В полуподвале было немало больших и маленьких комнат. На первом этаже находилась канцелярия Постпредства со столами, пишущими машинками и прочим инвентарем. На втором, куда вела красивая лестница, находился зал приемов — помещение, обставленное старинной мебелью, по соседству с ним зал поменьше и несколько меблированных просторных комнат, где, по-видимому, в свое время жил Юргис Балтрушайтис. Теперь две из этих комнат занимал Ротомскис, а другие оставались свободными. Здесь как раз и поселились прибывшие в Москву литовцы. Был и третий этаж с маленькими комнатушками, где позднее во время войны селили приезжавших в Москву на короткий срок.

На улице Воровского появилась видная солистка оперы Александра Сташкевичюте — война застала ее в Сочи. С первых же дней Народного правительства мы видели ее всюду, где происходили важные события, — в Народном Сейме, на разных митингах и концертах. Эта прекрасная певица, воспитанница Пражской консерватории, прошедшая тяжелую школу жизни, щедро делилась сво-

им талантом со слушателями. Она любила юмор, умела рассказывать сотни смешных событий и анекдотов из актерской жизни, поэтому с ней никогда не было скучно. Вот и теперь она пыталась рассеять наше мрачное настроение. Она показывала всем пример и своим трудолюбием: выступала всюду, куда ее только приглашали, — в воинских частях, в госпиталях, пела перед публикой Москвы и других городов. Позднее вместе с латышской певицей Эльфридой Пакуль Сташкевичюте представляла в Москве искусство Прибалтийских республик. Она включилась и в литовские радиопередачи, — ее голос уже в первые месяцы войны не раз слышала оккупированная Литва. Впоследствии она часто приезжала в Литовскую дивизию.

С фронтов поступали невеселые вести. Радио и газеты то и дело сообщали о том, что Красная Армия после тяжелых боев с преобладающими силами противника оставила какой-нибудь город или район. Москвичи казались суровыми, угрюмыми, они ждали военных испытаний. Поговаривали, что сражения идут где-то под Смоленском. Говорили, что немцев там задержали. В середине июля впервые было применено новое, неизвестное немцам и поэтому очень напугавшее их реактивное оружие — «катюши». Тогда и советские люди мало знали об этом оружии и говорили только о его фантастической мощи — после обстрела на большом участке «ничего не остается». Разговоры о «катюшах» поднимали у всех дух.

В ночь на 22 июля, ровно через месяц после начала войны, гитлеровская авиация впервые атаковала с воздуха Москву. Эту ночь не забудет ни один москвич, никто из тех, кто тогда находился в столице. Жутким голосом завыли сотни сирен — от одного этого воя по спине побежали мурашки. По всем громкоговорителям передавали сообщения о воздушной тревоге. Одни спешили в убежища (было десять или одиннадцать часов вечера) — в подвалы домов, куда указывали надписи и стрелки на стенах, а кто находился поближе к метро — в подземные станции (позднее при воздушных тревогах в станции метро пускали только женщин и детей), другие, остановившись на улицах, чего-то ждали, но милиция и патрули всех загоняли в убежища. Городской транспорт остановился, носились только пожарные машины и машины

скорой помощи. Мы стояли во дворе Постпредства и глядели в сумрачное небо, в котором светились длинные лучи прожекторов. Вскоре заговорили зенитки, сливаясь в единый гул. Казалось, что на каждой городской площади, на крышах домов, во дворах стоят орудия и стреляют так, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. Где-то вдалеке прогремели тяжелые взрывы — упали бомбы. На окраине города то тут, то там поднялись ввысь огненные столбы — загорелись какие-то склады. На пожар полетели пожарные машины. Раздался глухой рев самолета. Он был слышен, когда на минутку прекращалась пальба зениток. У площади Восстания вдруг повисла в воздухе лампа, сразу ослепительно ярко озарившая стены и крыши домов, часть мостовой. Все вокруг засветилось, словно днем, только свет был неуютным и предвещал недоброе. Снова раздались взрывы — уже ближе. Зенитки жарили так, что мы спрятались под крышу, чтобы на голову не упали осколки. Неподалеку загорелся дом, — стоявшие рядом с нами москвичи говорили, что самолеты сбросили сотни зажигательных бомб. Как выяснилось наутро, большинство бомб упало во дворы, на улицы и только часть — на дома. Не все знали, что бомбы лучше всего тушить, засыпая их песком, и бросали их в бочки с водой, которые держали во дворах и на чердаках. Позднее люди поняли, что лучше всего сбрасывать их лопатами с крыши вниз, где бомба сама потухнет. Лучше всего тушили зажигалки московские дети. Несмотря на опасность, а может как следует и не понимая ее, они дежурили на чердаках и крышах и отважно сражались с пожарами. Многие, конечно, пострадали — погибли или получили ожоги. . .

На следующий день люди рассказывали, что к городу рвались сотни вражеских самолетов, но до центра долетели лишь единицы. Наша зенитная артиллерия сбила несколько самолетов. Мы слышали, что сбитый немецкий самолет упал в Москву-реку, а другой на какой-то площади выставлен на обозрение публики. Позднее на площади Свердлова мы действительно увидели сбитый немецкий самолет. Люди смотрели на него с интересом и отвращением.

— Эх, сволочи, все равно вам конец пришел. . .

— Поделом им. . .

— Увидят они Москву, как собственные уши. . .

— Дулю Гитлеру под нос, не Москву. . .

Хотя потери на фронтах были огромные, положение очень тяжелое, не чувствовалось ни растерянности, ни паники. Ощущалась убежденность, что враг рано или поздно все равно будет побежден. Часто вспоминали речь Сталина, которую многие знали чуть ли не наизусть.

Воздушные налеты не прекращались. Каждый день, обычно около десяти часов вечера, включалась сирена тревоги. Через некоторое время — десять — пятнадцать минут, а иногда и целых полчаса — вдалеке раздавался рев самолетов. Казалось, они приближаются медленно, но упорно, полные решимости сбросить на город свой смертоносный груз. Но уже во вторую ночь воздушных налетов изменилась наша тактика обороны. Теперь зенитные орудия и пулеметы стреляли не во всем городе, а лишь в тех районах, над которыми летали вражеские самолеты. Через некоторое время, когда самолеты оказывались в другом секторе неба, зенитки встречали их с других площадей и улиц, а те, которые стреляли раньше, замолкали. Самолеты, без всякого сомнения, рвались в центр города, где находился Кремль и правительство, а вокруг было немало важнейших городских и всесоюзных учреждений. Улица Воровского и Арбатская площадь, как известно, находятся неподалеку от этого района, поэтому и мы оказались в центре вражеских нападений. Как-то я стоял во дворе Постпредства и дежурил; в большое здание неподалеку от Арбатской площади попала бомба (в доме находилась аптека, в нем жило много людей). Воздушная волна меня так сильно бросила к стене, что я на некоторое время оглох. Спина и ушибленная голова поначалу как бы онемели, а потом стали сильно болеть. Это продолжалось несколько недель, хотя ходить и работать я мог. Наутро после этого налета оказалось, что большая часть дома, мимо которого мы каждый день проходили, разрушена. Еще несколько дней у дома трудились солдаты и гражданские лица, стараясь откопать людей, заживо похороненных в убежище, — поговаривали, что здесь погибло около ста человек, в основном женщин, стариков и детей (мужчины сражались на фронтах). Неуютно бывало идти мимо руин, под которыми, как нам мерещилось, все еще находятся живые люди. Другая бомба попала в Постпредство Латвийской ССР, расположенное неподалеку от нашего, где погибло

одиннадцать человек, в том числе жена нашего хорошего знакомого профессора Кирхенштейна, председателя Президиума Верховного Совета Латвии. Лишившись своего помещения, правительство Латвии получило убежище на первом этаже нашего Постпредства. Бомба попала и в находящийся по соседству Театр имени Вахтангова, где тоже погибли люди, в их числе и актеры. Были разрушены школы, детские сады, какая-то больница, но правительственные учреждения и Кремль совершенно не пострадали.

Мы, жившие в Постпредстве, обычно делили между собой обязанности — одни до самого утра, когда обычно давали отбой, дежурили во дворе или на верху дома, на лестнице, где стояли ящики с песком и лопаты, другие «отдыхали». Днем мы готовили материал для радио (передачи участились и удлинились, а нас, сотрудников, было всего несколько) и к вечеру ужасно уставали. Увы, весь «отдых» состоял в том, чтобы спуститься в подвал нашего дома и отсиживаться в нем во время воздушной тревоги. Подвал в лучшем случае предохранял от осколков, но не от самих бомб. Бомба даже незначительного калибра очень легко могла пробить крышу дома и несколько перекрытий. И все-таки не одну ночь нам пришлось провести здесь, в убежище, куда мы обычно прежде всего отсылали женщин.

Не раз во время бомбежек я видел в подвале Саломею. Как и все мы, днем она работала, писала или переводила для радио. Теперь, спустившись в подвал, она укладывала на скамье Баландиса, а сама присаживалась рядом и читала какую-нибудь книгу (если был свет) или прислушивалась к адским звукам воздушного боя над городом. Я не помню, чтобы она в такую минуту хоть раз показала свое волнение. Иногда она смотрела прямо перед собой, крепко стиснув губы, а иногда одной-двумя фразами выражала свою страшную ненависть к фашизму, который несет народам мучения и смерть.

Однажды вечером мы с Саломеей шли по площади Пушкина, — кажется, возвращались из Радиокомитета на улицу Воровского. Вдруг воздух содрогнулся от воя сирен, вдалеке затявкали зенитки, и люди впопыхах начали прятаться кто куда. Мы вошли в подворотню какого-то дома недалеко от памятника Пушкину. Зенитные

орудия палили все ближе, сирены завывали по-прежнему, брала оторопь. Я взял Саломею под руку.

— Страшно? — негромко спросил я.

— Да, — ответила она. — Но ведь здесь не страшнее, чем там, на фронте...

И она заговорила о чем-то постороннем, словно стараясь не поддаваться тому настроению, когда ежесекундно ждешь, что вот и у тебя над головой завоет бомба.

Больше всего Саломея не любила говорить о собственных переживаниях, горе, несчастье. Ни тогда, ни позднее я не слышал ее жалоб, хотя ей, женщине, да еще не одной, а с маленьким сыном, подчас бывало очень и очень нелегко. Она чаще говорила о чужом горе, о страданиях оккупированной Литвы.

— Как там у них, если бы можно было узнать... Ведь наш народ не сдастся, наверняка не сдастся своему вечному врагу. Он будет сражаться...

После бомбежек мы обычно выходили на улицу Воровского. Иногда уже под утро. Из убежищ появлялись сонные, измученные люди. Где-то вдалеке еще светились, но уже тускнели и гасли последние прожектора. Вдалеке раздавались сирены пожарных машин. В небо валил дым непотушенных пожаров. Мы поворачивали друг к другу усталые, тусклые лица, словно удивлялись тому, что мы еще живы, что наш дом, вся улица, даже весь район стоят целые и невредимые... Мы принимались шутить, рассказывали о своих впечатлениях (особенно те, кто этой ночью дежурил). Йонасу Шимкусу и Юозасу Банайтису, а также Казимере Кимантайте надо было уходить в Радиокомитет. Мы собирались в одной из комнат второго этажа и, по приглашению нашего хозяина Ротомскиса, осушали бутылку французского вина — из прежних посольских запасов Юргиса Балтрушайтиса...

После завтрака мы снова садились за утренние газеты — надо было перевести десятки страниц материала, который еще сегодня услышит наша далекая Литва; все дороги к ней закрылись, оттуда до нас не доходит ни одно слово, ни один звук...

Бесконечно трудно бывало не говорить о своих близких, о Вильнюсе и Каунасе, о множестве друзей и знакомых, судьба которых была нам неизвестна. В Москве мы получили короткое письмо от Корсакаса и узнали, что большая группа литовцев оказалась в Кировской обла-

сти, в Котельническом районе, и живет в колхозе имени Кирова. Эта весть обрадовала нас. В этом же колхозе находились Цвирка с женой и Ромас Шармайтис * (этого трудолюбивого, обязательного и молчаливого парня я узнал поближе в 1940 году, когда он приехал из Москвы и начал работать заместителем главного редактора нового Государственного издательства).

Раздобыв адрес Постоянного представительства Литовской ССР, в Москву начали писать письма и другие люди, эвакуировавшиеся из Литвы. Таким образом объявился в Озинках, Саратовской области, Марцинкявичюс, в совхозе «Культармеец», Петровского района той же области, — Балтушис, перед самой войной уехавший отдыхать в Крым, в Пензе — Жюгжда. Становилось веселей; все-таки многим из нас удалось избежать оккупации и смерти. Появилась надежда встретиться и, как только появятся благоприятные обстоятельства, снова взяться за дело, сесть за работу, в первую очередь, конечно, литературную.

Наше правительство, обосновавшись в Москве, с первых же дней начало заботиться о беженцах из Литвы, большинство из которых эвакуировались налегке. У многих не было ни денег, ни смены белья. Были такие, которые почти или совсем не владели русским языком. Наши люди во многих местах вызывали сочувствие и получали помощь, никто их не считал чужими, хотя, без сомнения, нельзя было надеяться, что все, с кем мы столкнемся, окажутся ангелами. Ведь все несчастны, ошеломлены войной, все проводили на фронт своих кормильцев и детей и часто сами оказывались в трудных обстоятельствах. А тут еще свалились им на голову тысячи бездомных, с которыми приходится делиться жильем, а подчас и последним куском хлеба. . .

Появились непривычные для нас продуктовые и промтоварные карточки. Карточки отоваривали (тоже термин тех дней), особенно в глубоком тылу, довольно аккуратно, но, разумеется, бывали и перебои. Иногда целыми часами приходилось стоять в очередях у магазинов и столовых. Это увеличивало раздражение, усталость, перенапряжение, и отношения между людьми частенько бывали нетерпимыми. Трудностей было немало. Но даже теперь каждый вечер театры играли при полном зале,

хотя спектакли довольно часто прерывала воздушная тревога.

Беженцы из Литвы заполнили все комнаты Постпредства. Одни появились здесь, надеясь получить какую-то работу и удержаться в Москве, другие мечтали вступить в армию, третьи — уехать в более спокойные города и районы. Позднее выяснилось, что группы литовцев обосновались в самых разных местах — они жили в Саратове и Куйбышеве на Волге, несколько человек очутились в Закавказских республиках, в далекой Киргизии, в Ферганской долине, в Ташкенте, в столице Казахстана Алма-Ате. Литовцы столкнулись здесь с непривычным окружением. Обосноваться в новых местах многим из них оказалось делом довольно трудным, потому что города в глубоком тылу захлестнула волна беженцев с Украины и Белоруссии, из Молдавии, Прибалтики, из оккупированных областей России. Местным органам власти приходилось одновременно трудоустроить, обеспечить жильем и питанием тысячи, а то и миллионы новых людей.

В первые недели и месяцы войны железнодорожные вокзалы многих городов превратились в становища. Трудно было пройти через людей, лежащих и сидящих в залах ожидания и на перронах, — в основном женщин с детьми и стариков. Люди сидели и лежали, терпеливо ожидая, когда их посадят в вагоны или развезут на грузовиках по близлежащим колхозам и совхозам. Беженцы часто терпели всевозможные лишения — не всегда вовремя получали питание, трудно было в такой давке соблюдать чистоту. К счастью, ни в начале, ни в последующие годы войны не было ощутимых эпидемий — налаженная еще до войны сеть санитарных и медицинских учреждений эффективно боролась с болезнями, которые в прежние войны подчас уносили больше жизней, чем битвы на фронтах.

Налеты на Москву не прекращались (воздушную тревогу объявляли каждую ночь), и люди страшно уставали. Ведь днем миллионы взрослых работали на фабриках, на заводах и в учреждениях. Ночью, вместо того чтобы спать, они дежурили на улицах, в домах и на крышах. В убежище во время тревоги уходили не все люди, многие оставались в квартирах, пользовались малейшей возможностью поспать.

Население постепенно научилось успешно сражаться

с зажигательными бомбами, а фугаски наносили сравнительно мало вреда. Когда после ночи мы выходили в город, очень редко видели дома, разрушенные бомбой, с повисшими в воздухе кроватями и другой мебелью. Еще реже встречались руины. Почти никогда не видели раненых и убитых — их очень быстро забирали машины скорой помощи.

Интенсивно проводилась эвакуация. Правительство стремилось сделать все, чтобы из Москвы были выселены люди, непосредственно не связанные с обороной города и производством или незаменимой работой в учреждении. Каждый день на юг или на восток с московских вокзалов уходили поезда, полные детей, женщин, стариков. Одни радовались, получив возможность уйти от постоянной опасности, другие отъезд из Москвы считали трагедией — ведь надо было оставить привычные условия, квартиры, имущество, близких, а на новом месте их ждали заботы, а иногда и настоящая нужда.

Несколько раз я заходил в Союз писателей, расположенный на той же улице Воровского, что и наше Постпредство. Здесь висели объявления о том, где записываться добровольцами в ополчение, объяснения о порядке получения карточек и их отоваривания. По-прежнему висели старые афиши о собраниях писателей и литературных вечерах, но они сейчас никого не интересовали. Большинство русских писателей, как объяснили мне немногочисленные служащие Союза, уже уехали или собирались отправиться на фронт. Уже можно было встретить незнакомых писателей или поэтов в форме командиров Красной Армии, с планшетками на боку; в планшетках, без сомнения, были блокноты, и чаще всего не пустые. . .

Однажды я встретил здесь Константина Федина. Он был озабочен, исхудал, с лихорадочными глазами, но сразу же вспомнил нашу встречу в ресторане «Арагви» в начале августа 1940 года. Как и тогда, он нервно курил трубку. Приветливо поздоровавшись, он внимательно слушал мой рассказ о начале войны. Я вспомнил, что в нашей печати в первый день войны была опубликована его статья о Максиме Горьком. Выслушав меня, Федин сказал:

— Война будет долгой и тяжелой. . . Но нет никакого сомнения, что ее выиграем — мы. . .

Как-то веселее становилось на душе, когда так гово-

рил писатель, которого я уважал и которому верил, хотя его слова и не обещали ничего радостного в ближайшее время. . .

Литовское правительство, получив указание союзных органов, выехало из Москвы. Оно обосновалось в городе Пензе, по пути в Среднюю Азию, в городе, о котором никто из нас до этого не слышал. . .

Я кое-что узнал о Пензе, почитал о ней в книгах. Этот город и его окрестности дали очень много русской культуре. Из окрестностей Пензы родом три великана русской литературы — Радищев, Лермонтов и Белинский. Здесь в свое время жил отец Ленина, инспектор школ Илья Ульянов с семьей. Из этой области происходят немало советских русских писателей — Александр Малышкин, Владимир Ставский, Федор Гладков, знаменитый режиссер Всеволод Мейерхольд. . .

Пенза находится на широкой черноземной равнине. В ее окрестностях располагалось много крепких колхозов и совхозов, выращивавших привычные нам культуры. Сам город довольно долго оставался районным центром и только в 1939 году стал областным. В начале войны в нем жило около 160 тысяч человек — примерно столько же, как в Каунасе. Он был еще мало затронут индустриализацией и новыми стройками. Ближайшие крупные города — Тамбов, Саратов, Куйбышев и Ульяновск.

Уезжать из Москвы собрались и мы, тем более что в Постпредстве уже умещались с трудом. Сборы были короткие — вещей у нас не было. В Москве я обзавелся только теплым пальто на случай зимних холодов. Постпредство стало добывать для нас места в вагоне. В конце июля мы приехали на железнодорожный вокзал.

Привокзальная площадь была забита грузовиками, автобусами, легковыми машинами и тачками. А люди все наплывали. Кричали дети, женщины вытирали слезы. Казалось, половина Москвы поднялась с насиженных мест. Кое-как мы пробрались на перрон. Железнодорожники пытались справиться с необозримой толпой, которая просто кипела и бурлила, но их усилия далеко не всегда увенчивались успехом. Хотя у нас были билеты, нам, даже с помощью железнодорожников, так и не удалось пробраться к поезду. Мы вернулись в Постпредство. В поезд мы сели только вечером следующего дня. Когда мы уезжали, на вокзале осталось несколько тысяч человек, ожи-

дающих своей очереди. Город был затемненным, зловещим, лица людей усталыми и мрачными.

За городом в вечерних сумерках маячили противотанковые рвы и ежи Мимо пролетали скверы, улицы, дома, мы видели людей, бредущих с узлами. Лучи прожекторов стали шарить по темному небу, где, быть может, уже приближались стервятники. Мы смотрели на удаляющуюся Москву и думали: когда же мы снова увидим этот город? Выдержит ли он гитлеровскую лавину или превратится в море обугленных руин? Какие испытания, какие ужасы еще ждут его и москвичей? Ни один человек в мире не мог тогда ответить на эти вопросы.

В поезде после всей давки в вокзале и на перроне мы обосновались вполне прилично. Ехали Гира с женой, Саломея с Баландисом, две девушки, приехавшие на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и застрявшие в Москве (позднее одна из этих девушек вышла замуж за молодого поэта Вациса Реймериса *), и еще несколько человек из Литвы.

Ехали мы без особых приключений. Многие боялись, что по пути состав начнут бомбить немцы, но самолетов здесь уже не было слышно. Через полтора суток мы оказались в Пензе.

Еще подъезжая к городу, мы увидели, что он не затемнен. Нас встретило зарево над железнодорожным вокзалом, уже тускнеющее в свете раннего утра. Это была удивительная для нас картина. Поезд остановился, и мы вышли в незнакомый город.

В ПЕНЗЕ

Пензенские железнодорожники встретили нас с сочувствием. Пригласили в какую-то комнату на вокзале, угостили чаем и начали с кем-то созваниваться о нашем расселении. Чудом в гостинице оказалось несколько свободных мест. На душе стало очень хорошо, когда мы столкнулись с человеческим теплом и вниманием.

Я оказался в большом номере, где уже спало трое или четверо незнакомых мужчин. Что ж, если есть крыша над головой, остальное как-нибудь устроится.

Гостиница старая, без удобств. Когда жильцы переворачивались на другой бок, железные койки стонали и скрипели. Двое храпели так, что не проснулись, даже ко-

*

гда я вошел. Посреди комнаты стоял застеленный клеенкой стол, над ним висела единственная лампочка.

Вскоре началась утренняя суматоха — люди вставали, громко разговаривали, хлопали дверьми, из «титана», стоящего в конце коридора, наливали в чайники кипяток. В коридоре все еще горели две пыльных лампочки. У окошка дежурной толпились приезжие с чемоданами.

Но мы были счастливы, когда все собрались в комнате у Гиры и поставили на общий стол то, что каждый привез из Москвы. Мы пили чай вприкуску (сахар экономили), ели бутерброды с маслом и колбасой, и все это напомнило нам о лучших временах. Фронт был далеко, мы слышали только протяжные гудки паровозов и невольно вздрагивали — все казалось, что вот-вот начнется воздушная тревога. . .

Город казался большим и разностильным. Кое-где возвышались солидные, прошлого века дома, выкрашенные в желтый цвет, некоторые даже с колоннами. От вокзала мимо гостиницы в гору поднималась широкая Московская улица с изрядно опустевшими витринами, со столовыми, у которых уже выстроились очереди, с различными учреждениями. Наверху, на горке, радовал взгляд сквер с обилием цветов и бюстом Лермонтова. Неподалеку стояло здание библиотеки имени Лермонтова (позднее мы довольно часто посещали ее). От сквера улица Карла Маркса вела к городскому парку — большому, тенистому, полному цветов и деревьев. Налево от библиотеки мощенная булыжником улица с дощатыми тротуарами спускалась к реке. Внизу было только несколько каменных домов. На этой улице имени Гоголя в угловом деревянном доме нам позднее несколько месяцев довелось жить вместе с Корсакасом. На этой же улице в небольшом красном кирпичном особняке обосновался наш Совет Народных Комиссаров. Река неторопливо струилась мимо. Ее берега неблагоустроенные, заросшие камышом, кое-где валяются камни, доски, солома. Женщины стирают здесь белье, дети бродят по воде или пытаются плавать. Все это напоминало не город, а деревню.

В гостинице появлялось все больше знакомых. Некоторое время жила здесь семья Палецкиса. Остановился также Адомас-Мескупас, умный и настойчивый человек, небольшого роста, с рыжими волосами, подстриженными ежиком. Насколько помню, позднее он уехал отсюда в

Литву организовывать партизанское движение. Это был один из первых наших коммунистов, который, невзирая на невиданную опасность, решил вернуться в оккупированную Литву и взяться за нужное дело. Мескупасу удалось добраться до Литвы, но он вскоре погиб. . .

Однажды я увидел на улице жену своего старого приятеля времен клуба «Надежда» Юозаса Мозялиса * — Цилю. Красивая, черноглазая, смуглая женщина шла по центральной улице и вела за руку сына, а другого младенца держала на руках. Из Каунаса она выехала вместе с мужем. В Утене утром «мессершмитт» сбросил бомбы на беженцев. Мозялиса ранило осколком. Жена отвезла его в Даугавпилсскую больницу. Тогда, когда я встретил в Пензе Цилю, судьба Мозялиса была неизвестна. (После войны выяснилось, что Мозялис поправился и вернулся в Каунас, где его, невзирая на опасность, долечил знаменитый хирург Владас Кузма. Мозялис включился в подпольное антифашистское движение, гестаповцы выследили его и убили.) Циля казалась несчастной и уставшей. Ничем нельзя было ей помочь. (Потом я узнал, что малыш умер. Циля отдала старшего сына в детдом и уехала в Литовскую дивизию, где организовала воинскую самодеятельность — хоры, драмкружки. Я встретил ее под Ясной Поляной, а еще позднее — на Орловском фронте, под Алексеевкой. Таких историй были тысячи.)

Сразу после приезда в Пензу я нашел в клубе железнодорожников своего заместителя Юозаса Жюгжду, который обосновался здесь вместе с многими другими эвакуированными. Он попал в глубь страны из Каунаса через Зарасай, минуя Вильнюс, поэтому ничего не знал о трагической судьбе своей жены. Я долго думал, что же делать — сказать ему об этом или нет. Все-таки решил сказать, подумав, что легче сразу узнать правду, чем мучиться неизвестностью и все равно раньше или позже узнать об этом. Трудно было смотреть на друга, которого ошеломило и прибило это известие.

В Пензе я встречал старого коммуниста Каролиса Диджюлиса, с которым познакомился еще в Народном Сейме. Он всегда восхищал меня своими серьезными, убедительными речами, теплой улыбкой, темпераментом борца, верой в советский строй. Здесь обосновались и Мешкаускасы — Эугениюс * и Михалина, старые мои друзья, с которыми я поддерживал связь еще тогда, когда

жил в Клайпеде и когда мы организовали журнал «Литература». Это были чуткие люди, всегда готовые помочь другим, чем только могли.

Каким бы трагическим ни казалось наше положение, большой отряд друзей и знакомых, оказавшийся в Пензе (в ее окрестностях еще жили молодые писатели Эдуардас Межелайтис *, Мариёнас Красаускас — Казис Марукас *, некоторое время Владас Мозурюнас), был для нас ощутимым подспорьем. Среди чужих людей, на которых свалились все тяготы и лишения войны, большой радостью бывало встретить на улице знакомое лицо.

На улице Гоголя, как я уже упоминал, обосновался Совет Народных Комиссаров нашей республики. На его плечи ложилось множество трудных проблем и задач. Сюда в беде обращался каждый, кто только оказывался в Пензе или обитал в других местах страны. Надо было помочь людям найти жилье, работу, питание и одежду. А это делать было все труднее и труднее. Во многие области и города выехали уполномоченные литовского правительства, которые на местах заботились о делах эвакуированных. Совет Народных Комиссаров завел картотеку эвакуированных, стремясь собрать более точные сведения о числе беженцев, их профессии, материальном положении. И надо сказать, что если в первые недели войны наши люди оказались разобщенными, то уже через месяц-другой стало известно о каждом — где он и чем занимается.

Положение тех, кто оказался в Пензе, было не таким уж плохим. Правительство позаботилось о том, чтобы мы не остались голодными, чтобы с приближением холодов не оказались без зимней одежды. До самостоятельных заработков нам выдавали денежное пособие. Мы могли начать думать о серьезной и нужной творческой работе.

Конечно, в Пензу мы приехали не на один день. В гостинице было неудобно — здесь то и дело появлялись незнакомые люди; трудно сосредоточиться, когда в одной и той же комнате одни едят, другие спят, третьи разговаривают. Мы начали искать постоянное жилье.

Поначалу я подыскал довольно приличную комнату; увы, ночью в ней появился еще один жилец, о котором хозяйка раньше не упомянула, какой-то ее родственник, да еще подвыпивший. На следующее утро я стал поды-

скивать новую комнату и наконец нашел за библиотекой имени Лермонтова, в доме № 1 по улице Гоголя.

Мои хозяева — типичная русская семья. Отец — рабочий, седая, высохшая мать хозяйничала дома, а сын-инженер работал на фабрике. Эти спокойные люди уступили мне угловую комнату, достаточно просторную и светлую. В другой комнате жил врач из Литвы Викторас Мицельмахерис *, участник испанской гражданской войны, инвалид, человек необыкновенной чуткости и заботливости, скромный, служивший инспектором военных госпиталей облздравотдела и работавший не только в установленные часы, но и по вечерам, а иногда и по ночам. Нам бывало жалко его, когда он уже позднее, зимой, вставал еще затемно и по скользкой улице взбирался в гору, а это ему, безногому, было невероятно трудно. Никогда я не слышал от него ни малейшей жалобы — всегда он был в оптимистическом настроении и заражал меня своей верой в победу, когда радио приносило с фронта трагические известия. . .

Саломея съехала из гостиницы и остановилась в доме № 7 по улице Карла Маркса. Ее, возможно, привлек сюда парк, который летом зеленел и пестрел цветами. Это была главная достопримечательность города. Поэтесса за ручку с сыном часто гуляла по песчаным дорожкам, сидела на скамьях, записывала в блокноте строфы новых стихов, обращенная туда, где за девятью реками и девятью горами была дорогая и далекая Литва. . .

Людас Гира переехал на другой край города и снял крохотный деревянный домик в привокзальном районе — дом № 11 по улице Стаханова, где то и дело раздавались гудки паровозов и был слышен грохот вагонных колес. Домик был просторный и опрятный, но позднее, заходя сюда зимой, я заметил, что в комнатах стоит лютый холод — не хватало топлива или, может, стены не держали тепло. Гира с женой надевали на себя все теплые вещи.

Зная адрес Корсакаса, по его просьбе я еще в середине августа послал ему приглашение переселиться в Пензу. Цвирка с женой, по-видимому, уже уехали из колхоза — они оказались в Саратове, где встретили Йонаса Марцинкявичюса и Максима Танка, а потом перебрались в далекий Казахстан, в Алма-Ату.

Корсакас поселился в Пензе вместе со мной. У нас было о чем поговорить — ведь с самой Литвы мы еще не

виделись и только обменялись коротенькими письмами. Как и я, он мучился из-за семьи, оставшейся в оккупации. Корсакас рассказывал об отъезде наших писателей из Каунаса, о трагических переживаниях в дороге, пока они не добрались до Кировской области; рассказывал он и о жизни и работе в колхозе.

Я обрадовался, что нашего полку в Пензе прибыло. Как только появилась спокойная комната, сразу же захотелось писать. Опыт военного времени был скорее эмоциональным. Мы ведь не знали, что такое война, — мне, например, пришлось видеть несколько налетов вражеской авиации, но я не мог себе представить, как живут и что переживают солдаты на фронте. Но тоска по покинутой Литве и близким, ненависть к врагу — все это так и лилось из сердца. Первые строфы военных лет родились как-то сами, неожиданно для меня, и после их написания становилось легче. Я писал, забыв все на свете, словно подчинившись непобедимому инстинкту, таившемуся в глубине души. Когда, встретив Саломею, я спросил, что она делает, она скромно призналась, что пишет, хотя и чувствует, что боль утраты Литвы и беда, нагрянувшая на отчизну, слишком велики, чтобы их можно было выразить на бумаге. В Москве Саломея не писала стихов, — по-видимому, события были слишком свежими, тогда она еще не могла ни охватить их, ни взвесить в душе. . .

Писал и Людас Гира. Он сказал, что давно у него не было такого спокойного и располагающего к работе настроения. Меня удивило это утверждение поэта — все-таки спокойными нашу жизнь и настроение назвать было никак нельзя.

Сперва мы не показывали друг другу того, что пишем. Все это было слишком интимно, слишком окрашено болью, горем и страданием, и было не по себе, когда думалось, что кто-то возьмет эти строфы и будет читать. Лишь позднее мы осознали, что теми же чувствами, что и мы, живут миллионы людей вокруг. . .

Когда я все-таки прочитал своему соседу по комнате Корсакасу несколько новых стихотворений, написанных в Пензе, он тоже извлек тетрадочку и прочитал про северную русскую сосенку и про Литву. Этим Костас меня изрядно-таки удивил, потому что я знал его прежде все-

го как литературного критика. Стихи он писал давно, кажется еще тогда, когда сидел в Шяуляйской тюрьме.

— С чувством пишешь! — воскликнул я. — Хорошие стихи!

Собираясь время от времени, мы читали друг другу.

Рано утром мы видели из окна, как быстрым, нервным шагом приближается Людас Гира. Он был таким же энергичным и подвижным, каким его знали все в довоенном Каунасе. Небольшого роста, с пронзительным взглядом, с бородкой, Гира сыпал скороговоркой, иногда запинаясь, часто и звонко смеялся, хлопая обеими руками себя по коленям. Теперь, правда, он смеялся куда меньше, был озабочен, мрачноват, но все время повторял, что чувствует в себе большую поэтическую силу и вдохновение и что не может не писать. Мы с Корсакасом внимательно слушали произведения своего коллеги. Пожалуй, главным недостатком новых произведений Гиры была их затянутость — старый поэт словно потерял чувство меры и писал длиннейшие стихотворения, часто возвращаясь к стилю своих юношеских лет, близкому к ритмике и образам народных песен. Хоть и осторожно, стараясь не обидеть поэта, мы иногда откровенно высказывали ему свое мнение, которое явно бывало ему не по душе.

Нерис держалась немного особняком. Но несколько раз, когда я заходил к ней, она читала мне свои новые произведения. Они брали за душу доподлинностью чувства, незатейливой формой, так характерной для Саломеи. Первые стихи, написанные ею в Пензе, были широко прославившиеся потом «Соколята-братья», «Отчизна», «Земля горит», «Мать солдата», «Партизаны в лесах». . .

Саломея читала свои стихи, немного стесняясь, взволнованно, словно ожидая от слушателя острой и злой критики. На глаза накатывались слезы, и, слушая плачущую поэтессу, ты чувствовал, что и у тебя сжимается горло. Глядя на эту хрупкую женщину, нельзя было не подумать, что она всем своим существом ощущает трагизм войны. Прежде всего она, конечно, думала о Литве, своих близких, о домике своей семьи в Палемонасе — эти чувства были человечны и глубоко естественны.

Наши разговоры в те дни были не особенно оптимистическими: приближалась первая военная зима, мы были бездомными беженцами.

Раздобыв через Москву мой адрес, мне уже в конце

августа написал Юозас Балтушис. Перед самой войной он впервые уехал далеко от дома — в Ялту. Отрезанный от Литвы, он оказался в совхозе «Культармеец», Петровского района, Саратовской области. Балтушис писал, что живет неплохо, на зиму мечтает перебраться в Саратов, получить там работу в типографии, расспрашивал о судьбе Боруты и Монтвилы. Юозас работал и много читал — Драйзера, Бальзака, Диккенса, даже книги по анатомии и зоологии. . .

«Я сам пока ничего не сочиняю, — писал мне Балтушис. — Нет ни времени, ни возможности, но главная причина — необходимо задуматься о своем творчестве. Поразмыслить есть о чем. Есть. Чем кончатся эти размышления — сам не знаю. Пока живу, как когда-то, обыкновенной жизнью рабочего человека, жизнью, которую вряд ли стоило бросать в погоне за иллюзиями.

Очень хорошо, что вы собрались в кучу. Так спокойней. Кроме того, могут возникнуть какие-нибудь идеи. Страшно нужна литовская газета. Если что-нибудь подобное придумаете — все мы с радостью окажем ей всестороннюю помощь. Читателей вроде бы должно хватить.

Вот, наверное, и все. Здесь, на месте, я обзавелся знакомыми и приятелями как среди рабочих совхоза, так и среди колхозников. Толкуем по вечерам».

Гораздо позднее, кажется уже в декабре, мне удалось связаться с Пятрасом Цвиркой. Оказавшийся в Алма-Ате, среди совсем незнакомых людей, занятых собственными бедами, Цвирка поначалу попал в тяжелые условия. Гонорары за его произведения, опубликованные в центральной печати, путешествовали из города в город в поисках адресата, а они с женой были в полном безденежье. Конечно, в Пензе со всеми ему было бы куда легче.

В Алма-Ате Цвирка ближе познакомился с работавшими там тогда кинорежиссерами Эйзенштейном, Пудовкиным и братьями Васильевыми, литературоведом Харджиевым, писателями Маршаком, Зощенко и Михалковым, которые немало помогли ему. С некоторыми из них, например с С. Маршаком, Цвирка до самой смерти сохранил дружбу. В Алма-Ате Цвирка много читал — Шекспира, Диккенса, Томаса Гарди, «Крестьян» Бальзака, «Мадам Бовари» Флобера, «Записки охотника» Тургенева, «Анну Каренину» Толстого и другие книги.

Некоторые из этих книг он хорошо знал и ранее — теперь он перечитывал их, глубже вживаясь в проблемы, поднимаемые великими художниками слова, и вникая в их высокое искусство.

В начале декабря Пятрас писал из Алма-Аты:

«За ход войны я совершенно спокоен и панике не поддаюсь. Глубоко уверен в нашей победе. Я никакой не пророк, но мне кажется, что эта война еще затянется на несколько лет, а за это время утечет много воды. Если нас не сломят невзгоды, не унесет тиф, голод, если останемся живы — это великое испытание сделает из нас настоящих мужчин.

Главная моя боль — за судьбу нашей нации. Я буду счастливее всех на свете, когда снова включусь в семью своего народа, когда снова буду ходить по родной земле. Я верю, что это случится. А пока довольствуюсь тем, что иногда во сне вижу кручи над Неманом, беседую с литовским мужичком. . .»

Мы узнали, что в Казани среди русских писателей живет и Йонас Марцинкявичюс. Значит, наша семья все росла, мы собирались поближе друг к другу, чтобы начать важное дело — бороться пером против гитлеризма.

Все, что мы теперь писали, мы посылали в Москву, в литовскую редакцию Всесоюзного радиокомитета. Наш материал передавали по радио для оккупированной Литвы (мы были уверены: если наши близкие живы, они узнают, что нам удалось избежать смерти); через Совинформбюро мы сотрудничали в прогрессивной печати американских литовцев — в нью-йоркских «Лайсве» («Свобода») и «Швиеса» («Свет»), в чикагской газете «Вильнис» («Волна»). Зная, что работа не пропадет даром, мы писали все больше и больше.

Из событий этой трагической осени запомнились два литературных вечера, которые мы устроили в помещении Литовского Совета Народных Комиссаров на улице Гоголя. Первый из них состоялся 23 ноября (хотя он и назывался вечером, но начался в полдень). Здесь собралась почти вся литовская колония Пензы. Пришли все писатели, которые жили в это время в городе. Мы читали лучшее из написанного в эти дни. И заметили, что стихи волнуют слушателей, — не только у женщин, но и у мужчин на глазах заблестели слезы, а после вечера многие благодарили и пожимали нам руки. Наибольшим успехом,

пожалуй, пользовалась Саломея. Хотя она, как обычно, читала тихо и довольно монотонно, ее удивительные строфы, полные любви к Родине, тоски, боли и решимости победить, глубоко волновали собравшихся. . .

В Пензе мы обзавелись новыми знакомыми и даже друзьями. Чаще всего мы встречались с Владимиром Дмитревским, известным сейчас ленинградским писателем и журналистом. Хромой, вкусивший немало тягот, этот душевный человек рассказывал нам о русских писателях, многих из которых знал лично. Особенно он уважал Илью Эренбурга, роман которого «Падение Парижа» мы тогда все читали. Дмитревский интересовался жизнью Литвы и нашей литературой. Хорошо зная Пензу и ее нравы, он помогал нам, не раз советовал, где пообедать, где купить необходимые вещи. С Дмитревским дружил скромный работник печати, пылкий поклонник Владимира Маяковского С. Кемрад, который показывал нам неизвестные стихи Маяковского, найденные им в редчайших изданиях. Свои находки после войны он опубликовал в каком-то русском литературном журнале.

Интересно было встречаться в Пензе с видным актером театра и кино Вениамином Зускиным, которого мы видели в нескольких советских фильмах, где он исполнял характерные роли. Оказалось, что Зускин родом из Литвы, из Паневежиса, — он еще хорошо помнил родной город, хотя давно покинул его. Теперь Зускин уезжал к своей семье, эвакуированной в Среднюю Азию. Он привлекал всеобщие симпатии своими рассказами, своим недюжинным актерским талантом.

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОФЫ ВДАЛИ ОТ ЛИТВЫ

Исподволь приближалась первая военная осень. Вокруг мы видели мрачные, угрюмые лица. По центральной улице к вокзалу шагали солдаты, тоже суровые, невеселые. На них смотрели заплаканные глаза женщин. Громкоговорители много раз в день передавали сводки Совинформбюро. Остановившись на улицах, их слушали сотни людей — без улыбки, без лишнего слова. Выслушав сводку, шли дальше. Длинные очереди протянулись к лоткам, где продавали махорку. У магазинов толпились покупатели, желавшие приобрести продукты по карточкам.

Продукты не всегда привозили вовремя и в достаточном количестве. Но никто не жаловался, — каждый знал, что на фронте испытывают куда более страшные лишения. В город с каждым днем прибывали все новые беженцы. Они выстраивались длинными очередями у столовых, где все трудней было протолкнуться к столу. Как-то я услышал на улице, как рыдала женщина. Подумал, что она получила известие с фронта — погиб муж или отец. Оказалось, что случилось все-таки большое несчастье — кто-то вытащил у нее недавно полученные карточки для всей семьи. Без карточек им грозил голод... Прохожие направили женщину в горисполком...

Вокзал, как и раньше, был забит беженцами. Они прибывали сюда из разных мест страны, куда уже докатился фронт. Люди сидели на полу, на мостовой у вокзала и чего-то ждали. Местные власти старались распределить их — по колхозам и совхозам, по предприятиям области. Увы, все это сделать быстро и гладко, по-видимому, было нелегко. Люди как-то перебивались и жили ожиданием, что все повернется к лучшему...

Времени было много. Нас, жителей Прибалтики, в армию пока не призывали. Правда, вызвали как-то на мобилизационный пункт, но тут же распустили по домам. Мы ходили по городу, по парку, слушали известия (радиоточка была и в квартире, где мы жили), невесело обсуждали новости с фронтов, писали письма друзьям. Много радости было, когда приходили письма от Цвирки, Балтушиса, Шимкуса...

Мы соскучились по чтению — в Литве за первый советский год из-за нескончаемых дел мы почти не брали в руки книг. Теперь мы сидели в парткабинете, который получал все центральные газеты и журналы. Читали от корки до корки каждую газету, пытаясь в сообщениях и репортажах прочитать между строк больше, чем там было написано. Мы заходили в библиотеку имени Лермонтова, где любезные служащие охотно давали нам все, что мы искали. В эту трагическую годину по-новому, глубоко, волнующе и оптимистически, звучала для нас «Война и мир» Льва Толстого. Когда мы перечитывали эту эпопею, она удивляла и радовала нас, полная неувядающей жизни. Всем своим существом мы чувствовали, что огромная страна теперь живет совсем в других условиях, чем герои Толстого, но война очень похожа — ведь и теперь

это не простая война, а Отечественная... Параллель с 1812 годом ободряла, внушала веру в победу... Я снова перечитал «Воскресение», «Хаджи-Мурата» и другие произведения Толстого. Прочел Чехова, который позволял по-новому прочувствовать русский характер, открывая его не только героические, но и будничные, подчас трагические грани. Я читал Стендаля — «Красное и черное» и «Пармскую обитель», «Гроздья гнева» Стейнбека, Пушкина, в особенности его прозу, читал историю, биографию, критические сочинения, снова восхищаясь широтой интересов, умом, глубиной обобщений, неисчерпаемой фантазией и жизнелюбием этого гения. Лермонтов, выросший в окрестностях Пензы, волновал меня своей бунтарской и чистой, как хрусталь, поэзией, картинами Кавказа, образами «Героя нашего времени». Хорошо бывало хоть на несколько часов в день отвлечься от мыслей о войне. Мир, созданный гением великих творцов, словно говорил: проходит все — счастье и горе, потрясения и войны, а остается то, что не может умереть, — плоды творчества человека...

Изредка мы виделись с друзьями. На один день приезжал к своей семье Йонас Шимкус. Он рассказал о настроениях в Москве, просил материал для радио... Шимкус сообщил, что наш постпред в Москве Ротомскис, по предложению ЦК Литовской Компартии и по поручению Министерства иностранных дел СССР, уезжает в Соединенные Штаты Америки. Эта весть обрадовала нас — Ротомскис сможет хорошо проинформировать наших эмигрантов о Литве, об Отечественной войне, об участии литовцев в этой войне, сможет получить моральную (а позднее, как оказалось, и материальную) помощь для наших людей, оказавшихся в эвакуации...

Однажды в комнату, в которой жили мы с Корсакасом, пришел молодой поэт Эдуардас Межелайтис. Он работал неподалеку, в Николо-Пестровке, на стекольном заводе, но, разумеется, подумывал о поэзии. Мы рассказали ему о наших перспективах.

А они уже стали проясняться. Руководители Коммунистической партии и правительства Литвы заботились о создании национальной дивизии в составе Красной Армии. Из Литвы все-таки эвакуировалось много людей. Среди них были и молодые мужчины, которые теперь ра-

ботали на заводах, в колхозах и совхозах. Они могли составить боеспособную воинскую часть.

Нужна была литовская газета. Нам казалось, что удобнее всего выпускать ее при воинском соединении. Мы уже немало написали — газета сразу же получила бы материал. Потом такая газета послужила бы прочным связующим звеном для всех соотечественников, оказавшихся в тылу...

Фронт приближался и к Пензе. Интересно, долго ли просидим здесь? С Корсакасом мы собирались отправиться куда-нибудь в Среднюю Азию — в Ташкент или Алма-Ату, где уже находилось немало литовцев. Нам казалось, что зимой там будет теплее. Несколько раз мы даже побывали на железнодорожном вокзале, спрашивали, как и когда можно уехать. Но поезда были набиты ранеными или просто пассажирами и грузами, да и ходили поезда, особенно в тыл, нерегулярно. Пускаться в путь, как объясняли нам друзья и знакомые, было рискованно, а может быть, даже и опасно. Кроме того, мы не хотели разлучаться с товарищами. Так мы и не уехали, тем более что стали поговаривать, что наша колония, а может быть, и весь литовский центр переедет в столицу Башкирии Уфу. Туда, чтобы ознакомиться с тамошними условиями, выезжал Мечис Гедвилас. Вскоре выяснилось, что мы в Уфу не поедем.

Все-таки в этот далекий город собиралась Саломея Нерис вместе с семьей Мешкаускаса. Мы, мужчины, знали, что раньше или позже нам придется уехать туда, где будет создаваться литовское воинское соединение. А Саломее хотелось обосноваться подальше от фронта, чтобы она могла провести с ребенком спокойно зиму, поскольку в Пензе становилось все тревожней. Теперь город уже утопал в темноте, а по ночам начались воздушные тревоги. Мы снова дежурили ночи напролет во дворах домов или на улице. Бомбы на головы пока не падали, но каждый день мы ждали этого...

И вот в снежный день 1 декабря мы проводили Саломею и Мешкаускасов на вокзал. Попрощались невесело — никто не знал, что сулит нам эта зима. Позднее мы узнали, что поездка наших друзей была очень долгой и утомительной. Невесело им было и в далекой Башкирии, где снова надо было искать крышу над головой, где у них не было близких знакомых... Эти настроения самой труд-

ной зимы войны отразились и в стихах Саломеи, написанных в Уфе...

Единственное успокоение мне давала работа. Трудно было сдержаться и не сесть за тетрадь, в которой появлялись все новые и новые строфы. Воспоминания о Литве — «Детство», «Литовский лес» — переплетались с впечатлениями о Пензе:

В парке магнолией пахнет, —
Запах чужой и печальный.
Небо дрожит и хохочет —
Запад грозою охвачен.
. . . .
Город чужой и далекий,
Парк без людей и притихший,
Ветер шуршит одиноко
Белым листочком афиши.

Вот бы из парка на родину
С облаком этим умчаться!
Смотрит, дивится магнолия
И головою качает [1].

Чудилась оккупированная Литва, ее угрюмая осень:

И поля, и дома, и луга, и зеленые рощи —
Все серо под дождем и под пепла порошей.

Я тосковал по родному пейзажу, по любимым людям:

Серебряный поток сбежит нетерпеливо
С холмов страны моей на ранние луга,
И сердце зацветет, как молодая ива, —
Увижу Немана родные берега.

А с Немана туман весенний ветер сдует,
И заскользят плоты вдоль голубой волны,
И стаю аистов увижу я седую,
Тебя услышу я сквозь нежный зов весны.

Твой голос прозвучит приветливо и звонко,
Ты улыбнешься мне в березовом венке,
И на руках твоих увижу я ребенка.
Росинкою слеза растает на щеке.

Когда мы победим, увижу Неман снова,
Тебя, любимая, и дым родного крова [2].

---

[1] Переводы стихов в этой книге без указания фамилии переводчика сделаны В. Чепайтисом.

[2] Перевод С. Мар.

Мысль возвращалась к нашим великим творцам — Донелайтису и Чюрлёнису, к литовским лесам, а иногда выливалась в строфах, полных ненависти и презрения к поработителям, как в стихотворении «Фриц Хундеман», в котором я попытался сконцентрировать воспоминания о Берлине и Клайпеде...

Однажды ночью, на дежурстве, ожидая воздушной тревоги и налета вражеских бомбардировщиков, я долго ходил по двору нашего дома и по улице Гоголя. Вокруг было пусто и мрачно. Только в небе светилась сонная луна, а мимо нее мчались облака, такие же призрачные и тревожные. Под ногами скрипел мерзлый снег. Я размышлял о стране, о ее судьбе, о себе — крохотной пылинке в космосе — и событиях гигантского масштаба, и вдруг зазвучали слова, которые я записал тут же, во дворе дома. Кончил стихотворение потом, вернувшись после дежурства в комнату, где безмятежно спал Костас (он дежурил в прошлую ночь).

Звенит в ночи холодной песня снега,
А небеса созвездья на плечах несут.
И, пораженный, ты во тьме заметил
Запутанную жизни суть.

Ты понимаешь: все, о чем мечталось,
Чем мучился, чем жил, — ничто...
То капля с неба черного упала
На сердце обнаженное твое.

Стоишь в ночи и без тревог взираешь
На непонятный судеб перехлест,
А ночь дрожит, трепещет и играет
Под синей паутиной звезд.

Вот Млечный Путь уходит, убывает —
Людским страданьям так придет конец.
И сердце снова бьется, оживая,
Под ярким куполом ночных небес.

Жизнь я любил больше, чем когда-либо, и чувствовал, верил, что останусь в живых, что будет жить наша Литва, будет жить моя новая, большая Родина, сражающаяся за свою свободу...

Из радиопередач и газет мы знали об огромной опасности, нависшей над Москвой. Мы уже слышали, что многие московские рабочие оставляют работу на предприятиях второстепенного значения, вооружаются и ухо-

дят на фронт. Бросаясь под немецкие танки со связками гранат, бойцы пытаются остановить врага. В середине октября, когда немцы подошли к городу, как мы слышали позднее, Москву охватила тревога.

Тогда из Москвы в Куйбышев и другие города были эвакуированы важнейшие учреждения, иностранные посольства, театры, научно-исследовательские институты, некоторые заводы. В Москве осталась Ставка Главнокомандующего и редакции газет.

16 октября в столице было самым тревожным днем. Но уже на завтрашний день вся страна услышала, что правительство находится в Москве...

...Наверное, весь мир слушал речь Сталина, которую он по случаю XXIV годовщины Октябрьской революции произнес на торжественном заседании на станции метро «Маяковская». Он говорил об огромных потерях, но подчеркнул, что наши ресурсы только теперь раскрываются в полную силу. Молниеносная война, запланированная Гитлером, провалилась, Англия, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз оказались в одном лагере.

«Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат», — говорил Сталин.

Это было вечером 6 ноября. А 7 ноября, как и каждый год, на Красной площади проходил военный парад. В холодное, мрачное утро вдалеке грохотала наша и немецкая артиллерия, к городу рвались немецкие самолеты. Военный парад в таких условиях потряс весь мир.

Положение в эти дни было действительно трагическим. Враг уже захватил Псков, Новгород, Калинин, Харьков, окружил Севастополь и Ленинград. 22 ноября немцы подошли ближе всего к Москве, — из Истры, как они хвастались, «можно было в сильный полевой бинокль видеть Москву».

Но 5—6 декабря началось первое большое наступление нашей армии от Калинина на севере до Ельца на юге. Уже 13 декабря мы услышали, что попытки немцев окружить Москву провалились. В середине декабря Красная Армия освободила Калинин, Клин, Истру, Елец, взяла Калугу и Волоколамск. Впервые за весь ход второй мировой войны было доказано, что можно не только остановить врага, вооруженного до зубов, но и отразить его.

Это было, как писала впоследствии зарубежная печать, первым чудом этой войны...

Трудно теперь обрисовать то впечатление, которое оказали на нас, жителей Пензы, победы под Москвой. Много раз на дню мы сидели у приемника или стояли на улице, в толпе у громкоговорителя, ловили и старались не пропустить ни единого слова. Диктор читал мощным, твердым голосом, подчеркивая важнейшие места в тексте. Мы уже знали, что это — знаменитый Левитан. День ото дня сводки приносили все больше радости, уверенности. Стало ясно, что военная машина Гитлера начала буксовать, а наша армия научилась воевать лучше и ее силы вовсе не сломлены и не исчерпаны...

Газеты широко писали не только о сражениях. Красная Армия, вытеснив врага с захваченных советских территорий, обнаруживала там страшные картины: сожженные дотла города, местечки и деревни, взорванные вокзалы, повешенные на площадях или сожженные в домах люди — женщины, дети, старики. Бессмысленная и безумная жестокость врага вызывала ненависть и жажду ответной мести. Убитые и попавшие в плен солдаты Гитлера имели жалкий вид. Запланировав молниеносную войну и решив до зимы непременно занять Москву (уже были отчеканены медали для победителей Москвы — они попали в руки наших воинов), Гитлер не заботился о зимнем обмундировании своей армии. Было немало замерзших и обмороженных «фрицев», как их теперь называли. «Завоеватели» уже не казались непобедимыми. Это жалкие вояки, которых можно и нужно бить, пока ни одного из них не останется на советской земле.

Всего этого мы, находясь в Пензе, не видели воочию, но мы все равно жили этим, говорили об этом, и радовались, и волновались...

Шли последние дни 1941 года, на редкость холодные и снежные. Бывали дни, когда термометр падал до пятидесяти градусов ниже нуля. Снегу навалило столько, сколько я не видел ни разу в жизни. Но воздух был сухим, и поэтому мороз не так сильно давал себя знать. Как-то бодрее мы теперь ходили по улицам города, лишь мысли о Литве не покидали нас. Что там вытворяют «завоеватели мира»? Живы ли еще наши близкие?..

А вокруг были повеселевшие лица. Люди, толпившие-

ся у громкоговорителей, с надеждой смотрели друг другу в глаза, улыбались, даже шутили:

— Капут фрицу... Видел он Москву как собственные уши...

На встречу Нового, 1942 года в каменном доме на улице Гоголя, где помещалось литовское правительство, собрались почти все литовцы. Нас осталось не так уж много. Некоторые уехали в Уфу, другие — в Куйбышев, куда перебралось большинство союзных правительственных учреждений и работала часть Всесоюзного радио (оно вещало и из Москвы).

В Куйбышеве на радио работали Йонас Шимкус и Генрикас Зиманас. Некоторые из руководящих товарищей находились в Москве. Мы тоже собирались покинуть Пензу, так как Государственный Комитет Обороны 18 декабря 1941 года принял постановление о создании Литовской стрелковой дивизии.

Не помню сейчас, знали ли мы, поднимая скромные тосты за победу, где будет организована дивизия. Как мы представляли свою работу в ней? Как и другие соединения Красной Армии, Литовская дивизия будет иметь свою газету. Руководство дивизии, конечно, найдет, где можно применить наш опыт и знания. Может быть, мы попадем в дивизию простыми бойцами — это будет совершенно естественно. Так или иначе, мы не будем отделены, как это было до сих пор, от усилий всей страны (свою творческую работу мы в заслугу себе не ставили) и сможем все силы отдать войне.

С такими мыслями мы слушали кремлевские куранты, которые пробили двенадцать, с такими мыслями мы разошлись тогда... Над затемненным городом сверкали вечные звезды, равнодушные к судьбам людей и государств... Но на сердце стало теплей — события последних месяцев обнадежили нас, а ведь человек не может жить без надежды. Впереди было будущее, темное и смутное, как эта новогодняя ночь в далеком затемненном городе. После ночи всегда наступает утро... Но дождемся ли мы его? Поздравим ли солнце, взошедшее для нашей страны и всей Европы, которая стонет теперь, порабощенная, поруганная, окровавленная жестоким врагом?

И все-таки надежда в сердце не гасла — она тепли-

лась там крохотным огоньком, не боящимся сумерек. И мы были счастливы — настолько, насколько вообще тогда могли быть счастливы люди в сражающейся стране.

НАШ ДОМ БАЛАХНА

Почти полгода мы провели в Пензе. Когда узнали, что вскоре придется ее оставить, всех охватила грусть, как всегда, когда расстаешься с тем, с чем уже сжился... Только теперь мы почувствовали, что этот город все-таки был добр к нам, что здесь мы нашли крышу над головой, хлеб на столе, тепло человеческих сердец...

Мы квартировали в рабочей семье, которая жила скромно. Муж и сын работали на фабриках, вставали рано, ели не слишком густо, возвращались поздно. Дома хозяйничала седая старушка, как нам поначалу показалось, мрачноватая и не слишком добрая. Особенно она сердилась, если замечала, что мы снова открыли форточку в комнате и «выпускаем тепло на двор». Мы пытались доказать, что комнаты необходимо проветривать — иначе захвораешь от спертого воздуха, — но все эти доказательства были пустым делом. Война за форточку шла день за днем, и победителя не было.

Не многим теплее отношения были и с мужчинами. Им, как и всем жителям Пензы, казалось странным, что в то время как на фронт ушли почти все, кто способен держать оружие, а остальные тяжело трудятся, в их квартире живут молодые мужчины, которые ничего не делают, а только что-то пишут, слоняются по городу и, встретившись, философствуют на непонятном языке...

Но как только мы собрались уезжать, и не куда-нибудь, а в армию, хозяева сразу стали куда внимательнее. Прощание было таким, каким оно бывает между близкими родственниками. Провожая нас, хозяева желали всяческих успехов, какие только возможны во время войны, а старушка вручила подарки — носки и варежки, связанные длинными зимними вечерами... Нас растрогала ее материнская доброта...

Пензу мы покинули в середине января 1942 года. Как и раньше, сесть на поезд было почти невозможно. Все-таки, вооружившись правительственными командировками и разными мандатами, мы на второй или третий день сели в вагон. Посадкой это можно было назвать лишь

условно — на самом деле мы не сидели, а стояли, спрессованные со всех сторон.

Морозы были страшные. Но в вагоне мы не чувствовали холода. Пассажиры давили, можно было даже висеть, поджав ноги. Одни спали стоя, другие разговаривали. Свежий воздух проникал лишь тогда, когда на станции или полустанке открывали дверь. Все старались дышать как можно глубже, чтобы надышаться до следующей остановки. В вагоне ехали, в основном, мужчины — одни на мобилизационные пункты, другие, как и мы, с командировками предприятий или учреждений... Пассажиры вели себя довольно терпеливо, только изредка можно было слышать вздох или бранное слово.

Мы миновали узловую станцию Рузаевка, потом Саранск. Дремали стоя, стараясь все время ощущать ногами свое небогатое имущество на полу... Изредка наша компания — Людас Гира, Костас Корсакас и я — обменивалась несколькими словами. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания, потому что в вагоне говорили не только по-русски — здесь ехали мордвины, татары и другие.

Люди менялись. На какой-то станции, кажется в Арзамасе, я даже выбрался на перрон. Поезд стоял долго, люди несли из здания вокзала в дымящихся чайниках кипяток, пытались сесть на поезд, идущий в другом направлении, который пыхтел на соседних рельсах. Как всюду в России, так и здесь можно было видеть мужчин, которых провожали заплаканные женщины. Холодно, в воздух поднимался паровозный дым и пар от дыхания людей. Вокруг зима, вокруг люди, озабоченные, без улыбок на лицах, придавленные жестокостью войны...

Не помню уже, сколько времени мы ехали до Горького. Дорога не очень-то дальняя — примерно как от Вильнюса до Смоленска, — но путь продолжался более суток. Наконец вечером мы сошли в Горьком. Проталкиваясь сквозь толпу с вокзала, мы видели, как те, у кого не было ушанок, то и дело потирали уши. Кто-то, хватаясь за нос, сказал, что термометр показывает пятьдесят градусов.

Нам повезло, мы нашли мальчика с санками, который сложил наше имущество и потащил вверх по улице, в сторону кремля и гостиницы. Мы были одеты иначе, чем

все, носили странные шапки с козырьками, которые нам выдали в Пензе, и кто-то, увидев нас, сказал:

— Американцы...

Позднее мы узнали, что в это время здесь находилась американская военная миссия...

Когда мы добрались до огромной новой гостиницы рядом с кремлевскими стенами на высоком берегу Волги, было уже совсем темно. Мы не знали, удастся ли получить ночлег, — гостиницы ведь не пустовали. Вошли в просторный вестибюль, где нас встретил яркий свет люстр. И были на седьмом небе, когда получили номер и перенесли туда вещи. Гостиница не отапливалась, было холодно, как в овине, но наша радость от этого ничуть не уменьшилась. После утомительной дороги мы наконец смогли передохнуть и выпить горячего чаю. Сходив к директору ресторана (в ресторане питались только прикрепленные), я получил для нашей компании множество свежих белых булочек, каких мы не видели с начала войны.

Спали мы, накрывшись всем, что у нас было, даже одеждой. Сон был добрым, .сладким, — казалось, наконец-то мы попали домой...

Наутро немножко погуляли по городу, у слияния Волги и Оки. Мы хорошо знали, что с ним связано детство Горького, что где-то тут должен находиться домик Каширина, где вырос писатель. Раньше город назывался Нижним Новгородом. Его жителей Горький изобразил в «Детстве» и «Матери». Конечно, было бы очень интересно увидеть все эти места. Это знакомство пришлось отложить до более подходящих времен. Теперь мы только погуляли по улицам, подивились кремлю, который был, пожалуй, не меньше Московского, и характерной русской архитектуре XIX века, зашли в магазины. На полках товаров было очень мало, но продавщицы отвечали вежливо. Мы сразу заметили, что люди здесь гораздо вежливее и ласковее, чем в Пензе. Тут все обращались к незнакомым на «вы», охотно показывали дорогу, пространно объясняли.

(Каширинский домик мы посетили позднее, возвращаясь в Москву.

Поблуждав по незнакомым улицам, мы с помощью местных жителей довольно быстро нашли знакомое каждому читателю «Детства» Горького место, где, «присло-

нясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами».

Можно себе представить, с каким интересом мы ходили по этому домику, в котором все выглядело так, как в 80-е годы прошлого века. Уже снаружи было много атрибутов быта минувшего времени — керосиновый фонарь на деревянном столбе, кирпичный тротуар. А внутри — кухня с печью, взобравшись на которую Алеша слушал бабушкины сказки, кровать, часы, сундук, даже подушка Алеши, комната дедушки с характерной старомодной мебелью. Самовар, старинный рукомойник, розги, которыми старик Каширин сек детей. Это здесь когда-то вырос, играл, дышал и плакал от обиды будущий писатель... Отсюда вышел человек, именем которого называется этот огромный город. Отсюда вышел автор, который еще в студенческие годы и во время «Третьего фронта» был для нас одной из самых великих, светлых и привлекательных фигур в русской литературе...)

Походив немного по городу, мы пересекли замерзшую Оку и нашли станцию, откуда дачный поезд ходил в Балахну. Здесь было сравнительно не много людей, и мы свободно сели в вагон. Через какой-нибудь час добрались до конечной цели своего путешествия. Здесь рождалась Литовская дивизия...

Каждый, кто видел в эти дни Балахну, хорошо помнит и всегда будет помнить этот небольшой городок с довольно высокими каменными домами, с электростанцией. ТЭЦ подавала в дома города горячую воду и тепло, поэтому рабочие жили здесь благоустроенно.

Не пришлось долго спрашивать, где находится штаб Литовской дивизии. В городке мы сразу же наткнулись на бойцов Красной Армии, которые говорили между собой по-литовски. Они отвели нас в Дом культуры, где мы нашли старых знакомых — в первую очередь комиссара Йонаса Мацияускаса *, с которым мне пришлось видеться в Каунасе летом 1940 года. В 1918—1919 годах он боролся за советскую власть в Литве, потом попал в Советскую Россию и здесь из рядового бойца вырос в политработника. Тут же находился генерал Феликсас Балтушис-Жемайтис *, тоже борец за Советскую Литву в 1918—1919 годах, окончивший потом в Советском Союзе

военную академию. Мы нашли и несколько офицеров, служивших еще в буржуазной литовской армии. Когда началась война, многие из этих людей с боями отступили из Литвы и, узнав об организации Литовской дивизии, сразу явились, чтобы помочь своими знаниями и работой.

Каковы были наше удивление и радость, когда мы увидели и своего старого друга Йонаса Марцинкявичюса! Как всегда, он казался бодрым и веселым, сыпал остротами, излучал оптимизм. Я угостил его пензенской махоркой. Марцинкявичюс рассказывал о Саратове, где находился вместе с Пятрасом Цвиркой и белорусскими писателями; потом, когда Цвирка с женой переехали в Алма-Ату, он перебрался в Казань и в Чистополь, где жило немало московских писателей. Он сказал, что встретился и даже подружился с Александром Фадеевым. Кажется, они иногда и за одной бутылочкой сиживали. Там же жил тогда и французский писатель-коммунист Жан Ришар Блок. Марцинкявичюс был доволен, оказавшись снова среди знакомых и друзей. Мы вспомнили нашу короткую встречу на литовско-белорусской границе. . .

Вместе с прибывающими офицерами нас устроили в зале Дома культуры; здесь в аккуратном воинском строю стояли наши койки. Удивительно хорошо было чувствовать себя членом бо́льшого коллектива, тем более что нас встретили здесь с распахнутыми объятиями, как нужных людей.

В одной из комнат Дома культуры проходили заседания мандатной комиссии. Перед комиссией представали мужчины, каждый день прибывавшие из ближних и дальних мест, откуда военкоматы их, как жителей Литвы, отсылали в Балахну. В комнату входили парни из Каунаса, Шяуляй, Мариямполе. . . Большинство были одиноки, другие где-нибудь в малознакомом городе или колхозе оставили жен и детей. Каждый, кто прибывал в дивизию, многое перевидал и испытал, и не только в начале войны. Немало было таких, которые долгие годы провели в тюрьмах буржуазной Литвы и были закаленными бойцами, членами Коммунистической партии. Последние месяцы всех их выбили из привычной колеи. Теперь они радовались, оказавшись среди своих; часто встречались старые друзья, ничего не знавшие о судьбе друг друга. Мужчины хлопали друг друга по плечу, обнимались и целовались, и по обветренным щекам текли сле-

зы... Сцены эти брали за душу, они повторялись каждый день, потому что поездом из Горького (это был обычный путь) все прибывали и прибывали новые бойцы будущей дивизии...

Сидящие за столом расспрашивали новоприбывшего, кто он и откуда, служил ли в армии, готов ли сражаться против фашизма, за свободу Советского Союза и Советской Литвы. Врачи проверяли здоровье. Происходило то, что бывает обычно, когда призывают мужчин в армию. Бывали случаи, когда перед комиссией одновременно представали отец и сын или несколько братьев. Огромное большинство будущих воинов были рослые, крепкие, грамотные люди. «Эти парни всыплют фашистам», — думали мы. Некоторые выполняли в Советской Литве ответственную работу — во время проведения земельной реформы, при национализации промышленности и торговли, при создании новых заводов, в милиции и других местах. Много часов мы, писатели, проводили в этой комиссии, знакомясь с будущими солдатами, слушая их ответы, думая о неведомой судьбе этих людей...

В дивизии были и представители других национальностей (литовцы преобладали в ней лишь после освобождения Литвы). Кстати, довольно много было литовцев, родившихся и выросших в Советском Союзе. Они прибыли из Новосибирской области, где находились целые литовские деревни Байсогала, Шедува и Ромува (основанные, кажется, ссыльными 1863 года), из Тюмени, с Кубани, из Грузии, из литовской деревни Черная Падина, Саратовской области, из окрестностей Смоленска. Интересно было разговаривать с этими людьми, которые не забыли родного языка и обычаев и жаждали помочь освобождению земли праотцев. О них я тогда писал.

Людас Гира садился свободными вечерами на железную койку в зале Дома культуры и что-то писал в блокноте. Он сочинял песни для будущих бойцов и переводил песни с русского языка. Кажется, никто не заказывал ему этой работы, но старый поэт знал, что будет нужно солдатам уже завтра, как только они начнут постигать военную науку. Мне было трудно сосредоточиться в новой среде, работать, когда не было даже стола. Но и я вскоре привык к этому и начал довольно продуктивно писать...

Людей в зале Дома культуры становилось все больше. Нам, невоинам, руководство предложило подыскать

в городе частную квартиру, и мы с Костасом вскоре переехали в светлую и теплую комнату. Здесь было все, что нам требовалось: койки и — стол.

Голову обуревали мысли, чувства распирали грудь. С первого же дня мы с Костасом впряглись в работу, — ведь рядом находились наши читатели, точнее — слушатели, потому что печататься пока было негде. Мы мечтали о литературных вечерах для наших бойцов и интенсивно готовились к этому.

В нашем житье-бытье бывали и веселые минуты.

Как-то мы узнали, что Людас Гира, наш старший по возрасту поэт, вступил в Красную Армию (ему было присвоено звание интенданта второго ранга, позднее — капитана). События немалые. В форме красноармейца ходил и Йонас Марцинкявичюс. Однажды, когда все мы собрались в нашей комнате, Йонас сказал Людасу Гире:

— Так ты, Людас, уже солдат... Значит, тебя можно поздравить. Но скажи, умеешь ли ты по уставу надевать ремень и отдавать честь?

Мы начали смеяться, а Гира немного встревоженно спросил:

— А что тут такого — надевать ремень и отдавать честь? Ничего особенного... дело простое...

— Тебе так только кажется, — с деланным спокойствием заметил Йонас. — Ты думаешь, что если ты поэт, то все на свете постиг? А Мацияускас не посмотрит, поэт ты или не поэт, если что не так, влепит пару суток — и все тут... Порядок должен быть.

— Ну нет, он хороший парень...

— Конечно, хороший, — гнул свое Йонас. — А все выучить, как положено, не помешало бы. Знаешь что, завтра в этой комнате мы устроим дружескую пирушку, закусим, выпьем, и я обучу тебя «военным наукам»... Словом, достань пол-литра...

— Для меня это плевое дело, — отвечал Гира, тряся бородкой. — Я знаю кладовщика, попрошу — и выдаст...

— Вот и хорошо, — серьезно заявил Марцинкявичюс. — Антанас достанет двести граммов масла, Костас — буханку хлеба, а я... я, например, могу достать селедку. Согласны?

В условленный час мы снова собрались в нашей комнате. Йонас, как всегда, при виде закуски и бутылочки, выглядывавшей из кармана шинели Гиры, радостно по-

тирал руки и пел песенку, которую недавно услышал и которая ему очень понравилась:

Эх, загулял, загулял, загулял
Парень молодой, молодой,
В красной рубашоночке,
Веселенький такой...

Костас резал хлеб, расставлял рюмки, одолженные у хозяйки. Пирушка должна была удаться на славу.

И тут завыла сирена воздушной тревоги. Прятаться было некуда — лишь кое-где встречались вырытые в земле убежища. Мы услышали вой самолетов, но они пронеслись над Балахной. По-видимому, летели бомбить Горьковский автозавод или другие предприятия... Через несколько минут дали отбой. И вот тогда, временно забыв о собственных несчастьях, мы подняли рюмки — прежде всего за победу, за освобождение Литвы.

Выпив несколько рюмок, Людас Гира начал искренне и горячо говорить. Он запинался, глаза его сверкали, руки взлетали. Казалось, его охватило вдохновение.

— А все-таки, ребята, настанет время, когда Гитлер будет разгромлен... — говорил он. — Вернемся в Литву, в Вильнюс... Вот увидите, ну и отомщу же я. Без пощады буду мстить фашистам...

— За что же в первую очередь? — спросил кто-то.

— Сами знаете! — ответил Гира. — Но и за... кота. Да, да, за кота, — повторил он, когда мы переглянулись. — Вы не знаете, что это за котик! Сибирский, понимаете, вот такого роста, — показал он, стукнув себя по колену. — Как пес... Весь пушистый, ласковый мой котик и такой, знаете, умница... Бывало, лежу утром на диване, а он сидит на шкафу, умывается и все мурлычет: «Мр-мр-мр...» Потом соскочит, подбежит и как начнет лизать мне лицо, как начнет... Смотрит на меня, будто хочет что-то сказать... И еще кошечки не знал... — растроганно заключил поэт.

Мы смеялись так, что ничего не видели сквозь слезы... И только когда наша «пирушка» закончилась и Гира с Марцинкявичюсом ушли, мы вспомнили, что Йонас забыл обучить нашего поэта военной науке. Вспомнили, что находимся вдали от отчизны, на берегу Волги, что грохочет война, сражается окруженный врагами Ленинград, что недавно была воздушная тревога, наверное

не последняя за этот вечер... И снова брала тоска по Литве, по родному дому, по своим...

Как и раньше, тоска по Литве превращалась в тяжелую, мучительную ностальгию. Я гулял по улицам Балахны, смотрел на зимние поля за городком, покрытые сверкающим на солнце снегом, и мне чудилась Литва — далекая, чудесная, как недостижимая мечта. И это чувство само собой рождало строфы:

Моя Родина — Немана синие волны,
Берега близ Паланги, янтарный песок.
Ветер море баюкает, нежностью полный,
И усталый прибой на песке изнемог.

Моя Родина — взморье, березы и поле,
Небеса в ней синее цветущего льна.
Запах Родины нежен и сладок до боли
В час заката, когда на полях тишина.

Ночи Родины в росах плывут перед взором,
Легкий иней на листьях и трепет цветка.
И поля серебрятся морозным узором,
И над медью березок плывут облака [1].

Стихи казались мне очень простыми, как говорится, без претензий на новомодные метафоры и вычурные рифмы. Я удивился, когда позднее десятки раз читал их перед бойцами и каждый раз видел их волнение... Они были напечатаны, кажется, в дивизионной газете «Тевине шаукя» («Родина зовет»). Как я понял, эти стихи делали свое дело, вызывая любовь к Родине, зажигая боевым духом. (Некоторым в это время казалось, что только так называемая боевая лирика, призывающая бить врага, имеет право на существование. А я чаще думал, что творчество не имеет права ограничивать себя, отбрасывая общие для всех человеческие чувства и переживания... Оно должно стремиться будить в сердцах читателей и слушателей все лучшее... Не раз и позднее эти два мнения сталкивались в наших спорах и обсуждениях. Время показало, что победило более широкое, не одностороннее мнение...)

Из этой зимы я навсегда запомнил поездки в деревни в окрестностях Балахны, где поселились наши бойцы. Мы входили в зал, набитый до отказа воинами, пришед-

---

[1] Перевод С. Мар.

шими с нелегких учений. Иногда это была просто казарма; с многоэтажных нар смотрели на нас усталые обветренные лица и глаза, в которых таились тоска, беспокойство, ожидание... Мы поднимались на трибуну или вставали за столик — Гира, Корсакас, я... И говорили солдатам о покинутой Литве, о ходе войны, о главной цели и задаче всех нас, советских людей, — разгромить врага и вышвырнуть его за пределы нашей державы. Потом мы читали новые стихи. Не забывали мы и творчество отсутствующей здесь Саломеи Нерис. За всю свою долгую жизнь я не помню литературных вечеров, где писательское слово так волновало бы людей.

Не забуду я и тех темных вечеров, когда мы пешком возвращались в Балахну. В сотый раз мы говорили о том же самом, и эти разговоры не надоедали. Особенно поражал меня Людас Гира, гораздо старше нас по возрасту. Он говорил:

— Другим не верится, что я переживаю сейчас один из самых счастливых периодов в своей жизни. Вот мы сейчас далеко от отчизны, на берегах Волги, оторваны от повседневных, привычных забот, мы, можно сказать, бездомные люди... А я, братцы, ведь ужасно счастлив... Еще никогда я не чувствовал, что так нужен как поэт своим людям...

И он делился планами новых стихотворений и поэм. Поэт глубоко понимал, что только объединенными силами всех советских народов можно разгромить ненавистного врага. Портрет Мицкевича, увиденный в окне книжного магазина Балахны, побудил его впоследствии написать поэму «Адам Мицкевич в Поволжье».

Трудно было не поверить, что поэт на самом деле счастлив...

А дивизия все росла. Каждый день в Балахне появлялись новые люди, и подчас я невольно поражался, встретив знакомого, о котором думал, что ему не удалось выбраться из Литвы. У нас не было никаких известий о старом друге времен «Третьего фронта» Валисе Драздаускасе. И каким было наше удивление, когда в один морозный зимний день мы увидели в Балахне и его, уставшего, обутого чуть ли не в лапти, но все равно повторявшего свою старую присказку: «Унывать нечего — будет хуже». На сей раз присказка звучала чуть ли не трагически. Драздаускас коротко рассказал о своих мытар-

ствах по взбудораженной войной стране. Нам казалось, что прежде всего нашего друга надо выкупать в бане, потеплее одеть и, хорошо накормив, уложить в тепле на несколько суток отсыпаться...

Когда организация Литовской дивизии уже продвинулась далеко вперед, в Балахне я увидел художника Стяпаса Жукаса. И он казался ужасно утомленным, одежда его износилась, башмаки порвались, лихорадочно блестели впалые глаза на давно не бритом лице.

— Стяпас! — удивился я. О нем ведь тоже не слышал с начала войны.

Я отвел его в дивизионную столовую, где Стяпаса накормили и согрели. Он тяжело дышал, его душила астма, сразу было видно, что солдата из него не выйдет. Но дивизия нуждалась не только в солдатах — здесь были нужны и стихи поэта, и плакат, и карикатура художника, и походная песня, созданная композитором. Стяпас Жукас действительно вскоре нашел для себя работу в стенгазете, а в казармах появились его антигитлеровские плакаты.

— Где ты был, куда ездил? — спросил я у Стяпаса, когда он освоился и чуть отдохнул.

— Ох, братики, повидал я свет! Всю Сибирь изъездил...

— Нашел время для прогулок! — заметил кто-то, слышавший наш разговор.

Стяпас Жукас сказал, что его влекли бесконечные сибирские просторы, которые помнил еще по детским годам. Ведь когда-то он с родителями жил в Харбине, откуда они перебрались в Иркутск. Вот и теперь Стяпас, попав на поезд, ехал на нем до тех пор, пока не оказался в Сибири. Среди совершенно незнакомых людей. А каждый, кто пережил войну, хорошо помнит, что это труднее всего.

— Свет повидал, но и горя вкусил, — рассказывал Стяпас. — Ехал-ехал и добрался куда-то на край света. Денег ни копейки, никого не знаю — хоть в землю лезь. Деваться некуда, на одной станции начал проситься на паровоз к машинисту. Добрый был человек, взял. «Кто? Откуда? Что умеешь?» — спрашивает. Я сказал, что художник. Машинист не верит. «Если ты художник, говорит, то нарисуй мне свинью». Взял я бумагу, карандаш и нарисовал ему свинью, как живую. Смотрит машинист

и покатывается со смеху. «Правда, братец, вижу, что ты художник», — говорит он мне и до того хохочет, кажется — вот-вот лопнет. И тут же хлеба мне дал, а когда окончилось его рабочее время, то и по стаканчику взяли. Так меня и вез через всю Сибирь. Если бы не он, я, пожалуй, и пропал бы...

Кругом смеются, а Стяпас доволен. Хороший был рассказчик.

Как-то позднее мы ехали из Москвы в Балахну втроем — Жукас, Мариёнас Грегораускас, тогда нарком торговли республики, и я. Везли мы бутылки две напитков, которых тогда достать было непросто. В поезде Жукас все время предлагал осушить эти бутылки, а я сопротивлялся, доказывая, что лучше отвезти их друзьям в дивизию; тогда там были Марцинкявичюс, Цвирка и другие приятели. В Горьком мы вышли из вагона. Жукас взял бутылки под мышки — под свою опеку. Тут завыли сирены — налет гитлеровских бомбардировщиков. Шагая впереди Жукаса, я услышал, как за мной бутылки одна за другой ударились о тротуар и разбились.

— Вот черт! — ругался Жукас. — Будто я не говорил: выпьем — и ладно! А он — нет! Как собака на сене — сам не ест и другим не дает...

Хоть была воздушная тревога и где-то за Волгой уже тявкали зенитки, мы с Мариёнасом так и покатились со смеху...

Да, в нашей жизни бывали и веселые минутки...

...Попав из Балахны в Москву и в Переславль-Залесский, где позднее создавались наши художественные ансамбли и работали литовские художники, Стяпас Жукас снова оказался среди своих и, хотя тогда уже постоянно болел, много работал как карикатурист. Его рисунки охотно помещали литовские газеты, которые начали тогда выходить в Москве. Зверства гитлеровцев в оккупированных краях, убийства людей и угон в рабство, злодеяния буржуазных националистов, наконец крах Гитлера и гитлеризма — вот темы последних работ Стяпаса Жукаса. По своей форме это работы зрелого художника, обладающего глубоким политическим чутьем и острым взглядом, навеки вошедшие в историю нашей карикатуры...

(После войны, в начале мая 1946 года, мы собрались на каунасском кладбище на проспекте Витаутаса. Ныло

сердце, когда видел исхудалое, как-то уменьшившееся тело покойного в гробу. Говорят, его астма в последнее время еще больше усилилась и в конце концов, по-видимому, послужила причиной смерти художника. Тяжело было расставаться с хорошим другом, который всей душой любил народ, свободу, трудящихся и ненавидел угнетателей и паразитов всех мастей. Много лет прошло со дня смерти художника, и отрадно сознавать, что его мысли, мечты, любовь и ненависть по сей день живы в его работах.)

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

За эти полгода в Москве многое изменилось. Но мне казалось, что найду все таким, каким оставил. Ведь даже людей, которых долго не видели, мы надеемся встретить прежними, забывая о том, что время оставило свой отпечаток и на них. Недолгий срок, во время которого я не видел Москвы, значительно изменил ее, она как бы постарела...

Когда мы с Костасом сошли на Курском вокзале, перед глазами еще стояла Балахна с друзьями и знакомыми, город Горький в зимней дымке. Мы, казалось, только что шли по замерзшей, покрытой снегом Волге, когда ударили зенитки и вдалеке загрохотали взрывы бомб. Кто-то сказал, что гитлеровцы бомбят автозавод и несколько раз уже угодили в цехи, где погибли люди... Теперь мы смотрели на Москву, стараясь распознать ее знакомые черты...

Да, без сомнения, это та же столица. Но сразу бросалось в глаза, что в городе куда меньше жителей. По-видимому, покинувшие город люди еще не вернулись в Москву. Многие выглядели похудевшими, и брились мужчины не всегда. Фронт проходил примерно в полтораста километрах — под Ржевом, Вязьмой и Гжатском, и немецкая авиация по-прежнему рвалась к городу.

Мы узнали, что в Москве почти нет топлива и большая часть города не обогревается. Оставшееся в холодных квартирах население жило впроголодь, но гордилось тем, что не покинуло своих домов. Иногда в целых кварталах отключали электричество, и квартиры погружались во мрак; тогда москвичи освещали их огарком свечи, керосиновой лампой. На стенах были расклеены пла-

каты, изображавшие Гитлера, его генералов и солдат. Витрины магазинов по-прежнему были защищены мешками с песком.

По вечерам в небо поднимались продолговатые серебристые аэростаты, напоминающие толстые сигары. Девушки в военной форме свисающими тросами переводили их с места на место — они легко подчинялись слабым женским рукам. Говорили, что тросы аэростатов не позволяют низко спускаться самолетам и точно бомбить.

В городе действовало несколько театров. Афиши объявляли о концертах. Но большинство учреждений, эвакуированных в Куйбышев и другие города, еще не вернулось. И все-таки Москва явно жила надеждой и как бы свыклась с лишениями. Как всюду, так и здесь война стала буднями, или, как писали тогда, бытом...

В Москве по-прежнему работало Верховное Главнокомандование и большинство членов Политбюро Центрального Комитета. Этот факт имел большое психологическое значение как для Москвы, так и для всей страны, показывая устойчивость, решимость любой ценой не отдавать столицу врагу...

Мы с Костасом попали в гостиницу «Москва». Большая современная гостиница в центре города, недалеко от Красной площади, была хорошо знакома нам еще с лета 1940 года, когда мы в ней жили. Внизу просторный вестибюль с газетными и сувенирными киосками, агентством связи, сберкассой. Повыше, на третьем этаже, находился ресторан. От второго этажа до пятнадцатого — удобные комнаты на одного, двух и больше. В каждой комнате — телефон, радиоприемник, ванная, душевая. Гостиница даже сейчас обогревалась, была горячая вода. Настоящее чудо.

Как мы заметили, теперь и позднее здесь жило немало писателей, даже тех, у кого были в Москве квартиры. По-видимому, они не могли работать у себя в неотапливаемых домах. Не раз я видел в вестибюле или лифте Илью Эренбурга, бледного, усталого от напряженной работы (почти всю войну он изо дня в день публиковал в газетах статьи и фельетоны, направленные против гитлеровцев, и репортажи с фронтов, где он часто бывал). Мы видели Петра Павленко, иногда Алексея Толстого, Валентина Катаева. Здесь часто останавливались писатели-воины, на несколько дней или более длительный

срок приезжавшие с фронтов, — многие из них работали в военных газетах. Не раз пришлось встречаться с белорусскими писателями Янкой Купалой и Якубом Коласом, Максимом Танком и Михасем Лыньковым, Петрусем Бровкой и Аркадием Кулешовым, автором широко известной в военные годы поэмы «Знамя бригады». Иногда в гостинице жили Вилис Лацис, председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР профессор-витаминолог А. Кирхенштейн, эстонский поэт, занимавший в Эстонии тот же пост, что Кирхенштейн в Латвии, — Иоханнес Барбарус. Короче говоря, здесь можно было встретить большую часть русских писателей и деятелей культуры всех республик...

В гостинице мы уже застали управляющего делами нашего Совета Народных Комиссаров Александраса Баужу *. Еще в буржуазное время он перевел на русский язык «Землю-кормилицу» П. Цвирки, в военные годы переводил рассказы различных наших писателей, а позднее сам стал известным писателем. Здесь находился и его заместитель Данелюс Петрила *. Они в Москву прибыли раньше нас. Их задачей было создать условия для жизни и работы представителей нашей республики в Москве. Здесь мы застали и Ромаса Шармайтиса, тогдашнего помощника А. Снечкуса. Этот скромный, трудолюбивый и добросовестный человек во время войны помогал нам налаживать печать в Москве и в уже освобожденной Литве. Он писал статьи, воззвания, редактировал газеты и книги, поддерживал связи с московскими типографиями — был незаметным, но незаменимым тружеником печати. Высокообразованный марксист, хороший знаток революционного движения в Литве, Ромас Шармайтис и для меня часто бывал хорошим консультантом во многих теоретических вопросах. (После Великой Отечественной войны он некоторое время был секретарем Правления нашего Союза писателей, а позднее стал директором республиканского Института истории партии.)

Постпредство на улице Воровского уцелело, к счастью, в него ни одна бомба не попала. Но теперь дом занимали райкомы партии и комсомола одного из районов Москвы. Наше правительство предпринимало шаги, чтобы вернуть здание. А до поры до времени приезжающие размещались в гостинице. Я помню, друзья в гостинице встретили нас своеобразным угощением — они где-то до-

стали огромную копченую рыбину и хлеба. Этой едой мы кормились целую неделю; вскоре к нам примкнул еще и Йонас Марцинкявичюс, который по какому-то делу приехал в Москву чуть позднее нас.

Зачем мы оказались здесь? Наш Центральный Комитет и руководящие товарищи из Совета Народных Комиссаров, а также Юстас Палецкис с самого начала интенсивно заботились о трудоустройстве, питании, снабжении жителей, которые эвакуировались из Литвы. Благодаря этой работе уже существовала Литовская дивизия. Шла война, никто не знал, когда она кончится, и были нужны позарез свои литовские газеты и книги. Поэтому нас с Костасом и вызвали одними из первых в Москву, чтобы мы активнее помогли организовать работу литовской печати в Москве, а также готовить материал для прогрессивных органов американских литовцев — «Лайсве», «Вильнис» и «Швиеса». И товарищам на радио надо было помочь. Мы, конечно, были очень горды, что нас вызвали в Москву. О налетах мы думали мало, с ними, что ни говори, мы уже свыклись (во всяком случае, я, переживший страшную бомбежку Минска и бомбежки Москвы прошлым летом). Видя афиши, мы мечтали попасть и в театры — нашей давней мечтой было поближе познакомиться с высоким искусством Москвы...

В Москве учреждения республики решили обосноваться на длительный срок. Вскоре нам вернули здание Постпредства. В подвале устроили склад продуктов и некоторых промтоваров и столовую. В зале второго этажа и некоторых комнатах разместилась канцелярия нашего правительства. Теперь здесь снова стали жить приезжавшие из дивизии и из разных городов люди... Неподалеку от Библиотеки имени В. И. Ленина, на улице Фрунзе, обосновался Центральный Комитет Коммунистической партии Литвы.

В Москву мы с Костасом прибыли в феврале 1942 года. Налеты врага еще были нередким делом. Но теперь они уже не вызывали у населения такого страха, как прошлым летом. Жильцы гостиницы, когда раздавалась воздушная тревога, спокойно спускались в станцию метро под гостиницей, а другие так и оставались у себя в номерах... Несколько раз в метро во время тревоги я видел Ванду Василевскую, Александра Корнейчука и других более или менее знакомых людей.

В первую военную зиму произошла одна из самых больших трагедий второй мировой войны — блокада Ленинграда. Город с трехмиллионным населением был окружен, связь со страной фактически прервана. Под жестокими налетами авиации и артиллерии город держался с удивительной выдержкой и героизмом. Тогда мы еще не знали истинного положения в Ленинграде. Мы не знали, что люди там падали с голоду — во время блокады умерло сотни тысяч жителей. Позднее в Клубе Союза писателей, на той же улице Воровского, приехавшие в Москву ленинградские писатели — Вера Инбер, Всеволод Вишневский, Ольга Берггольц и другие рассказывали об ужасах, каких, кажется, еще никогда не пришлось переживать ни одному городу мира. Не раз потом о блокаде Ленинграда я слышал от своего друга поэта Николая Тихонова — вместе со всеми он пережил ужас и героизм Ленинграда той зимы...

Положение Москвы по сравнению с Ленинградом и некоторыми другими городами тогда было просто отличным. Правда, нашим товарищам, которые оставались здесь в самое плохое время, жилось довольно трудно. Скажем, Юозас Банайтис, руководивший литовскими радиопередачами, жил вместе с известным эстонским писателем Иоханесом Семпером, тоже работавшим на радио, в ванной комнате (там, по-видимому, было теплее). Банайтис рассказал нам, что литовские передачи не прекращались ни на один день. Население оккупированной Литвы постоянно слышит не только официальные сводки и важнейший материал, переведенный из московских газет, оно слышит также наши стихи и статьи — все, что мы посылали из Пензы и Балахны.

Из Куйбышева вернулся Йонас Шимкус. Это тоже показывало, что центром нашей деятельности становится Москва. «В Москве я нашел много друзей, — писал Шимкус в своем дневнике. — Корсакаса, Венцлову, Марцинкявичюса, приехавшего из дивизии в военной форме. Первую ночь — 22.II — провел у Венцловы в гостинице «Москва», потому что мне нездоровилось. Но следующую ночь уже ночевал в помещении Постпредства, которое мы как раз в это время получили назад. Опять жизнь идет по-старому. Думаем, где будем ночевать, где будем жить, что будем делать. Я, разумеется, пошел в Радиокомитет. Банайтис обрадовался. Наконец-то снова вместе...»

Йонас Шимкус выглядел неважно. Он рассказывал, что в Куйбышеве ему пришлось туго, ночевал он в неотапливаемом бараке, два раза переболел воспалением легких и ангиной. В Москву поехал тоже с ангиной, шесть суток в холодном вагоне. Мы давно знали Йонаса как человека долга, не умеющего думать о своем здоровье... Столько лет мы провели вместе, столько мечтали с ним и работали... Он всегда был ласковым, спокойным человеком, не умел ныть. Хотя был тяжело болен, жалоб от него я не слышал.

В марте в Москву для работы в Радиокомитете из Саратовской области приехал Юозас Балтушис. Директор совхоза, не желая лишиться хорошего работника, долго не передавал Балтушису телеграмм, которые мы посылали ему из Москвы. Юозас рассказывал о различных своих приключениях, возможно чуть-чуть приукрашивая. Вначале он оказался в Балахне, а оттуда уже поехал в Москву; здесь он стал заместителем Юозаса Банайтиса, а потом председателем литовских радиопередач.

Этот писатель сочного таланта был необыкновенно интересным рассказчиком, с недюжинными актерскими способностями (в этом я убедился позднее, в прифронтовой полосе под Ясной Поляной, где мы вместе участвовали в литературных вечерах и где Балтушис очень выразительно читал свои произведения). Работая на радио, он написал пятьдесят шесть брызжущих остроумием антигитлеровских скетчей под общим названием «Во дворе дяди Сильвестраса», или просто «У дяди Сильвестраса», которые передавались на Литву года два подряд. Дядю Сильвестраса обычно играл сам Балтушис, роль партизанки исполняла Казимера Кимантайте, роли гитлеровских солдат — Миколас Любецкис *; иногда в радиопьесах участвовали еще Тадас Черняускас * и Йонас Шимкус (песенные вставки, которые он писал, исполняли все вместе). Еще долго после освобождения Литвы многие из тех, кто во время войны тайком слушали Москву, с благодарностью к автору и «актерам» вспоминали «Двор дяди Сильвестраса»...

Юозас Балтушис сразу же стал незаменимым участником наших встреч, обсуждений, вечеров. Всегда бывало приятно встретить его и услышать новые, обычно юмористические истории, а иногда почитать его талантливые

рассказы, такие, как «Партизан Даура» или «Белый клевер».

Писатели, оказавшиеся в Москве, решили оформиться в организацию. Уже в начале марта у Антанаса Снечкуса состоялось совещание. Выяснилось, что из Литвы эвакуировалось десятка полтора поэтов, прозаиков, критиков. Силы немалые. Костас Корсакас, представитель наших эвакуированных писателей при Президиуме Союза советских писателей, в своем докладе на Правлении Союза говорил о том, что мы уже успели сделать. Он совершенно правильно отмечал:

«Подводя итог всей проделанной до сих пор работы эвакуированных литовских писателей, надо сказать, что она проявилась не с такой широтой и плодотворностью, с какими могла проявиться в нормальных условиях. Но с другой стороны, в ней заметны такие моменты, которые могли появиться только во время этой гигантской борьбы против фашизма и которые придают всей этой работе особенное значение и важность. Несмотря на многие трудности, связанные с эвакуацией и включением в новые, непривычные условия жизни, — а это включение для литовских писателей, сравнительно молодых еще советских граждан, в военное время было особенно трудным, — эвакуированные литовские писатели сохранили стойкость духа и боевой задор. Это надо считать делом особой важности».

Во временное бюро литовских писателей вошли Корсакас (ответственный секретарь), Шимкус и я (члены). Мы наладили связь со всеми литовскими литераторами, оказавшимися в России, начали бывать в Клубе Союза писателей. Вскоре всем нам должны были выдать членские билеты.

Эти прозаические события имели большое значение. Они ввели нас в большую семью советских писателей. Наши писатели стали активно действовать не только среди литовцев — постепенно они включились во всесоюзную деятельность, начали публиковаться в московских газетах и журналах, издавали коллективные сборники и индивидуальные книги не только на литовском, но и на русском языке. В то трудное время это подстегивало больше и лучше работать, служило доказательством, что и наша работа — оружие в борьбе свободных народов.

Еще только началось издание литовских книг. Из-за

занятости типографии «Искра революции», имевшей литовский шрифт, из-за нехватки наборщиков, бумаги были изданы только оригинальные и переводные «Боевые песни», в подготовку которых больше всего труда вложил Людас Гира. Мы составили коллективный сборник всех живущих в эвакуации поэтов «Живая Литва». Усилиями находившихся в дивизии Марцинкявичюса, Гиры, Цвирки и Драздаускаса было выпущено литературное приложение газеты «Тевине шаукя» — «Пяргале» («Победа»). Вышли два номера приложения. Первый появился 1 мая 1942 года. Хотя издание было небольшое, всего восемь страниц среднего формата, оно сыграло видную роль в нашей литературной жизни. Это была первая попытка за войну представить в одном издании все писательские силы. Из приложения вырос альманах, а потом журнал «Пяргале», по сей день играющий решающую роль в развитии нашей литературы.

В Москве мы проводили много литературных вечеров, продолжая традиции Пензы и Балахны. Сейчас, листая документы того времени, я обнаружил программы таких вечеров. Вот накануне 1 мая 1942 года по радио был организован литературный вечер для Литвы, в котором участвовали Корсакас, Шимкус, Межелайтис и я. По случаю Первомая я выступил с докладом в Союзе писателей на тему «Литовская литература в борьбе против немецких захватчиков». 9 мая в Клубе Союза писателей был устроен вечер литовской литературы и песни, в котором прозвучали произведения Майрониса, Креве, Янониса, Гиры, Нерис, Шимкуса, Балтушиса, Корсакаса, Межелайтиса и мои, переведенные на русский язык. Народные песни пела Сташкевичюте. О вечере сообщала московская печать, о нем упомянули Всесоюзное радио и ТАСС, о нем дали сообщение для заграницы. 24 мая на русском языке для всего Советского Союза читали стихи Гиры, Корсакаса и мои, передавали литовские народные песни в исполнении Сташкевичюте... Первые шаги нашей литературы и песни на всесоюзной арене... Полагаю, что это достойно упоминания.

В Москву приезжало все больше и больше литовцев, и вместе с тем расширялась и крепла вся наша работа. Уже 26 апреля состоялся первый митинг представителей литовского народа. В нем участвовали не только литовцы, живущие в Москве, но и представители других горо-

дов Советского Союза, а также воины Литовской дивизии. Участвовал даже один партизан. Все мы горячо верили, что слова участников митинга услышат и наши братья по ту сторону огненной стены. Для этого митинг передавали по радио.

Прочувствованно, как и всегда, произнес вступительное слово Ю. Палецкис. Призывая литовцев не поддаваться гитлеровской пропаганде и всеми возможными способами сражаться за свободу родной земли, выступали на митинге генерал В. Виткаускас и партизан Вайткус, профессор Й. Крищюнас * и Ю. Жюгжда, медсестра нашей дивизии К. Лажаускайте, Ф. Беляускас *, Л. Гира и К. Прейкшас. По предложению М. Гедвиласа участники митинга приняли обращение к населению оккупированной Литвы: «Братья и сестры! Все, кого заботит судьба Литвы, литовской нации и ее будущее! Вставайте на священную войну против гитлеровских оккупантов! Укрепляйте единый антигитлеровский фронт литовской нации, укрепляйте комитеты по борьбе против оккупантов. Сейчас и в будущем Родина будет оценивать каждого патриота по тому, как он сражался против фашистских оккупантов».

Была прочитана приветственная телеграмма в адрес литовского народа, борющегося против оккупантов, полученная от литовских организаций из США.

Надо ли упоминать, что выступления участников митинга были горячими, взволнованными, что каждый оратор перед микрофоном, каждый участник митинга видел воочию перед собой истекающую кровью Литву, своих друзей и знакомых, не успевших эвакуироваться... Может быть, они слышали наши голоса из Москвы... (Как мы узнали впоследствии, в порабощенной Литве многие слушали тогда московское радио, хоть за это и грозила смерть. Наши слова, горячие голоса наших сердец сильно действовали на лучших представителей порабощенной Литвы и, без сомнения, помогли им организоваться и принять участие в невиданно тяжелой и героической борьбе.)

Второй такой митинг состоялся в конце 1942 года.

Весной я снова находился в дивизии. На этот раз работал лектором — прочитал для многих воинских подразделений лекцию «Германская оккупация в Литве в 1914—1918 гг.», на основе которой позднее издал книжку «Под

сапогом Людендорфа». Корсакас выступал перед воинами с лекцией «Традиции борьбы против немецких захватчиков в литовской литературе». Дивизия по-прежнему находилась в тех же местах — в Балахне, в Правдинске, в Городце, где когда-то умер Александр Невский.

В Москве снова, хотя и нерегулярно, стала выходить «Тиеса», и вскоре мы уже выступали в ней со своими новыми произведениями.

Летом 1942 года в производстве находилось несколько литовских книг. Готовился сборник рассказов «Партизан Даура», был переведен и подготовлен к печати «Маргерис» Креве (он был издан только на литовском языке). В «Известиях» появилась статья Корсакаса о литовской литературе в военное время. «Правда» и «Литература и искусство» напечатали переводы двух моих стихотворений. Я упоминаю здесь о них потому, что это, кажется, были первые литовские стихи, в военное время появившиеся во всесоюзной печати.

Среди нас все еще не было Саломеи — она по-прежнему жила в далекой Башкирии. Но уже 23 марта из Алма-Аты в Москву переехал Пятрас Цвирка. Я написал на следующий день Марии Цвиркене: «Вчера мы дождались в Москве Пятраса. Это было для всех нас сюрпризом, хотя его приезда ждали давно. Думаю, что ему здесь будет неплохо, как и другим друзьям. Главное — в Москве настроение лучше, чем где-нибудь в далекой провинции, без связи с товарищами. У нас тут довольно много работы, но мы можем сходить в театр и т. п. Иногда охватывает тоска по своим и Литве. Но что поделаешь — так уж есть. Придется как следует побороться, чтобы снова оказаться там».

А Пятрас в эти дни в своем письме жене так охарактеризовал Москву:

«Город кажется военным: патрули, милиция. Масса в сером, всюду чувствуется прифронтовая полоса. Кое-где очереди за продуктами. Когда я подходил к улице Воровского, к Литовскому постпредству, то встретил Й. Шимкуса. Он схватил мой чемодан и отнес до дома. Здесь оказались: Антанас (Венцлова), Корсакас, Гира, Зиманас, Вайшнорас *, Баужа, Пакарклис, Лауринайтис *, Снечкус, Гедвилас, Палецкис, Грегораускас *, Балтушис и много других. Все они живут в доме нашего Постпредства. У всех неплохие условия. В первую ночь

спал в комнате Палецкиса, на отдельной кушетке. Я не знаю, останусь ли здесь надолго, потому что приехавший из дивизии (на автомобиле) Гира зовет меня в Балахну, к воинам, где, мол, тоже хорошие условия, можно писать, работать и где витает чистый литовский дух, потому что там слышна литовская речь и родная песня. Ехать-то я туда поеду, но не как солдат, а как писатель, буду собирать материал о тех, кто участвовал в боях. Посижу там месячишко, не больше, а потом снова в Москву. Вообще-то здесь неплохо и живется совсем сносно, если не обращать внимания на то, что фронт близко и немец каждой ночью может сыпануть на головы бомбы. Однако в последнее время о бомбежках ничего не слышно. Немецкие самолеты к Москве не подпускают».

Пятрас много рассказывал об Алма-Ате, о ее красоте и садах, о недалеких горах Ала-Тау, об ишаках и других диковинках Азии. С юмором он рассказывал о некоторых своих новых знакомствах, особенно со знаменитым казахским певцом Джамбулом, которому тогда уже было почти сто лет.

— Как-то сижу я в Казахском Союзе писателей и беседую с секретарем. Вдруг секретарь вскакивает взволнованно с места — под окнами остановился ишак, а на ишаке сидит старый-престарый человек небольшого роста, в круглой меховой шапке. Позвав кого-то, секретарь выбежал на улицу, и они помогли старику слезть с ишака. Ввели в помещение. Я сразу понял, что почетный гость не кто иной, как прославленный акын Джамбул. Я поднялся. Секретарь начал меня представлять Джамбулу, а тот на своем языке тоненьким голоском произнес нечто невразумительное. Это, наверное, должно было означать: «Очень приятно...» Познакомившись со знаменитым степным поэтом, я снова сел на диван, а секретарь усадил Джамбула рядом со мной, чтобы мы потолковали. Так как Джамбул не владел ни русским, ни литовским, а я — казахским, то поговорить нам не удалось. Секретарь, оставив нас, куда-то вышел. Вскоре я почувствовал, как голова поэта в меховой шапке склонилась мне на плечо... Поэт тихонько похрапывал — он спокойно заснул. А я не смел шевельнуться, — для меня большая честь, что на плече Пятраса Цвирки покоится голова великого певца Азии...

С юмором Пятрас рассказывал и о некоторых наших эвакуированных.

— Я хорошо знал в Алма-Ате любезного Повиласа Пакарклиса, — говорил Пятрас. — И всегда удивлялся его запасливости. Вы себе только представьте, он еще с самого Каунаса возит с собой горшок с маслом и все его не починает, все ждет более тяжелых дней... Вообще продукты он носит в карманах. И не удивляйтесь, если услышите там подозрительный шорох, — в карманах у Пакарклиса завелись мыши...

Да, нашего Пятраса не изменили военные тяготы. После долгой дороги он казался усталым, бледным, но, как всегда, острил...

Когда мы остались вдвоем, он стал говорить о Литве, об оставшемся там сыне, о Верхней Фреде и о своей родной деревне Клангяй. Рассказывал, что его постоянно мучают кошмары, а в них — все время Литва, берега Немана, близкие...

Рассказывал Пятрас и о своем намерении поехать в Соединенные Штаты Америки, где, как ему казалось, он был бы полезней, чем здесь. Он уже связался с тамошними прогрессивными литовцами, кроме того, писал и в соответствующие московские учреждения. Идею Пятраса не одобрили.

Несколько дней спустя Пятрас уехал из Москвы в Балахну. Оттуда он писал жене:

«Здесь я нашел много знакомых... Городок небольшой, над Волгой. Странно, что, приехав сюда, слышишь только литовские песни, на каждом шагу раздается только литовская речь. Идешь вечером и слышишь, как где-то за Волгой звенит «Кормил я коня» или «Зеленый пион». Чувствуешь себя как в Литве. Командиры тоже в большинстве своем литовцы. Я получил отдельную комнату и собираюсь поработать».

Письма Пятраса Цвирки жене опубликованы, но, пожалуй, стоит лишний раз напомнить о некоторых из них, потому что они хорошо показывают условия и настроения, которыми мы все жили.

16 апреля Пятрас писал: «Несколько дней назад сюда приехали из Москвы Антанас и Корсакас. Побудут дней десять и вернутся в Москву. Я скорей всего дождусь, пока наша часть не уйдет на фронт. Сегодня у нас был литературный вечер. Антанас с Корсакасом читали стихи,

Сташкевичюте пела, а я прочитал сказку о немце-обжоре».

А вот письмо от 14 мая: «Мы, здешние писатели, не сидим сложа руки: работаем, пишем. Недавно издали первый номер литературного журнала на литовском языке. Он называется «Пяргале». Инициатором и организатором этого журнала можно считать меня. Вскоре выйдет и второй номер. Я много печатаюсь. Палецкису, Гедвиласу и другим особенно понравились мои новые рассказы. Когда выйдет второй номер, я тебе пошлю. Там увидишь и продолжение моего «Франка Крука».

Дня через три-четыре я уезжаю в Москву, где и останусь. Надеюсь, что в недалеком будущем приеду в Алма-Ату».

Пробыв в Балахне больше, чем собирался, в конце июня Пятрас снова приехал в Москву. Отсюда он сообщил жене: «Наше правительство решило организовать художественную бригаду. Она будет представлять литовских исполнителей и сбережет от превратностей войны наших людей искусства. Собираются привлечь к этой бригаде Сташкевичюте, певца Мариёшюса, художников — тебя, Юркунаса, некоторых музыкантов и поселить их где-нибудь в Ярославле или Иванове. Латыши и эстонцы уже имеют такие бригады».

«В Москве пока царит необыкновенное спокойствие, — писал он 6 июня. — Правда, уже три вечера подряд была тревога, и дирекция гостиницы загоняла нас в убежище. Вчера, когда объявили тревогу, я был в городе, и пришлось забраться в метро. Но немцев не подпустили к городу. Три дня назад, ночью, без тревоги, вдруг начала шпарить зенитная артиллерия: наверное, прорвался какой-нибудь одинокий самолет. Но все это не производит впечатления на москвичей. Когда объявляют тревогу, людей трудно загнать в убежище — все предпочитают торчать на улице и смотреть, как по немецким самолетам стреляют трассирующими пулями».

12 июня было опубликовано коммюнике о сотрудничестве между СССР, Англией и США и открытии второго фронта в Европе в 1942 году. Это коммюнике вызвало подлинный энтузиазм, — всем казалось, что теперь исход войны не вызывает сомнений, что он уже недалек. Очень точно выразил наши настроения Пятрас в письме, написанном два дня спустя:

«Огромную радость и действительно большой оптимизм вызвал здесь подписанный договор между Советским Союзом, Англией и Америкой. Особенно любопытно то место коммюнике, где говорится о создании нового фронта в Европе против Гитлера еще в 1942 году. Как-то улучшилось настроение, как-то снова приблизилась дорогая Литва, как будто линия фронта продвинулась на целых сто километров. Если англичане и американцы действительно начнут наступление против немцев (а это наверняка будет!), может быть, и впрямь поздней осенью или примерно около Нового года мы будем в Каунасе».

Этим мечтам не суждено было осуществиться...

Это коммюнике я прочитал или услышал по радио далеко от Москвы, в предгорьях Урала: я находился тогда в далекой поездке.

В ПРЕДГОРЬЯХ УРАЛА

Я знал, как сложно в военное время сесть на поезд, и стал искать другой способ передвижения. Оказалось, что от Москвы до Казани я мог добраться на пароходе. Было начало июня, и такое путешествие привлекало меня — хотелось побыть поближе к природе, надышаться чистым воздухом после городской жары.

И я не ошибся. Взяв со склада Постпредства продукты, в один прекрасный день я сел на пароход на Южной пристани Москвы. Пароход был небольшим, но мне удалось получить на нем отдельную крохотную каюту. Людей было не очень много: мужчины и женщины направлялись куда-то в командировку, на палубе сидели два инвалида — один безрукий, у другого не было левой ступни. Оба направлялись в Муром. Еще красивая девушка, с виду татарка, которая в одиночестве сидела на палубе и смотрела на берег Москвы-реки. Вот, кажется, и все пассажиры.

Как только мы отчалили от шумного причала и выбрались за пригороды, на нас повеяло удивительной тишиной и покоем; ее нарушал только монотонный плеск лопастей и гудки, когда пароходик приближался к какой-нибудь пристани, где сходили или садились новые пассажиры.

Потом мы добрались до более широкой воды — вышли из Москвы-реки в Оку. Пароход сразу прибавил ско-

рость. Когда я проснулся наутро, в окно каюты падали косые лучи солнца, а мимо скользили зеленые берега — местами они уходили вдаль пойменными лугами, на которых пасся скот, местами поднимались невысокими холмами или спускались к реке обрывами. Изредка вдалеке появлялся купол церкви, выплывали белые стены и разбросанные на склонах холмов деревни или городки. Мы плыли по Рязанской области, по родным местам Сергея Есенина. На палубе веял теплый ветерок, а над головой была такая удивительная небесная голубизна, что просто не верилось, что где-то свирепствует война, умирают люди, горят города...

Наконец мы выбрались на простор Волги. Впереди, на крутом берегу, возник знакомый город — Горький. На пристани бегали люди. Одни спешили занять места на палубах, другие грузили какие-то ящики, скорей всего — снаряды или оружие. На большой белый пароход солдаты несли на носилках с берега раненых; пахло лекарствами. Пароходы и суденышки пронзительно гудели, тягачи с трудом тащили вверх по течению огромные черные баржи. Движение было оживленным, совсем как в мирное время, а может быть, даже оживленнее..

Наш пароходик дальше не шел, и я устроился на судно побольше, которое называлось «Михаил Шолохов». Я попал на пароход, названный в честь любимого и даже знакомого писателя. Здесь были каюты, буфет, небольшой ресторан, который, правда, все время кормил одной гречневой кашей. В буфете — большие запасы минеральной воды; из каких-то тайников буфетчик извлек для меня бутылку цинандали. Я хотел повезти ее дальше, но она занимала место, да и легко было разбить, поэтому я медленно, смакуя, выпил вино (угостил еще и татарочку). Это была все та же тихая, ласковая женщина, которую я видел еще в Москве, учительница из-под Казани. Она приезжала проведать в госпитале брата, который, едва успев с ней увидеться, умер после тяжелой операции. Татарка вытирала красивые темные глаза, изредка тяжело вздыхала... Когда я предложил ей вина, она сперва отнекивалась, но потом отпила полстакана, объяснив при этом, что татарские женщины вообще не пьют ни вина, ни других алкогольных напитков. Определенную роль в этом играет религия — татары, как известно, мусульмане, даже многие неверующие придерживаются

старых обычаев. Для нее было большой новостью, когда я сказал, что в Литве тоже можно найти татар — их предков пригласил к себе князь Витаутас, собираясь воевать с крестоносцами в Грюнвальдской битве 1410 года.

— У людей так много общего, хотя их и разделяют язык, обычаи... Только немцы...

Она не кончила фразу, и я снова заметил на ее глазах слезы.

Я впервые видел незамерзшую Волгу. Огромная река казалась тихой и спокойной, но она несла исполинскую массу воды. Наш пароход плыл посредине реки, и с обеих сторон открывались восхитительные картины. Я сидел на палубе и целыми часами смотрел на плоские и крутые берега, на белеющие вдали городки...

И здесь на лугах мы видели пасущихся коров, и тут возвышались церкви, живописной точкой возникающие на зеленом пейзаже, привлекая взор сверкающими луковками, белыми и желтоватыми стенами, колокольнями...

Времени было хоть отбавляй, и я размышлял о жизни, снова вспоминал Литву и своих. Мучительная, незаживающая рана. Вернусь ли я туда? Увижу ли родную землю, которая родила меня и взрастила? Услышу ли смех оставленного сына, увижу ли улыбку Элизы, все то, что вижу и слышу только в тревожных снах?

Поутру, проснувшись в крохотной каюте, я слышал за окном журчанье воды, видел расходящийся туман, и в сердце рождались печальные, тоскливые слова:

Слышно в каюте, как дышит огромная Волга,
Звезды погасли над нами — одна за другой.
Ветер притих на рассвете, усталый и волглый,
Слышится, ранняя птица кричит за рекой.

Гость из далеких краев на реке этой светлой,
Долго смотрю я на волжской волны синеву.
Как стосковался по Родине я и по ветру, —
Хочется мне, чтоб летел этот ветер в Литву...

Пусть он услышит загубленных братьев стенанья...
Так далеки до родимой Литвы расстоянья!
В голосе чайки мне слышится отзвук мольбы.

Всюду туманов развешены сизые сети.
Волга! Ты морем широким встаешь на рассвете —
Песня народа и образ народной борьбы [1].

---

[1] Перевод Л. Озерова.

Выходя на палубу, я каждый раз видел, что татарка сидит и смотрит вдаль. Частенько перед ней стоял подвыпивший парень и пытался заговорить. Потом поделился со мной, что страшно влюбился в эту татарочку, и спрашивал:

— Как по-вашему, можно признаться ей в любви?

Парень с виду был нахальный, без одного зуба, веснушчатый. На следующее утро он снова подошел ко мне и сказал, что получил отказ и поэтому запил. А девушка вечером сошла с парохода на крохотной пристани, скромно кивнув мне, своему случайному знакомому.

К Казани мы подошли утром. Я радовался, что попал в город, о котором много знал из книг. Здесь когда-то учились Ленин и Лев Толстой. И не только они. Здесь прошел жизненные университеты Максим Горький — я сам переводил знаменитую его книгу «Мои университеты», действие которой большей частью происходит в Казани. Я даже обнаружил мемориальную доску — тут когда-то находилась пекарня, в которой работал будущий писатель... А наши братья Юшкявичюсы, Антанас и Йонас *, тоже жили когда-то здесь, и даже их знаменитые сборники песен изданы во время запрета литовской печати не где-нибудь, а в Казани[1]... Город показался мне каким-то запущенным: выщербленные тротуары, давно не крашенные дома. Бросились в глаза кремлевская башня и несколько мечетей. Чувствовалось, что это большой портовый город, куда по водным путям и по железной дороге каждый день прибывают и уезжают сотни, а то и тысячи людей... Наверное, потому, что не Казань меня сейчас заботила, не ее архитектура и история, я мало интересовался городом, в который попал впервые...

Расхаживая по базару, я увидел вчерашнего влюбленного. Глаз подбит, рука на перевязи. Узнав меня, пожаловался, что вот напился из-за несчастной любви и повздорил с какими-то «хулиганами». У каждого были свои беды...

Место я получил в гостинице в одной комнате с пожилым человеком, который представился ленинградцем. Он

---

[1] После польско-литовского восстания 1863 года царское правительство на сорок лет (1864—1904) запретило литовскую печать на латинском алфавите. На территории России за это время латиницей было издано всего несколько литовских книг, в том числе сборник народных песен братьев Юшкявичюсов.

был похож на артиста или конферансье. Плешивый, с выразительным бритым лицом, в белоснежной (в такое-то время!) сорочке... Наутро я вышел в город, чтобы разузнать, как добраться до столицы Удмуртской Автономной Республики Ижевска. Вернувшись в гостиницу, застал в номере целую толпу красивых и элегантных женщин — «артист» вынимал из чемодана флакончики с духами, а женщины доставали из модных сумочек деньги и платили за покупку. При виде постороннего человека дамочки улетучились. «Артист» проводил их поклонами, каждую величая по имени и отчеству, а мне сказал:

— Хороши, правда? Красивые женщины, изволите знать, это моя слабость...

— Кто они такие? — не выдержав, спросил я.

— Ленинградки, эвакуированные... Несчастные женщины... И я, чем могу, облегчаю их печальную жизнь в этом проклятом городе... А с Севастополем плохо дело, вы слышали? Там, говорят, ничуть не веселее, чем в мае месяце в Керчи и Харькове. Как по-вашему, когда все это кончится?

Я ответил, что никаких сведений у меня, увы, нет. Знаю лишь то, что и все, кто читает газеты и слушает радио... По выражению его лица было видно, что он во мне разочаровался, — он полагал, что я, как житель Прибалтики, обо всем прекрасно информирован...

Из Казани дальше я уехал на поезде. Фронт далеко, поэтому и поезда ходили нормально, в вагоне у меня было сидячее место. Никто здесь не боялся налетов немецкой авиации, люди казались веселее, хотя и здесь разговор шел о войне, о мужьях, ушедших на фронт и не присылающих писем, об отоваривании карточек и прочих невеселых буднях. Я смотрел из окна поезда, и чем дальше, тем сильнее меня охватывали удивление, вера и даже радость. На каждом километре, всюду, по обеим сторонам железной дороги, в лесах и перелесках, виднелись военные лагеря — недавно выстроенные бараки, палатки, целые городки. Всюду идет учебная стрельба, маневры. С аэродромов поднимаются и снова садятся самолеты. Кое-где было видно, как они стреляют по специальным мишеням. Под брезентом стояли новые грузовики, торчали дула зенитных орудий. И такое множество всей этой техники!

Под вечер я оказался в Ижевске, в предгорьях Урала. Я смотрел на город с удивлением и гордостью. Десять лет назад это было еще большое село. Теперь в центре стоят высокие, шестиэтажные дома, улицы и площади асфальтированы, хотя поодаль от центра еще тянутся километрами деревянные домишки, одни красивые, с резными наличниками, другие ветхие. Здесь старое сражалось с новым, и видна была воочию победа нового...

Гуляя по улицам города или отдыхая на скамеечке в парке, я все время слышал сильную орудийную пальбу. Изредка неподалеку трещали пулеметы. В городе находились оружейные заводы, их продукция сразу же испытывалась. Эти звуки войны не только не пугали, но, напротив, успокаивали...

Я получил ночлег в сравнительно приличной новой гостинице. Обстановка, правда, случайная: железные койки, вместо стульев табуретки. Но все это неважно — можно было выспаться на чистом белье и отдохнуть. На других койках уже лежали два соседа. Один жаловался, что у него в парке вытащили деньги и документы. Человек (он назвался инженером мотоциклетного завода) поносил воров страшными словами: их, мол, надо расстреливать наравне со шпионами и диверсантами. Но тут в комнату постучалась горничная гостиницы, молодая девушка с красными щечками и голубыми глазами, и принесла бумажник инженера. В нем все было на месте, рассеянный инженер сам оставил бумажник в столовой гостиницы...

У второго жильца не было кисти левой руки. Он представился работником детдома. Рассказал, как в Мурманске их начали бомбить, как он усадил детишек в поезд и довез до Ижевска. Теперь сдал здесь детей и собирается возвращаться домой.

— А если немцы займут Мурманск? — спросил я.

— Не займут, — уверенно ответил он. — А бомб я не боюсь. Все-таки свой город. Там родился, там вырос...

Больно было смотреть, как этот человек здоровой рукой вынул из кармана папироску и кресало, самое обыкновенное, каким люди пользовались в древности. По-видимому, он привык им пользоваться, потому что, несколько раз ударив по кремню, быстро прикурил свою папироску. Со смаком выпустив дым из носа, он продолжал:

— А ведь настанет время, когда мы построим ком-

мунизм... Я его себе представляю так: ешь, кури и пей, сколько душе угодно, — всего вдоволь...

— Примитивно рассуждаете, — прервал его инженер. — Построение коммунизма — не только увеличение производства продуктов... Если бы не война, то и теперь все бы ели, пили и курили, как вы говорите... Вы забываете о духовных потребностях человека...

— Духовных так духовных, — ответил северянин. — Духовные своим чередом...

И они продолжали беседовать, а я смотрел из окна гостиницы и все не мог понять, что же происходит. Вдруг я едва не вскочил от удивления — ведь на улице горят фонари, совсем как в мирное время! Окна большого нового дома напротив открыты, и там в электрическом свете видны люди — одни едят, другие мирно разговаривают, словно и нет войны... Это казалось таким странным и непривычным, что я выбежал на улицу и долго бродил, все не мог налюбоваться картиной освещенного ночного города...

Я находился в столице Удмуртской Автономной Республики, в городе со 180-тысячным населением, в одном из старейших металлургических центров Приуралья. Вспомнилось, что в эти места когда-то сослали видного писателя Владимира Короленко и что он защищал от преследования царизма удмуртов, которых тогда называли вотяками. Это нашумевшее Мултанское дело, по которому удмуртов обвиняли в том, что они приносят в жертву богам живых людей. Главным защитником обвиняемых по этому делу был как раз Короленко. Современный удмуртский писатель Андрей Бутолин рассказал мне, что его отсталый в царское время край за советские годы создал значительную промышленность, поднял свою культуру. У удмуртов — далеких родственников финнов и эстонцев — есть своя небольшая литература. Бутолин подарил мне на память даже свою книгу...

На следующее утро я отправился в Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР, который находился тут же, в центре. Мне надо было выяснить, как добраться до городка Дебесы, где находился детдом, в котором жили дети, эвакуированные из Литвы. Я для того и приехал сюда, чтобы на месте убедиться в том, как живут наши дети, и помочь им — прежде всего питанием. В Наркомате просвещения я познакомился с симпатичной женщиной

средних лет, которая оказалась наркомом Еленой Никифоровой. На другой день мы на грузовике, полном людей, выехали вместе с ней в Дебесы.

Ехать было нелегко. Шоферы-мужчины находились на фронте, и старый, не годный для войны грузовик вела женщина. Десятки раз машина останавливалась — то выходил из строя мотор, то грузовик увязал в грязи. Заляпанная с головы до ног грязью, женщина-шофер забиралась под машину и что-то чинила там. Через полчаса, а то и через целый час грузовик снова трогался с места и вскоре опять увязал посреди дороги. Не раз мы, пассажиры, выскочив из кузова, выталкивали общими силами грузовик из ямы. Изредка мы останавливались передохнуть в удмуртских деревнях, чистых и аккуратных, где вдоль дороги стояли просторные деревянные дома. Вокруг простирались поля и леса — высокие ели и сосны, провозвестницы недалекой сибирской тайги...

Наконец-то мы добрались до Дебес, опрятного и живописного городка. Здесь тоже все было по-летнему зеленым. Детдом обосновался в просторном деревянном здании.

Когда началась война, дети были у самой германской границы. Они взяли с собой очень мало — одеяльце, пальто, любимые книжки. Покидая Друскининкай, они видели, что немцы уже переправляются через Неман. Они бежали под обстрелом вражеских самолетов. Поезд шел через горящий Вильнюс, через разрушенную Науёйи-Вильню. Десятки раз останавливался, когда появлялись самолеты. Десятки раз дети прятались в лесу. Они видели объятый пламенем Минск. Столкнулись с войной лицом к лицу, увидели звериное лицо фашизма...

Их приютила братская республика, о которой раньше они ничего не знали, приняла их как своих детей. Кругом леса, леса, леса. Зеленые холмы, как в Жемайтии или в Вильнюсском крае. В глубоких долинах текут спокойные удмуртские реки. В лесах поют птицы и цветут необозримые поляны земляники.

В Дебесах, где в царское время была одна-единственная русская начальная школа, теперь действовали две средние школы и педучилище с удмуртским языком преподавания. В районной библиотеке — 13 тысяч томов книг. Новая, красивая больница... У детдома сосны — удмуртские, не такие, как в Литве.

Дети с радостью показывали мне свое жилье. Маленькие кроватки, чистые и уютные, как в доме любящей матери. Пионерская комната, просторная и светлая. На стенах рисунки, фотографии — Каунас, заводы, литовские поля, школы, люди. Фотографии дети успели прихватить с собой. Вот столовая. Дети каждый день получают молоко, мясо, овощи. Следы изнурительного путешествия изгладились с их лиц. Все бодрые, веселые. Лишь вспомнив родных, отчизну, грустнеют, задумываются. Но не плачут. И этих маленьких человечков закалила война.

— Ведь правда, что мы скоро вернемся в Литву?

Вот вопрос, который я слышу со всех сторон.

— Я уже буду большая, когда вернусь, — мечтает маленькая Гените. — Я здесь буду хорошо учиться, еще и в Литве поучусь, а потом стану учительницей.

— А я пойду на фронт, — говорит третьеклассник Стасюкас.

Учатся они неплохо. Хотя трудно с литовскими книгами — мало их успели взять с собой, — учебный год все закончили хорошо. Многие даже отлично. Их хвалил районо, о них слышали и в Наркомате просвещения Удмуртии.

Вечером дети пригласили меня в зал, украшенный бюстами писателей и портретами вождей. Здесь была и сцена. Крохотные девчушки танцевали литовские танцы, пели песни о зеленой руте [1], о кукушке, которая жалобно кукует, о сиротке. Старшие разыгрывали сценки на военные темы. Гитлеровский солдат, стоящий навытяжку перед своим офицером, жестоким, тупым, говорил, что теперь у него полтетки — так исхудала его тетя за войну... Зал хохотал. Ученик Валяускас читал свои стихи — о Литве, о родном Каунасе, о партизанской борьбе в литовских лесах, о Парижской Коммуне. Девчушки снова танцевали суктинис [2], потом пели удмуртские песни и танцевали удмуртские танцы. Дети уважали и любили край, который приютил их; некоторые уже говорили по-удмуртски.

В детдоме царил настоящий советский интернационализм. Все отлично ладили друг с другом. Интересовались тем, что происходит на фронте. Знали, что кровавый

---

[1] Рута — цветок, символ невинности в народных песнях.
[2] Суктинис — литовский народный танец.

Гитлер погибнет и их порабощенная родина станет свободной. Все интересовались жизнью других эвакуированных литовцев, а в особенности литовскими соединениями Красной Армии. Переписывались с учениками других школ, с которыми познакомились в годы войны, со своими друзьями, живущими в Горьковской, Кировской областях, в Мордовии.

Я видел: дети, которых вывезли из Литвы совсем еще малышами, вернутся назад молодыми энергичными патриотами, закаленными в военные годы. Они станут достойными помощниками старших и так будут нужны потом. Они вернутся в родной край, чтобы жить свободно, трудиться на благо Литвы. И хотелось сказать спасибо братской республике, доброй Удмуртии, за эту бескорыстную помощь.

(Дебесский детдом дал нам после войны многих деятелей культуры, народного хозяйства. Здесь росли актриса Мария Растейкайте, журналист Витаутас Минётас, историк Миколас Бурокявичюс и другие.)

В Дебесах я ходил в военкомат, упрашивал не мобилизовывать директора детдома Стасиса Свидерскиса * — ведь он лично привез детей из Литвы, и они были очень к нему привязаны. Трудно было заменить сейчас Свидерскиса другим педагогом. Руководить детдомом в военных условиях не так просто, не каждый мог справиться с этой задачей. (Позднее здесь стал работать директором профессор Йонас Крищюнас, учителями — поэтесса Валерия Вальсюнене *, Изабеле Лаукайтите, Эугения Тауткайте * и другие). Вместе с наркомом просвещения я ходил и по другим местным учреждениям, от которых зависело снабжение детдома продуктами, топливом и одеждой. Всюду я встретил сочувствие, искреннее желание помочь... Это волновало меня.

Волновала и чуткость наркома просвещения Никифоровой. Она заботилась о детях нашей республики, как родная мать...

Находясь в Дебесах, мы узнали о только что подписанном соглашении между Великобританией и Советским Союзом. Я помню, только об этом мы и говорили — между собой и с детьми, — верили, что в 1942 году будет открыт второй фронт в Западной Европе и все мы, без всякого сомнения, еще в этом году окажемся среди своих, в Литве!

По-видимому, так казалось всем, потому что жители Дебес и Ижевска тоже поздравляли друг друга по случаю подписания договора...

В Ижевск мы вернулись на грузовике, почти таком же, на каком приехали сюда. Правда, этот портился еще чаще. Ночью мы грелись у костров, слушали шорох невидимых обитателей леса. Я смотрел на звезды, безмятежно сверкающие в небе, далекие и заплаканные звезды, и думал о Литве и родных, которые вдруг оказались гораздо ближе, чем за все время войны...

Приехав в Ижевск, я нашел телеграмму нашего Совета Народных Комиссаров, который сообщал, что 18 июня в Москве начинается сессия Верховного Совета СССР, первая в военное время. Я понял, что на сессию уже опоздал, и не торопясь вернулся поездом через Казань в Москву. В поезде люди тоже казались веселее...

САЛОМЕЯ И ПЯТРАС В МОСКВЕ

И в Москве стало веселей. В Постпредстве люди ожили — всем казалось, что близок конец войны. Никому не верилось, что в этом году наша страна снова окажется в смертельной опасности, что ей придется пережить величайшие испытания, что она похоронит сотни тысяч, а может и миллионы своих детей...

Нас ошеломила весть о судьбе Севастополя. Этот город-герой со славными военными традициями очень долго держался против немцев — примерно девять месяцев. В конце июля пали Новочеркасск и Ростов. Немцы устремились в плодородную Кубань и на Кавказ — поближе к нефтяным промыслам... Во второй половине августа уже были заняты кавказские курорты — Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. 23 августа немцы дошли до Волги севернее Сталинграда, а Гитлер отдал приказ взять этот легендарный город, освященный еще ореолом гражданской войны, до 25 августа... Началось одно из величайших сражений второй мировой войны — Сталинградская битва. Она длилась несколько месяцев на подступах к городу и в самом городе. Оружие всех видов участвовало в этой битве, которая своей яростностью, плотностью огня и жертвами походила на Верден первой мировой войны, но была наверняка еще более страшной и роковой... С обеих сторон сражались огромные армии, и никто не

знал исхода этой битвы. . . Ежедневно мы слушали сводки по радио и читали газеты. Сообщения с фронтов были откровенными и суровыми; они показывали, что страна снова оказалась в смертельной опасности, не меньшей, чем в прошлом году под Москвой. Доморощенные «стратеги» из рядовых жителей Москвы обсуждали цели немцев и, пожалуй, не без основания, полагали, что немцы, взяв Сталинград, повернут на север и постараются окружить и захватить Москву.

Тон печати этим летом становился все более грозным. Многие газеты перепечатали «Науку ненависти» Михаила Шолохова — о невероятных мучениях советского воина в немецком плену. Невиданное значение получили ежедневные статьи Ильи Эренбурга в московских и тысячах фронтовых газет. «Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя», — писал он в конце июня.

В газетах мы читали памфлеты и рассказы Алексея Толстого, стихи Алексея Суркова и Константина Симонова, которые вонзались в память и раздирали сердце. В театрах шли пьесы Симонова «Парень из нашего города» и «Русские люди». Особенно эта патриотическая пьеса, шедшая в филиале МХАТа, глубоко выражала чувства тех дней — любовь к Родине, ненависть к врагу и необходимость остановить его, не пропустить в глубь страны — на Кавказ, в Баку, в Сталинград... Вряд ли когда-либо за всю историю страны писательское слово было столь мощным, столь волнующим и потрясающим для миллионов людей, как в эти дни, когда над страной нависла страшная опасность.

В армии проводились срочные реформы, чтобы ввести больший порядок и дисциплину, повысить значение командования. Изменились даже мундиры — для офицеров и солдат в разгар Сталинградской битвы были введены погоны.

Во МХАТе шла только что написанная пьеса Александра Корнейчука «Фронт», которая разоблачала полководцев с былыми заслугами, не способных руководить в условиях современной войны. Пьеса, несомненно, сделала свое дело, помогая командованию перестроить действия армий и дивизий, выдвинуть новых, способных людей.

Вернувшись из Удмуртии в Москву, я несказанно обрадовался, встретив в гостинице «Москва» Саломею

Нерис. Ее только что вызвали из Уфы на сессию Верховного Совета.

(В письме жене от 17 июня Пятрас Цвирка писал о встрече с Саломеей, первой с самого начала войны: «...отправился из гостиницы в Постпредство, чтоб позавтракать, а там застал Палецкиса, который вернулся из Куйбышева, и Саломею Нерис с ее сыночком. Расцеловались мы с Саломеей. Она мне и говорит: «Пятрас, как ты изменился!» А Корсакас, который был при этом, спрашивает: «Ну как же он изменился? Тот же нос, та же густая шевелюра». Саломея отвечает: «Пятрас возмужал. И стал значительно интереснее, красивый мужчина!»)

Я тоже получил номер в гостинице «Москва». С Саломеей мы встречались почти каждый день, пили друг у друга чай, разговаривали о ходе войны, о Литве, о поэзии. Сын Саломеи Баландис играл, лепил из пластилина разные фигурки птиц и зверей. Нерис читала мне свои стихи, написанные прошлой зимой в Уфе. В них глубоко отражались тоска по родному краю, невозможность привыкнуть к башкирскому зимнему пейзажу, тяжелое чувство одиночества без друзей.

— Если б ты знал, как я рвалась в Москву, к вам всем, — говорила мне как-то Нерис. — Я там не умела и не знала, как помочь общей борьбе. А тут друзья, радио, газеты... И отсюда совсем недалеко до Литвы...

Страдания оккупированной Литвы каждый день были темой нашего разговора. Нерис очень не любила показывать посторонним свои чувства, но на ее глазах в эти дни часто блестели слезы.

— Опять снился Каунас, Палемонас... — часто говорила она мне. — Если б можно было побыстрее оказаться там...

Нерис в эти дни еще глубже почувствовала, что Литву из-под гитлеровского ярма может освободить только борьба всех советских народов. В ее стихах появляется оптимизм, вера в победу. Она часто выступает по московскому радио и, волнуясь, страдая, говорит, обращаясь к людям родного края, призывая к борьбе за освобождение Советской Литвы, предвещая грядущий день освобождения. Настроение Нерис этого времени хорошо выражает ее стихотворение «Москва», написанное после приезда из Уфы.

В Москве поэтесса просто ожила: она работала много

и вдохновенно. И, хотя не очень любила говорить о своем творчестве, сейчас, когда я заходил к ней, она то и дело открывала свою тетрадь и, глядя на меня смущенным взглядом, говорила:

— Написала... Не знаю, удалось ли...

После долгих уговоров она тихим, робким голосом читала новые стихи.

— Ну как? Не понравилось, да? — Она смотрела на меня выжидающе. — Слова поэта так слабы в грохоте войны...

— Неправда, Саломея. Они очень сильны. Их непременно услышат все, для кого они написаны...

— Правда? Ты так думаешь?

Иногда она просила меня почитать что-нибудь мое, и мне всегда казалось, что мои сочинения поэтесса слишком легко хвалит. Может быть, врожденная кротость не разрешала ей критиковать.

Саломея брала у меня книги. Она снова интересовалась Пушкиным и Маяковским.

— Перечитывая Пушкина, я становлюсь крепче, — говорила она.

Маяковский, поэзию которого она знала еще со времен «Третьего фронта», теперь нравился ей. Как-то я спросил у нее, чем ей близок Маяковский. Подумав, Нерис ответила:

— Он хорошо умел выражать чувства миллионов. Сейчас это очень важно для поэта.

Нерис в те дни все сильнее волновала борьба наших партизан, о которых мы стали получать больше сведений. Поэтессу интересовали и воины Литовской дивизии, все еще находившейся на берегах Волги — в Балахне и Правдинске. Вместе с воинами там постоянно жили Марцинкявичюс и Гира, добровольцами вступившие в дивизию; изредка туда наезжали Корсакас, Шимкус, Балтушис, Цвирка и я. Но Нерис при всем своем желании не могла посетить наших воинов: ей не с кем было оставить ребенка. Подходящий случай ей представился только осенью 1942 года, в сентябре, когда литовское соединение прибыло в окрестности недавно освобожденной Ясной Поляны.

Я снова часто встречался с Пятрасом Цвиркой. Временами мы жили в одном номере гостиницы «Москва». Я чувствовал, как его мучает тоска по Литве; он говорил,

как хотел бы оказаться в своей деревне, среди простых людей.

— Мне трудно писать, — говорил он, — когда не слышу вокруг живой литовской речи. Я должен потолковать с нашими деревенскими женщинами, увидеть слезы наших людей и услышать их смех... Я должен почувствовать запах наших полей, дыхание родной земли.

Но Пятрас умел справляться со своей тоской, он много работал. В конце мая по радио передавался антифашистский митинг, обращенный к жителям оккупированной Литвы (подобные митинги тогда проводили различные нации и организации), на котором Пятрас выступал вместе с Палецкисом, Феликсасом Беляускасом, Эдуардасом Межелайтисом и другими. Он много писал для «Тиесы», а потом и для «Тарибу Лиетува», которая с конца ноября 1942 года снова начала выходить в Москве. Частенько он выступал и по московскому радио. Немало статей, очерков и рассказов Пятраса, как и других наших писателей, публиковала прогрессивная литовская печать Америки. Всех очень порадовал сборник его сказок «Серебряная пуля». Некоторые из этих сказок, написанных с сочным юмором, характерным для Пятраса, я впервые услышал от него в подвале одного дома по улице Воровского, где мы укрывались от налета немецкой авиации...

В те дни, когда Пятрас жил в Постпредстве, а я в гостинице «Москва», он тоже частенько заходил ко мне. Иногда мы сидели с ним и мечтали о том, что будет после войны (ведь кончится же когда-нибудь война!), бредили Литвой и оставшимися там близкими.

— Фашизм мы разгромим. Это ясно как день, — твердо говорил Пятрас. — Нас нельзя победить уже потому только, что цель нашей борьбы — свобода, что эта цель — справедлива. Наша страна непобедима. Мы вернемся в Литву... Какое счастье!.. Я снова буду среди своих, я снова увижу родную деревню. Может, не будет уже в живых матери, сестер, братьев... Все равно мы поднимем из руин нашу республику, восстановим ее города и села, засеем поля... Иногда я сплю и вижу во сне Неман... И кажется, отдал бы все за счастье снова увидеть его наяву, гулять по его берегам, окунуться в его воды. И Фреда... Я там посадил деревца. Не растоптали ли их фашистские танки?.. И что поделывают, если живы, наши дети?

28 июня 1942 года, через год после начала войны, рано утром кто-то позвонил ко мне в гостиницу и сообщил, что ночью трагически погиб виднейший белорусский поэт Янка Купала. Он жил здесь же, на четвертом этаже. Несколько раз за последние дни я встречал поэта в вестибюле гостиницы, и он казался спокойным, сосредоточенным, в лучшем настроении, чем в начале войны. Он говорил о белорусских писателях, большинство из которых находились на фронте, но часто приезжали в Москву, чтоб повидаться с ним, своим старшим товарищем. Он делился своими мыслями о ходе войны и говорил о нашей грядущей победе, возвращении в Минск и в Вильнюс. Поначалу трудно было поверить в эту внезапную смерть, но оказалось, что это, увы, правда. Поэт случайно упал с десятого этажа в лестничную клетку, — он шел от писателя Михася Лынькова.

В последний раз мы увидели Янку Купалу на панихиде в Союзе писателей. В гробу лежал поэт, великий сын белорусского народа, так и не дождавшийся освобождения родной республики и восстановления Минска. Московские и белорусские писатели прощались с поэтом. Стоя рядом с гробом, от имени литовского и других прибалтийских народов сказал последнее, прощальное слово Пятрас Цвирка... Потом мы с ним вспоминали свою первую поездку в советский Минск, встречу с белорусскими писателями, вечер в домике Янки Купалы, который, как мы узнали впоследствии, со всем имуществом писателя, с библиотекой, рукописями сожгли гитлеровцы в самом начале войны.

Пятрас все время горевал, что его жена Мария осталась в далекой Алма-Ате. Там она чувствовала себя одинокой, разлученной со всеми. Но пока друзья не советовали переселять ее в Москву. В Москве избегали сосредоточивать много литовцев — приходилось заботиться об их расквартировании, работе, питании, и, с другой стороны, все еще можно было ожидать налетов гитлеровских стервятников. В начале июля Пятрас уехал в Алма-Ату, а в середине сентября снова оказался в Москве. В октябре он писал отсюда жене: «Я живу в гостинице на десятом этаже. На седьмом этаже живет Антанас, и Саломея тоже. В гостинице много моих друзей... Микола Бажан, Бровка, Танк, Лыньков, а сегодня встретил композитора Шостаковича. Вечером пойду к нему. В Москве жизнь

спокойная, как и раньше, хотя с питанием не так хорошо, как в Алма-Ате... На днях закончили создание литовского народного ансамбля. В этом ансамбле будет человек сто сорок. Всех их демобилизовали. Постоянное место работы ансамбля — районный городок Переславль-Залесский, Ярославской области, под боком у Москвы. Ансамбль будет репетировать в помещении клуба, а поселятся артисты в общежитии, в большой школе... При ансамбле будет работать группа наших художников, им заказали комнаты у частных лиц. Там же будут и мастерские художников. Ими будет руководить Вайнейките. Демобилизовали Юркунаса и Жукаса. Они пока в Москве, но все — Вайнейките, Тречёкайте, Жукас, Юркунас — завтра-послезавтра отправятся на место назначения. ЦК партии, в особенности Снечкус, придерживаются такого мнения, что и мы, писатели, т. е. Венцлова, я, Балтушис и Саломея, тоже подключимся к ансамблю. Саломея послезавтра отправляется туда, в Переславль. Антанас пока не хочет ехать, потому что ему неплохо и в Москве, но я думаю, что если и не уеду вместе со всеми, то все равно часто буду ездить в ансамбль. Те, кто там был, говорят, что это древний русский город, который окружает прекрасная природа, живописная, как в Литве. Озеро, березовые рощи, сосняки и т. д. Зимой, разумеется, там неинтересно, но весной будет просто блаженство!»

«Я живу по-прежнему в гостинице, — писал Пятрас жене 18 октября. — Из Балахны приехал Гира, я его принял жить к себе. Послезавтра я, Антанас и Корсакас едем в город Иваново. Там находится офицерская школа нашего воинского соединения — им мы и будем читать свои произведения. Вернусь денька через два. Завтра в прекрасном Зале имени Чайковского (в Москве) состоится объединенный вечер литературы и искусства прибалтийских народов. Будут читать стихи Венцловы, Корсакаса, Гиры, Саломеи и мою повесть (по-русски). Кроме того, будут петь Сташкевичюте и Мариёшюс. От латышей и эстонцев тоже выступают лучшие силы. Вечер откроет А. Фадеев. На Октябрьские праздники я поеду в дивизию вместе с друзьями».

Итак, жизнь Пятраса осенью 1942 года, как и у всех нас, была подвижной, наполненной поездками и другими событиями. И в эти дни он много писал — рассказы, статьи, очерки. В середине ноября вышла из печати

«Серебряная пуля» (на русском языке). Для всех нас это было большой радостью — в книге талант Цвирки засверкал новыми гранями.

Осенью 1942 года до нас стало доходить все больше вестей из оккупированной Литвы. Наши работники организовали постоянное прослушивание передач радио из оккупированной Литвы. Кроме того, хоть и нерегулярно, через фронт мы получали оккупационную печать. И тот и другой источники дополняли наши сведения о порабощенной отчизне. Увы, вести были невеселые. Край разорен; с помощью различных блюдолизов немцы вывозят на работы литовскую молодежь, преследуют и убивают советских людей. «Новостей из Литвы много, и все они ужасающи, — писал Пятрас жене в конце ноября. — Сволочи немцы голодом, эпидемиями истребили сотни людей, в особенности интеллигентов. Сообщают, что в Литве умерли художники: Менчинскас *, Грибас *, Диджёкас *, а также Самуолис *». В другом письме, в начале декабря, Пятрас упоминает еще покойного Эйдукявичюса * (все эти художники были хорошими знакомыми и даже друзьями его и Марии) и пишет: «Гитлеровцам не удалось замарать литовское искусство, так как виднейшие художники Литвы решили лучше молчать, лучше сидеть в концлагерях, чем служить немецким захватчикам. Лишь всякие бездари, собравшись в Каунасе, по приказу немецких жандармов избрали «правление художников».

Тогда мы еще не знали о массовых убийствах, учиненных в начале войны гитлеровцами, в проведении которых отличились буржуазные националисты.

В Москве с Пятрасом мы встретили и Новый год. Потом они с Аугустинасом Грицюсом некоторое время жили в Переславле-Залесском, где, кстати, чуть не угорели в комнате (это происшествие Пятрас потом частенько вспоминал).

В середине марта 1943 года Пятрас снова неожиданно уехал в Алма-Ату, а летом окончательно переселился вместе с женой в Москву и остановился в частной комнате в районе Арбата. Я снова увидел Марию, измученную, тоскующую по дому, сыну, родителям, Верхней Фреде, но счастливую, что она снова вместе со своими друзьями и знакомыми...

Военные переживания, постоянные переезды с места

на место, без сомнения, нанесли большой урон человеку такой натуры, каким был Пятрас. Он часто жаловался на желудок, но, по-видимому, развивалась и сердечная болезнь, которая после войны так безвременно вырвала его из наших рядов...

Иногда Пятрас рассказывал о своих блужданиях и приключениях в самом начале войны. Вспоминая Алма-Ату, он частенько возвращался к новым своим знакомым тех дней, особенно Самуилу Маршаку и Михаилу Зощенко. Зощенко он ценил как прекрасного писателя, юмористические рассказы и повести которого он любил еще до войны, но особенно часто поминал добрым словом Маршака, который в самое трудное время в Алма-Ате помог ему (Маршак после смерти Пятраса не раз вспоминал его и жену с настоящей любовью). Вспоминал Пятрас и Сергея Михалкова, нашего общего знакомого еще со времен поездки 1936 года в Советский Союз (мы познакомились с ним тогда в кабинете директора Гослитиздата Петра Чагина), — в Алма-Ате он подружился с ним.

В Москве Пятрас тесно общался с белорусскими писателями, особенно с Петрусем Бровкой, Михасем Лыньковым и Максимом Танком. Приехав с фронта или из других городов, они часто останавливались в гостинице «Москва». Я тоже не раз встречался с этими замечательными товарищами — искренними, отзывчивыми, всегда готовыми по-дружески помочь... Бровка во время войны тоже, кажется, некоторое время жил в Алма-Ате. Я помню, тогда или позднее даже шутили, что есть три знаменитых писателя — Петрусь Бровка, Петрусь Глебка и Петрусь Цвирка.

С писателями братских народов завязывались все новые знакомства.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Москва и в военные годы оставалась основным центром культуры. Как только миновала непосредственная опасность для города, стали возвращаться писатели, художники, композиторы; снова играли пьесы в театрах. Но даже во время самой большой опасности многие деятели культуры оставались в Москве. После бомбежек мы слышали — у одного разрушена квартира, и в ней погибла уникальная библиотека, собранная за долгие годы;

в квартиру другого залетел осколок бомбы и, перед тем как вонзиться в стену, пробил платяной шкаф и испортил весь гардероб хозяина... Но все это потускнело перед радостью, что снова можно жить в любимом городе...

Став членами Союза советских писателей, мы получили право посещать различные мероприятия Союза — дискуссии, обсуждения, литературные вечера, встречи с писателями, на длительный или короткий срок прибывшими с фронта. И не только посещать, но и активно участвовать. Конечно, мы были новыми людьми, мало кого знали, не всегда понимали местные нравы, но все-таки мы включились в жизнь и деятельность московских и временно проживающих в Москве писателей.

Кажется, еще перед эвакуацией из Москвы, в первые месяцы войны, я пришел в Дом литераторов, где о своих впечатлениях о военном Париже рассказывал Илья Эренбург. Слушателей было не много. Эренбург сидел в углу за столиком, перед ним была чашка кофе. Рассказывал он без артистических жестов, не повышая голоса, — видимо, хотел чувствовать себя в обществе близких друзей, где можно держаться непринужденно. Он говорил о предательстве правящих кругов, о трагедии Франции, о вероломстве гитлеровцев, захвативших Париж, о всеобщем моральном бойкоте оккупантов, о своих знакомых французских писателях — Арагоне, Элюаре, Мальро и других, о их позициях перед войной и в начале оккупации. Слушать Эренбурга — большое наслаждение, — его речь проста, но полна парадоксов, острых замечаний, интересных сопоставлений. Я подумал: если бы записать его речь, ее можно печатать без поправок. Фразы были точь-в-точь такие, какими Эренбург писал свои многочисленные статьи и репортажи.

Несколько раз я видел здесь Алексея Толстого, с которым познакомился еще летом 1940 года. Особенно запомнилось творческое совещание на тему «Отечественная война и художественно-историческая литература наших дней». Встречу открыл академик Тарле, книгу которого «Наполеон» мы тогда читали с невиданным интересом. Алексей Толстой вел вечер. Он сидел за столом, крупный и мрачноватый. Начиная совещание, выступил с коротким, но содержательным вступительным словом, в котором каждая фраза была на месте и блистала талантом большого мастера. Потом он предоставил слово первому

оратору, а сам закрыл глаза и не открывал их до тех пор, пока тот не кончил. Потом встал, назвал следующего оратора, снова прикрыл веки, и так до конца прений, которые длились часа два, не меньше. И что удивительно — после того, как был исчерпан список ораторов, Толстой поднялся и как ни в чем не бывало подвел итог совещания. Раньше писатели в зале перемигивались, подталкивая друг друга, указывая на Алексея Толстого. Теперь они с удивлением слушали, как он, казалось, продремавший все собрание, говорит именно то, что нужно...

Настоящей сенсацией был литературный вечер поэта Бориса Пастернака в конце 1942 года. На вечер собралось столько публики, что уже перед его началом трудно было проникнуть в клуб. Что вызывало подобный интерес? Многие москвичи, в том числе и писатели, считали Пастернака, наряду с Маяковским, крупнейшим русским поэтом, хотя в последние годы он мало печатался и о нем редко упоминалось в печати. Пастернак, кроме всего прочего, славился своеобразным общественным поведением, которое некоторые называли аполитичным: он был очень редким гостем на встречах, вечерах, писательских дискуссиях. В свое время я уже познакомился с поэтом, и сейчас снова увидел его характерное продолговатое лицо с огромными, спокойными, чуть удивленными глазами, которые, казалось, глядели в себя, а не на внешний мир. Аудитория встретила поэта аплодисментами, которые долго не смолкали. Когда он начал читать, все сидели молча, стараясь не пропустить ни единого звука, ни единого движения поэта. Читал Пастернак очень просто, почти не прибегая к артистическим жестам. Кажется, это были в основном стихи из будущего сборника «На ранних поездах», а также кое-что о Кавказе и о войне. Все аплодировали поэту, а он все читал и читал, не меняя интонации глуховатого голоса, читал ярко и впечатляюще.

Во время перерыва кто-то рассказал анекдот о легендарной рассеянности Пастернака. По какому-то случаю в Союзе писателей находился знаменитый Андрей Вышинский. Пастернак обратился к нему с каким-то вопросом о своих продуктовых карточках. Вышинский с удивлением пожал плечами и ответил:

— Знаете что, Борис Леонидович, о ваших карточках я не имею ни малейшего понятия...

Оказывается, Пастернак принял Вышинского... за сотрудника Союза писателей, распределяющего карточки.

В Союзе писателей я не раз видел его руководителя (генерального секретаря) Александра Фадеева. Писатель, знаменитую повесть которого «Разгром» и другие произведения мы читали еще до войны, с первых же встреч произвел благоприятное впечатление. Высокий, худощавый, рано поседевший, он говорил просто и откровенно, глядя на собеседника или в зал озорными, умными глазами. Он часто оглушительно хохотал, и его смех звучал как смех душевного и обаятельного человека. Фадеев, кстати, таким и был. Среди писателей очень редко услышишь о нем нелестный отзыв — его уважали не только сверстники, но и более пожилые литераторы. Я удивился, когда, встретившись со мной по какому-то делу во второй или третий раз, он по русскому обычаю обратился ко мне по имени и отчеству, произнося все совершенно правильно и свободно. Это внимание к человеку всегда поражало меня во время дальнейших встреч с Фадеевым (а в более поздние годы с ним приходилось встречаться часто и даже работать рядом в Секретариате Союза писателей). Таким же внимательным Фадеев оставался и в своих частных отношениях с людьми. Он никогда ни о чем не забывал, в каждой мелочи старался оставаться точным, внимательным, веселым.

Да, он любил шутку, смех, юмор. Очень редко можно было увидеть его мрачным, усталым, сердитым, хотя для этого в военное время и позднее было сколько угодно поводов. Какое-то внутреннее тепло влекло к этому человеку, и всегда с ним сразу ты чувствовал себя непринужденным, как с равным себе и близким другом. Я ближе познакомился с ним, работая в Комитете по Сталинским премиям, в Советском Комитете Защиты Мира, во время совместных поездок за границу. Об этом, возможно, я подробнее напишу позже.

Довольно часто мы обедали в Доме литераторов, и каждый день видели там знакомые лица. Здесь бывал Александр Твардовский, носивший военную форму, тогда один из самых популярных поэтов, прославившийся поэмой «Василий Теркин». Это был еще молодой человек, голубоглазый, любящий дружеские встречи, песни. Изредка появлялся Алексей Сурков, тоже в офицерских погонах, нервный, упрямый, нередко хлестко язвивший

тех, кого не любил. Здесь мы встречали выдающегося латышского поэта Яниса Судрабкална, очень чувствительного и стеснительного, умного и обаятельного человека. Так как латышское представительство было разбомблено еще летом 1941 года, то Судрабкалн с другими латышскими поэтами и писателями — Валдисом Луксом, Фрицем Рокпелнисом, Юлием Ванагом — некоторое время жил на улице Воровского, на первом этаже нашего Постпредства. Обедали в клубе и белорусские писатели — Петрусь Бровка, Аркадий Кулешов, Максим Танк. Из украинцев здесь бывал Микола Бажан, изредка Максим Рыльский. Мы встречали и эстонцев — Иоханнеса Семпера, реже Иоханнеса Барбаруса и других. Редкими гостями были только кавказские и среднеазиатские писатели.

Здесь завязывалось знакомство и с теми людьми, с которыми позднее немало лет пришлось тесно сотрудничать.

Приезжая из Литовской дивизии, я часто встречал в Доме литераторов смуглую стройную женщину, которой представили меня как литовского поэта. Женщина оказалась очень разговорчивой, подвижной и уже в первый день знакомства знала, во всяком случае в общих чертах, мою биографию и военные переживания. Ее очень взволновал рассказ о моей эвакуации из Литвы. Она попросила меня показать свои стихи, я читал и переводил их на русский. Женщина сразу обратила внимание на стихотворение «Отчизна», которое я недавно написал в Балахне, тоскуя по покинутой Литве и близким.

Это была хорошо известная в Москве поэтесса и переводчица Сусанна Мар-Аксенова, по происхождению армянка. Когда-то она входила в группу «ничевоков» и писала ультрасовременные стихи, а потом прославилась отличными переводами английских поэтов (Киплинга, Йитса).

Я уже читал ее переводы с армянского, кажется Ашота Граши, книга которого «Весна в Карабахе», с предисловием Аветика Исаакяна, тогда заинтересовала меня. Позднее я подружился с этим замечательным поэтом; с Граши нас познакомила тоже Сусанна Мар.

Она попросила дать ей подстрочники нескольких моих стихотворений — собиралась кое-что перевести. Прошло немного времени, и, раскрыв номер от 16 мая газеты

«Литература и искусство», которая выходила тогда вместо «Литературной газеты» и «Советского искусства», я с удивлением и радостью увидел знакомые и такие новые слова:

Моя Родина — Немана синие волны...

С Сусанной Мар встречался и Корсакас. Когда в Москву вернулась Саломея Нерис, она тоже быстро сошлась с Сусанной Мар. Правда, мы с Корсакасом еще раньше рассказывали новой знакомой о виднейшей нашей поэтессе. Дочери географически далеких народов познакомились в Москве, быстро подружились, и Сусанна Мар во время войны стала одной из первых переводчиц поэзии Нерис. У меня на столе сейчас лежит первый коллективный сборник литовских поэтов «Живая Литва», в котором опубликованы стихи Нерис, Гиры, Корсакаса, Шимкуса, Межелайтиса и мои. Немало из них перевела Сусанна Мар.

Саломея до самой смерти близко дружила с Сусанной Мар, часто встречалась, они ездили друг к другу в гости, переписывались.

Круг переводчиков литовской поэзии все расширялся. Наши стихи еще в военные годы начали переводить опытные поэты М. Зенкевич, В. Казин, Д. Кедрин, А. Глоба, К. Арсенева, А. Кочетков, А. Ойслендер, О. Румер и другие. Позднее подключились такие видные поэты и переводчики, как А. Ахматова, С. Маршак, П. Антокольский, М. Лозинский, И. Сельвинский, П. Шубин, Л. Мартынов, М. Петровых, Д. Бродский, В. Державин, Л. Озеров, Л. Пеньковский, С. Кирсанов... Но и тогда и целый ряд лет после войны Сусанна Мар оставалась одним из самых продуктивных переводчиков литовской поэзии.

Еще в войну она начала изучать литовский язык. Когда мы гуляли по вечерам в тихих московских переулках где-нибудь в районе Тверского бульвара, Сусанна спрашивала:

— Как сказать по-литовски: «Эта спокойная улица»?

— Šita rami gatvé, — отвечал я, и она десятки раз повторяла эти слова, любуясь их необыкновенным, как ей казалось, звучанием.

Kur béga Šešupé, kur Nemunas teka,
Ten musų tévyné graži Lietuva, —

декламировала Сусанна Мар, каждый раз находя в стихах Майрониса все новое очарование и пытаясь заставить заговорить по-русски строфы поэта.

Чем больше углублялась Сусанна Мар в литовскую поэзию, тем больше она любила ее. Ее интересовали особенно те поэты, которых она лично узнала в Москве, — Гира, Корсакас, Межелайтис, — хотя она знала и менее известных наших писателей. Как сестру, она полюбила Саломею Нерис и не раз говорила о ней как о великой советской поэтессе. Свою любовь к ней дочь Армении доказала, написав замечательные страницы воспоминаний о Саломее Нерис, опубликованные после войны в книге «Встреча с Литвой».

(После войны Сусанна Мар не раз бывала в Вильнюсе и Каунасе, продолжая углублять свое знание литовского языка, любуясь пейзажем края, который раньше она знала только по рассказам литовских поэтов, стараясь глубже понять историю нашего народа, радуясь новым его победам. Может быть, любовь к Литве помогла ей перевести на русский язык и «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. Сусанна Мар в Москве охотно участвовала в различных литературных вечерах литовских поэтов, которые проводились во время декад и по другим случаям. Кажется, в последний раз вместе с литовцами в Москве в зале Союза писателей она участвовала в вечере, посвященном 60-летию своей подруги Саломеи Нерис в 1964 году, где выступила с воспоминаниями.

Наша дружба продолжалась до смерти Сусанны Мар. В последнее время, вернувшись к прозе, я меньше сталкивался с Сусанной Мар как с переводчицей. Но она не раз бывала у меня в Каунасе и в Вильнюсе, и всегда меня радовала ее любовь к нашей республике, к ее поэтам, природе и людям.

В последние годы мы изредка обменивались письмами. Она писала мне о новых моих книгах, предлагала новые темы. Последнее письмо Сусанна Мар прислала мне в начале марта 1965 года. Отвечая на мою просьбу выступить с воспоминаниями о тех умерших литовских писателях, которых она полюбила еще в годы Отечественной войны, Сусанна Мар писала:

«Разумеется, я с удовольствием напишу о литовцах в Москве, умещусь в полтора авторских листа, я немногословна. Кроме Саломеи хочу написать о Пятрасе (Цвир-

ке). Мы подружились с ним в Литве, а не в Москве. Было так: Корсакас хотел срубить дерево на улице Снядецких, чтоб не было сырости в Союзе. Я больше всего на свете люблю деревья, и Цвирка, став председателем Союза, сразу успокоил меня: «Ни за что не позволю срубить дерево». Воспоминаний о нем у меня много, и интересных, как он сам. Еще хочу написать о Палецкисе, поскольку помню его с такой замечательной и благородной стороны, что жаль это не запечатлеть.

Увы, здоровье у меня плохое... поэтому я хотела бы иметь редактором Вас и писать специально для «Пяргале» или куда Вы сочтете нужным».

У меня нет сведений, позволила ли тяжелая болезнь, уведшая поэтессу в могилу, выполнить ее последний замысел.

Сейчас литовская литература, литовская поэзия обзавелась друзьями, почитателями, переводчиками, популяризаторами из числа виднейших русских писателей и поэтов. Но мы никогда не забудем тех людей, которые еще в самом начале, в тяжелейшие годы Отечественной войны, первыми протянули нам руку дружеской помощи, помогли вывести нашу литературу на всесоюзную арену и отдали делу ее популяризации свои способности, сердце, много лет труда. Среди таких людей одно из первых мест всегда будет принадлежать Сусанне Мар.)

В Клубе Союза писателей часто проводились различные мероприятия, которые привлекали писателей и их друзей. Незабываемым был вечер Ираклия Андроникова.

Известный исследователь жизни и творчества Лермонтова отличался еще и талантом подражать людям, с которыми встречался. Об этом в Москве рассказывали все. Кажется, сам Андроников избегал публично исполнять свою программу и охотнее выступал перед друзьями. Но вот как-то разнесся слух, что он согласился выступить в Доме литераторов. Само собой разумеется, что в этот вечер клуб уже за добрый час перед началом был заполнен публикой.

И впрямь вечер Ираклия Андроникова превзошел все мои ожидания. Я видел талантливых имитаторов — хотя бы Цвирку, — но это было что-то другое. Андроников, ак-

тер феноменальных способностей, казалось, без особых усилий так удивительно передавал движения, голос и тончайшие интонации изображаемых лиц, что с самых первых минут до конца вечера нельзя было оторвать от него взгляда. Он изображал известных всем поэта Самуила Маршака и Алексея Толстого, академика Отто Шмидта, критика Валерия Кирпотина и других; если закрыть глаза, просто нельзя было поверить, что слышишь Андроникова. Зрители покатывались со смеху, а некоторые из изображаемых сидели в зале и сами не знали, обижаться или смеяться тоже. Андроников рассказывал о них целые новеллы, в которых они представали в семье и в общественной жизни своеобразными и одновременно комичными личностями (может быть, весь комизм заключался именно в подчеркнутом своеобразии)... Это действительно было редкое и высокое искусство.

(Андроников впоследствии развил некоторые из своих рассказов в интересные, опубликованные в печати новеллы, а другие талантливо повторяет на сцене.)

Я думаю, что одним из самых значительных художественных переживаний за годы войны как у меня, так и у тысяч москвичей была «Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича. Ее мы услышали в прекрасном Колонном зале 29 марта 1942 года.

Рядом с постоянными посетителями концерта сидели сотни людей в военной форме — генералы, полковники, рядовые... Еще перед тем, как за дирижерский пульт встал виднейший дирижер Самуил Самосуд, весь зал стоя приветствовал автора и его подвиг. Для собравшихся не было секретом то, что композитор свое произведение, впервые исполненное в Куйбышеве в конце декабря, писал в первые месяцы войны в осажденном Ленинграде, под обстрелом артиллерии, и завершил на берегах Волги. В Ленинграде он был начальником противовоздушной обороны дома, в котором жил, и не раз, отправляясь на дежурство, вписывал между нотами буквы «В. Т.» (воздушная тревога). Все только что читали его статью, напечатанную в день концерта в «Правде», в которой он среди прочего писал: «Седьмая симфония — это поэма о нашей борьбе, о нашей грядущей победе. Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме,

о лучших идеалах человечества, о прекрасных свойствах человека, о нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте».

Ни одно музыкальное произведение никогда еще так не потрясало меня. Музыкальная речь была бесконечно понятной и волновала до глубины души. Симфония — монументальное произведение о решающем конфликте советского человека с тупым автоматизмом, с жестокой порабощающей силой. Произведение о мирном счастье, радости, в которые врывается то и дело повторяющийся мотив военного марша, напоминающий топот сапог вражеской армии, ворвавшейся в страну, — назойливый, отвратительный, ненавистный. Голос протеста, раздающийся в дальнейших аккордах произведения, исподволь перерастает в решимость отразить и разгромить злые силы. Сочинение, написанное в трагическое для нашей страны время, полно веры в победу правды, красоты, мира, и этот мотив звучит песней триумфа, страстным убеждением, что звериное начало не может задушить человеческое, творческий труд человека, его усилия создавать новый мир, более совершенный, чем прежний...

На концерте публика, казалось, не дышала — всем своим естеством впивала силу, воплощенную в симфонии, а когда дирижер в последний раз взмахнул палочкой и прозвучал последний аккорд, слушатели расходились из зала потрясенные... Многие воины, сидевшие рядом с нами, прямо с концерта отправились на фронт, сражаться со смертельным врагом...

В ближайшие месяцы симфония прозвучала в Саратове и Свердловске, Ереване и Ташкенте, в Алма-Ате и Сталинабаде... Вскоре в Нью-Йорке ею уже дирижировал Артур Тосканини, в различных странах ее включили в свой репертуар виднейшие дирижеры — Кусевицкий, Стоковский и многие другие. Художественное произведение превратилось в мощное оружие в борьбе народов мира против фашизма. Алексей Толстой в своей статье о «Седьмой симфонии» выразил настроение всех, слышавших это удивительное произведение: «Седьмая симфония» посвящена торжеству человеческого в человеке... Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий... Это Ренессанс,

возрождение красоты из праха и пепла. Как будто перед глазами нового Данте силой сурового лирического раздумья вызваны тени великого искусства, великого добра...»

И поныне «Седьмая симфония» остается одним из самых значительных и популярных произведений нашей музыки. Ее история превратилась в истинную легенду русской и мировой культуры. О ней писали поэты, — пожалуй, лучше всех Анна Ахматова. Я тоже написал стихи, в которых попытался передать незабываемые впечатления этого вечера...

Все советские писатели, а также их зарубежные друзья, жившие в те годы в Советском Союзе, старались по мере сил помочь борьбе против фашизма. Летом 1942 года, 9 августа, в Москве, в Парке культуры и отдыха имени Горького, в так называемом Зеленом театре, состоялся международный антифашистский литературный вечер, в котором пригласили участвовать и меня.

В Зеленом театре сцена находится под крышей, а зрители сидят на открытом воздухе. Здесь выступали различные театральные и эстрадные коллективы. На этот раз театр отдали писателям.

Вечер открыл А. Фадеев, подчеркнув героизм народов и прежде всего многомиллионного советского народа в битве за будущее человечества. Он говорил о дружбе писателей-антифашистов, о великой задаче — творческим словом помогать победе в этой священной войне. В моем архиве сохранился список участников вечера:

«1. А. Фадеев (*русский, открытие*),
2. А. Копыленко (*украинский*),
3. В. Бредель (*немецкий*),
4. Э. Вайнерт (*немецкий*),
5. Ф. Вольф (*немецкий*),
6. Дж. Джерманетто (*итальянский*),
7. И.-Р. Бехер (*немецкий*),
8. И. Барбарус (*эстонский*),
9. М. Танк (*белорусский*),
10. П. Маркиш (*еврейский*),
11. Р. Стиенский (*югославский*),
12. С. Арконадо (*испанский*),
13. З. Неедлы (*чешский*)».

Не помню уже, все ли из этих писателей участвовали в вечере (кажется, не было Бехера). Но некоторые выступления, да и сам вечер, который, кстати, состоялся в полдень, глубоко врезались в память.

Было воскресенье, теплый и приятный летний день, и люди не очень спешили в театр, они ведь пришли в парк отдохнуть после недельной работы и забот. Но, кажется, сразу же после Фадеева к микрофону подошел крупный, могучего телосложения немецкий поэт Эрих Вайнерт. Он начал на родном языке читать свои антифашистские стихи. Голос Вайнерта громогласно разносился по всему парку. Это заинтересовало посетителей, — говорят, кто-то даже пустил слух, что в парке сбросили немецкий десант, а другие объясняли, что это немецкие военнопленные выступают против Гитлера. Как бы там ни было, но за несколько минут Зеленый театр оказался набитым до отказа. А Эрих Вайнерт читал волнующим, оглушающим, поразительным голосом. После него кто-то прочитал по-русски переводы его стихов.

Высокий, худощавый, с приметным аскетичным лицом и пылающими глазами, Фридрих Вольф, один из величайших немецких драматургов нашего времени, автор знаменитого «Профессора Мамлока», «Цианистого калия», «Матросов из Катара», обратился к слушателям на русском языке. И говорил довольно свободно, только произношение у него было немного странным — он то и дело повторял слова «русские зольдатен» и «германские зольдатен». Он говорил об обороне Москвы, заверял, что Гитлера и его генералов ждет неизбежная гибель. Подчеркнул, что главная задача немецких антифашистов — вместе с антифашистами всех народов защищать Советский Союз, а тем самым и свободу Германии.

Слушателям очень понравился экспансивный Джованни Джерманетто, широко известный итальянский революционер, автор знаменитой книги «Записки цирюльника». Этот подвижной человек средних лет, прихрамывая, подошел к трибуне и тоже заговорил по-русски:

— Дорогие друзья москвичи, вы видите перед собой «приятеля» Бенито Муссолини... Да, я называю себя так потому, что когда-то мы работали с ним в редакции одной газеты, которая, правда, в то время была не фашистской, а социалистической... И не моя вина, что Бенито пошел не тем путем, которым пошли итальянские

социалисты. Как он правит Италией, вам известно. Поскольку он сам не смог создать итальянскую империю, то спутался с Гитлером. Вы знаете, Италия — страна апельсинов. Теперь в моей любимой Италии больше гитлеровцев, чем апельсинов... Но близится пора сбора апельсинов... Настанет и такая пора, когда патриоты начнут срывать помощников Бенито — гитлеровцев... И я вам гарантирую, что подлинные итальянские патриоты будут их срывать с не меньшим азартом и успехом...

Еврейский поэт Перец Маркиш начал читать свои стихи спокойно, но чем дальше, тем больше загорался от собственных слов. Читал он, вживаясь в содержание стихотворений. Его бледное лицо, на которое ниспадала черная копна волос, покрылось испариной. Он качал головой, движениями рук подчеркивал каждый образ, каждый ритмический переход. Я еще ни разу в жизни не видел поэта, который с такой невиданной экспансивностью читал бы свои стихи.

Гораздо спокойнее выступали югославский эмигрант поэт Радуле Стиенский и испанский писатель, оказавшийся в Советском Союзе после гражданской войны в Испании, Сесаре Арконадо...

С нами находился и выдающийся чехословацкий ученый, общественный деятель, историк и музыковед Зденек Неедлы. Он искренне говорил о страданиях своей страны в гитлеровском рабстве, о борьбе всех свободолюбивых народов против фашистской чумы. Как и других участников вечера, слушатели встретили профессора очень тепло — у Чехословакии здесь всегда было много друзей, которые теперь сочувствовали ее беде. (Зденек Неедлы, во время войны работавший в Московском университете, в послевоенной Чехословакии был министром просвещения и Президентом Академии наук.)

Вечер прошел с большим успехом. Для меня он был особенно приятен потому, что я, представитель малой нации, познакомился с выдающимися представителями нескольких литератур, вместе со всеми в это тяжелое и печальное время пережил несколько радостных часов. Нам всем вручили большие букеты цветов.

(По правде говоря, с этими цветами у некоторых вышли хлопоты... После вечера я тут же сел в метро и вернулся в гостиницу «Москва». Немного передохнув в комнате, я спустился в вестибюль и там увидел Иоханнеса

Барбаруса, который только теперь возвращался с вечера с букетом цветов. Я спросил, где он задержался. «О, у меня было приключение! — со смехом сказал он. — Преувеличенная бдительность, понимаете?» — «Какая бдительность?» — «Представьте себе, — рассказывал он, — иду я из парка, а у ворот мне говорят: «Откуда несете цветы?» Я объясняю, что я поэт, участвовал в литературном вечере, цветы мне подарили... Но контролеры не верят и доставляют... в милицию. Только там мне удалось себя реабилитировать...» Барбарус смеялся, но мне его приключение не показалось смешным.)

Со своими прибалтийскими соседями мы стали дружить теснее. В Зале имени Чайковского, где проводились концерты и другие выступления, 18 октября состоялся большой вечер прибалтийских литератур. Его открыл Фадеев, потом Барбарус выступил с небольшим докладом о литературе прибалтийских народов. Свои стихи на родном языке читали Саломея Нерис, Фриц Рокпелнис, Иоханнес Семпер... Затем были прочитаны переводы на русский язык произведений А. Упита и И. Барбаруса, Л. Гиры и А. Григулиса, Э. Межелайтиса и Я. Кярнера, Я. Судрабкална и К. Корсакаса, М. Рауда, А. Купши и Э. Хийра, В. Лукса, П. Цвирки и мои. После вечера состоялся большой концерт, в котором участвовали силы всех трех наций. Это был, пожалуй, первый вечер за войну, когда перед требовательной московской публикой выступили представители литературы и искусства Прибалтики.

ГДЕ ЖИЛ ЛЕВ ТОЛСТОЙ

А между тем тянулся второй год войны. Мы чувствовали себя старыми москвичами и наравне с другими переживали совместные радости и горести, — к сожалению, радостей было не много. Пришло лето, такое же тревожное, как и минувшее, — разница была лишь в том, что на Москву больше не падали бомбы. Но настроения снова были угрюмые, иногда даже панические... Свобода, даже само существование страны оказались перед смертельной угрозой. Второго фронта, который, как все надеялись, должен был открыться в июне, все еще не было, и никто не знал, когда он откроется. Из печати можно было по-

нять, что наши отношения с Англией довольно-таки прохладные, если не сказать хуже. Черчилль, приезжавший в середине августа в Москву, не смог или не желал улучшить эти отношения. А тем временем Сталинград бомбило по 600 самолетов врага одновременно... Затаив дыхание мы читали описания боев в репортажах Симонова, Гроссмана, Кригера и других. Мы чувствовали, что утрата грозненской и бакинской нефти, как и падение Сталинграда, означали бы страшную катастрофу...

Вместе со всеми мы жили главными событиями на фронтах. Но наши мысли то и дело возвращались к бойцам, входящим в Литовскую дивизию. Всю весну 1942 года они интенсивно готовились к боям, все еще продолжая находиться в районе Балахны, Правдинска, Городца. Руководители нашей Компартии и правительства искренне заботились о дивизии. Дивизию часто посещали А. Снечкус, М. Гедвилас, Ю. Палецкис, К. Прейкшас, генерал В. Виткаускас, литераторы, художники. Два писателя, как я уже говорил, здесь находились постоянно. Работа Людаса Гиры в дивизии из-за его немолодого уже возраста ограничивалась в основном литературой — он много писал и переводил с русского, собирал вокруг себя бойцов, пробующих свои силы в литературе. Между тем Йонас Марцинкявичюс постоянно участвовал в жизни бойцов, писал о них и весь этот материал посылал нам в Москву, где появлялось все больше возможностей печататься, передавать по радио, пересылать в США...

Наконец дивизия выступила на запад, а в Балахне остался только резервный батальон.

В середине сентября из Москвы в дивизию уехала целая группа писателей — Нерис, Корсакас, Балтушис, Межелайтис, Шимкус и я. Шимкус читал бойцам лекции о международном положении и ходе боев на фронтах, а нашей целью было ознакомиться с жизнью воинов в прифронтовых условиях, встретиться с ними, побеседовать, а кроме того, проводить литературные вечера.

Побывав тогда в дивизии, я написал несколько очерков, материалом которых здесь воспользуюсь.

В прохладном солнце ранней осени тихо шелестят тульские леса. На дороги осыпаются рано побуревшие листья березы. Испещренные игрой солнечных лучей, оду-

ряюще пахнут кусты орешника, а дубы еще зеленые, как летом. То тут, то там алеет клен, красочным пятном выделяясь среди дубов и берез. Они тянутся на многие километры, эти леса. Теперь, осенью, своей грустью и мечтательностью они напоминают пейзажи великого певца русской природы Левитана (кстати, он родом из Литвы). Солнечная красота сентябрьских полей и лесов успокаивает и волнует.

На военном грузовике мы едем в Ясную Поляну. В грузовике литовские писатели и несколько красноармейцев-литовцев. У дорог еще не изгладились следы кровавых событий, когда фашисты прошлой осенью и зимой рвались к Туле, когда они были остановлены рабочими тульских оружейных заводов и отброшены назад. Десятки сожженных и взорванных немецких танков и броневиков. В лесах красноармейцы и жители по сей день находят незарытые трупы фашистов. Проезжая, видишь сожженные деревни — высятся стены из красного кирпича, кое-где видны только бутовые камни. Фашисты смогли уничтожить не все: они отступали поспешно, бросая технику, успев только прихватить с собой чемоданы, наполненные награбленным добром.

Вот на пригорке и Ясная Поляна, где родился, жил и работал один из величайших людей не только России, но и всего мира — Лев Толстой. Это священное место, поклониться которому приходили тысячи паломников из разных стран еще при жизни Толстого. Выдающийся немецкий поэт Райнер Мария Рильке когда-то писал: «Робко, словно паломники, по тихой лесной дороге мы шли к дому Толстого». В свое время в Ясную Поляну из Европы, Азии и Америки каждый день приходили сотни писем с вопросами, как жить, с преклонением перед гением и его трудом. В Ясную Поляну писали Ганди и Масарик, рабочие и гимназисты, профессора и писатели, извозчики и студенты. Писали и некоторые литовцы. За столом у Толстого не раз сидели Тургенев и Гончаров, Чехов и Горький, Репин и Серов.

И после смерти Толстого не прекращался сюда поток почитателей его гения. В советское время здесь, наряду с другими, побывали люди с мировым именем — Бернгард Келлерман и Стефан Цвейг. Советская власть еще в те годы, когда страна была опустошена гражданской войной, когда люди голодали, превратила Ясную

Поляну в музей, двери которого всегда открыты для тех, кто хочет поклониться родине и могиле великого писателя.

В Ясную Поляну мы въехали в ворота с двумя каменными круглыми столбами, столь знакомыми каждому читателю «Войны и мира» по описанию поместья старого Болконского. Слева пруд, справа сад с вековыми деревьями и освещенными солнцем полянками.

Музей Толстого оборудован в доме, где когда-то останавливались приехавшие в гости дети, родственники, друзья Толстого. Перед глазами посетителей проходит вся долгая и содержательная жизнь писателя. Картины, фотографии, письма... Вот предки Толстого — прототипы старого Болконского и старого Ростова из «Войны и мира». Вот детство, так замечательно показанное в автобиографической повести. Дальше —Севастопольская кампания, во время которой Толстой каждый день рискует жизнью, горя одной мыслью — отдать все силы Отечеству.

Кавказ, его природа и земля, невиданная красочность пейзажа, горцы со своеобразной психикой и цивилизованный человек, сбежавший из ненавистного города, ищущий забытья среди людей, живущих на природе. Это период «Казаков». Путешествие по Европе, педагогическая деятельность в Ясной Поляне, ученики Толстого, педагогические сочинения, счеты, с помощью которых учил считать яснополянских детей. Женитьба и работа над великими произведениями — «Войной и миром», «Анной Карениной». Перед глазами проходят незабываемые образы «Войны и мира», которые никогда не перестанут восхищать нас своим эпическим величием, бесконечной яркостью, психологической глубиной и достоверностью. В музее показана исполинская работа, которой потребовала от Толстого величественная эпопея, ставшая самым удивительным произведением мировой литературы.

Дальше работа над «Воскресением», ломка мировоззрения Толстого, борьба против официальной религии и буржуазной морали, превращение в русского мужика, схватка с царем. И последний период — уход из дома и смерть...

Второй дом, который высится поодаль, с окнами, выходящими на большой сад, — это дом, в котором жил и работал Толстой. Прихожая, лестница, английские часы

над лестницей, которые точно показывают время по сей день, а дальше — комнаты, в которых прошла долгая жизнь, отмеченная постоянным творческим горением, напряженным трудом и непрерывными поисками истины.

Какие они скромные, эти комнаты! Вот столовая: простой стол, простенькие стулья, на которых вместе с Толстым сидела и его многочисленная семья и самые выдающиеся люди той эпохи. Круглый стол в углу, за которым Толстой любил читать семье и друзьям свои новые произведения. Дальше — комната с балконом и большим окном, из которого виден сад, а там, за садом, избы деревни Ясная Поляна. Здесь стоит старый диван, обитый черной кожей, на котором, как гласит семейное предание, родился Толстой. В этой комнате Толстой долгое время работал. Скромная спальня и комната жены, тоже без роскошной мебели. Железная койка, столик, шкафчик, обычные спутники жизни женщины — фотографии мужа и детей, шкатулки, картинки.

Внизу, на первом этаже, внимание посетителя привлекает так называемая комната со сводами, которая потом чуть ли не тридцать лет служила рабочей комнатой для Толстого. Здесь было написано и главное произведение его жизни — «Война и мир». По соседству — маленькая комнатушка, в которой Толстой принимал случайных гостей и в которой его тело покоилось после смерти.

Когда, проведя несколько часов в музее Толстого, выходишь во двор, ты чувствуешь, насколько богаче стала твоя душа. Ты счастлив, что окунулся в тот воздух творения, которым когда-то дышал гений Льва Толстого. Потом по тихой аллее из берез и дубов ты направляешься в лес, где в укромном месте находится могила, скромная, как и весь образ жизни Толстого. Ты словно соприкасаешься с великим духом, который жил в мире для того, чтобы оставить бессмертные произведения, восхищающие, воспитывающие и наставляющие не только тебя, но и тысячи людей во всем мире. И ты счастлив, что прах великого человека, хоть и оскверненный, все-таки спасен, что он будет волновать тысячи будущих посетителей Ясной Поляны.

Да, в прошлом году сюда ворвались нацистские головорезы, которые уже раньше разбили памятники Адаму

Мицкевичу и Шопену в Польше, загадили могилу Тараса Шевченко на Украине, разграбили музеи Франции, осквернили музеи Чайковского и Пушкина в Советском Союзе.

К моменту нашего приезда в Ясную Поляну частью уже были устранены следы вандализма, но фотографии живописно показывали, какой бешеной, звериной ненавистью обладали нацистские варвары, которые с садистской жестокостью сжигали книги гениев в своей стране, а теперь уничтожали и разрушали то, что свято для других народов. Жилой дом Толстого они превратили в кабак. Здесь они пьянствовали, буйствовали, ломали бесценную мебель, рвали картины, а перед своим бегством нанесли в комнаты соломы и сломанной мебели и подожгли. Только благодаря преданным служителям музея пожар был потушен. В самом музее Толстого экспонаты были разбросаны, некоторые уничтожены.

Когда хранитель музея сказал, что лежать на том диване, на котором родился Толстой, нельзя, немецкий «культуртрегер» не постеснялся ответить: «Ваш Толстой мертв, а мы, германские солдаты, живы!» Могилу Толстого гитлеровские вояки осквернили, закопав вокруг своих убитых. Им, по-видимому, казалось, что, ограбив и утопив в крови Европу, они имеют полное право быть похороненными рядом с гением.

В музее висел разорванный надвое портрет Толстого, повернутый к зрителю обратной стороной — там какой-то гитлеровец написал, что он с приятелями шагает на Восток и несет немецкую культуру...

(Музей нам показывала внучка Толстого Софья Толстая-Есенина, которая радушно нас встретила, а когда мы уезжали, подарила Саломее Нерис цветы. В книге посетителей мы тогда, помню, оставили записи.)

К счастью, дом Толстого был спасен. Отступая, немцы успели только уничтожить построенную в советские годы каменную школу с отлично оборудованными учебными кабинетами, залами, паркетом и библиотекой в несколько десятков тысяч томов. За Ясной Поляной сейчас виднеются только мрачные развалины этой школы. Она сожжена, как и новая каменная больница, тоже в годы советской власти выстроенная для населения Ясной Поляны.

Человечество видело много войн и ужасов. Свиреп-

ствовали на земле Тамерлан и Атилла. Часто война приносила бессмысленные убийства, разрушения и уничтожения. Но гитлеровские головорезы в своей фанатической ненависти ко всему человечному, возвышенному и благородному, священному для отдельных народов и всего человечества, превзошли всякое воображение.

Осквернение Ясной Поляны отозвалось во всем мире как крик тревоги, как призыв на решающую борьбу против варварства, для которого нет ничего святого. Сейчас Красная Армия сражается на фронтах не только за свою землю и свободу, но и за то, чтобы уберечь мир от озверения, от варварского уничтожения тех неоценимых ценностей, которые укрепляют, возвышают и воспитывают дух человека.

Литовские писатели, поклонившись праху Льва Толстого, еще раз торжественно поклялись в душе все свои силы посвятить тому, чтобы кровавое фашистское варварство как можно скорей исчезло с лица земли, потому что не может быть на свете радости и счастья до той поры, пока его уродует и оскверняет бестия, искупавшаяся в крови и слезах народов.

Когда летом 1942 года Литовская дивизия выступила из Балахны, покинув зеленые берега Волги, только командование знало, где она остановится. Бойцы, орудия, обозы, кухни двигались на запад — в сторону фронта. Многим казалось, что ближайшая цель похода — фронт.

Несколько дней спустя дивизия остановилась у небольшого железнодорожного полустанка за Тулой с интересным, необычным названием — Ясная Поляна. И тысячи наших бойцов вспомнили, что с этими местами связано имя Льва Толстого.

Рядом со станцией еще торчало несколько подбитых танков Гудериана. На дороге валялись брошенные грузовики. Иногда, особенно ночью, долины и холмы наполнялись звонкими, неожиданно начинающимися и кончающимися залпами наших зениток.

Теперь эти поля снова были свободны. Местное население вернулось из лесов к своим избам, — кое-где они уцелели, местами превратились в пепел.

Окрестности Ясной Поляны необычайно живописны. Пожалуй, мало где в России природа так напоминает ли-

товскую, как здесь. Куда ни глянешь — всюду небольшие холмы, поросшие березами, дубами, кленами, грабом и орешником. Люди здесь ласковые, добрые. Жили они зажиточно, плодородная земля хорошо кормила. Пестрые деревушки утопают среди деревьев, дома обычно крашеные, то тут, то там за деревьями светятся красные кирпичные стены. Местное население встретило наших бойцов дружелюбно, тепло. И эти хорошие отношения не прерывались до самой зимы, когда дивизия направилась ближе к фронту.

В здешних лесах сразу же выросли целые палаточные городки, зазвенели литовские песни. Военные занятия продолжались; каждый воин дивизии, начиная с генерала и кончая рядовым, чувствовал, что недалеко уже то время, когда придется лицом к лицу столкнуться с врагом на поле боя.

Вся наша дивизия перебывала в Ясной Поляне. И это совершенно понятно. Для старшего поколения литовской интеллигенции, выросшей под воздействием русской культуры, Лев Толстой был одним из великих светочей, который как бы сосредоточил в себе лучшие черты русского народа: беззаветную любовь к правде и красоте, благородный патриотизм, столь далекий от шовинизма, вечные, неутомимые поиски истины, умение понять самые запутанные закоулки души человеческой, сочувствие и любовь к обездоленным. Но и молодое поколение литовского народа было хорошо знакомо с бессмертным творчеством Толстого. Неудивительно поэтому, что руководство музея с удовольствием отметило, когда Ясную Поляну посетили наши писатели, что бойцы Литовской дивизии на редкость знают жизнь и творчество Толстого и на редкость любят и дорожат его произведениями.

Была золотая осень, когда в Ясной Поляне у красноармейцев побывали наши писатели и художники. Я полагаю, что для всех это посещение останется в памяти на долгие годы. Мы не нашли здесь просторного зала для проведения литературных вечеров и проводили их на лесных прогалинах, пахнущих мхом, папоротником и орешником. Мы читали свои произведения с грузовика, а вокруг сидели и слушали сотни бойцов. Я помню, как на одной такой встрече, устроенной для наших автоматчиков, вдруг объявили тревогу: немецкий самолет, долго

гудевший в ясном осеннем небе, сбросил в лес десант, и мы остались на поляне, а бойцы ринулись окружать десантников. Встречу мы завершили, когда бойцы вернулись и снова обступили нас.

Я помню литературный вечер в части, где комиссаром был хороший товарищ, позднее погибший в бою, — Пранас Гужаускас. Смеркалось, небо заволокли тучи, пошел дождь. Накинув зеленые плащ-палатки, в лесу собрались мрачные, сосредоточенные красноармейцы. Дождь уже лил как из ведра, и нам казалось, что придется разойтись. Но бойцы непременно хотели услышать наших писателей, и тогда, поднявшись на грузовик, стали читать свои произведения Саломея Нерис, Костас Корсакас, Йонас Марцинкявичюс. Бойцы особенно просили, чтобы выступила Нерис. Она читала тихо, без особенных актерских способностей, но глубоко волновала людей, которым завтра-послезавтра предстояло идти в бой. Дождь промочил ее рукописи, струями стекал по лицу и рукам, Саломея не различала букв. На помощь пришел Корсакас — он взял у нее листок и закончил чтение. Литературный вечер прошел с настоящим подъемом, и мы оставили довольных бойцов в темном лесу, где продолжал хлестать дождь. Провожали нас молодецкой литовской песней.

Бойцы в Ясной Поляне и ее окрестностях видели, что́ несут миру двуногие звери, выдрессированные Гитлером. Жители спаленных и разрушенных деревень рассказывали страшные истории об убитых людях, сожженных детях и женщинах, грабежах. Показывали школу с выбитыми окнами, загаженную конским навозом, — оккупанты превратили ее в конюшню. Приводили на место, где фашисты сожгли женщину с двумя детьми. Местные люди, сумевшие вырваться из фашистского рабства, рассказывали бойцам об ужасах, которые им пришлось пережить, когда они каждое мгновение ждали смерти. И все это вызывало в сердцах добродушных, спокойных литовцев ненависть и желание как можно скорее двинуться на фронт.

Я помню, мы находились в лесной землянке. Молодой краснощекий снайпер, поклонник литературы, сидя на нарах, почти касаясь головой потолка, тихо, задумчиво говорил:

— Бывает, лежим ночью в землянке и долго говорим между собой: вот пойдем на фронт... Один собирается

отомстить фашистам за детей, за жену, другой — за отца, братьев, за разрушенный родной город. А я вот думаю: и мне есть за кого отомстить. Ведь я тоже потерял родину — Литву, родителей, братьев, все. Но почему-то мне втемяшилось в голову — я буду мстить за Толстого и за Ясную Поляну. Может, потому, что первая книжка, которую я прочитал, была написана Толстым... По сей день ее помню — «Много ли человеку земли нужно». Там описывается, как один жадный человек поехал куда-то к киргизам или калмыкам, хотел приобрести побольше земли. И эти киргизы или калмыки ему сказали примерно так: «Сколько обежишь до заката — будет твое». Он бежал, бежал, пока кровь не пошла горлом. И ему хватило столько земли, сколько пошло на его могилу. Так и фашисты. Они хотят проглотить весь мир. Но мы им покажем, что нашей земли они получат лишь столько, сколько надо для их могилы. Вот какая мысль мне вбилась в голову, — закончил снайпер, немного смущаясь и вопросительно глядя на меня.

Я понял, что Ясная Поляна по пути на фронт для наших бойцов стала как бы родником, который напоил их любовью к Родине и зажег в сердцах суровую ненависть к врагу. В заснеженных полях под Орлом, в огненном пекле мстили они врагу за близких, за Литву, за Ясную Поляну. В снежную метель, все ближе к Литве, их провожал великий дух Льва Толстого, дорогой для каждого, кому дороги жизнь, Родина, культура.

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Постпредство на улице Воровского незаметно стало средоточием всех литовцев. Те, кому недоставало места в переполненных гостиницах, жили здесь в больших общих комнатах с несколькими койками или в более удобных — двухместных — номерах. Для писателей обычно отводились комнаты, в которых они могли бы работать.

Значительным событием для всех нас явилось возобновление деятельности Государственного издательства. Его директором теперь работал один из самых старых наших революционеров — Игнас Гашка, тактичный и за-

ботливый человек. Он начал собирать редакторов и авторов, и уже в 1942 году в печати находилось немало литовских книг, которые готовили мы все — индивидуально и коллективно. Государственное издательство обосновалось тоже в Постпредстве — на втором этаже, — все его столы, рукописи, корректуры и несколько сотрудников (главным редактором был Валис Драздаускас) уместились в одной комнате. Сюда мы частенько заглядывали, разговаривали о своих рукописях, правили корректуры

Несмотря на тяжелое положение на фронтах, жизнь в Москве, насколько это было возможно, нормализовалась. Снабжение продуктами тоже улучшилось, особенно по сравнению с теми днями, когда только что ввели карточки. Такое же положение было и с промтоварами — получить их бывало трудно, но все-таки возможно. В подвале Постпредства была оборудована столовая, где мы могли питаться, имелся свой склад, на который бесперебойно поступали продукты.

Писательская жизнь тоже стала организованнее. Костас Корсакас, наш руководитель, проявлял много инициативы, мы довольно часто собирались для обсуждения какой-нибудь газеты или литературных вопросов; все разговоры теперь вертелись вокруг дивизии, радио, печати, изданных или подготовленных к изданию книг.

Увы, книги выпускать было трудно. Все наши издания печатала имевшая литовский шрифт типография «Искра революции», а иногда типография газеты «Известия». Но в военное время наборщиков было мало, а работы много, не хватало и бумаги, — я помню, как мы волновались каждый раз, когда книги застревали в типографии на целые месяцы. Но все-таки они выходили. Появилась и книга моих рассказов (написанных уже в Москве) «Путь в Литву», стихи «Зов Родины», очерк «Под сапогом Людендорфа».

Наша жизнь приобрела ясную цель. Мы почувствовали, что нужны для великой борьбы, мы стали ее участниками. Это помогало приглушать болезненную тоску по родной Литве и близким...

Наши газеты много писали о зверствах гитлеровцев на захваченных территориях. Об этом мы кое-что знали и из тех публикаций, которые доходили до нас через фронт (в Литве партизаны скупали газеты и самолетами,

приземлявшимися во вражеском тылу, доставляли их в Москву). Из этих газет и радиосообщений становилась ясной деятельность некоторых литераторов, журналистов и политиков во время оккупации. Она не радовала. Предателей и подхалимов хватало. И все же общие сведения о немецкой политике были страшными, — мы все знали о расстрелах, об отправке людей на работы в Германию, о попытках мобилизации молодежи, о зверствах гестапо в отношении просоветски настроенных граждан, об уничтожении евреев. Ясно, что и нашим близким была уготована горькая доля. Мы с друзьями не раз беседовали о судьбах своих семей, и нас охватывал ужас. И мы как-то свыкались с невероятной мыслью, что тех, кого мы любили больше всего, уже нет на свете... Только во сне возвращалось прошлое, а явью мучали страшные кошмары.

Я всегда ценил искренность, откровенность, верность. Годы, прожитые с Элизой, были самыми счастливыми для меня. Они были полны такой любви, очарования юности и дружбы, что я считал себя человеком, жизнь которого сложилась необычайно удачно. Я радовался и гордился Элизой, которая всячески старалась создать условия для моего литературного труда; живя вместе с ней, я издал несколько книг, которые, как мне казалось, были новыми ступенями моего творчества. Элиза стала еще дороже мне, когда у нас родился сын.

Теперь я все меньше верил, что увижу когда-нибудь ее и сына... Боль и горечь словно бы слабели, когда я изливал свои страдания в стихах. И все это неприметно удалялось, гасло, исчезало в далях войны, времени и пространства.

А жить, дышать, любить хотелось как никогда... Одиночество было невыносимо тяжелым. Так хотелось хоть изредка прижаться к кому-то и откровенно излить свою боль, горе, отчаяние. Но я был один, наедине со своими мыслями, сомнениями, угрызениями, как миллионы людей, которые, даже пережив великие потрясения, не перестали мечтать о счастье...

...И я увидел ее, юную, восемнадцатилетнюю девушку, стоящую в конце зала Постпредства перед зеркалом и поправляющую пышные светлые волосы. Увидел в зеркале ее лицо и не мог оторвать глаз от этой картины, полной молодости, красоты, мечты. Девушка повернулась

ко мне. В сером простеньком платье (был май), неловко сидящем на ней, — она посмотрела на меня равнодушно, как смотрел и я сам на тысячи людей, которых случайно встречаешь и которые снова куда-то исчезают. Я спросил, откуда она, и она ответила, что только что приехала из далеких краев, из Узбекистана. Кажется, на этом и оборвался наш разговор, — девушку кто-то позвал в столовую, и она сбежала по лестнице — легко, вприпрыжку, без забот, по-детски очаровательно...

...Простудившись, я лежал в номере гостиницы «Москва». Чувствовал себя неважно. И вдруг, открыв глаза, я увидел, что кто-то стоит у столика. Это была она. Что-то раскладывала там, а когда я зашевелился, обернулась с улыбкой и сказала:

— Мне сказали, что вы больны... Теперь я буду вас кормить, буду приносить вам еду из Постпредства... Вы любите гречневую кашу и компот? — Она поставила передо мной остывшую кашу. — Жаль, что не на чем подогреть.

— Почему? Тут есть электрический чайник...

— В чайнике кашу не подогреешь. Придется есть холодную... Знаете, пока доберешься на метро...

Я ел кашу, а она сидела на стуле и смотрела на меня, худого и небритого.

— Некрасив, правда? — спросил я.

— Ничего, — ответила девушка. — Вы же больной...

Она смотрела на меня улыбающимися синими глазами, и казалось, улыбалось ее пригожее, здоровое лицо, и губы, и руки, и грудь, вся она улыбалась чем-то далеким и полузабытым, тем, чего нельзя забыть никогда, — она улыбалась, как Литва летом...

— Как тебя звать? — спросил я у девушки.

— Ванда, — ответила она. — Некоторые еще зовут Антониной, но мне больше нравится Ванда.

— Откуда ты?

— Из Кудиркос-Науместиса. Я бежала в первый день войны. И вот куда доехала — до Ферганской долины...

— И как там, в этой Ферганской долине?

— Интересно. И неплохо. Урюку наелась, сколько душа желала. И люди там хорошие, понравились мне. Только сыро очень. Ревматизм схватила.

— Болит?

— Теперь ничего. Но бывает, и болят ноги. Когда погода сырая...

— А я бы не сказал... Мне кажется, ты здорова...

— Ничего, и вы скоро выздоровеете. Я вас вылечу...

И Ванда рассмеялась так искренне, по-детски, что у меня по сердцу прошла жаркая волна.

— А твои родители где? В Литве? — снова спросил я у своей сиделки.

— И мама, и папа, и две сестры — все в Литве. Только я одна тут.

— И как тебе война?

— Что же война? Кому она может быть приятна? Домой все хотят, и я тоже... Мы ведь вернемся домой, правда?

— Конечно, вернемся, Ванда... Но когда — никто не знает... Послушай, когда я выздоровею, ты не хотела бы сходить со мной в театр?

Ванда посмотрела на меня вопросительно.

— А билет вы можете достать?

— Отчего же? Это пара пустяков...

— Нет уж. Говорят, очень трудно...

— Как-нибудь достану...

— Но мое платье... Может, мне одолжит подруга, с которой я живу.

— Значит, договорились?.. Как только поправлюсь, обязательно сходим. В Москве театры такие, каких во всем свете не сыщешь...

Девушка смотрела на меня так, будто все еще не верила, что я всерьез говорю о театре. А я чувствовал, что должен видеть ее каждый день, разговаривать с ней, слушать ее смех, ее простые, детские, наивные и такие милые ответы...

Мне показалось, что я выздоравливаю не от одной простуды, а поправляюсь после тяжелой болезни, которая давила, мучала, душила, которая не давала поднять головы, вздохнуть полной грудью, рассмеяться, даже улыбнуться...

Шли дни, и каждое утро, и полдень, и каждый вечер я ждал, когда в коридоре послышатся легкие шаги, постучатся в дверь моего номера 1115, и войдет Ванда — такая же сияющая, веселая, словно получила дорогой подарок, вся пахнущая литовскими полями, садами и цветущими лугами. И на самом деле мне стало казаться, что

со мной — сама Литва, которую я буду любить, пока жив...

...Шли дни. Я уже бродил по комнате, стал выходить на улицу. Ванда по-прежнему приносила из Постпредства еду, кипятила чай в электрическом чайнике. На моем столе высилась стопка книг, и она начала брать их у меня читать. Ванда была любопытна, все быстро усваивала, а Большой театр, куда мы с ней пошли, показался ей чудом из чудес. Иногда я читал ей новые стихи и рассказы, которые писал, и видел, что они ей нравятся.

Как-то я взял листок и сказал:

— А теперь я прочитаю стихи, посвященные одной женщине, которую я встретил во время войны.

Насупился угрюмый свод небес,
Утесы высятся, как привиденья.
Все потерял я, словно человек,
Попавший в кораблекрушенье.

Холодный мрак, соленый резкий ветер...
Где я, известно лишь судьбе одной.
Внезапно я утратил все на свете —
Отчизну, и друзей, и дом родной.

Казалось, не уйти уж мне от смерти...
Но добрая и теплая рука
Вдруг очутилась на болящем сердце;

Глаза открылись, улыбнулся я
Тебе. Вернется жизнь, как ты пришла,
Под пламенем небесного огня.

Ванда удивленно посмотрела на меня.

— А кто же эта женщина, которой посвящены стихи?

— Она сидит в этой комнате и разговаривает со мной...

— Правда? А мне показалось...

— Правда, как правда и то, что ты — мое спасенье...

— От чего?

— От одиночества, тревоги, от войны... Ты понимаешь, если бы я не встретил тебя...

Мы разговаривали долгими часами, истосковавшись по откровенности, в которой звучали боль и радость, печаль и надежда, ожидание и вера в жизнь, будущее, счастье...

ИЗ ДНЕВНИКА

28 декабря 1942 г., понедельник

Скоро Новый год! Что он сулит нам — мне? Позапрошлый Новый год мы встретили в Каунасском государственном театре. Друзья, сотни людей. Мы были счастливы, поднимали бокалы, танцевали. Потом собрались в Клубе Союза писателей, в бывшем дворце Вайлокайтиса. В прошлом году — Пенза. Заметенный город, захолустье, хотя в нем и хорошо писалось. Там я создал несколько десятков стихотворений. Новый год встречали на улице Гоголя, в здании нашего Совета Народных Комиссаров. Собрались почти все пензенские литовцы. Было даже уютно. После Нового года мы с Корсакасом и Гирой перебрались в Балахну, на Волгу, где создавалась наша дивизия. Литературные вечера в бараках, казармах. Слезы на глазах у слушателей. И снова мучительная тоска по Литве. Потом Москва, которую я покинул летом 1941 года. В Москве я много работал, чтобы забыться. Но временами не мог: сны — Каунас, мой Томас, жена. Открытая, незаживающая рана.

Сейчас живу с Пятрасом Цвиркой в номере гостиницы «Москва», на десятом этаже. Хочу написать роман в двести страниц о своей матери — искренний, хороший, в котором чувствовалась бы Литва, далекая и незабываемая.

Пятрас мечтает после войны написать эпопею из нескольких томов — от времен запрета литовской печати до наших дней: история двух семей, расслоение общества, изменение нравов — свадьбы, песни, обычаи. Замысел огромный. Я верю, что ему это под силу. Он больше моего склонен поддаваться чувствам. Иногда сидит кислый, иногда выкидывает детские шутки. Мы много читаем — классиков, биографии, мемуары. «Анатоль Франс в домашних туфлях» Бруссона, «Байрон» А. Моруа, он — «Будденброки» Т. Манна, я — Теккерея, Байрона, Диккенса («Давид Копперфильд»). Пятрас восхищается Чеховым и Толстым. Я тоже.

Я счастлив, что есть возможность бывать во МХАТе. «Вишневый сад» видел с Качаловым, Москвиным, Книппер-Чеховой. Смотрел «Школу злословия» Шеридана, «Анну Каренину», «Трех сестер», «Фронт» Корнейчука.

В Малом театре замечательный «Лес» Островского, скучноватая «Отечественная война 1812 г.» (по «Войне и миру» Толстого).

Недавно — литературный вечер Бориса Пастернака в Доме литераторов. Интересно, своеобразно. Ничего официального. Публики много как никогда. Это показывает, насколько этот поэт выделяется из множества посредственностей и как люди истосковались по чему-нибудь, что бы не напоминало о войне. Всюду война, война, война... Радио, газеты, плакаты. Когда же все это кончится? Идет наше наступление под Ленинградом, под Великими Луками. Каждый вечер мы ждем по радио передачи «В последний час», а война длится, длится без конца. Из-за нее мы постарели, поседели. Кажется, один только Шимкус из «старой гвардии» прежний. Пятрас моложе меня на три года — седой. Я поседел за год. Какими мы вернемся в Литву — если вернемся?

6 января 1943 г., среда

Новый год мы встретили в Замоскворечье, у Третьяковки, в Лаврушинском переулке, в квартире Регины Янушкевич, где сейчас живет Костас. Регина — наша переводчица (переводит прозу). Еще с гражданской войны она живет в Советском Союзе. Вместе с кинорежиссером Николаем Экком написала сценарий «Путевка в жизнь» и сама играла в этом незабываемом фильме роль матери. Пользуется известностью и ее пьеса из литовской жизни — «Фугас заложен». Из «стариков» пришли только Пятрас, Костас и я. Саломея не явилась, хотя и обещала (конечно, трудно отойти от ребенка. Вообще она преувеличенно чувствительная и нервная. Но это понятно: за войну ей пришлось много испытать). Были еще Казис Прейкшас, две артистки эстрады и белорусский писатель Михась Лыньков. Острили, веселились, хохотали...

Несколько дней назад из Молотова (Перми) приехал Аугустинас Грицюс. (Перед войной его выслали из Литвы как сотрудника официоза «Лиетувос айдас». Теперь этот благородный человек, много и напрасно страдавший, был освобожден и приехал в Москву.) Он исхудал, но счастлив хотя бы потому, что у него еще есть семья.

Вначале поживет в Москве, «оправится», а потом поедет в Переславль-Залесский, в литовский ансамбль.

Я занят делами наших детдомов. Их у нас сейчас несколько: два в Горьковской области, по одному в Кировской, в Мордовии и Удмуртии и один под Ташкентом. Я хожу по различным учреждениям, «выколачиваю» для детдомов самые разные вещи, даже овес лошадям. Все это рассеивает, трудно сосредоточиться для творчества, хотя в голове уже созрело несколько тем. Если удастся достать комнату (из гостиницы «Москва» просят съехать — слишком долго там живу), засяду за работу.

На Кавказском и Сталинградском фронтах наши дела улучшились. Освобождены Нальчик, Прохладная, Цимлянская. По всему видно, что могут отрезать немцев на Кавказе. Это поднимает наше настроение. Освобождены и Великие Луки, — это, пожалуй, самая близкая точка от Литвы.

На встрече Нового года не было Шимкуса — он работал в Радиокомитете, Балтушис болел, Банайтис уехал в Переславль-Залесский. Как хорошо, что он перенял обязанности начальника управления по делам искусств, которые у меня отнимали много времени. Но все же начало для наших художественных ансамблей я уже положил: побывал в Кремле у Розалии Землячки — по поводу бюджета. (Землячка — видная революционерка, работавшая еще с Лениным. Когда она узнала, что я литовец, то спросила: «А скажите, жив ли Адомас Ластас? *» — «Жив, — ответил я, — он видный наш поэт. Остался в оккупированной Литве». — «Знавала его, — ответила Землячка. — Молодцом был парень». Неудобно было расспрашивать ее о Ластасе. Когда после войны я об этой беседе рассказал самому Ластасу, тот тоже ничего определенного сказать не пожелал — где, при каких обстоятельствах познакомился с Землячкой... Скорее всего, после революции 1905 года, когда Ластас учился в Москве и довольно активно участвовал в студенческом движении. Землячка умерла в 1947 году. *Позднейшая приписка.*) Я ходил к заместителю начальника Госплана СССР, к председателю Комитета по делам искусств Михаилу Храпченко. Выхлопотал средства, фонды материалов для ансамблей, получил место для них. Сейчас, когда основные вопросы решены, Банайтису при-

дется в основном выполнять обязанности художественного руководителя ансамблей.

Читаю «Фронтовой дневник» Евгения Петрова. Пожалуй, это одна из лучших книг об этой войне. Наблюдательная и искренняя. В этой книге много человеческого тепла. Не знаю, что можно с ней сравнить...

Эренбурга впервые слышал в Москве, в Доме литераторов. Говорил он перед маленькой аудиторией — слушателей было человек 10—15. Меня удивило такое отсутствие интереса, тем более что Эренбург не так давно вернулся из Парижа и редко показывался публично. Во второй раз его видел, когда он читал лекцию в нашем Постпредстве. По внешности, манере выражаться, жестам — это настоящий европеец. Его речь очень субъективна — он говорил, что все немцы одинаковы, отрицал их культуру и цивилизацию, не делал никакой разницы между гитлеровцами и другими немцами...

Наконец-то вышло из печати наше первое издание за войну на русском языке — «Живая Литва». Печатали с самой весны, потому что московские типографии работают сейчас чрезвычайно медленно. Наши литовские издания тоже месяцами лежат в типографии. Книжка моих рассказов «Путь в Литву» была сдана еще в сентябре, до сих пор нет сигнальных экземпляров.

12 января 1943 г., вторник

Цвирка:

— Есть писатели, которые вечно молоды. Таков Диккенс. В них есть что-то, что не позволяет им стареть. «Август» Гамсуна я так и не могу дочитать — все надуманно, скучно.

Вчера Палецкис (он вернулся из Сибири), Костас, Шимкус и я обсуждали кандидатуры на Сталинскую премию. К тем, которые мы предложили раньше, Палецкис настойчиво советовал добавить Людаса Гиру. Костас воспротивился — на его последний сборник стихов («Партизанскими тропами») он написал и вручил нашему Государственному издательству резко отрицательную рецензию. Палескис подчеркнул, что если премию и дадут, то за совокупность литературной работы. Шимкус полагает, что наилучший отзвук получил бы факт, если бы премия была присуждена Саломее.

Несколько дней уже живу в гостинице «Националь». Комната прекрасная, с ванной, только нет горячей воды.

Сегодня полдня проходил, хотел купить часы, но еще не достал (летом у меня украли в трамвае мои швейцарские — подарок жены).

Сегодня я снова начал писать, — чувствую, что настроение для этого подходящее.

17 января 1943 г., воскресенье

Вчера вечером Пятрас позвонил мне, что радио передает важное сообщение — началось наше развернутое наступление на юг от Воронежа, а под Сталинградом окружены 22 немецкие дивизии; они не приняли ультиматума сдаться и теперь уничтожаются. Сегодня сводка Совинформбюро занимает почти целиком первую полосу газет. Какая у всех радость! Пожалуй, уже в этом году можно ждать окончания войны. Мы собираем пожертвования на эскадрилью «Советская Литва». Я пожертвовал на танки через Союз писателей две тысячи рублей, а на самолеты — еще тысячу.

В Москве Владас Мозурюнас * и Альпас Лепснонис *, прибывшие из прифронтовой полосы, из газеты «Уж тарибу Лиетува» («За Советскую Литву»). Мозурюнас — тихий, спокойный паренек с приятной улыбкой. Пишет хорошие, талантливые стихи. Пожалуй, станет хорошим поэтом. Лепснонис любознателен, всем интересуется. Выйдет ли из него серьезный критик (он пишет критические статьи), трудно сказать.

Получил сигнальный экземпляр «Пути в Литву». Выглядит не очень приглядно, особенно обложка.

На днях из Переславля-Залесского вернулись Снечкус, Гедвилас и другие. Дела ансамбля идут хорошо.

Вспоминаю Элизу, Томаса... Время сгладило боль, но если я вернусь в Литву, а их не окажется? Хватит ли у меня сил жить и создавать новую жизнь — без них, которых я любил больше всех на этой земле? ..

26 января 1943 г., вторник

Это не девушка, а просто «последний час».

На патефон положили неудачную пластинку. Один из танцоров:

— Это не вальс, а воздушная тревога.

В трамвае. Мужчина кричит:

— Гражданка, ты не пихайся! Думаешь, что я Геркулес? Мужик теперь слабее бабы. Дай мне хорошие харчи — тогда дело другое...

На Арбатской площади стоит бородатый старик. Протянув руку, просит:

— Подайте, подайте, бога ради...

Юноша, услышав это, останавливается:

— Эй, старик, ты что, не знаешь, что бог отменен уже в восемнадцатом году?

— А?

Старик, видно глуховат.

— Говорю, не знаешь, что бог отменен в восемнадцатом году?

— А? Не знаю.

— Как это не знаешь? Где же ты все время жил?

— А?

— Где же ты жил, спрашиваю, все время?

— Где жил-то? В Москве жил. Москвич я...

— Так как же ты не знаешь, что бога нет? Проси лучше Христа ради. Христос хоть историческая личность...

Подъезжает переполненный трамвай. Я протискиваюсь в него. Конца разговора не слышу.

С Цвиркой вечером мы часто вместе идем из Постпредства в гостиницы — он в «Москву», я в «Националь». Разговоры — война, положение на фронтах, литература — Диккенс, Филдинг, Смоллетт, Томас Гарди, Анатоль Франс. Цвирка мечтает:

— Хотел бы когда-нибудь жить в своем доме, среди любимых книг. Хотел бы иметь целую комнату самых любимых книг, хотя и не все бы читал, наверно. К старости, без сомнения, останется лишь парочка любимых авторов...

Прошлой ночью кончил «Давида Копперфильда». Лев Толстой сказал: если выжать всю английскую литературу — останется Диккенс, если выжать Диккенса —

останется «Давид Копперфильд», если выжать «Копперфильда» — останется глава «Буря». «Буря» на самом деле написана с необыкновенной силой, с нечеловеческой достоверностью — по-толстовски. Туча — как дым сырого дерева... Глава гениальна, она должна бы входить во все хрестоматии, все ученики должны бы заучивать ее наизусть.

Много времени теряю с детскими домами. Вообще служба, руководство — тяжелый груз для меня, хотя всю свою жизнь я никак не мог этого избежать. Время, когда я был министром и наркомом, — самое тяжелое в моей жизни. У меня есть одна злосчастная черта — педантичное чувство долга. Если бы не это, пожалуй, куда большего добился бы в литературе.

На фронтах — как нельзя лучше. Сегодня объявлен приказ Сталина по армии — благодарность за снятие блокады Ленинграда, за освобождение Кавказа и т. д. Дела немцев плохи. Но не начнут ли англичане махинации с Прибалтикой, если настанет критический момент? Кажется, что, несмотря на официальную радость, прорыв блокады Ленинграда их довольно-таки волнует.

Сколько книг интересуют и привлекают меня! На столе «Талейран» академика Евгения Тарле (его книга о Наполеоне прекрасна!), «Перегрин Пикль» Смоллетта, Киплинг. Английскую литературу я знаю меньше всего, — даже Киплинг для меня открытие. Читал Теккерея, ну, конечно, знаю Шекспира, Байрона...

Иногда МХАТ. «На дне» Горького — настолько русский спектакль, что ни в какой другой стране не может быть ни такой жизни, ни такой пьесы. Прекрасен бродяга Лука; играл гениальный Тарханов.

Саломея написала небольшую поэму о том, как гитлеровцы бомбили пионерлагерь в Паланге. Костас говорит: в поэме много Саломеи и мало Паланги. Она читала мне из этой поэмы удивительные места о любви к Родине. Сейчас Саломея живет неподалеку от Арбата, на восьмом этаже, в невероятно холодной комнате. Она героически переносит все лишения — никогда не слышу от нее жалоб и нареканий...

Пятрас получил от жены письмо — в Алма-Ате плохо с продуктами, Мария страдает от холода (и там холодно!), спит одетой, даже в ботах. Он хочет ее перевезти в Москву.

Читал «Наполеона» Тарле и удивлялся: какое сходство между страшными деяниями этого великого человека и обыкновенным головорезом Гитлером. Тарле в прошлом году издал книжку, в которой доказывает, что между Наполеоном и Гитлером нет и не может быть ничего общего, а его книга о Наполеоне говорит обратное. Между прочим, только книга, Тарле открыла мне все величие и ничтожество Наполеона.

Цвирка читал несколько строф из поэмы, которую пишет (белым стихом). Своей поэмой он собирается «утереть нос» всем поэтам. Бог в помощь!

Ко мне в номер заходил Корсакас. Беседовали о перспективах войны. Я уговаривал его написать хотя бы краткий курс литовской литературы, — когда вернемся домой, он будет очень нужен, — и твердил ему, что главной задачей его жизни должно быть написание, скажем, трехтомной истории нашей литературы периода буржуазной Литвы. Никому другому это не под силу. Корсакас с великим удовольствием читал Чехова и Хемингуэя, хочет заново перечитать Мопассана.

— Когда почитаешь таких писателей — просто руки опускаются.

Просмотрел рукопись новой книги Йонаса Марцинкявичюса, отбирал материал для сборника, который готовится к изданию в Америке.

3 февраля 1943 г., среда, Горький

Сегодня приехал в Горький. Холодно, снег. Холодно на улице и в гостинице, номер получил с превеликим трудом. Помню, мы останавливались здесь в прошлом году, когда ехали из Пензы в дивизию, — Гира, Костас и я. Тогда, после трудной поездки (ехали мы по-военному: ни сидеть, ни стоять было нельзя, просто висели в воздухе), гостиница показалась нам настоящим раем, тем более что мне удалось выхлопотать для всех замечательный

обед и много хлеба. Все мы веселились, — нам казалось, не хватает только шампанского... Теперь в гостинице холодно, неуютно, темно, все запущено. Военные лишения здесь ощущаются особенно остро.

Я приехал сюда, чтобы попасть в Ичалки, Пьяно-Перевозовского района, где сгорел наш детдом. Дети уже второй раз переживают такой ужас: в первый день войны их бомбили в Паланге. Теперь сгорел их дом, но ребятишки и имущество, к счастью, были спасены. Оказывается, из Горького уже туда выехал Юозас Стимбурис *, уполномоченный нашего Совета Народных Комиссаров по Горьковской области. Я послал ему телеграмму, спросил, нужен ли мой приезд.

Под Сталинградом, или, точнее говоря, в самом Сталинграде, завершилась битва, по-видимому самая грандиозная в истории человечества. Сталинграда не стало, но не стало и 330 тысяч немцев с 2500 офицерами, 24 генералами и самим главнокомандующим армией фельдмаршалом Паулюсом. Последние новости я узнал сегодня на улице от одного лейтенанта. Все тяготы войны легче переносятся, когда слышишь о таких событиях и когда понимаешь, какой героизм проявили наши воины. Черчилль побывал в Турции. Не подумывают ли западные державы об ударе по немцам через Румынию, Болгарию и... Польшу? Так или иначе, но война, видимо, вошла в новую фазу, и это не сулит ничего хорошего Гитлеру. Вся Европа с нетерпением ждет конца войны.

В прошлом году, когда мы приезжали из Балахны в Горький, нас почти каждый раз настигали воздушные тревоги и бомбежки. Особенно памятен мне один снежный день — в нескольких шагах не было видно человека. Казалось, в такой день не могут появиться вражеские самолеты. И вдруг грохот бомб, огонь зениток. Мы под бомбежкой пешком шли через Оку по льду, потому что через мост не пускали. Теперь немцы давно уже не показываются не только над Москвой. Горький они тоже последний раз бомбили чуть ли не на прошлые Октябрьские праздники — сбросили пару бомб...

5 февраля 1943 г., пятница, Горький

Я побывал у заведующего Горьковским облоно. Встретил Брауэриса * — бывшего директора детдома в Ичал-

ках. Нестарый, но глухой и замученный всякими болезнями. Производит впечатление начитанного человека.

— Италия — сапог на ноге Гитлера, который втянет его в воду, — сказал Брауэрис, когда мы беседовали о международном положении.

Сказано не без остроумия. Про меня он знает с той поры, когда мы издавали «Третий фронт». О, какое это далекое время! Детское и — чудесное время! Двенадцать лет прошло. Годы принесли нам много счастья и много горя. И все-таки нас, как и тогда, одолевает ненасытный голод жить, работать, творить, любить. Хотя и меньше стало энтузиазма. Появились скептицизм, равнодушие ко многому, чего не было раньше. Тогда мы были неразлучными — Цвирка, Шимкус, Корсакас. И, что важнее всего, по сей день мы, плюс еще Саломея, остались ближайшими друзьями и тащим, как умеем, телегу литовской литературы. А что будет еще двенадцать лет спустя? Будущее непроглядно. А может, это и к лучшему. Тяжело было бы жить без иллюзий...

В Горьком скучно, — жду, пока вернется Стимбурис. С фронтов поступают обнадеживающие вести.

8 февраля 1943 г., понедельник, Горький

Битвы под Ростовом, на Украине. Каждая ночь приносит известия о новых победах.

Пользуясь досугом (Симбурис вернется только сегодня), читал письма Ленина Горькому, статьи Р. Люксембург о литературе, Луначарского. Интересно их почитать; произведения нынешних доктринеров о литературе валятся из рук — до того они скучны, неинтересны. Еле переварил книжонку какого-то Гурштейна «Проблемы социалистического реализма». Восхищаюсь американскими новеллами Эрскина Колдуэлла. Что за чудо этот американский Чехов — особенно паузы, недоговоренности!.. Он нравится мне не меньше Хемингуэя, роман которого «Прощай, оружие!» — одно из самых прекрасных произведений, написанных когда-либо о войне и любви.

12 февраля 1943 г., пятница, Москва

Вернулся в Москву. Снова живу в гостинице «Москва», 841-й номер. Хочется взяться за дело, но мешают хлопоты с детдомами и другое. Вчера в Литву отбыли Мотеюс Шумаускас и Генрикас Зиманас. Они будут организовывать там партизанское движение. Юозас Жюгжда сказал:

— Сказали бы мне: «Езжай», — не думал бы ни минутки.

Он болен — явно мучается гибелью жены и тоской по Литве.

Увидимся ли когда-нибудь с уехавшими товарищами? Нас волнует и восхищает их мужество и патриотизм. Им в Литве будет опаснее, чем кому-либо другому. Кроме всего прочего, их там многие знают...

Все время стараюсь не утратить душевного равновесия и сохранить способность к работе. Это не легко, но ведь многие переживали еще более трудные дни. Как приободряет письмо Розы Люксембург, написанное в 1917 году из тюрьмы подруге.

«Когда весь мир потрясен до основания, — писала Р. Люксембург, — я стараюсь лишь понять, что и почему случилось, и если я исполнила свой долг, то я снова спокойна и в хорошем настроении... Ну, а там мне остается еще все, что в обычное время радует меня: музыка и живопись, и облака, и собирание растений весной, и хорошие книги, и Мими, и ты, и многое, многое другое, — короче говоря, я очень богата и надеюсь такой остаться до конца. Мне вообще непонятно и для меня невыносимо это растворение без остатка в горестях текущего дня. Посмотри, например, с каким холодным спокойствием возвышался Гёте над событиями дня. Подумай только, что пришлось ему пережить: великая французская революция, которая вблизи, несомненно, представлялась кровавым и совершенно бесцельным фарсом; затем, с 1793 по 1815 год, непрерывная цепь войн, в течение которых мир представлялся просто сумасшедшим домом. И с каким спокойствием, с какой душевной уравновешенностью продолжал он в то же время исследования о мета-

морфозе растений, о теории красок, о тысяче других вещей. Я не требую, чтобы ты писала стихи, как Гёте, но его жизнепонимание — универсальность интересов, внутреннюю гармонию — каждый может усвоить себе или, по крайней мере, должен стремиться к этому. И если ты скажешь, что Гёте не был политическим борцом, то я думаю, что именно политический-то борец как раз и должен стремиться возвыситься над повседневностью. В противном случае он погрязнет в пустяках. . .»

(Прочитав эти слова, я подумал: я не политический борец, я — один из миллионов рядовых людей, закрученных вихрем войны. Но, может, эти слова написаны для меня? Для меня — и всех, кто думает, страдает, надеется, старается хоть песчинкой перевесить на светлую сторону мир лжи, коварства, жестокостей и смерти. . . И мне от этих слов и мыслей становилось легче, словно я нашел свое место и понял свои задачи в страшных буднях военных лет.)

ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДА

Сталинградская битва прогремела на всю страну знамением радости, надежды и неизбежной победы. Трудно рассказать теперь с каким восторгом и ликованием встретили эту весть люди в Москве, в городах и селах, бойцы Красной Армии на фронтах, партизаны на оккупированных территориях. Каждому советскому человеку стало ясно, что силы гитлеровцев окончательно подорваны, что наша армия закалилась в жестоких боях. Перевес немецкой техники уходил в прошлое, наши заводы в глубоком тылу производили все больше оружия. Увеличилась и помощь от союзников — самолетами, танками, артиллерией, грузовиками, одеждой и продовольствием.

В тылу люди жили тяжело, работали много. Трудились даже дети. Нелегко приходилось женщинам, которые теперь заменили мужчин на предприятиях. Женщины обрабатывали и поля (а тракторы стояли из-за нехватки горючего, не было лошадей), работали на транспорте, в госпиталях, в связи и воспитывали детей. Снабжение продуктами улучшилось, но норма на иждивенцев оставалась маленькой. На рынке почти ничего нельзя было купить, или же цены оказывались недоступными.

Но после Сталинградской битвы настроение совершенно изменилось. Многим казалось, что теперь уже не трудно будет разгромить гитлеровскую армию. Как бы в подтверждение этому в феврале 1943 года был освобожден Харьков, но не прошло и месяца, как гитлеровцы вновь захватили Харьков, чуть ли не четвертый по величине город в Советском Союзе. И мы увидели, что силы немцев еще не сломлены, что летом предстоят жестокие сражения. Всех тревожил тот факт, что, хотя союзники вели сражения с гитлеровскими войсками в Африке и бомбили территорию Германии, второго фронта в Западной Европе по-прежнему не было...

Конец зимы и весна 1943 года на фронтах были спокойными. И Советский Союз и Германия готовились к летним сражениям. Но то, что на фронте называется «сравнительно спокойным» периодом, часто на поверку оказывается кровавыми боями, которые не определяют судьбу армий и территорий, но требуют сотен, тысяч, а иногда и десятков тысяч жизней. Таким оказался и февраль 1943 года, когда в первые бои, тяжелые и кровавые, вступила Литовская дивизия. Эти бои, как и дальнейшие сражения Литовской дивизии, уже описаны их участниками, прошедшими нелегкий и героический путь от орловских полей до Клайпеды. Мне довелось наблюдать вблизи первое сражение дивизии (хотя и не в самый жаркий период), да и после него некоторое время пришлось провести на фронте. Я не военный историк, не буду вдаваться в разбор того, почему первый бой дивизии оказался неудачным и потребовал много человеческих жертв, хотя и продемонстрировал мужество и выдержку наших бойцов. Это — задача будущих историков. На фронте я вел заметки и, вернувшись в Москву, по этим заметкам и свежим впечатлениям написал о том, что видел и слышал. Сейчас, когда прошло уже много лет после этих событий, я привожу свои записи в их первоначальном виде, дополнив несколькими эпизодами. Надеюсь, что они напомнят читателю об одной странице участия нашей нации в Отечественной войне. В те дни я пережил действительно немало.

На фронте я находился в марте-апреле 1943 года. Из Москвы отправился на фронт вместе с Антанасом Снечкусом и Мечисом Гедвиласом, а на фронте особенно тесно

общался со старшим лейтенантом Красной Армии Йонасом Марцинкявичюсом, с которым мы позднее вернулись в Москву.

Москва просыпалась. На улицах, золотых от утренней зари, раздавались гудки автомашин. Залязгали трамваи, они везли тысячи рабочих на утреннюю смену. У Красной площади из серебристого ночного тумана вынырнули высокие, мощные стены Кремля, башни, Мавзолей Ленина.

Под землей снова засверкали яркие светильники, задвигались эскалаторы, опуская тысячные толпы в светлые мраморные станции метро. После ночного перерыва пришли в движение светлые, удобные поезда, сверкающие стеклом и алюминием. По улицам шагали красноармейцы, и трамваи, троллейбусы, автобусы спешили: быстрее, быстрее! Дорог каждый час, каждая минута! Был будничный день Отечественной войны, и сегодня надо было изготовить больше, чем вчера, — больше танков, самолетов, пушек, пулеметов. На предприятиях кончалась ночная смена, людей ожидала работа в учреждениях, магазинах, театрах, школах.

И вот поезд въезжает на станцию. Я прощаюсь с летчиками, с которыми ехал последнюю ночь, и, пройдя проверку, вхожу в Москву. Я снова в сердце мира. Я снова в городе, к которому рвались закованные в железо дивизии врага и, столкнувшись с несокрушимой силой, рассыпались в прах у стен Москвы. Я снова в городе, который никто не может победить, где каждый человек нашей великой Отчизны — литовец, латыш, русский, узбек, татарин, киргиз, грузин — чувствует себя полноправным хозяином. И я счастлив от мысли, что моя великая страна непобедима, что не побеждена, непобедима и моя Литва. Я видел войну вблизи. Такую страну нельзя поработить — ни бомбами, ни минами, ни жестокостью, превосходящей человеческое воображение.

Я вернулся к повседневной работе. И когда сел за письменный стол и взял в руки перо — задумался: смогу ли хоть приблизительно показать то, что видел за эти несколько недель на фронте? Сумею ли передать хоть частицу тех ужасов, которые принес на нашу землю фашизм? Сумею ли отобразить кровь и грязь и нечеловеческое напряжение, которого требует борьба с нацизмом?

Удастся ли мне показать хоть малую частицу героизма, выдержки, самопожертвования, отваги, которые проявили на полях сражений простые люди — литовцы? Перед моими глазами снова движутся картины фронтовой жизни — сожженные немцами деревни, ограбленные люди, гул артиллерии, разрывы мин, треск пулеметов. И я вижу бойцов, тех самых бойцов, которые делились со мной жесткой фронтовой постелью, с которыми я ел из одного котелка, которых видел уходящими в бой и во время боя, видел на отдыхе.

Вся наша любовь, все тепло наших сердец посвящены им — героям, исполинам духа, которые своей кровью прокладывают дорогу к победе и к свободе всего мира.



ИЗ ВОЕННОГО БЛОКНОТА



ПУТЬ НА ФРОНТ

Когда машина выезжает из Москвы, еще в пригородах видны противотанковые рвы, выкопанные между домами, и «ежи» — скрещенные металлические балки, торчащие из земли. Так Москва готовилась к встрече с врагом. Но сейчас враг оттеснен от столицы, и только разрушенные бомбами дома, вырытые во дворах убежища да заколоченные досками окна говорят, что Москва пережила опасные и напряженные дни.

В свете погожего мартовского дня белеет снег на полях. Холмы, долины, перелески поразительно напоминают Литву, — подчас просто забываешь, что едешь по Подмосковью. Кажется — вот-вот вынырнут башни знакомого костела и, остановившись в городке, встретишь знакомых: ведь нет в Литве места, где бы не жили твои товарищи по гимназии, университету, люди, с которыми работал в одной редакции, с которыми жил в одном городе или встречался хоть раз...

Но мимо ползут незнакомые деревни и городки. И чем дальше едешь, тем отчетливей бросается в глаза, что неподалеку проходила передовая. Поля изрезаны противотанковыми рвами и окопами, все больше сожженных или разрушенных домов, все больше домов с заколоченными окнами. Вокруг — безмолвие полей. Бесшумно скользят навстречу сани; идут тепло одетые женщины и старики — молодежь на фронте. Изредка встретишь легковушку или грузовик, иногда остановит регулировщица — юная серьезная девушка в военной форме. Она тщательно проверяет документы, потом, приложив руку к шапке, говорит: «Можете ехать!»

Вот новый мост через реку. Старый был взорван, когда немцы рвались к Москве. А может, его разрушили вражеские бомбы? Может, взорвали партизаны, когда эти места были под оккупантами? Саперы быстро восстанавливают разрушенные мосты, и по ним снова движутся сани и машины — одни в сторону фронта, другие обратно, в Москву.

Мы проезжаем Серпухов и Тулу. Минуем Ясную Поляну. Машина катится все дальше, — нашим взорам открываются необозримые пространства, из которых уже выдворены захватчики. Видны дома с выбитыми окнами, сгоревшими крышами, тоскливо торчат из снега печные трубы, на лицах прохожих можно прочитать те страдания, которые выпали на их долю в фашистском рабстве. Оккупанты отобрали все — многие семьи остались без фунта хлеба, без единой картофелины. Людей разули, раздели — жители натянули на себя какие-то чудовищные лохмотья. Часто из семьи в живых оставались один или двое. Встречаем десятилетнего мальчика. Он бредет по дороге — озябший, в лице ни кровинки. Тащит за собой салазки.

— Куда идешь?

— Не знаю.

— Откуда будешь?

— До моей деревни тридцать километров.

— А родители твои где?

— Фашисты застрелили. Я с бабушкой живу. Бабушка хворая, работать не может.

— А братья?

— Один в Красной Армии, а другого фашисты на каторгу увезли. И сестричку увезли.

Обычная история для мест, где побывали оккупанты. А люди здесь, как видно, жили раньше богато. Дома каменные, чистые и аккуратные, земля — плодородный чернозем. Здесь люди спокойно жили и трудились, не подозревая, что им уготована такая участь. И на нас наваливаются мысли, тяжелые и страшные. Может, и литовские дети бродят сейчас по разрушенным деревням и роются в мусорных свалках в поисках пищи? И загорается в груди жажда мести. Все это содеяно ими, фашистами! И никакая месть не сможет возместить этого! Никакая!

Ночуем в освобожденном Ефремове. Это немалый город и крупный железнодорожный узел. В окрестных ле-

сах когда-то бродил с ружьем Тургенев, здесь жил Бунин. Сейчас через Ефремов и днем и ночью идут эшелоны на фронт. Сотни танков, орудий, тысячи пулеметов. Через этот узел на фронт переправляются сотни тысяч тонн продовольствия. И немцам это хорошо известно. Заняв город, они порядком в нем «похозяйничали». Страшно смотреть на кварталы новых пяти- и семиэтажных домов, бессмысленно сожженных и разрушенных. Уцелевшие дома потрескались от взрывов, окна забиты досками и заложены кирпичом — так безопасней во время бомбежек. Вражеские самолеты по-прежнему частые гости здесь. Правда, нелегко им сюда прорваться — фронт довольно далеко, а противовоздушная оборона города сильна. Самолеты врага на подступах к городу встречают наши соколы. А если кому и удается добраться до города, то нарывается на такой заградительный огонь, что загорается и падает.

Все крупные магистрали, ведущие на фронт, — железные дороги и шоссе — неусыпно защищаются. Фашисты, правда, пытаются бомбить поезда и колонны машин, но редко добиваются ощутимых результатов — за время войны наши авиация и противовоздушная оборона набрали силу.

Чтобы за день добраться до передовой, мы покидаем город ранним утром. В густом тумане едва видна дорога, которая бежит по белым полям, минуя разрушенные деревни и городки. Когда восходит солнце и туман рассеивается, чувствуем, что передовая все ближе и ближе.

Поля гладкие, как скатерть, и, насколько видит глаз, по ним беспрерывным потоком движутся грузовики. Они едут по дорогам, проложенным прямо в снегу, где раньше было ни пройти, ни проехать. Мчатся санитарные машины. С недалекой взлетной площадки поднимаются наши самолеты и улетают бомбить тылы врага. Наша машина обгоняет колонны бойцов, шагающих на фронт. Ясный, безмятежный зимний день, но на полях не видно гражданского населения. Они были бы совсем мертвы, эти поля, если бы не множество автомашин на дорогах. Но и машины стараются соблюдать интервал, чтобы вражеским самолетам труднее было поразить их.

Чем дальше, тем глубже снег. Наша машина то и дело исчезает между двумя снежными стенами. У дороги

торчат сожженные машины врага, подбитый танк, брошенные пушки. И вдруг в чистом поле мы видим их, фашистов.

ВИДИМ ФАШИСТОВ. МИННЫЕ ПОЛЯ

Один лежит навзничь, широко раскинув руки. Эти руки больше не будут убивать и грабить. На голове зеленый металлический шлем, рот разинут, остекленевшие глаза смотрят в пространство. Он лежит на снегу, уставился в звезды. Рядом с ним другой — ничком, подогнув под себя ноги. Эти ноги немало промаршировали. Может быть, они топтали виноградники прекрасной Франции, шли по трупам польских детей, травили хлеба югославских крестьян, попирали священную землю нашей родины. Больше они ничего не будут топтать. А вот целая груда немецких трупов. Лежат вповалку, — не различишь, где чьи ноги, а где руки. Посиневшие лица, зеленые шинели. Вокруг раскиданы соломенные чувяки для защиты от русских морозов. Из сугробов торчат то голова с обмотанными полотенцем ушами, то рука в «интеллигентской» перчатке, стиснутая в кулак, то нога в сапоге или огромном соломенном чувяке — «валенке», над которыми весело смеются тепло одетые и обутые наши бойцы. Вот еще не разобранные проволочные заграждения. В несколько рядов протянулись они по полям, и земля взрыта занесенными снегом окопами и блиндажами. Фашисты установили эти заграждения и вырыли окопы. Они думали укрыться в них и пересидеть всю зиму. Но случилось иначе. Наша армия ударила по ним так внезапно, что они бросились бежать. Немало фашистов нашло конец в окопах, да и на проволочных заграждениях повисли трупы врагов. Наша армия слишком занята — она догоняет бегущих врагов, ей некогда собирать трупы фрицев и хоронить их.

Откровенно говоря, даже труп врага — зрелище не из приятных. Сразу же отворачиваешься. И тут в сознании возникают картины разрушенных деревень и сожженных городов, сердце сжимает ненависть к этим извергам, которые столько принесли горя ни в чем не повинным людям. И ты радуешься, что мертвецы, валяющиеся на обширных полях России, больше не встанут со своего холодного ложа, не будут больше убивать, вешать, не

станут сжигать дома, насиловать женщин и расстреливать детей. Пускай валяются тут, куда они сунулись без спросу и где столь бесславно кончился их путь!

Рядом с дорогой мы видим столбики с надписями: «Осторожно! С дороги не сходить! Вражеские мины!» Такие столбики то тут, то там торчат из снега. Это фашистские минные поля. Видя, что стремительное продвижение Красной Армии не могут сдержать ни окопы, ни проволочные заграждения, ни техника, фашисты заминировали поля и дороги, по которым их преследовали наши войска. Наши отважные саперы шли в авангарде армии и внимательно расчищали дороги от мин. Я видел, как разминировали поле. Это нелегкое дело, оно требует большой осмотрительности. Говорят, что сапер ошибается только раз в жизни. Но опытные саперы погибают редко. Они осторожно продвигаются по полю, где в земле в металлических коробках зарыты мины, и обезвреживают их.

Жестокость фашистов известна всем. Они стремятся уничтожить не только армию своего противника, но и гражданское население. Для этого они выдумали адские уловки. Мины они зарывают в землю и в снег, сбрасывают с самолетов, изобрели даже мины, похожие на мундштук, — возьмешь его в руки, а он взрывается. В прифронтовой полосе люди находили коробки, куски разноцветной материи, мыло, конфеты и другие предметы, которые кто-то назвал «сюрпризами», — их обычно находят и берут в руки дети. А это — взрывчатка. Воины хорошо знают, чем грозят такие предметы, они их не трогают, а вот дети и мирные жители часто гибнут или остаются калеками. Фашистские убийцы, горящие звериной злобой против гражданского населения, могут радоваться: этим коварным способом они убили и искалечили уже много детей и женщин в оккупированных районах.

Наша машина с рычаньем ползет по уже разминированной дороге. Мы видим, как саперы ходят по снежным полям с миноискателями, обезвреживая мины. Они не оглядываются на проезжающих — заняты своим героическим трудом. Они спасут сотни жизней.

Все ближе и ближе фронт. Тихим мартовским вечером издали доносится гул орудий. Поначалу кажется, что идет гроза, но весна придет сюда еще не скоро — тол-

стенный слой снега и не думает таять. А недавно здесь свирепствовала пурга, да такая, каких у нас в Литве и не бывает.

— Мы тогда шли на фронт, — рассказывал позднее боец, скручивая цигарку, когда мы в промежутке между двумя боями грелись у раскаленной добела печурки. — Я не мог себе представить, что бывает такая несусветная пурга. Когда мы выступили из лагеря, погода была сносной, но потом похолодало, а снегу было по колено. Мы брели по широкому снежному морю, которому, казалось, нет ни конца ни края, целых шестьдесят пять километров. Потом остановились в сожженной деревне Муратово. Изб нет — остались только холодные погреба. Мы порядком умаялись и забылись тяжелым сном. Бойцы укрылись, отогрелись. Вечером выступили дальше. Этот последний поход был самым трудным. Пурга, какая была пурга! Господи! Только изредка в густом, непроглядном тумане, вроде холодного и липкого молока, виднелась спина товарища. Лошади с трудом тащили сани. Машины увязали в снегу. Бойцы толкали их, напрягая все силы, но ничто не помогало. А шли мы в полной боевой выкладке. Ноги увязали в снегу, подчас казалось, что еще шаг — и мы свалимся и не поднимемся. И так день, второй, третий. Мы шли мимо сожженных деревень, у дорог валялись мертвые фашисты и объеденные трупы лошадей. Мы шли и спали на ходу от усталости. Глаза слипались, а снег бесконечными волнами катил по полям, занося дороги. Люди коченели, ничего не видели в тумане, но мы шли вперед. И каждый жаждал побыстрей встретиться с фашистами.

— С фашистами?

— Да. Мы же видели, что они творили всюду, где только побывали... Помню, входим в одну избу. Старая, седая женщина показала нам в окно — вот там... Несколько десятков пленных красноармейцев немцы облили бензином и сожгли живьем. Трупы забросали землей. Крестьян почти всех перебили. Этой седой женщине не было еще тридцати. Теперь вы понимаете, почему мы хотели побыстрей встретиться с фашистами? — кончил боец, глядя на меня покрасневшими глазами. Потом жадно затянулся дымом, бросил окурок в печурку и принялся одеваться. — Мне пора на передовую, — на прощанье сказал он. — До свидания!

И он исчез, ушел туда, где лаяли немецкие мины и стрекотал за холмом пулемет.

Но это было позднее, уже на фронте. Теперь мы только издали слышали гул орудий и даже не знали, чьих — наших или вражеских. В воздухе, под покровом темноты, взревел самолет. Мы еще не научились на слух определять, чей он.

Неподалеку от фронта нас поджидал боец-литовец. Его послали на дорогу встретить нас, чтобы мы долго не плутали в поисках штаба.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал он, приложив руку к шапке, и отрапортовал о своем поручении.

— Фары погасите, — предупредил он шофера. — Видите, фашисты пускают ракеты, — сказал он, садясь к нам в машину. — Ночью они боятся нашей атаки. Иногда как начнут швырять ракеты и стрелять трассирующими пулями — настоящий фейерверк.

Взмыв в воздух, вдали взорвалась зеленая ракета. Поначалу она была похожа на звезду, загоревшуюся на вечернем небе, потом распустила хвост огненных искр и, угасая, медленно опустилась. Вслед за ней взмыло еще несколько — немцы старались помешать пройти нашим разведчикам и сосредоточиться для атаки бойцам.

— В этом лесу, — объяснял солдат, показывая рукой на лесок, чернеющий в сумерках, — засели фашисты. Они, гады, достают из минометов дорогу, по которой мы едем. Иногда постреливают.

Наша машина поднимается на пригорок, опускается в долину и снова поднимается. До расположения нашей части еще семь километров. Лес находится в трех-четырех километрах от нас, но там все спокойно — кажется, в нем ни души. Так и не угодив под обстрел вражеских минометов, мы минуем опасную зону. Вскоре в лунном свете различаем в долине церковь с блестящей луковкой, лед на ручье, черные перила моста и длинную деревню, растянувшуюся в обе стороны от церкви. Это цель нашего сегодняшнего путешествия.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ

Вот они, мои старые друзья! Как они дороги мне, эти люди, с которыми уже давно связали меня жизнь, работа, дружба! Я нахожу их в избах крохотной прифронто-

вой деревушки — они вповалку лежат на соломе и спят. Они отдыхают, вернувшись с передовой, где их замещают сейчас другие товарищи. Они уже притерпелись к адским звукам фронта. Разорвись даже по соседству бомба, они только перевернутся на другой бок и снова заснут, — ведь сон на фронте, наряду с едой, самое главное. Впоследствии и я привык спать всегда и везде: в грузовике, на снегу, на жесткой скамье, на печи, в разрушенном хлеву. Если же под боком окажется охапка сена или соломы — чувствуешь себя просто в раю. Спать можно не только лежа, но и сидя, стоя, спать можно даже на ходу. На фронте никогда не удается всласть выспаться, и каждая минута отдыха дороже всего на свете.

Кто-то проснулся и увидал нас. В избе поднимается такой гвалт, что и другие начинают просыпаться. Мы целуемся с знакомыми, хлопаем друг друга по плечу, вопросы и ответы сыплются со всех сторон. Друзья собирают для нас ужин.

С этими душевными друзьями и замечательными патриотами мы вместе строили Советскую Литву. Тогда мы много работали и мало спали, совсем как сейчас. Сколько вынашивали планов, сколько мечтали о счастье родного края, которому мы отдали пыл молодости, все свои силы и бессонные ночи! Фашизм отнял у нас родную землю, жен, детей, родителей и братьев. Но мы продолжаем начатое дело. Мы только изменили характер работы.

Вот я среди них. И не первый раз. Мы сидим вокруг стола, на котором светится коптилка из снарядной гильзы. Окна плотно зашторены. Усталые глаза покраснели от недосыпания. Лица небриты, — сегодня, вернувшись с передовой, бойцы еще не успели побриться. Жесткие руки, задубевшие от работы и мороза, подпирают подбородок. Я рассказываю им о вестях, которые доходят до нас из Литвы, о том, что пишут газеты американских литовцев о войне и о них — наших бойцах. Все это им очень интересно. Вот молодой парень, крестьянин из-под Укмерге, даже рот разинул, слушая мои рассказы. В конце стола сидит пожилой задумчивый человек, кузнец из Мариямполе.

— Вот гады! — негромко говорит он, не поднимая глаз.

— Кто? — переглядываются товарищи.

— Ясное дело, кто. . .

И все знают, о ком он. Его жена в первый день войны погибла от фашистской бомбы на Костельной улице, где у них был домик. Домик сгорел, а вместе с ним и двое детей кузнеца. Он остался один как перст. Прибыл сюда, на эти занесенные снегом поля, чтобы мстить убийцам.

— Злится, что пока только шестерых фашистов уложил, — говорит бывший председатель волкома из-под Таураге. — Клятвы своей не сдержал.

— Ну-ну-ну... — мрачно бормочет мариямполец. — Я-то выполню, что пообещал. Сказал еще в Литве: за свою семью должен убить хоть сотню фашистов. Война-то еще не кончилась.

И все замолкают.

— А если убьют?

— Это уж нет, братец, — говорит мариямполец. — Пока не уложу, сколько наметил, меня ни мина, ни пуля не тронет.

Открывается дверь, и рослый воин в ушанке отдает честь. В полумраке избы все сразу узнают его.

— Йонас, наш Йонас! — кричат бойцы, и я сразу вижу, что он здесь любим.

И я узнаю его. Это же старый мой друг Йонас Марцинкявичюс!

Мы бросаемся друг к другу в объятия. Он крепко прижимает меня к широченной груди.

— Вот и хорошо, — говорит он, похлопывая меня по плечу. — Вот и замечательно, что приехал. А я-то думал — приедет кто-нибудь из приятелей или нет? Путь далекий, нелегкий... Вот и хорошо. Вот и чудесно, что приехал...

Мы смотрим друг на друга, ищем перемен. Нет, Йонас остался таким, каким был.

— Нате, мы только что выпустили новый номер «Тевине шаукя».

Он раздает бойцам еще пахнущий типографской краской номер газеты соединения, в котором уже появились статьи о первых боях, о первых наградах.

Хозяева усаживают Йонаса за стол. Выясняется, что он, как обычно, с самого утра еще ничего не ел. Был в медсанбате, готовил газету, беседовал с бойцами, вернувшимися с передовой, писал статьи для «Тарибу Лиетувы», издающейся в Москве, и для печати американских литовцев.

— А в соседнем полку ребята оборудовали баньку. С парилкой, как полагается. Надо будет описать, — говорит он, отправляя в рот хлеб и консервы. — Правда, в угол баньки немецкая мина угодила, да пустяк, одного только ранило. Ребята сразу же угол заделали. А удовольствие-то какое — битый час парился. Надо будет отметить. Подумать только — первый наш полк оборудовал баню в фронтовых условиях!

— Ребята, а нашего Пранаса уже описали! — кричит один боец, приблизив газету к пламени коптилки.

— И Гужас, и Денинайте... А с Гужасом мы вместе шли...

— Погоди, погоди! — отодвинув котелок, Марцинкявичюс вытаскивает из кармана записную книжку. — Шли вместе с Гужасом? А ну-ка, рассказывай по порядку. А ты Юодвиршиса не знал? Возчик, отлично работал. Надо отметить. Арманавичюс? Да, знаю. Он вынес с поля боя около шестидесяти раненых. О нем должны узнать порабощенная Литва и Америка. Кем он был? Крестьянином Тракайского уезда? Чудесно! О нем должен узнать весь Советский Союз. Да, чудесный у нас народ!

И он торопливо записывает в блокнот. Крупные буквы налезают друг на дружку, страница за страницей копится драгоценный материал, из которого впоследствии родятся новеллы, повести, а может, и роман.

У Марцинкявичюса удивительный дар общения с людьми. Он — друг и в счастье и в беде. В Балахне и Туле он помогал организовывать в частях самодеятельность, создавать хоры, оркестры, отбирать певцов, чтецов, актеров. В жизнь соединения это внесло столько разнообразия и радости, что, бывало, едва Марцинкявичюс появится в какой-нибудь части, как вокруг него уже собирается вся молодежь.

— Когда репетиция?

— Когда будем устраивать вечер?

— У нас еще один пишет стихи.

Боец вручает ему пачку листков — записал свои воспоминания.

— Может, обработаете для печати?

Его приглашают к молодым литераторам — они устраивают вечер, обсуждение новой литовской книги. Сотни интересных и полезных начинаний, и Марцинкявичюс

всегда находит время, чтобы присутствовать, помочь, посоветовать...

Это было в тылу. Здесь, во фронтовых условиях, Марцинкявичюс тоже вечно в хлопотах — ему всегда не хватает времени. Недавно он побывал у артиллеристов. Он непременно появляется там, где происходит что-то особенное, необыкновенное, что может представлять интерес для наших эвакуированных литовцев, о чем можно сообщить по радио порабощенной Литве, литовцам в Америке. Это человек, хлебнувший в жизни немало горя. Трудно его испугать или удивить. Он быстро приспосабливается к новым условиям, какими бы трудными они ни были, и всюду чувствует себя как дома.

Я видел его и голодным, и продрогшим, и промокшим, и нечеловечески усталым, но никогда он не терял присутствия духа и не давал терять его другим.

Всю войну он прошагал вместе с нашими бойцами — вместе с ними жил в землянках и в окопах. Ел из одного котелка, спал вповалку со всеми в избах, вместе радовался и грустил. На своих плечах нес он бремя войны, а в сердце лелеял образ окровавленной и порабощенной Советской Литвы.

Однажды, когда мы шли по незнакомой прифронтовой деревне, от которой остались только груды кирпича и иссеченные осколками черные стволы деревьев, он после долгого молчания сказал:

— Ненависть... Не каждый способен испытывать ненависть... Часто думаю не только о жене, сыне... Что они сделали с Литвой, Союзом, Европой!.. Сердце заходится... Что было бы, если бы победил фашизм? И я хочу расцеловать каждого озябшего, закоченевшего, замурзанного нашего человека, который так здорово сражается против этих коричневых двуногих зверей. Вот кого надо любить. Наших воинов. И народ, который дал таких людей.

— Тороплюсь запечатлеть, хоть вкратце описать все то, в чем варюсь, чем живу, — говорил он как-то. — Все ждут от тебя чего-то особенного, а получается очерк, заметка. События слишком уж большие, чтобы их можно было охватить одним взглядом, изобразить в романе с множеством действующих лиц... Надо чуть отдалиться от событий, все переосмыслить, обобщить, отделить существенное от случайного.

Но я напишу роман о наших людях. Хочу, чтоб он послужил хоть маленьким доказательством той любви, которую испытывает к ним литовский писатель...

Мимо нас уходили на передовую красноармейцы.

— К этим людям...

Мы стояли на дороге у разбитых немецких машин и провожали взглядом товарищей, уходящих в бой.

Как и каждый день, глухо рокотали орудия, гремели выстрелы.

НОЧЬ НЕДАЛЕКО ОТ ФРОНТА

Выйдешь ночью во двор, и поначалу покажется, что находишься в глубоком тылу, что войны нет и в помине. Над головой сверкают вечные звезды, равнодушные к страстям человеческим, к борьбе, страданиям, радостям и смерти. Они бесстрастно освещают эти белые поля и дороги. Движение по дорогам усиливается с наступлением ночи. Враг не видит нас с самолетов, а других средств наблюдения за тем, что происходит подальше от передовой, у него нет. На дорогах прифронтовой полосы ночью самая страда. Бои, кипевшие весь день, к ночи обычно затихают. Только изредка в том или ином месте зататакает пулемет, взлетят ракеты, раскроются широким веером, осветив близлежащие поля, и погаснут. Иногда бабахнет орудие — это наши не дают фашистам спать. Где-то залают вражеские минометы — гитлеровцы пытаются обстрелять наш транспорт. А машины, грузовики, сани тянутся бесконечной вереницей до самого утра. Фронт каждый день поглощает неимоверное количество провианта — хлеба, мяса, овощей, муки, консервов, сахара. Он выпивает целые озера нефти. Ему изо дня в день нужны горы патронов, снарядов, мин, бомб.

Все это подвозится к фронту обычно ночью. И чем темнее ночь, тем лучше. Тысячи людей ведут машины, без лишнего звука выгружают из кузовов ящики с продуктами и патронами и снова отправляются в тыл, где на целые километры растянулись склады необходимых для фронта материалов — базы.

Мы шагаем по звездной деревне. В лунном свете маячат заиндевевшие деревья. Они жестоко искалечены недавними боями — ветки обрублены, иссечены стволы, многие деревья с корнем вырваны из земли. На каждом

шагу нас останавливают караулы. Это бдительное око армии, которое никого не пропустит куда не следует.

— Пароль! — звенит юный голос.

Мы отвечаем бойцу в теплой ушанке и идем дальше.

— Вот этот дом фашисты, отступая, подожгли, — показывает мне спутник на каменный дом с обвалившейся крышей. — Женщина забежала в дом за оставшимся ребенком. Фашисты так и не выпустили ее оттуда. Оба сгорели...

В воздухе гудит самолет.

— Наш, — определяет мой спутник. — А вот здесь мы нашли четырех убитых оккупантов. Тут у них было мало времени, они не успели, убегая, расстрелять людей и сжечь дома. Правда, несколько домов они все-таки подожгли, но, когда удрали, крестьяне сумели потушить.

— Это редакция нашей газеты, — говорит мой спутник. — Друзья не спят. Если хочешь, зайдем.

Мы заходим в крестьянскую избу. В сенях на полу лежат усталые бойцы. Открываем дверь. В полумраке — в комнате тускло светятся несколько коптилок, сделанных из гильз, — трудятся люди. На столах стоят наборные кассы, разложены рукописи — наборщики готовят очередной номер газеты, набирают сводку Совинформбюро, которую только что передала по радио Москва.

— Где редактор?

— В типографии.

— А это что, не типография?

— Это наборный цех.

Мы выходим из душной избы, заполненной людьми. Рядом с ней стоит крытый грузовичок. Постучавшись в дверцу, мы по лесенке поднимаемся в типографию. Меня поражает, как хорошо все оборудовано: здесь печатный станок, касса с шрифтами, рулоны бумаги. Помещение тесное, но мы все-таки в нем уместились. Редактор Юозас Паяуйис читает гранки сводки. Скоро начнут печатать свежий номер газеты. Рано утром газета будет готова и окажется всюду — люди будут читать ее на передовой, лежа у пулеметов, стоя у орудий. Ее будут читать раненые и те, кто сейчас отдыхает. Редактор протягивает нам гранки. Газета уже успела описать важнейшие эпизоды боев. Упомянуты наши первые герои, награжденные орденами и медалями за мужество и отвагу. В уголке газетной страницы — стихотворение начинающего поэта,

присланное сегодня из окопов. Есть заметки о жизни Литвы и Советского Союза.

— Вам не понять, как ждут бойцы свою газету, — говорит редактор. — Они просто не представляют себе жизни без «Тевине шаукя».

Позднее мы не раз убеждались в том, как любят бойцы печать. Они с удовольствием читают свою фронтовую газету, желанный гость здесь и московская «Тарибу Лиетува», а каждую новую книгу наших писателей бойцы читают и порознь и коллективно.

— Как вам нравится наша типография? — с улыбкой спрашивает редактор.

Типография и впрямь хороша. Посреди кузова топится печурка, распространяя тепло.

Пообещав редактору свои фронтовые впечатления, мы снова оказываемся на деревенской улице. Вот прибыли грузовики с патронами для автоматов и пулеметов. Бойцы аккуратно складывают ящики штабелями у дороги. Они работают деловито, сноровисто, и я вспоминаю наших земляков — трудолюбивых, добросовестных, аккуратных.

— Что ж, смогут ребята малость пострелять, — говорит, сложив ящики, боец на восточно-аукштайтийском наречии.

— Случайно не из Утяны? — спрашиваю я у него.

Он с удивлением смотрит на меня, и я вижу в лунном свете, как его небритое, усталое лицо расплывается в добродушной улыбке.

— А вы, наверное, писатель? — смотрит он на меня. — Видал вас в Утяне, на выборах в Верховный Совет...

— Он самый, как видишь... А я-то угадал? Из-под Утяны?

— Из-под Утяны, из Молетайской волости, — веселой скороговоркой сыплет боец. — Бывали в Молетай? Ух, красота-то какая у нас летом! Озера! Да еще какие! И пригорки, леса... Если выберетесь когда-нибудь, прошу к нам... А ягод-то, грибов!..

— Как не проведать добрых друзей! — отвечаю я. Мне и радостно и грустно: радостно оттого, что встретил еще одного земляка, а грустно потому, что далеко нам еще с ним до Молетай...

— Скажите, у вас нет вестей из Литвы? У меня там

семья осталась — двое ребят, жена. Не убили их гитлеровцы? Застану ли в живых?

Увы, я ничего не знаю о семье этого хорошего человека. И мы расстаемся. Я останавливаюсь и прислушиваюсь: в стороне леса снова затрещал пулемет, потом, где-то слева, заговорил второй и тут же захлебнулся. Где-то вдалеке раздались винтовочные выстрелы, несколько раз бухнуло орудие, а за деревней не переставая ревели автомашины, двигаясь в сторону фронта.

ХРОМАЯ КОШКА, ИЛИ ЛЮДИ И ФАШИСТЫ

Мы шли по деревне Федоровка, Орловской области, откуда месяц назад были изгнаны оккупанты. Посреди деревни высилась полуразрушенная церковь, чуть поодаль виднелись сожженная школа и жилые дома. На площади перед церковью зияли воронки от немецких бомб. Заколоченные досками окна, груды кирпича. Деревне все-таки повезло: на окраинах уцелело немало деревянных и каменных домов, в которых и живут люди, освободившиеся от фашистского рабства.

Мы пересекаем площадь и входим в один из домов. Нас встречает хозяйка — печальная женщина средних лет. За день мы исходили десятка полтора километров по прифронтовым дорогам, хочется малость отдохнуть и напиться воды.

— Молока не желаете? — предлагает нам хозяйка.

Удивившись тому, что уцелела корова, мы все-таки отвечаем:

— Нет, спасибо, дайте нам лучше воды.

Хозяйка все-таки наливает нам по стакану молока и ставит на стол:

— Милости просим.

В открытую дверь в избу заползает кошка, прихрамывая, подбегает ко мне и садится на колени. Я глажу ее мягкую спину, она мурлыкает и ластится.

— Почему держите хромую кошку?

Хозяйка как-то странно, словно с испугом, смотрит на меня.

— Ее фашисты ранили, — говорит она.

— Фашисты?

— Когда расстреливали мужа моей сестры...

Она смотрит на меня спокойными большими глазами,

потом садится и принимается за шитье. Я не хочу донимать ее расспросами. Может быть, она не желает ворошить страшные воспоминания. Но она, не поднимая глаз от шитья, сама принимается негромко рассказывать:

— Мой муж работает на уральском заводе. Даже письмо от него вчера получила. Первое с тех пор, как ушли оккупанты... Бедняжка, он-то думал, что меня и в живых нет. Вот обрадуется, получив весточку. Раньше мы тут жили две семьи — я и сестра с мужем. Когда приближались фашисты, мой муж ушел, а сестрин Андрей тяжело захворал и не смог. Пришли оккупанты. Поначалу ничего — зайдут, заглянут в чулан, где больной, и убираются восвояси. Потом начали ловить мужчин, что в деревне остались. Поговаривали, будто где-то неподалеку партизаны объявились. И вот как-то и в наш дом притащились несколько немцев. «Партизаны, партизаны?» — говорят и шарят по всем углам. «Нету партизан», — говорим мы с сестрой. Но они на нас даже не посмотрели. «А это кто?» — спрашивают по-своему, увидев в чулане мужа сестры. Мы не можем им растолковать, говорим — болен человек. Тут один из них, видать переводчик, говорит нам — немцы дознались, что муж моей сестры партизан, и сейчас его заберут. Мы — плакать, просить, чтоб не забирали. Тогда переводчик посоветовался с другими и говорит нам по-русски:

«Может, он и не партизан, может, он и хороший человек. Господин лейтенант говорит, чтоб вы сбегали в деревню — пускай мужики подпишутся, что он хороший человек, тогда ему ничего не будет. А мы тут вас подождем».

Не успев даже на плечи платок накинуть, мы с сестрой кинулись опрометью в деревню. Бежим по сугробам и не знаем, к кому первому бежать. У церкви оборачиваемся, видим — Андрей-то в одном исподнем стоит босиком на снегу, — ироды эти его из избы вывели. Как сейчас вижу — волосы взлохмачены, лицо белое, как бумага, бородища выросла за болезнь. Мы — назад. Бежим, а тут у нас на глазах лейтенант вытаскивает пистолет и стреляет — в голову да в живот. Как на грех, и кошка тут подвернулась. Пулей лапу ей перешибло.

— А ваша сестра где?

— В деревню ушла. Так мы с ней и живем... Поначалу, бедная, чуть с ума не сошла. Плакала, волосы на

себе рвала. Теперь малость успокоилась. Только тихая такая стала, молчит да молчит. Бывает, целый день с ней просидишь — слова не скажет. Просто мурашки по спине бегают. Жалко бедняжку. Очень уж своего мужа любила. И хороший был, вечная ему память. Мухи не обидит, и работник сто́ящий. Премии получал, в Москву его возили, на выставку, за хорошую работу.

— Наверное, донес кто-нибудь?

— Наверное, позавидовали... Хорошо мы жили, чего греха таить.

Мы допили молоко, и хозяйка налила нам еще по стакану.

— Пейте, гости дорогие... В глазах посветлело, когда наших увидели. Натерпелись от оккупантов, ох натерпелись...

Поблагодарив за молоко, мы вышли. Хозяйка, печально улыбаясь, проводила нас до порога, жалобно замяукала у двери кошка. Даже кошку обидели фашисты.

По деревне Юрьевка бродил полоумный Горохов. Это был безобидный человек, ласковый и смирный. Разгуливая по деревенской улице, перед каждым снимал шапку. За тихий нрав его даже в лечебницу не брали. Кормили его колхозники, жил он то у одного, то у другого и любил рассказывать о своих подвигах в наполеоновское время, — дети с интересом слушали его рассказы. И вот оккупанты посреди бела дня арестовали Горохова, пригнали на деревенскую площадь и расстреляли. Когда люди стали расспрашивать оккупантов, за что те убили человека, который никому не сделал ничего плохого, один из них в пьяном виде проболтался:

— Свою тысячу марок я все равно получу.

Оказывается, фашисты за первого расстрелянного «партизана» получают тысячу марок, за второго — чуть побольше и т. д. Для этого надо только составить акт о том, что расстрелянный был партизаном.

— Наша деревня мало пострадала от оккупантов, — рассказывал старик из деревни Тростниковка Александр Комаров. — Известное дело, грабили и воровали все, что под руку подвернется. Колхоз у нас не упраздняли, как в других местах. Гнали на работу, а после сбора урожая выдали каждому жителю по два пуда зерна на целый

год: хочешь — пируй, хочешь — с голоду помирай. Остальное зерно сами заграбастали. Дома обшаривали подчас по два раза на дню — все партизан искали. Из тех изб, где жили, наших людей выгнали — убирайся, куда хочешь. Как-то был такой случай. По деревне шлялись пьяные оккупанты. В сумерках мы слышали несколько выстрелов, но кто стрелял, не знали. Часто ведь бывало — сами немцы напьются и давай пулять. Народ, бывало, прячется кто куда, чтоб ненароком пулю не схлопотать. Оказывается, в тот вечер одного немца ранили. Кто ранил — бог знает. Может, сами его подстрелили, когда палили спьяну. И что вы думаете? Ночью стали всю деревню поднимать, раздетых сгоняли вон туда, на горку у школы, взяли троих и на месте расстреляли. Из нашей деревни убили моего родственника Алексея Комарова, еще молодого парня, лет тридцати, и двадцатилетнего Николая Зайцева. В толпе оказался колхозник из другой деревни, фамилии не знаю, — его тоже расстреляли. Известное дело, все кричат, перепугались страшно. Но так вообще ничего. В нашей деревне фашисты вели себя хорошо, — закончил свой рассказ старик, поглаживая бороду.

— Хорошо? — удивился я.

— А что вы думаете? У нас-то ведь только несколько изб пожгли, а в других деревнях все с землей сровняли. Правду сказать, наши в этих местах так на них навалились — не успели немцы, — сказал старик и посмотрел на меня, словно спрашивая, уцелела ли их деревня из-за особой милости оккупантов или благодаря нашим бойцам...

В деревне Липовец немецкий танк оборвал телефонные провода. Оккупанты вину за это свалили на население и расстреляли сорок два человека за «саботаж» и «порчу военного имущества».

— В нашей деревне, — рассказывала женщина в деревне Отрада, — кто-то немца убил. Господи, что тут поднялось! Оккупанты бегали по избам, хватали людей! Повесили семерых за одного паршивого фашиста, который, может быть, сам себя порешил, чтоб не идти воевать. Ах, немцы тоже всякие бывали. Сама видела — другие плакали, когда отправляли на фронт. Повесили в нашей

деревне Александра Афанасьева — старенький он был, ходил на костылях — и учительницу повесили, серьезная такая была, хорошая учительница, все ее жалели, а больше всего дети. Марией звать, Марией Втуновой. И так страшно вешали — не приведи господи!

— Как же они вешали?

— Да железный крюк в подбородок втыкали и вешали на этом крюке. Жуть брала, когда видела, как они бедных людей истязают. Звери до такого не додумались бы.

Еще по прошлой войне литовцы помнят случаи, когда оккупанты бессмысленно вымещали свою злобу на мирном населении. Немецкая нация родила много садистов. Самый характерный представитель этих отбросов общества — Гитлер, прославившийся личной жестокостью, введший гильотину для политических противников, стерилизацию, убийства евреев, изуверские пытки в концлагерях и т. п. Стоит ли удивляться тому, что его армия прошлась по Европе, убивая и истязая мирное население, купаясь в крови миллионов несчастных?

Обнаглевший фашист в деревне Юрьевка, под смех своих приятелей, поймал пятидесятилетнего колхозника и велел ему забраться на высокую крышу хлева.

— Полезай на крышу! — сказал он. — Я тебя — пуф, а ты — бум!

Крестьянин не полез. Тогда фашист принялся избивать его и заставил найти лестницу. Когда колхозник лез, лестница сломалась. Фашист снова принялся избивать его и бил до тех пор, пока тот не упал. Тогда он его пристрелил и ушел.

Невероятно? Я бы тоже этому не поверил, если бы не увидел в политотделе дивизии протокол, под которым подписались жители деревни, видевшие все это.

В погребе в деревне Тростниковка оккупанты устроили газовую камеру для испытания противогазов. Проверив противогазы, в погреб, заполненный слезоточивым газом, они согнали семерых жителей этой деревни — Владимира, Ивана, Федора и Наталью Комаровых, Дмитрия Макеева, Сергея Воронкина и Ивана Петрушкина. Этих людей они долго держали в погребе, а когда выпустили, все почти ослепли. Фашисты обступили погреб и корчились от хохота, глядя на несчастных.

Могут ли люди выдумать такое?

В деревне Алексеевка мальчик взял у оккупантов какой-то пустячок. Фашисты принялись его безжалостно сечь, требуя назвать фамилии партизан. Мальчик, не имея ни малейшего понятия о партизанах, назвал первые попавшиеся фамилии — Рябишкина, Мулина. Рябишкин был главным агрономом МТС, а Мулин — механиком. Оккупанты арестовали этих людей и замучили насмерть, переломав руки и ноги. В деревне были убиты и другие жители...

Я исходил по прифронтовым дорогам сотни две километров. Разговаривал с множеством людей. И куда бы я ни шел, с кем бы ни говорил — передо мной открывались жуткие картины садизма, бессмысленных убийств, трагедий, которые не скоро изгладятся из памяти людей...

Из многих районов тысячи человек увезли на германскую каторгу. Села опустели. Когда идешь по этим деревням, где торчат только обгоревшие дымоходы, опаленные деревья, когда видишь лица, изнуренные и бледные от голода, сердце наполняется ненавистью к строю и людям, которые принесли миру ужас и невероятные страдания. И невольно думаешь о своих братьях в несчастной Литве. Их ведь тоже постигла такая судьба. Сердце колотится от горя, и ты веришь: только жестокая борьба до победы вызволит мир от этих мерзостей, освободит из страшной тюрьмы, вытащит из рва массовых убийств, в который превратили Европу озверевшие гитлеровские бандиты, не достойные носить имя человека.

— Они нас иначе не называли, только собаками, — говорила седая старушка в деревне Наталино. — Мы-то их не приглашали, а они заявились к нам, пожгли наши дома, обирали нас и истязали. Сами они хуже собак...

И правда, псы так себя не ведут. Пес — доброе животное, не стоит его оскорблять именем фашиста.

ФАШИСТЫ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Захожу в избу прифронтовой деревни. Дома две женщины — мать и дочь. Перед самой войной они уехали работать на украинские шахты. Когда пришли оккупанты, обе вернулись домой, в свою пустую избу, и остались здесь до прихода Красной Армии.

— На Украине работы больше нет, — рассказывает

мать, сев рядом со мной на лавку. — А нет работы — нет и хлеба. Шахты больше не дают угля — оборудование, отступая, наши увезли, а на других механизмы испорчены.

— А вам оккупанты позволили идти куда хотите?

— Поначалу никуда не выпускали. Отобрали даже паспорта, чтоб не спрятались. Но там было столько народу, а ни работы, ни еды... Вот люди и разбежались кто куда.

— И по дороге никто не остановил?

— Нет. Шли тысячи голодных, оборванных. Куда бы мы ни шли, у дорог разрушенные города и деревни, а на деревьях и телеграфных столбах повешенные...

— Повешенные?

— Говорили, что это партизаны. Но среди них были и женщины и дети. Какие там партизаны! Мужчины — да, но женщины, ребятишки...

— Что ж, все-таки вернулись домой?

— Вернулись, даже избу свою в целости нашли.

— А фашисты давно из вашей деревни отступили?

— С месяц назад. Драпали, как ошалелые. Машины по снегу проехать не смогли. Все побросали и удрали. Может, потому и наш дом не успели спалить. Фашисты какие-то бумаги оставили, — говорит женщина. — Целые кучи всяких бумаг тут валялись. Много уже пожгли — дров-то не хватает, привезти не на чем.

— Покажите-ка.

Женщина открывает сундук и кладет передо мной высокую стопку бумаг.

— Может, разберетесь. Дочь попробовала было читать — не разбирает она по-ихнему. Так и не знаем, чего тут написано.

Я углубляюсь в немецкие бумаги. Поначалу они кажутся мне малоинтересными. Большую часть составляют списки убитых и раненых. По-видимому, это часть полкового архива. Каждый убитый занесен на отдельный листок. Листки одинаковые и скучные. Дальше большая стопка бумаг, в которых объясняется, как использовать забранную у населения картошку. Начертаны даже схемы погребов, куда следует ссыпать картофель, указано, как его готовить русским и немецким способом. Нахожу аккуратно напечатанный на машинке протокол допроса о двух выбитых зубах какого-то ефрейтора — на десяти

с лишним страницах. Закралось подозрение, что зубы ефрейтору вышибли местные жители, но позднее выяснилось, что он их лишился в пьяной компании.

Более интересным оказывается дело стрелка Альфреда Каммана, родившегося в 1918 году в Ганновере. Этот солдат охарактеризован как болтун, лжец, не любимый товарищами, по сути дела трус.

Почему ему предъявлены столь тяжелые обвинения? «Стрелок Камман Альфред, — написано на одном из листов (бумага, по-видимому, украдена во Франции, поскольку на ней видны французские водяные знаки), — в последнее время был особенно замкнут и проявлял халатное отношение к своим обязанностям. Он потерял оружие и в беседах с товарищами заявил, что служит уже два года и потому ему все опостылело. Несколько дней назад он показал друзьям русскую пропагандную листовку, которая, по его словам, была у него еще со времени его пребывания в Одессе. На вопрос, почему он ее хранит и не отдает начальству, он ответил: «Еще неизвестно, на что она пригодится», — и сунул обратно в карман».

Подобной информацией об этом парне, который, по-видимому, разочаровался в посулах Гитлера и собирался перейти линию фронта, с большой аккуратностью и точностью были заполнены десятка два страниц. Чем кончилось это дело — неясно, потому что женщины, давшие мне эти бумаги, по-видимому, уничтожили конец дела. Возможно даже, что парню удалось спастись, поскольку на одном из листов написано, что он «отбыл в неизвестном направлении и по сей день держится вдалеке от своего лагеря».

Вот снова бумага, которая выделяется из других. Это приказ командира полка по поводу посылки на родину «живых вшей». Оказывается, некоторые солдаты посылают в подарок своим родным и знакомым, выражающим в тылу энтузиазм в связи с победами Германии, живых вшей, вложив их в конверт, — чтобы таким образом показать свои «личные победы на фронте». В приказе обращается внимание на то, что подобные явления недопустимы, поскольку вши, посланные в Германию, «могут разойтись» и распространить сыпной тиф.

Дальше идут письма, присланные из Германии. Какая-то дама из Баварии обращается к солдатам, чтобы

те писали письма воспитанницам ее женской гимназии, — это-де укрепит патриотизм девочек. Дальше письмо семьи Тумпов из Гладбаха на фронт, господину Тумпу, помеченное 24 ноября 1942 года:

«Мы очень рады вашему письму. Нас особенно радует, что вы хорошо поживаете, поскольку уже миновал год, как вы находитесь в России. Наверное, вам пришлось пережить не один трудный день. Надо надеяться, что война продлится недолго и наши солдаты смогут вернуться на родину.

Из-за вражеских летчиков, — пишет дальше в своем письме семья Тумпов, — мы уже испытали всякое. Большой бомбежки в Гладбахе еще не было. Здесь уже падало много бомб, подверглись уничтожению целые дома, но большей частью на окраинах города. Поблизости от нас бомбы попали только в несколько домов. Недели две живем спокойно; по-видимому, у «томми» нет времени. Только теперь видно, какое тяжкое время мы пережили; каждую ночь ведь бегали прятаться в подвал, а то и по два раза за ночь. Да, но наши солдаты, наверное, страдают еще больше.

Гертруда в марте родила мальчика. Она тяжело болела из-за недоедания, шесть недель пролежала в больнице. Ее муж находился в Дюссельдорфе, в оружейном батальоне, но поскольку мучается ранением в живот, то временно вернулся домой.

Всего вам хорошего и вернуться в целости желает вам

семья Тумпов».

Вернется ли господин Тумп с Восточного фронта в Гладбах и что сейчас поделывает его семейка — неясно. Но если переписка продолжается, письма должны быть еще печальней. Господин Тумп, если он не был убит, улепетывал вовсю под ударами нашей армии, а семья Тумпов, быть может, из-за участившихся бомбежек переселилась на постоянное жительство в подвал. И все эти удовольствия предоставил им горячо любимый фюрер.

Дальше снова стопка листков об убитых и раненых фрицах. Это малоинтересный материал, — фрицев в этих краях осталось лежать немало, не полезут они больше ни на Москву, ни на Кавказ.

Одна из бумаг опять привлекает мое внимание. Текст, как почти всё, аккуратно отпечатан на машинке. Я чи-

*

таю его с удовольствием, и передо мной проходит вся жизнь немецкого бюргера в гитлеровской Германии. Так и вижу этого бюргера — с отощавшим брюшком, посеревшими щечками, задавленного тысячами забот, но все еще молодцевато подкручивающего свои усы. Гитлер хватает его за глотку, хочет перемолоть, как миллионы других, а он, применяя всю свою изворотливость, подхалимски улыбаясь и изображая патриота, старается надуть самого фюрера.

Кто кого облапошит — трудно сказать. Немецкому бюргеру очень уж не хочется сложить голову за «великую Германию» и «новый порядок», но он скорее всего все-таки оказался на русских полях, а за ним с немецкой аккуратностью по штабным канцеляриям прибыло его дело. И вот оно у меня в руках.

Этот герой, вознамерившийся обмануть самого Гитлера, — лавочник из Кельна Эрих Кюстнер. Давайте послушаем, что он пишет.

«Управлению военных дел,
город Кельн.

По поводу использования меня для военных нужд.

Основание: повестка Управления в Кельне от 3.VI.1942 г. 8.VI.1942 г. я получил повестку о военно-медицинском осмотре и о возможном использовании меня для службы в армии и т. д. В связи с использованием меня в армии прошу обратить внимание на следующее:

Мое предприятие признано жизненно важным и экономически необходимым в военном отношении. Из-за мобилизации владельцев многих предприятий, находящихся по соседству с моим, мой магазин приобретает все большее значение в снабжении населения товарами первой необходимости. Снабжение питанием значительно возросшего числа моих клиентов после ликвидации моего предприятия оказалось бы под вопросом.

Четыре первостепенных помощника из-за войны уже покинули предприятие, и только благодаря моему самоотверженному труду и удвоенному числу рабочих часов мне удавалось содержать предприятие на надлежащей высоте.

В военное время были призваны: одна девушка взята в группу воздушного сообщения, мой сын — моя правая рука и мой заместитель — был призван 4.I.1942 г. и сей-

час находится на Восточном фронте; хорошая продавщица в настоящее время проходит воинское обучение; трудолюбивый продавец по указанию сверху переведен на жизненно важное предприятие своего отца.

В связи с утратой помощников, которых до сих пор еще никто не заменил, и с увеличением спроса на продукты питания в одной из густонаселенных и оживленных частей Кельна, я не могу представить своей мобилизации, поскольку, без всякого сомнения, это принудило бы закрыть предприятие.

Из-за террористского налета англичан на Кельн 30/31.V.1942 г. снабжение населения продуктами еще более ухудшилось, поскольку в том районе, где находится мое предприятие, в процентном отношении уничтожено больше всего предприятий.

Вот список уничтоженных фирм (торговавших исключительно продуктами питания):

Шмитц-Имхоф	Эйгельштейн
Штузаген	Марцелленштрассе
Бурки	Эйгельштейн
Адамс	— » —
Гейер	— » —
Кауфхоф	— » —
Тенгельман	— » —
Хальрат	— » —
Крой	Вайденштрассе

В настоящее время экономическая группа Кельна, подотдел розничной торговли, поручила мне отремонтировать помещение под распределение продуктов питания, спрос на которые не может быть удовлетворен.

Мой оборот в 1940 г. составил свыше 200 000 марок. Этот оборот был достигнут с бо́льшим количеством рабочей силы, чем в мирное время. Теперь я управляюсь при помощи своей дочери (которая работает продавщицей с начала военных действий) и ученика и ученицы, поскольку лучшие помощники взяты в армию. Моя жена никогда не работала на предприятии из-за болезни ног.

По вышеизложенным мотивам прошу меня в армию не брать.

Хайль Гитлер!»

Да, нелегка жизнь бюргера в гитлеровской Германии! Он ждал от Гитлера златых гор, а дождался бомб. Он

думал, что Гитлер завоюет для него мир, а тот довел до банкротства мечту всей его жизни — предприятие, дававшее, по-видимому, недурные барыши, вскоре ликвидирует и его самого. Очень возможно, что господин Эрих Кюстнер уже лежит в русской земле, не думает больше о том, как надуть своего фюрера, и не кричит: «Хайль Гитлер!»

...Вот рапорт лейтенанта с неразборчивой фамилией о появившихся в армии нелегальных листовках. К рапорту пришпилен и образец листовки. Лейтенант пишет:

«В моей части появились пропагандные листовки, за чтением которых замечены несколько солдат. Их фамилии я сообщу, приложив материалы ведущегося сейчас следствия. В настоящем рапорте посылаю образец листовки. По всей вероятности, она попала на фронт из Германии».

Листовка-открытка. Наверху Гитлер, а внизу генерал фон Браухич. Под открыткой надпись: «Посмотрим, как этот авантюрист будет руководить армией». По-видимому, открытку издали приверженцы фон Браухича в то время, когда тот был устранен, а Гитлер взял на себя руководство армией. На другой стороне открытки напечатано:

Schlagt Ihr Hitlers Bande rot,
Habt Ihr Frieden gleich und Brot [1].

На открытке — круглая голубая печать со свастикой и орлом, а вокруг печати надпись: «Dienststelle Feldpost Nr 100 016» [2].

Среди бумаг нахожу целую книжку, изданную военными властями для изучения русского языка. Книжонка называется «Tschto eto takoje?» Она начинается такими словами, как «Стой! Руки вверх!», «Стрелять буду!», «масло», «сыр», «куры» и т. д., а кончается фразой: «Где тут у вас нужник?» По-видимому, фашистские бандиты, собираясь напасть на Советский Союз, надеялись, что стоит им крикнуть: «Руки вверх!» и «Стрелять буду!», как на столе мигом окажутся куры, масло и сыр. Можно будет нажраться так, что само собой всплывет и вопрос,

---

[1] Гитлеровцев разгромим,
Будет хлеб и будет мир (*нем.*).

[2] «Полевая почта № 100 016».

записанный в конце разговорника. Все предусмотрели фашисты. Но на занятых территориях они часто не успевают воспользоваться последней фразой...

НА ПЕРЕДОВУЮ

Уже некоторое время я нахожусь на фронте. Научился отличать вражеские самолеты от наших по звуку и чувствую себя совершенно спокойно, даже когда над головой летят фашистские стервятники. Я знаю, что наша авиация значительно окрепла, что на фронте чувствуется ее перевес. Хорошо понимаю, что вражеские самолеты куда менее опасны, чем казалось нам в начале войны. На фронте люди рассказывали, что, например, на деревню Тростниковка фашисты сбросили полсотни фугасок и не разрушили ни единого дома, не убили ни одного человека. Я все больше убеждаюсь в том, что орудийный снаряд, мина или пуля не обязательно должны угодить в человека. Вообще человек такое живучее создание, что надо израсходовать много металла, чтобы убить его. Многие литовцы на передовой сражаются уже целый месяц. Правда, есть погибшие и раненые, но многие живы-здоровы, хотя вокруг все время жужжат пули и взрываются снаряды.

Каждый день я вижу солдат, отправляющихся на передовую. Каждый день вижу, как они возвращаются: некоторые ранены — их везут на санях, легкораненые сами идут на перевязочный пункт, в военные госпитали, расположенные в деревенских избах, чуть поодаль от передовых линий. И меня непреодолимо тянет туда, где наши бойцы смотрят смерти в глаза. Хочу быть среди них, когда они переживают наивысший накал человеческого существования. Каждый день я слышу о героических подвигах, которых так много совершают наши люди. И я хочу вблизи увидеть этих прекрасных людей, которые вот здесь, на этих полях и в незнакомых деревнях, сражаются за свободу родного края, за наш Вильнюс, Каунас, любимую Балтику...

Наконец выпадает случай. На передовую должен отправиться начальник политотдела дивизии, смелый и решительный человек, хороший мой друг Феликсас Беляускас.

Прекрасное утро. Снег сверкает серебряными искра-

ми. Заиндевевшие деревья у дорог вздрагивают, когда землю сотрясает взрыв снаряда или мины. Там, далеко на горизонте, видна утонувшая в голубой дымке последняя деревня, в которой закрепились наши бойцы — литовцы. Направо от нее вторая деревня — там фашисты. Чуть выше от занятой нами деревни виднеется третья — там тоже фашисты. Наша деревня всего в нескольких сотнях метров от врага. Часто завязываются бои. На пригорках, высотках и в оврагах между этими деревнями кипят упорные и кровавые бои. Потом они на какое-то время затихают, но никогда не известно, что готовит враг, всегда надо быть готовыми ко всему. Здесь, в этих деревнях, ежечасно гибнут люди.

Утро тихое и безмятежное. Только изредка на горизонте ухнет снаряд, затрещит автомат. И мы идем по дорожке, проложенной в глубоком снегу, туда, где вдалеке темнеет последняя наша деревня. Я еще не знаю, что сегодня мне суждено пережить самый напряженный день в моей жизни и увидеть войну вблизи. В этот серебряный час зимнего утра я не знаю, что окажусь на волосок от смерти и пойму глубокую истину, — кажется, высказанную Достоевским, — что страшна не сама смерть, а мысль о ней. Вблизи все кажется очень заурядным, — даже геройство, которое нас так изумляет, часто оказывается просто делом крепких нервов и пониманием того, что война, хоть и очень кровавая, грязная и страшная, — неизбежна. Вся наша жизнь, свобода, счастье, радость семейств, будущее детей, судьба культуры оказались в опасности. И геройство, которое проявляют наши люди, порождено любовью к Родине — к ее полям, лесам, рекам, близким и далеким людям, которых объединила в одну семью общая опасность. Геройство порождает любовь к родному языку, к своим обычаям, к небу отчизны, сверкающему летней голубизной и затянутому осенними тучами. Его порождает желание как можно быстрей покончить с войной, тяжелой, как болезнь, победить врага, который занес над нашей Родиной меч. Его порождает отвага, унаследованная от наших предков, которая вела древних литовцев на бой с врагами в победоносных сражениях под Дурбе, Сауле и Грюнвальдом.

Мы идем по заснеженной дороге на запад. На дороге валяются погнутые немецкие шлемы, неразорвавшиеся снаряды, стоят разбитые танки и сгоревшие машины —

следы недавних боев. Фашистам пришлось отступать, они окопались на новом месте, пока наши бойцы не выкурят их и оттуда.

Так начинался день, похожий на все остальные. Но это был один из тех дней, которые человек не забывает никогда. В такой день каждый многое переосмысливает, переоценивает и передумывает. И все это остается в душе, словно драгоценность, потому что самое драгоценное в жизни мы получаем с трудом — в мучениях и горе.

Я проверил, при мне ли мои записная книжка и карандаш. Это же мои орудия труда. Все было на месте. Я был в белом полушубке, мой спутник — без винтовки. Видно, фашисты нас заметили и поняли, что мы не рядовые бойцы. Из деревни справа раздались выстрелы, и пули с шипением шлепались в нескольких метрах от нас. Казалось непостижимым, что какая-то из них могла задеть нас. Смерть как-то не вязалась с таким прекрасным, светлым зимним днем.

Мы приближались к передовой, все ближе к фашистам. Пули вжикали мимо, вонзались в снег то ближе, то дальше, а там, метрах в двухстах, рядом с деревней, мы увидели сложенные из снега домики, в которых помещались наши орудия. Деревня за ними казалась словно вымершей в ослепительном свете дня.

ПОД МИНОМЕТНЫМ И АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ

Мы подошли к орудиям. Бойцы, сидя на снарядных ящиках, делились табаком.

— Здравствуйте, товарищи! — здороваемся мы.

Бойцы встают и рапортуют.

— Как дела?

— Неплохо. Славно поработали...

Мы знаем, что во время недавних боев наши артиллеристы действовали отлично. Они накрыли немало огневых точек врага, били по блиндажам, и солдаты рассказывали, что было видно, как вместе с мерзлой землей в воздух взлетают фрицы...

— Может, попробуете пустить снаряд по врагу? — предлагает командир расчета.

— Но ведь врага не видно...

— Орудие установлено на цель. С закрытой позиции... Попытайте счастья.

Артиллеристы проворно отправляют снаряд в дуло. Все готово. Мощный удар сотрясает воздух. Орудие откатывается. Проходит несколько секунд, в соседней деревне слышен новый грохот — это разорвался снаряд, посланный нами.

Корректировщик докладывает по телефону, что снаряд попал в цель.

Мы в деревне, в типичной русской деревне: посреди улица, а по обеим сторонам на добрый километр протянулись дома. В конце деревни расположилась наша артиллерия, а там, неподалеку, окопались враги. Избы деревянные и каменные, почти все повреждены вражескими снарядами: у одной снесен угол, у другой в стене зияет дыра, третья стоит без крыши. По улице ходят наши солдаты, ползут сани — одни привезли боеприпасы и провиант, другие возвращаются обратно. Светит солнце, и кажется, что скоро весна. Под крышами изб тают длинные сосульки, капают прозрачные капли, а ветви деревьев еще искрятся ночной изморозью. И как-то непривычно тихо в этой деревне, — только изредка скрипнет санный полоз и послышится цокот копыт по льду. Иногда услышишь разговор проходящих бойцов, и снова все стихает.

Вдруг мы слышим странный вой. Это не звук летящего снаряда. Короткий глухой свист словно разрывает воздух на куски, резко приближается, и потом взрыв — коварный, напоминающий лай злого пса. Это мина, посланная из соседней деревни фашистами.

Я смотрю на своего товарища. Он серьезен и подтянут, но страха не видно. Через несколько секунд новый визг и опять лай злого пса — где-то близко.

— Вот гады, видишь, начали минами угощать, — говорит товарищ.

Мы видим, что бойцы, привычные к подобным вещам, не спешат в укрытие. Несмотря на мины, каждый спокойно делает свое дело: у склада выгружают сани, дальше бойцы складывают снаряды в пирамиды. Вокруг падает все больше мин, то и дело раздается этот коварный, отвратительный лай. Из минометов можно обстрелять врага, находящегося и в нескольких десятках метров и в пяти километрах. Мина разрывается на множество осколков, и они разлетаются во все стороны, задевая все на своем пути. Они ранят и убивают, если солдаты не окопались. Мина взрывается, едва коснувшись земли или

иного твердого предмета — стены дома, крыши, дерева. Мины почти не опасны в блиндажах с перекрытиями, но на ровном месте они опаснее любого другого оружия.

Мы шли по деревне. Нельзя сказать, что эта музыка была особенно приятной с непривычки. А мины все еще взрывались или, как мы быстро заметили, со свистом утыкались в снег и не взрывались. Не взорвалось довольно много мин — примерно каждая третья, часто был слышен только свист в воздухе и потом шипение в снегу.

Вдруг нас окликнули из окопа:

— Товарищи, идите к нам!

Мы прыгнули в окоп. На соломе сидели несколько бойцов. Один спокойно скручивал цигарку, второй чистил винтовку, а третий вслух читал газету. Солдаты, кажется, не обращали на мины ни малейшего внимания. Они знали, что лишь в том случае, если мина прямо попадет в их окоп, они погибнут. Каждое их движение, равнодушные, а подчас веселые лица показывали, что такое обстрелянный боец. Побывав на передовой, солдат как бы закаляется и, изо дня в день подвергаясь опасности смерти, перестает кланяться каждой пуле. Попав сюда впервые, он, несомненно, испытывает неприятное чувство, но ведь привыкнуть можно ко всему. И я позднее видел, как люди безмятежно спят, в то время как снаряд, разорвавшийся в нескольких метрах, все поднимает в воздух.

Когда мы спустились в окоп, солдат перестал читать газету. Подвинувшись, бойцы уступили место на соломе, подобрали свои котелки. Они были одеты тепло, по-зимнему, в валенках, в тулупах и ушанках. Мы поздоровались и начали беседовать под вой мин.

— Эх ты, винтовочка, моя винтовочка! — весело говорил солдат, чистя свое оружие. — Хорошо ты вчера потрудилась. Надо тебя почистить, отдраить — завтра опять предстоит работенка...

По-детски круглое лицо с едва пробивающимися усиками и бородой, живые, веселые глаза. Это бывший ученик средней школы из Рокишкиса, которому нападение Гитлера помешало закончить учебу. Теперь он пришел на передовую, чтоб завоевать себе право учиться и спокойно жить. На фронте он привык к трудностям и напряжению. Его родители — огородники, сызмальства ему пришлось нелегко. Фронт ему кажется, может быть, и не совсем приятным делом, но необходимым и не слишком страшным.

Ж-ж-ж-бах! — ударилась мина неподалеку от окопа, и вверх поднялась мерзлая земля.

— Ну что ты скажешь? — спокойно сказал второй солдат, жемайтиец из-под Альседжяй, затягиваясь густым махорочным дымом. — Чуть шапку не скинул, гад... Ну что ты скажешь? Дал, как вальком. — Жемайтиец смотрел на нас спокойными глазами, в которых таились смешинки.

Третий солдат, читавший газету, был очень доволен встречей.

— Знаете, я тоже пробую писать. Я из Каунаса, рабочий. Мои заметки и стихи даже в газетах печатали. А теперь? Теперь некогда — надо писать винтовкой на спинах фашистов. А вот вернемся в Литву...

Ж-ж-ж-бах! — снова ударила мина, чуть поодаль, за избой.

— Вот вернусь в Литву, — говорит солдат, не замечая посторонних звуков, — и попробую повесть написать... О нас, о друзьях. Знаете, много материала накопилось. А пока, что успеваю, заношу в дневник.

Еще несколько раз взрываются мины, потом все стихает. Мы прощаемся с новыми друзьями и, выбравшись из окопа, идем дальше по деревне. По улице снова двигаются люди. Мы видим свежие воронки, выбитые окна, изуродованные дома.

Рядом с избой лежит ничком солдат — это жертва мины. Мы слышим разговор, что есть раненые и убитые лошади. А день прекрасен, и все, что было всего несколько минут назад, кажется сном.

Часовой, стоящий у двери, пропускает нас в избу. Мы идем мимо снежных стен, которые скрывают входящих и выходящих из избы, — это место хорошо просматривается фашистами из соседней деревни, и они, как только замечают скопление людей, начинают обстрел.

Через крытый сарай, в котором стоят лошади, мы попадаем в комнату. Сюда приходят сообщения со всех позиций, которые удерживают бойцы батальона. Здесь то и дело звонят телефоны, сообщая об изменениях на поле боя, отсюда во взводы идут приказы, то и дело приходят и уходят вестовые. Активных боев сегодня как бы и нет.

— Здравствуйте, здравствуйте! — встретил нас командир батальона, старший лейтенант Эдвардас Лисаускас, круглолицый, смуглый человек с живым взглядом и ве-

селым лицом. Одна его щека еще не зажила — несколько дней назад во время атаки ее царапнуло пулей. Этот молодой парень, которого бойцы любят за отвагу и удаль, уже пять раз водил свой батальон в атаку.

Он родился в 1914 году в крестьянской семье. Рос сиротой — с тринадцати лет жил без родителей. У него не было даже близких, потому что все родственники уехали в Америку. Но ему все-таки удалось окончить гимназию. Учился на техническом факультете Каунасского университета, окончил два курса. В буржуазной армии он занимал различные посты. Как прогрессивный человек, в годы советской власти был назначен политруком, потом выполнял другую работу. Когда началась война, Лисаускас эвакуировал документы Совета Народных Комиссаров. Потом он работал в литовском колхозе в Поволжье, затем перешел в Литовский сектор Комиссариата внутренних дел. Недавно он вернулся в армию, помощником командира минометного взвода, а в нашей национальной дивизии получил батальон. Такова короткая биография этого человека. Самые прекрасные страницы ее он пишет сейчас, на поле боя.

Его смелые бойцы ночью, по глубокому снегу и средь густого тумана, ворвались во вражеские окопы и уложили немало фашистов. И Лисаускас, улыбаясь, рассказывает:

— Приятно воевать, когда у тебя хорошие бойцы, когда они не боятся ни врага, ни смерти. А в моем батальоне немало таких ребят. Вот лейтенант Шутас. Ворвался во вражеские окопы, захватил вражеский пулемет и пошел шпарить по фашистам, просто любо смотреть. Или связист Маркулис. Его послали наладить связь с командиром взвода. А в поле непроглядный туман. Заблудился и пополз к вражеским окопам. Фашисты заметили его и начали окружать. Маркулис убил одного и отступил, не потеряв телефона, принес его с собой.

— А Каранаускас... — напоминает другой командир, сидящий за столом.

— Этот тоже интересный человек. Санитар, каунасский рабочий. С виду тихий, спокойный. Но не всегда. Идет он как-то ночью с товарищем собирать раненых на поле боя. Товарищ ведет его, но сам как следует не знает дороги. В темноте Каранаускас видит кого-то и, думая, что свой, обращается к нему по-литовски. Тот отвечает:

«Verstehe nicht»[1]. Каранаускас выхватывает у фашиста винтовку. Оккупант вцепляется ему в шею и начинает душить. Но Каранаускас сильнее — сам навалился на врага. Стрелять нельзя. Ну, фашист чуть не откусил палец Каранаускасу, но ему все равно пришлось сдаться, а потом Каранаускас спас своего товарища, который в темноте застрял в проволочных заграждениях противника.

Хороших людей у нас немало. Скажем, тот же возчик пулеметного взвода Бархатов. Когда мина вывела из строя пулеметный расчет, командир послал его к пулемету. И он отлично уничтожал врагов. Бархатова ранили, но он все равно не ушел с поля боя. Сейчас он опять поставляет нам провиант и боеприпасы.

В моем батальоне есть бойцы и из Вильнюса, — продолжает рассказывать Лисаускас. — Любо было смотреть, как вильнюсец Бадоновскис вел взвод в атаку. Один, не считая других бойцов, уничтожил много фашистов, а потерь почти не понес. У нас все только и говорят о вильнюсцах. Они дружные ребята и отчаянные как черти.

На столе появляется обед. Мы едим с аппетитом.

— Хорошо поработали ребята, — говорит один из командиров взводов. — У нас есть старшина Чалка. Когда командир взвода вышел из строя, он сам повел взвод в атаку. И бойцы сражались как львы. Четыре раза поднимались в атаку. В последней атаке Чалку ранило.

— В нашем батальоне есть и монгол, — снова рассказывает Лисаускас. — Каким-то образом попал в нашу дивизию, крепко подружился с литовцами, все просил, чтобы друзья рассказывали о нашем маленьком народе, который живет где-то на западе и несколько столетий смело сражается с немцами. Его зовут Дегбаев Дамсык Бадымов. Мы получили приказ отступить из Н-ской местности, и ему поручили вместе с другими прикрывать наше отступление пулеметным огнем. Когда бойцы вышли из опасной зоны, вынес свой пулемет и сам явился целым и невредимым.

После обеда в избу на другой стороне улицы собираются бойцы, которые перед сражением подали заявления в комсомол и партию. Сегодня в их жизни необычайный

---

[1] Не понимаю *(нем.)*.

день — они получают билеты кандидатов и членов партии и комсомола. Избу заполнили бойцы, люди разные по образованию и профессии. Вот краснощекий юноша, бывший студент Каунасского технического училища. Не раз, рискуя своей жизнью, он рвался вперед и воодушевлял других бойцов. Он уничтожил несколько фашистов. Вот крестьянин из Шакяйского уезда, который получил землю от советской власти, — он отлично действовал пулеметом на поле боя. Вот вильнюсский рабочий, в годы буржуазной Польши сидевший в тюрьме за симпатии к Советскому Союзу. Это уже немолодой человек, он вынес много раненых с поля боя.

Начальник политотдела дивизии Феликсас Беляускас прибыл, чтобы вручить им членские билеты. Он поздравляет каждого бойца. Бойцы торжественно клянутся еще упорнее сражаться с врагом.

В это время в воздухе свистит снаряд, и от грохота вылетают оставшиеся стекла из окон. Второй снаряд попадает в дерево, и оно валится. Бойцы в избе держатся спокойно, и вручение билетов продолжается.

Фашисты обстреливают деревню из тяжелых 155-миллиметровых орудий. Снаряды разрываются вокруг с гораздо бóльшим грохотом, чем мины, но попадания в избы редки. Большей частью они разрываются на улице, в садах, огородах, дворах. Снаряды пронзительно воют в воздухе и с грохотом взметают мерзлую землю, оставляя черные воронки. Мы переходим улицу, где помещается запасной командный пункт полка — он оборудован в подвале. Поначалу мы ничего не видим в темноте, только слышим голоса:

— Проходите сюда. Здесь можно сесть...

Глаза постепенно привыкают к темноте. Горит печурка, которая обогревает холодное и сырое помещение. На стенах пляшут отсветы пламени. На нарах, спокойно беседуя, сидят мужчины, а в углу работают телефонисты, они принимают донесения с места и передают приказы командира полка.

Стены и перекрытия дрожат от близких разрывов снарядов. Угоди снаряд — и нам конец. Все это прекрасно понимают, но курят, беседуют, один из бойцов не забывает подкладывать в печурку дрова, а телефонист кричит:

— Это «Песня»! Дайте «Тайгу»!.. Это «Песня»! Мне нужна «Тайга»!

«Песня», «Тайга», «Школа», «Оркестр», «Пуля», «Танк», «Утро» — все это пароли отдельных частей. Если бы врагу удалось перехватить наши телефонные разговоры, он бы все равно не понял, кто с кем разговаривает.

...Внезапно артиллерийский снаряд разрывается где-то совсем близко. Все вздрагивают. Из печурки вырывается пламя. Проходит не больше минуты. Товарищи вносят раненого телефониста, который находился наверху, в доме, и сидел на стуле, на котором я сидел всего две-три минуты назад. Снаряд угодил в угол дома, и осколком телефонисту отхватило часть икры. Раненый стонет, а товарищи успокаивают, усаживают его на нары. В свете карманного фонарика оказывают первую медицинскую помощь. Все происходит без суеты, спокойно, быстро. Слышен только стон раненого, в мерцающем свете печурки видно его побледневшее лицо.

Снова взрыв. Оборвана связь. Другой телефонист получает приказ найти обрыв. Хотя артобстрел продолжается, он выбегает на улицу; не проходит и пяти минут, как телефон снова работает.

Блиндаж полон людей. Это командиры различных частей — они собрались здесь по приказу комполка. Появляется и сам командир полка Антанас Шуркус.

Это уже немолодой человек, в прошлом офицер буржуазной армии, связавший свою жизнь с советской властью. Бойцы называют Шуркуса своим отцом. Он действительно добр к солдатам, но, когда нужно, проявляет и строгость. Только что под обстрелом он вернулся из штаба дивизии с важным приказом. Спустившись в блиндаж, он посвящает в него своих подчиненных. Все вокруг дрожит. Напряженные минуты, потому что в любое мгновение снаряд может попасть и в блиндаж. Сверху сообщили, что несколько снарядов разорвалось всего лишь в метре от нас. Но во время опасности человек проявляет свои истинные свойства. Шуркус не обращает ни малейшего внимания на доносящиеся снаружи звуки. Внятным голосом он зачитывает офицерам приказ штаба дивизии и удостоверяется, все ли как следует поняли. Потом начинает уточнять, объясняет командиру каждой части, что он должен делать.

Настал вечер. На дворе сгущались сумерки. Фашисты

решили еще раз атаковать деревню. Когда кончилась артиллерийская канонада, в воздух взмыл целый рой мин. Они падали и взрывались разом.

— Шестиствольные, — говорят солдаты.

Несмотря на адский грохот и вой, от которого содрогался блиндаж, в нем кипела работа. Я видел освещенное печуркой мужественное лицо Шуркуса. И лица командиров, которые внимательно слушают его. Связь работала. Телефонист тоже не обращал внимания на разрывы. Я смотрел и думал, что никакой театр в мире не смог бы передать эту минуту с такой естественностью и простотой, какой она была здесь, в этом блиндаже, в далекой деревне Орловской области.

Сидя на нарах, я заносил при тусклом свете в записную книжку переживания этого дня. Не могу сказать, чтобы адская музыка, грохотавшая и завывавшая надо мной, была мне приятна. Явно лжет тот, кто говорит, что ему все равно, когда он смотрит смерти в глаза. Инстинкт жизни настолько силен, что его может победить разве что нечеловеческая усталость. Однако перед лицом смерти человека частенько охватывает странное равнодушие к собственной судьбе. Ты прекрасно понимаешь, что от тебя совершенно не зависит — уцелеть или погибнуть. В голове возникают и гаснут мысли: «Умру — так умру, а останусь жив — тем лучше». Когда я теперь стараюсь вспомнить то, что чувствовал тогда и переживал, мне кажется, что в эти минуты я, как и все остальные бывшие со мной, сравнительно мало думал о смерти. Все в блиндаже были заняты своим делом и, видя лицо командира, совершенно спокойное, без тени страха, жили тем же чувством, что и он: хорошо и до конца выполнить поставленную задачу, с какими бы опасностями она ни была связана.

Обстрел из шестиствольных минометов продолжался до полных сумерек. Только в темноте все успокоилось. Блиндаж почти опустел. Командиры разошлись по своим частям. Унесли и раненого телефониста. Пришедшие сюда новые бойцы сообщили, что фашисты мало чего добились обстрелом: разрушили несколько изб, ранили и убили несколько людей и лошадей. Пострадали две женщины и несколько детей, которые не уходили из деревни даже на время боев. Раненым уже была оказана первая помощь.

— Вот и увидели, что такое передовая, — сказал мне Шуркус, когда мы собрались уезжать. — Надо сказать, сегодня выдался довольно-таки горячий денек. Такой артобстрел не каждый день бывает. Надеюсь, вам, как писателю, это было интересно?

— Еще бы, — ответил я, думая, что никакая книга о фронте не дает человеку того, что он видит своими глазами и может пережить сам. — Я очень рад, что побывал у вас. Это незабываемый день в моей жизни. Но, разумеется, куда лучше, если бы всего этого вообще не было.

— Это конечно, — сказал Шуркус. — Но раз уж фашисты напали, то придется бить до тех пор, пока их не останется ни здесь, ни в Литве. Тогда мы сможем спокойно взяться за другие дела.

Нас ждали запряженные сани. Было темно. Но на небе уже сверкали крупные звезды, и их холодный свет освещал окровавленную землю. В темноте маячила спокойная деревня, были слышны только негромкие разговоры бойцов. На деревенской улице стояли часовые.

В непривычной тишине наши сани выехали из деревни и оказались в заснеженных полях. Я лежал на соломе, глядя на удаляющуюся деревню, и видел, как, прочерчивая дуги в воздухе, летят немецкие трассирующие пули. Рядом со мной сидел красноармеец с автоматом. Когда в воздухе повисло несколько ракет, автоматчик сказал:

— Немцы боятся. Иногда целую ночь жгут ракеты и смотрят, не собираемся ли мы атаковать.

Слева, у деревни, в которой находились фашисты, застрекотал пулемет и тут же захлебнулся. Оттуда снова взмыл рой трассирующих пуль и, прочертив в воздухе дугу, упал на наши позиции.

В полях расползался туман. Стало еще темнее. В тумане скользили сани, доставляя на передовую боеприпасы и провиант. Фыркали лошади, тихонько поскрипывали полозья. Из тумана рядом с дорогой изредка выплывала крупная фигура нашего часового.

— Стой! Пароль...

Услышав ответ, часовой пропускал нас, и лошади бодрой рысцой бежали в сторону деревни, в которой находился командный пункт дивизии.

Там мы застали командира дивизии Феликсаса Бал-

тушиса-Жемайтиса и его замполита Йонаса Мацияускаса.

— Мы уже слышали о ваших приключениях, — с улыбкой сказал командир дивизии. — Оказывается, вы получили боевое крещение. Поздравляю...

— Меня влекло туда профессиональное любопытство. Я собрал немного материала о наших бойцах.

— Отлично! — сказал Мацияускас. — Но, полагаю, вы несколько замерзли. Прошу отужинать.

На столе дымились картофельные оладьи. И здесь, среди старых товарищей, я снова почувствовал себя вдали от фронта, хотя на самом деле мы находились в пятишести километрах от передовой. Когда за ужином мы слышали взрывы мин в каком-нибудь километре, они уже никого не волновали.

Потом я отправился спать. Меня уложили на теплую деревенскую печь, и было так хорошо после напряженного дня... В крестьянской избе трещал сверчок, пахло свежим хлебом, и я долго еще слышал голос старой своей знакомой Цили. Она убиралась в комнате и философствовала о поэзии, о Толстом и клубе «Надежда» [1], в котором мы когда-то оба работали. Потом стала напевать. В избе на лавках и на полу спали солдаты. А на дворе ревели тракторы, они тащили грузы, и этот грохот все удалялся, пока я не перестал его слышать.

МИТИНГ В ЦЕРКВИ

Где-то еще грохотали яростные сражения... А воины литовских частей собирались на встречу с руководителями республики. В церковь, поврежденную вражескими снарядами, — на сводах можно было различить расплывчатые лики святых, — солдаты прибыли прямо с передовой. Одни стояли, другие сидели у разведенного здесь же костра. Тут же, у церкви, оставались немецкие грузовики, валялись снаряды, каски, а вокруг были бойцы — сильные, суровые, могучие. Величественная картина, словно перед твоими глазами ожили герои прошлого, полные не-

---

[1] «Надежда» («Вильтис») — рабочий клуб, действовавший в Каунасе в начале 30-х годов, впоследствии закрытый сметоновской охранкой; в работе клуба принимали участие многие прогрессивные писатели и деятели культуры.

сокрушимой веры в победу. Дух борьбы и решимости излучали красные от бессонницы глаза бойцов.

Замполит Йонас Мацияускас, который с самого начала формирования литовских частей проявил себя как хороший организатор, приветствует гостей, представителей руководства Советской Литвы, и уверяет их в том, что наши воины, доказавшие свою любовь к Родине кровью на поле боя, и впредь будут отважно сражаться за свободу и счастье социалистической отчизны.

После него к воинам обращается Антанас Снечкус.

— В боях с нашим вечным врагом, — говорит он, — литовские бойцы проявили много мужества и геройства. Их имена всегда будут сверкать неугасимой славой. Литовский народ на века запомнит своих верных сынов и дочерей, не пожалевших ни крови, ни жизни для достижения великой победы, освобождения нашей Родины от заклятого врага — немецкого фашизма, точно так же, как он будет помнить и наших отважных партизан, которые сражаются во временно порабощенной Литве.

Снечкус подчеркивает, что для еще более успешной борьбы с врагом надо как можно шире использовать опыт минувших боев.

— Я верю, товарищи, — заканчивает свою речь Снечкус, — что воины, проявившие истинное геройство в тяжелых боях за свободу Родины, с честью выполнят ту задачу, которую перед нашей Красной Армией поставил главнокомандующий.

После него выступает Мечис Гедвилас:

— Наш народ сотни лет сражается с коварным и страшным врагом. Много драгоценной крови пролито в этой борьбе, которую сейчас вместе со всеми советскими людьми продолжаете вы, лучшие сыны и дочери Литвы. Так поднимем еще выше знамя борьбы за свободу, на котором никогда не поблекнут имена героев. Имена бойцов нашей национальной дивизии литовский народ золотыми буквами запишет в свою историю, о их подвигах узнают наши братья на порабощенной родине, наши партизаны, братья-литовцы за рубежом.

Один за другим выходят вперед воины. Они рассказывают, как сражались отдельные части. Мацкявичюс и М. Слизявичюс рассказывают, как их батареи громили своим огнем врага.

— В бой нас вели слезы жен, братьев и отцов, кровь

детей, пролитая фашистскими палачами в Паланге, и нас радует каждый выстрел, метко разящий врага, — говорит Мацкявичюс.

Леонавичюс, Тамше, Александравичюс и другие ярко говорят о героизме наших воинов, рассказывают, как многие сражались до последней капли крови, не покидали поле боя после ранения, помогали товарищам в критическую минуту.

— В предстоящих сражениях мы будем драться, как дрались наши товарищи. Мы будем равняться на лучших из нас. Будем бить врага так, чтобы он почувствовал всю силу нашей ненависти, — говорят они.

От лица молодых писателей дивизии выступает Викторас Валайтис.

— Писатели в Отечественную войну сражаются не только пером. Целый ряд начинающих писателей до конца не выпускали оружия из рук. Погибли Кирстукас, Глухас, Иохелис, а Варякоис, Жуклис и другие ранены, но, поправившись, снова возьмут оружие.

Йонас Марцинкявичюс говорит:

— Наша борьба — всего лишь звено многовековой борьбы нашего народа против немецких захватчиков. Я знаю вас всех, друзья! Я видел, как вы учились бить врага, видел, с каким невиданным геройством, отвагой и упорством сражались с ним. Слава смелым сынам нашего народа! За счастье и честь нашего народа — вперед, к разгрому фашизма!

Речь каждого из выступавших сопровождалась бурными аплодисментами.

Когда бойцы расходились с митинга, погожий мартовский день все еще был наполнен разрывами мин, стрельбой орудий и трескотней пулеметов. Предстояли новые тяжелые бои.

ИДЕМ НА ОТДЫХ

Таял почерневший снег. Туман стлался над колесами грузовиков, обволакивал стволы деревьев, иссеченные гранатами и минами. Вечером светила мутная луна, но ночью она исчезала за пеленой облаков, и в кромешной темноте маячили машины — фантастические, огромные. Медленно брели запряженные в сани лошади, тракторы с рычаньем тащили орудия. После продолжительных боев

наши части получили приказ отойти на отдых во второй эшелон. Сегодня ночью их сменяли свежие войска. В окопах оставалось только прикрытие — оно уйдет с передовой, когда их сменят бойцы другой дивизии.

Ночь темна, хоть глаз коли. Туман не дает врагу наблюдать за движением на дорогах. Он заботливо скрыл наших бойцов, шагающих небольшими группами, сидящих на орудийных лафетах, на полевых кухнях, на тяжело груженных санях. Изредка слышен храп лошади, рев трактора; нескончаемым потоком движутся в мутном тумане машины, сани, орудия, идут бойцы, полузакрыв усталые глаза. Другие спят, прислонясь к стволу дерева. Третьи греются и сушат мокрую одежду у небольших костров в разрушенных домах.

— Как настроение, друзья?

Бойцы, курившие у дороги, поднимают головы. Я вижу впалые глаза, глубокие борозды морщин. Заросшие щетиной лица, потрескавшиеся, черные руки. От бойцов пахнет окопной землей и сыростью.

— Хорошее. — И кто-то узнает меня. — Мечтаем только — вот бы выспаться да в бане попариться...

— Да уж неплохо было бы, — подхватывает другой.

— Ничего, ребята, и выспитесь и попаритесь...

— А что в Литве слышно? — спрашивает боец, и вспыхнувшая спичка освещает его лицо, бледное, улыбающееся по-детски доверчивой улыбкой. — Не узнаете меня? Я учился в Вильнюсском университете, на гуманитарном. На втором курсе.

Я рассказываю им о страданиях и несчастьях Литвы, о партизанах, о наших соотечественниках, которых увозят на германскую каторгу, о наших братьях и друзьях, павших от пуль фашистских палачей.

Бойцы молча слушают. Когда кто-нибудь из них затягивается махорочным дымом, в крохотном отсвете я вижу глаза и суровые лица под стальными касками.

— Поверьте, товарищ, — обращается ко мне пожилой, рослый, седоватый боец, — мы неплохо сражались. И еще повоюем.

На другой день мы располагаемся на новом месте. Здесь просторнее — бойцы расселились по деревням, растянувшимся вдоль дороги на несколько километров. При-

ближается весна. Дороги развезло. С крыш течет вода, поля превращаются в топь. Сырая, промозглая погода. Но нет постоянного напряжения. Орудийная канонада звучит здесь приглушенно. Лишь когда ветер дует со стороны фронта, слышно татаканье пулеметов. Ни на минуту не прекращаются военные действия, о которых Совинформбюро обычно сообщает лишь кратко: «На фронте существенных изменений не произошло».

Начинается новая жизнь. Пустые избы превращены в бани. Бойцы долгими часами, забыв все на свете, отскребают застарелую грязь. На полях грохочут взрывы — это бойцы взрывают мерзлую еще землю, готовя место для блиндажей и землянок. Работы и здесь хоть отбавляй, но как приятно перевести дух после напряженных дней, когда вдобавок докучали и страшные морозы, — а ведь иногда целыми неделями приходилось лежать в чистом поле.

Бледные лица весело щурятся на солнце. Наступает вечер, бойцы строем возвращаются с работ, и в прозрачном вечернем освещении в большом селе все чаще раздается литовская песня.

А вечером бойцы усядутся на крыльце в закатных лучах — и вот уже проворные пальцы музыканта забегали по клавишам гармоники. Откуда-то появляется гитара. Раздается песня:

Как я ехал через лес зеленый,
Обломал я веточку рябины. . .

Слушая песню этой ранней весной, бойцы вспоминают родную деревню, скрип колодезного журавля в сумерках, голубой Неман, Каунас, море. . .

У Йонаса Марцинкявичюса и здесь работы хоть отбавляй. Надо собрать музыкантов и чтецов. Вот и бредем по топким дорогам из деревни в деревню, где размещены бойцы. Когда мы говорим о том, что надо организовать вечер — интересный, с чтением стихов, песнями, музыкой, — глаза всех загораются, на лицах появляются добрые улыбки. Бойцы наводят чистоту в избах, в которых намечено провести вечер, сами ищут самодеятельных музыкантов и певцов. И мы возобновляем выступления фронтовой самодеятельности, так полюбившейся бойцам.

Хорошо, если в деревне оказывалась просторная изба. В углу ставим столик. Стол освещает карбидная лампа

или коптилка, сделанная из латунной снарядной гильзы. Окна плотно занавешены, чтобы нас не засекли в темноте вражеские самолеты. Поначалу вперед выходим мы, писатели. Изба забита слушателями. Бойцы сидят на двух-трех лавках у самого стола, другие сгрудились сзади. Стоят плотно, и не протолкнешься. Мы читаем о боях, о порабощенной Литве, о нашей великой Родине. После все долго хлопают. Выступает хор — небольшой, но хорошо спевшийся. Потом — дуэты, квартеты и соло. Звонко поют известные в дивизии любители пения — младший лейтенант Владас Каволюнас и врач Зигмас Янушкявичюс *. Зрители не скупятся на аплодисменты. В каждой части обнаруживаются новые таланты — певцы, чтецы, музыканты, поэты. Каждое выступление бойцы встречают тепло и радостно.

Посреди села тарахтит движок. Кинопередвижка привезла бойцам новый фильм. Экран вывешен на улице, у стены дома. Зрители сидят на вынесенных лавках, другие стоят, — смотреть кино пошли те, кто не попал к нам в избу. Когда в небе раздается рев немецкого самолета, аппаратуру выключают. После отбоя фильм крутят дальше.

Мы приходим в обширное село Верхняя Сосна. Говорят, оно растянулось километров на десять. В конце деревни из подтаявшего снега торчат разбитые немецкие пушки, грузовики, легковые машины. Здесь расположился наш медсанбат. Тяжелораненые эвакуированы в тыловые госпитали, и медработники могут перевести дух. Теперь они заняты лишь легкоранеными и просто больными. Медперсонал — врачи, санитары, медсестры — долго работали без отдыха и сна.

Медработники оборудовали в деревне дом отдыха для наших бойцов. Лучшие избы деревни аккуратно прибраны, на столах — белые скатерти. На койках — чистое белье. Много книг, газет. Приятно войти в такую избу. Бойцы долго спят и хорошо питаются. В одной из таких изб мы застали не только бойцов, но и деревенских женщин. Они утюжили солдатскую одежду, обшивали солдат, стирали белье, приносили молоко, яйца, готовили чай.

— Они для нас как матери, — говорит боец, крестьянский сын из Дзукии. — Жаль вот, по-русски не умею. . .

— Мой муж на фронте, — рассказывает женщина, штопая солдатскую шинель. — И сын на фронте. А ваши,

хоть я и не понимаю языка, для меня что родные сыновья. Ведь Родина у всех одна...

Она рассказывает, что пришлось им вытерпеть под фашистами. Известные жестокости, о которых услышишь в каждой избе. И свой рассказ она кончает словами:

— Не приведи господи их еще когда-нибудь увидеть... Зверье...

В другой деревне у замполита части тоже сидят крестьянки. Они собрались здесь, чтобы посоветоваться, как наладить стирку солдатского белья. Тут же председатель колхоза — толковый старик с живыми глазами, высоким залысым лбом и пшеничными усами. Он хочет помочь нашим бойцам продуктами — предлагает зерно и мясо сдавать не государству, а непосредственно нашим армейским частям. Тогда им не надо будет возить зерно и мясо в город, а нам не придется доставлять их с базы, тем более сейчас, в распутицу. Оказывается, колхозники сберегли от оккупантов немало хлеба. Председатель предлагает конфисковать кур и овец у старосты, который во время оккупации притеснял местное население, и раздать тем, у кого фашисты забрали скот. На следующий день побелели все изгороди — это крестьянки выстирали солдатское белье. Переговоры с председателем также завершились соглашением, полезным для обеих сторон.

На полях уже весна. Никто не ждал ее с такой страстью, как бойцы, которым приходилось дрогнуть на снегу.

Снег сполз поначалу с пригорков, потом исчез даже в оврагах. В небе раздались трели жаворонка. По утрам землю серебрил иней, но быстро таял в лучах солнца. Просыхали дороги и тропы. Каждый день в деревнях, на лугах, рядом с дорогами, бойцы находили сотни мин. Саперы взрывали эти мины, и нам часто казалось, что рядом рвутся вражеские гранаты. Но настоящие бои попрежнему шли сравнительно далеко — в двенадцати — пятнадцати километрах. Там каждый день рокотали орудия и стрекотали пулеметы. В сумерках воздух заполнялся гулом самолетов. Это наши эскадрильи дальнего действия летали бомбить вражеские склады и железнодорожные узлы. На западе ночью в небе висели «лампы», сброшенные нашими летчиками над объектами врага. А вокруг нас простиралась тихая ночь — прохладная и чистая в мерцающем лунном свете.

В погожий весенний день мы выехали обратно — в Москву. На грузовике, груженном бочками из-под бензина, по еще не совсем просохшим дорогам мы продвигались все дальше и дальше от передовой. Еще засветло миновали городок Дросково, в котором немцы не оставили камня на камне. Но особенно страшно выглядел город Ливны. Он вырос в лунном свете перед нашими глазами, словно руины Помпеи. Кроме нескольких зданий у вокзала, мы не увидели здесь ни единого целого дома. В лунном свете протянулись улицы из высоких домов, — от некоторых остались стены, другие сгорели и глядели на нас слепыми глазницами окон, страшные, как мертвецы. Груды кирпича и обгоревших бревен, опаленные костяки домов с провалившимися перекрытиями, дома, рухнувшие на улицы и дворы... Город казался кладбищем. Нигде ни души. Почти каждую ночь этот город, пустой и страшный, не переставая бомбили вражеские самолеты. Боец, глядя с грузовика на черные руины, сказал:

— Справедливо было бы так же поступить и с городами Германии...

Лишь за городом мы увидели землянки, в которых скрывались от бомбежек и смерти несчастные люди. У них, конечно, тоже не было причин любить немецких фашистов.

(Позднее я описал Ливны в стихотворении «В прифронтовом городе».)

Наш грузовик, подскакивая на ухабах, едет все дальше и дальше. Хочется ехать быстрей, чтоб на другой день добраться до первого крупного пункта по дороге в Москву. И вдруг ночью перед нами открывается невиданное зрелище. Вдали вспыхивают огни огромного города. Но мы знаем, что поблизости городов нет.

— Наверное, самолеты врага подожгли деревню или неизвестный городок, — говорит один из попутчиков.

На самом деле начинает казаться, что это зарево гигантского пожара, широко осветившее ночной горизонт. Машина медленно приближается к нему.

— Нет, — говорит другой спутник, — это, наверное, наши развели в полях костры, чтоб запутать немецких летчиков.

В ночной темноте кажется, что пылают целые деревни.

Все ближе подъезжаем к этим огням. И наконец один из нас говорит:

— Это трава в степи горит. Такой пожар на самом деле может ввести в заблуждение летчиков.

Проехав еще с километр, мы видим, что это действительно горит высохшая степная трава. Она высокая, пламя взмывает вверх и снова опадает, пожирая все новые пространства, и издали кажется, что это огромный, страшный пожар. С самолетов такой пожар можно заметить с расстояния в несколько десятков километров.

— Мне рассказывали, — говорит тот же попутчик, — немецкие летчики, решив, что другие их самолеты подожгли важные объекты, бывает, сбрасывают весь груз бомб в чистое поле.

— А потом хвастаются по радио, что разбомбили столько-то складов. — В свете пламени я вижу смеющееся лицо.

— Известное дело, как тут не похвастаться! — откликается еще кто-то.

Когда после прохладной весенней ночи занялось утро, мы уже находились далеко от фронта. Нам еще предстоит увидеть много разбомбленных станций, пересаживаться с поезда на поезд, пока мы не окажемся в великой столице. И сейчас, ранним весенним утром, на залитых солнцем полях мы увидели картину, которая раньше, пожалуй, не остановила бы нашего внимания, но на сей раз показалась полной большого и глубокого смысла.

В долине у небольшого ручья когда-то, по-видимому, находилась большая деревня. Теперь от нее осталось несколько изб, другие были сожжены. Когда машина поднялась на пригорок, перед нами на горизонте показалась высокая фигура крестьянина. Золотистые утренние облака нимбом окружали его крупную красивую голову с волосами, которые ворошил легкий ветерок. Большие босые ноги твердо ступали по пашне, правой рукой крестьянин рассевал горсти блестящего зерна. Семена падали золотым дождем, а перед глазами крестьянина распростерлась необозримая благословенная земля. Рядом с пашней отдыхали волы, запряженные в старинную соху. Тут же стоял крохотный мальчуган — наверное, внук, — тоже простоволосый и босой, как старик. Мальчуган улыбался, его лицо светилось, и большие глаза с удивлением

смотрели на землю, озаренную пламенем весны. С долин поднимался туман, вдалеке дремали вековые леса.

Высоко над нашим грузовиком, над старым крестьянином и его внуком пронзительно звенели жаворонки. В земле, которую враг долго топтал, жег, хотел поработить, теперь, словно почка, для которой приходит пора раскрыться, словно росток, для которого приходит пора взойти, неудержимо зарождалась жизнь. А дождь золотистых зерен все падал и падал в рыхлую, плодородную почву.

К этим старым записям я мог бы добавить еще несколько эпизодов.

На фронте я познакомился и даже подружился с некоторыми командирами. Об одних я уже упоминал в своих давнишних записках, про других хотел бы сказать хоть несколько теплых слов. Я не историк войны и хочу подчеркнуть лишь их чисто человеческие черты, которые мне запомнились. В одной из изб села Алексеевка я довольно долго жил вместе с генералом Владасом Карвялисом *. В Литве я не был знаком с этим популярным офицером буржуазной армии, который в решающую минуту пошел вместе со своим народом и теперь служил в Красной Армии. Владас Карвялис, хороший специалист, свято веривший в то, что свободные народы в конце концов разгромят Гитлера, впоследствии командовал нашей дивизией. Это очень простой, душевный человек. Питались мы тогда невероятно жестким мясом, и генерал, поддев вилкой кусок, со смехом говорил:

— И-го-го...

Я понял, что мы едим конину, — из-за весенней распутицы разладилось снабжение.

Как-то генерал (тогда он непосредственно в боях не участвовал) долго смотрел, как я пишу что-то, примостившись к углу стола, и вдруг сказал:

— А знаете, сколько солдат сейчас под нашим командованием?

— Нет. А сколько?

— Ровным счетом шесть. Если бы немцы дознались, что в этой деревне сейчас находятся шесть рядовых, один писатель и один генерал, нам пришлось бы туго...

— А меня, знаете, это как-то не волнует, — ответил

я. — Наверно, немцам теперь до нас и дела нет... Видите, какая битва кипит в нескольких километрах...

— Да, наши отдраивают им шкуру с песочком...

Хорошее впечатление производил новый знакомый — полковник артиллерии Йонас Жибуркус *. Когда-то, еще в 1918—1919 годах, он сражался за Советскую Литву, а позднее получил высшее военное образование в Ленинграде. В Литовской дивизии он отлично сражался (впоследствии, командуя другой дивизией, он стал генералом и, подобно генералу Владасу Карвялису, принимал участие в освобождении Чехословакии). Жибуркус интересовался не только военным делом. Он подружился с писателями, приезжавшими в дивизию, любил художников, актеров, запоем читал художественную литературу. На фронте мы часто захаживали к нему вместе с Йонасом Марцинкявичюсом, и нас всегда ждал теплый прием. У Жибуркуса хозяйничала и пекла ему вкусные литовские блины наша старая знакомая Циля Мозялене, которая вскоре стала его женой. Находясь в дивизии, Жибуркус вновь выучил литовский язык, который подзабыл за долгие годы, проведенные в России.

Дружили мы и с бывшими офицерами буржуазной армии — с Адольфасом Урбшисом, Пранасом Петронисом *, Владасом Мотекой. Все они, тогда еще молодые люди (правда, Урбшис уже был седым), толковые, энергичные, были глубоко убеждены в том, что наш родной край может освободить только Красная Армия. Они делали все, чтобы это случилось как можно скорее.

Дивизия, перейдя во второй эшелон, расположилась в степи, в селах, отстоящих друг от друга на несколько километров. Нас с Йонасом Марцинкявичюсом интересовало, как бойцы отдыхают после сражений, как их лечат, чем они живут. Любопытно было встретиться и с местными жителями, которые испытали немало горя после нашествия фашистских солдат, — ведь вся их жизнь пошла кувырком... Мы шли из деревни в деревню, беседовали о недавно закончившихся боях, вспоминали Литву, Каунас, близких.

Мы шагали по раскисшим весенним дорогам, по талому снегу. Я смело ступал из лужи в лужу ладными сол-

датскими сапогами и вдруг заметил, что сапоги Йонаса «просят каши».

— Послушай, Йонас, — не выдержал я, — посмотри, все солдаты обуты как люди, а ты... Так и заболеть недолго...

— А я и хвораю, — сказал Йонас, глядя на меня красными глазами и приложив руку к щеке. — Зубы зверски болят, хоть волком вой...

Вдалеке виднелось незнакомое село.

— Пошли, — сказал я ему. — Разузнаем, — может, там есть врач. Но это не спасение. Тебе надо поскорей обзавестись приличными сапогами. Скажи, кто должен тебя обмундировать?

— Меня? Лейтенант Владас Лукошявичюс, командир хозчасти полка.

— Так где же он?

— А черт его знает. Да его вины тут нет. Мне давно следовало к нему явиться. Видишь, и форма обносилась. Может, выдаст что-нибудь получше. Да вот не имею понятия, где его искать...

Мы вошли в село. Когда спросили о зубном враче, люди показали уцелевший домик, в котором мы действительно нашли пожилого, высохшего от голода дантиста. В это беспокойное время чудом уцелел не только он сам, но и его кабинет с зубоврачебным креслом и инструментами. Дантист даже обрадовался пациенту, и я, оставив товарища в кабинете, принялся расхаживать перед избой, поджидая Йонаса.

Прошло каких-нибудь полчаса, и белый как полотно Йонас, ухватившись за щеку и согнувшись в три погибели, вышел во двор. Он плевал на снег кровавой слюной и жалобно скулил.

— Что, все еще болит?

— А ну его к черту! Без обезболивания вытащил мне три корня сразу!.. Можешь себе представить...

Я еще больше пожалел Йонаса. Встретив бойцов нашей дивизии, узнал от них, что нужный нам Лукошявичюс со всеми своими складами расположился примерно в десяти километрах.

— Пройдем ли такой путь после этой твоей операции? — спросил я у Йонаса.

— А что еще прикажешь делать? — ответил он, продолжая держаться за щеку.

Мы брели все дальше по дороге, шлепая по грязи. Поля пустовали, лишь изредка вдалеке появлялся солдат или какая-нибудь бабенка, по неотложному делу бредущая из одной деревни в другую. В нескольких метрах от нас вдруг раздался взрыв: трудно было понять, что это такое — прилетевший издали снаряд или бывшая в снегу мина. Наверное, мина замедленного действия, потому что воя снаряда никто из нас не слышал. Мы инстинктивно отпрянули и чуть не свалились в снежную кашу. Еще курился дымок, но мина (мы уже были уверены, что это мина) нас не ранила, и мы, повеселев, зашагали дальше.

Наконец мы добрались до нужной деревни и в одной из изб застали Лукошявичюса. В избе было уютно, только что пекли хлеб, и печь еще не остыла. По хозяйству хлопотали девушки, которые на наше приветствие ответили по-литовски. Все сверкало чистотой, не то что в большинстве изб, где нам приходилось бывать.

— Послушай, товарищ Лукошявичюс, мы пришли к тебе ругаться, — сказал я. — Ты посмотри, какие сапоги у Йонаса! Человек хворает, плохо себя чувствует, а сапоги полны снегу...

Глянув на нас веселыми темными глазами, Лукошявичюс ответил:

— Правда. Святая правда! Йонас Марцинкявичюс приписан к нашему полку, и я должен заботиться о его обуви. Но скажи, уважаемый, кто виноват, если я его месяцами не вижу и даже не знаю, где он?

Йонас с Лукошявичюсом ушли на склад. Вернулись только добрый час спустя. В избу вошел Йонас, но его просто было не узнать. Его не только обули в новехонькие кирзачи, он был в форме с иголочки, успел даже попариться в бане, побриться и постричься, — словом, другой человек, моложе лет на десять. Выпив рюмочки две и закусив, Йонас совсем разомлел. Вздремнув на жаркой печи, он слез с нее, забыв о зубной боли и всех бедах последних дней. Поблагодарив Лукошявичюса за заботу, мы покинули деревню, а Йонас, топая по грязи новыми чудными сапогами, затянул даже песню.

Однажды, когда находились во втором эшелоне, я увидел, как в часть прибыл наш боец вместе с парнем явно не литовского и не русского вида. Был он очень уж

рыжим, здоровым и упитанным. Как следует присмотревшись, можно было заметить, что некоторые части его обмундирования — немецкие. Подойдя к нам, он сказал: «Гутен таг», — и мы поняли, что это на самом деле немец. Кто он? Откуда? Оказалось, пленный. Я заговорил с ним. Немец сказал, что родом он из Эссена; его отец столяр, был коммунистом, он тоже ненавидит Гитлера, поэтому и перешел на нашу сторону. Теперь он находится в распоряжении нашего политотдела. Пишет по-немецки воззвания к своим соотечественникам, иногда даже в стихах, и призывает их тоже перейти линию фронта. Как же он их передает? Очень просто. Солдаты протягивают телефонные провода к первым линиям и поближе к немцам устанавливают громкоговоритель. А он лежит в безопасном месте и читает свои воззвания. Немец сказал, что в Москве находятся немецкие писатели и он хотел бы с ними связаться, потому что у него с ними одна цель. Спросил у меня, не знаком ли я с немецким писателем Альфредом Куреллой, которого он уважает за его произведения (с Куреллой я познакомился уже после войны у Николая Тихонова). В дальнейшей беседе выяснилось, что немец несколько месяцев назад находился в Литве. Это меня заинтересовало — он же расскажет мне о том, что там творится! Увы, он проехал только Шяуляй, да и то ночью, и ничего не увидел...

Потом парень вытащил из своего вещмешка немалый кусок хлеба и сала и, никого не угощая, стал есть. Насытившись, достал из кармана трубочку, набил ее русской махоркой и со смаком закурил. Потом прихватил громкоговоритель и вместе с переводчиком — инструктором политотдела зашагал в соседнюю часть.

— Вот гад! — сказал Йонас, глядя, как немец с переводчиком удаляются по топкой дороге. — Этот и здесь как у себя дома! Сала, сволочь, не предложил, сам слопал! — И Йонас сглотнул слюну.

С продовольствием мы на какое-то время действительно оказались в незавидном положении. По весне дороги развезло — ни пройти, ни проехать. Грузовики из этой топи нельзя было вытащить даже тракторами. Почва в этих местах чистый чернозем, и нет такой силы, которая ранней весной, когда все тает, привела бы в порядок дороги. От одного населенного пункта до другого можно добраться только верхом. Склады дивизии отстояли при-

мерно в сотне километров от фронта, так что продукты до нас теперь не доходили. Паек для бойцов и командиров урезали все больше. Наконец единственным дневным рационом стало несколько маленьких сухарей. Мы съели всех раненых и убитых лошадей. Мясо было чертовски жесткое, но мы радовались даже ему. Мы знали: пока не просохнут дороги и не пойдут машины, лучше не станет... (Позднее Красная Армия научилась быстро прокладывать дороги даже через болота.)

Но весна шествовала неудержимо, дни становились все теплей, вода с клокотом сбегала в балки, а невысокие степные холмики просыхали. Разнесся слух, что грузовик, выехавший из дивизии, уже возвращается с продовольствием. Еще больше я обрадовался, когда приехал кто-то из нашего Совета Народных Комиссаров и вручил мне довольно-таки увесистый ящик.

— Товарищи из Москвы посылают, — коротко объяснил гость.

Я открыл ящик и ахнул от удивления. В нем были буханки две хлеба, хорошая колбаса, масло, голландский сыр, даже две плитки шоколада! На дне — пол-литра «Московской особой». А ей уж просто цены не было.

Мы с Йонасом унесли ящик в свою комнатушку и принялись угощаться. Ели день, другой, угощали товарищей и удивились, что ящик с невероятной быстротой опустел. Но с едой в дивизии вдруг стало лучше — все питались нормально, снова набирались сил, а мы с Йонасом решили уехать в Москву.

Командование дивизии охотно согласилось отпустить Йонаса в столицу — отдохнуть, прийти в себя, уладить литературные дела. Выправили ему соответствующие документы, выдали сухой паек, и мы сели в один из первых грузовиков, направлявшихся с фронта в Тулу. До Тулы мы так и не доехали, по дороге грузовик вышел из строя, и мы сели в поезд. Мы ехали мимо разбомбленных, сожженных станций, разрушенных городков, где среди развалин уже копошились люди, пытаясь как-то наладить жизнь. К счастью, немецкие самолеты не бомбили наш поезд (у врага поубавилось самолетов, да и наши больше не позволяли им хозяйничать в нашем небе), и мы кое-как добрались до Тулы. Здесь нам предстояло устроиться на московский поезд.

Тульский вокзал сверкал непривычной чистотой. Здесь

был полный порядок, работали гражданские и воинские кассы. По залам ожидания ходили бойцы и люди в штатском — одни ехали в сторону Москвы, другие направлялись из Москвы на фронт. Подойдя к гражданской кассе, я быстро получил плацкарту. Между тем Йонас вернулся от воинской кассы ни с чем.

— Худо дело, — сказал он. — Не дают... Требуют командировку и воинский билет...

— Так дай им, раз просят!

— Да забыл я взять. Понимаешь, выписали мне их еще вчера, а я вот утром не зашел в канцелярию и не взял...

— Черт возьми! — воскликнул я. — Тебя же без документов арестовать могут!

— Ясное дело, могут, — ответил Йонас. — Но в кассе приличная девушка сидит. Посоветовала обратиться к коменданту.

— Ничего другого нам и не остается. А где этот комендант?

— Черт знает. Говорят, на другом конце города. Спросим.

Кое-как мы узнали адрес коменданта. До отхода поезда еще был час, не меньше.

Трамвай был набит битком. Но мы с Йонасом все-таки уцепились за поручни и долго ехали, пока не услышали название нужной улицы. К счастью, комендант оказался у себя, Это был добрый человек. Я показал ему свой депутатский мандат и принялся растолковывать, что мой друг лейтенант, тоже писатель, в дороге потерял документы. А может, их у него вытащили... Трудно сказать, поверил ли комендант моим объяснениям или просто пожалел Йонаса, но написал какую-то записку и сунул ее Йонасу. Добрых полчаса уже прошло. Мы стремглав бросились из кабинета и снова повисли на поручнях трамвая. Йонас показал в кассе свою бумагу и получил плацкарту. Когда мы выбежали на перрон, московский поезд уже набирал скорость. Все-таки мы успели вскочить на ступеньки. Кое-как пробрались в вагон и нашли в нем сидячие места. Порядок был и здесь. И это нас очень обрадовало.

— Если б не ты, — говорил позднее Йонас, — меня бы погнали обратно в дивизию... А я вот никак не привыкну к документам... Все их теряю или забываю где-нибудь...

Вообрази только, я от самого Каунаса живу без документов.

— Не может быть! Ведь во время эвакуации без конца проверяли...

— Ясное дело, проверяли... Не хотели пропустить в Белоруссию, помнишь? Там ты мне помог... Потом чуть не расстреляли за то, что был без документов, но спас знакомый командир... В дивизии, правда, у меня документ был, да вот запропастился куда-то. По правде говоря, на что мне документы, когда и так все меня знают...

— Ты смотри, береги теперь записку тульского коменданта, а то московские патрули шутить не любят...

Йонас только рассмеялся. В Москве он чувствовал себя как дома.

И правда, ночью, бывало, звонят к нам в Постпредство с какого-нибудь военного поста или из милиции:

— Знаете ли такого... Мар-цин-кеви-чи-ус Йонас Йонович? Задержан без документов. Куда прикажете доставить?

— Доставьте на улицу Воровского, дом двадцать четыре.

И Йонаса из близкого или дальнего района Москвы передавали в Постпредство, где он даже в поздний час получал ужин и ночлег.

(Кажется, Йонас без документов и войну закончил и, после войны обходился без них. Как-то я встретил в Вильнюсе его жену Марите. Она сказала, что идет выправлять Йонукасу паспорт.

— Не знаю только, что с паспортом делать... Все равно ведь Йонас его потеряет...

— А ты ему в руки не давай, — посоветовал я Марите. — Держи у себя. Так будет вернее. Или сними с паспорта копию и выдай ему... А документ пускай лежит под ключом.

— Пожалуй, так будет лучше, — ответила Марите. — Да уж, Йонас не из тех, кто бережет документы. И что самое удивительное — отлично без них обходится... Но теперь милиция не отстает: нужен, мол, паспорт — и все. Без паспорта, мол, не положено...

Так и не знаю, удалось ли Йонасу хоть после войны обзавестись паспортом.)

ЭРЕНБУРГ, ФАДЕЕВ И ДРУГИЕ

Кажется, поближе познакомившись с Юстасом Палецкисом, в нашем Постпредстве стал бывать писатель Илья Эренбург.

Еще учеником Мариямпольской гимназии вместе с Казисом Борутой я читал книгу Эренбурга «А все-таки она вертится», в которой автор излагал новые взгляды на искусство тех лет, говорил о Корбюзье и Леже, о лаконичном романе будущего, кубизме и конструктивизме. Позднее мы с большим интересом читали его роман парадоксов «Хулио Хуренито», «Любовь Жанны Ней», «10 лошадиных сил» (книгу об автомобиле), «Фабрику снов» (о кинематографе), «День второй», «Не переводя дыхания» и множество других книг. Мы знали, что Эренбург живет в Париже, но поддерживает не русских эмигрантов, а Советский Союз. Сейчас, в дни войны, он завоевал неслыханную популярность не только романом «Падение Парижа», но и своими статьями, которые изо дня в день публиковали московские газеты, в основном воинская «Красная звезда», — эти статьи клеймили Гитлера и его клику, фашистское нашествие, страстно реагировали на события на фронтах, призывали не уступать немцам ни пяди советской земли, прославляли героизм советских людей. Статьи Эренбурга завоевали популярность, с которой могли сравниться разве что лучшие стихи К. Симонова, А. Суркова и некоторых других поэтов. Бойцы обычно пускали на самокрутки все газеты, вырезая для себя только статьи Эренбурга и какие-нибудь особенные материалы. Сотни антигитлеровских газет в разных частях света перепечатывали эти статьи.

Беседовать с Эренбургом или просто слушать его — редкостное удовольствие. Когда он приезжал к нам в Постпредство и за чашкой кофе рассказывал новости с фронтов, где он часто бывал, или вспоминал Францию, где провел много лет и которую страстно любил, его истории никогда не надоедали. Этот человек немало повидал на своем веку. Берлин и Париж, Стокгольм и Копенгаген, Прага и Женева, наконец, революционная Испания — он побывал всюду и встречал тысячи интереснейших людей, был участником сотен незабываемых событий... Бледное лицо, неизменная сигарета в нервных губах, взлохмаченные волосы, голубые усталые глаза — все это говорило

о хрупкой и чувствительной натуре. Но вместе с тем это был, по-видимому, волевой, упорный, несгибаемый человек. Всей душой он ненавидел оккупантов, ненавидел их, как болезнь, как мразь, которую можно победить только оружием. Мы замечали, что его ненависть к гитлеризму перерастает в ненависть ко всему немецкому народу, и это было чуть странно, хоть и понятно по тем временам, даже простительно...

Эренбург поражал нас парадоксами, независимостью мнений. Не стеснялся он и покритиковать военных за ошибки на фронтах. Как-то он рассказывал:

— Вообразите себе, вызывают меня в «Красную звезду» и говорят: «Илья Григорьевич, не смогли бы вы написать для нас передовицу?» — «Почему бы нет, — отвечаю я. — Могу». — «Чудесно. Но мы бы хотели такую статью, чтоб читатель не понял, что это вы писали. Статья пойдет без вашей подписи». Я вскочил, как ужаленный. «Что? — вскричал я. — Я же всю жизнь трудился, чтоб читатель узнал меня с первой, ну, со второй фразы! Если вам надо, чтоб никто не узнал, кто писал статью, сами и пишите...» [1]

Мы все тогда почитали МХАТ и систему Станиславского (мы часто ходили в этот театр). Казалось, ничего выше в театральном искусстве нет и быть не может. И было очень странно услышать от Эренбурга совершенно отрицательное мнение об этом театре, который, мол, пережил времена своей славы, непростительно устарел, его постановки полны штампов, а сам театр неинтересен...

Мы рассказывали Эренбургу о Литве, ее истории, о Литовской дивизии и ее боях под Орлом. Всех нас обрадовала его статья «Сердце Литвы», появившаяся в «Красной звезде» 25 апреля 1943 года, посвященная погибшим бойцу Йонасу Даунису и санитарке Зое Денинайте. Статья начинается словами, которые впоследствии не раз цитировались:

«Нет маленьких народов. Нет маленькой земли. Любовь меняет пропорции. Миром становится крохотное село, а парижане, страстно любившие свой город, ласково пели: «Париж, моя деревня...»

В Литве жили три миллиона человек. Но разве ариф-

---

[1] Другая версия этого рассказа напечатана в статье И. Эренбурга «Главное — страсть» в журнале «Вопросы литературы» (1969, № 4, стр. 156).

метикой определишь сердце? Литовцы любят свой край, зеленую тишину лесов, цветы и сугробы, широкие реки и ручьи. Испокон веков Литва сражалась против жадных и жестоких тевтонов. Немец был соседом, и немец оставался пугалом, которым пугали детей: «Нишкни, пострел, немец придет». В боях против тевтонских рыцарей Литва обрела душу, волю, историю.

Я хочу рассказать о двух литовцах. Это обыкновенные люди. Но подлинный героизм всегда носит защитный цвет».

Вторая статья была написана позднее, после Курской битвы, летом 1943 года.

«На карте Европы Литва — маленькое зеленое пятнышко. Ее легко не заметить, — писал Эренбург. — Ее невозможно забыть: у маленького народа большое сердце. Теперь не смогут забыть Литву и немцы. Наместник Остланда палач Лёзе проклинает маленький народ, который не пожелал склонить голову под ярмо всесильной Германии».

Эренбург писал о сопротивлении литовцев гитлеровцам в оккупированной Литве, о роли Литовской дивизии в Курской битве, о лейтенанте Каволюнасе, сержантах Золотасе и Рагуцкасе, связистах Яценявичюсе и Григоравичюсе, пулеметчике Иоффе. . .

«Я мог бы рассказать и о других, но героизм требует либо скупых строк боевых донесений, либо толстых томов романа. Литовцы прошли на запад сто двадцать километров. Они освободили от немцев шестьдесят русских деревень. Они спасли жизни тысячам людей. В Никольском немцы собрали девушек: «Марш в Германию!» Литовцы подошли вовремя, и не одна русская мать до конца своих дней будет поминать освободителей.

Продвигаясь в сторону Брянска, литовцы захватили деревню, которая называется Литва. Это русская деревня, и я не знаю, почему она так необычно названа. «Литва» было написано на указателях. «Литва», — отвечали крестьяне. «Литва», — взволнованно повторяли литовцы. Совпадение, случайность, однако пусть она будет пророческим знамением: Литва ждет освободителей, тихая и страдающая, покоренная, но непокоримая».

Эту статью я с большим удовольствием включил в книгу «Боевой путь Литовской дивизии», вышедшую под моей редакцией в Москве в 1944 году.

В моих записях отмечено, что весной 1943 года Эренбург в нашем Постпредстве делился с живущими в Москве литовцами своими фронтовыми впечатлениями. Дружба, завязавшаяся между литовцами и знаменитым писателем, не прерывалась и позднее — Эренбург был нашим гостем на сорокалетнем юбилее литературной деятельности Людаса Гиры в июне 1943 года, он был одним из первых писателей, которые увидели освобожденный летом 1944 года Вильнюс, а после войны он побывал в Вильнюсе и Каунасе.

(Одно лето он гостил у Юстаса Палецкиса в Паланге. Вместе с Эренбургом мы тогда посетили Нерингу и Ниду. В его произведениях — в романе «Буря» и в книге воспоминаний «Люди, годы, жизнь» — можно найти теплые страницы, посвященные Литве.

Как-то я сказал Эренбургу:

— В вашем романе «Любовь Жанны Ней» русский коммунист едет в Западную Европу с чужим паспортом литовца Бататайтиса. Не сочтите меня педантом, если скажу, что Батайтисы в Литве есть, а вот Бататайтисов — ни одного...

Эренбург рассмеялся и ответил:

— А этого Бататайтиса я выдумал наподобие фамилии нашего милого Юргиса Балтрушайтиса... Оказывается, аналогия не всегда дает верный результат...)

Большинство писателей находились на фронтах или в глубоком тылу и лишь изредка появлялись в Москве. Чаще всего их можно было встретить в Союзе писателей — в Клубе во время обеда или вечером на различных обсуждениях новых произведений. В начале 1943 года мы познакомились с еще одним видным русским поэтом — Иосифом Павловичем Уткиным.

Имя Иосифа Уткина, как и других видных советских поэтов, мы знали еще до войны, в буржуазной Литве. Его поэма «Повесть о рыжем Мотэле» была переведена К. Жвайгждулисом и опубликована в прогрессивном журнале «Культура».

Теперь мы познакомились с поэтом лично. Он сразу очаровал нас — высокий, привлекательный, с выразительным лицом, живым взглядом, в котором сверкали жажда жизни, энергия и ум. Духовным богатством веяло от этого

человека с густой шевелюрой и бархатными карими глазами. Когда мы познакомились, он сказал, что знает фамилии многих литовских писателей — ведь они часто упоминались в печати не только летом 1940 года, когда в Литве рухнул фашистский режим, но и позднее, перед войной и в военные годы. Руку он пожимал крепко и тепло, радуясь, что вот удалось встретиться с еще одним человеком, от которого может узнать о новой советской республике. С большим интересом он листал первый сборник литовских поэтов, только что изданный в Москве, — «Живая Литва». Сборник был тоненький, его обложку украшала ветка литовского национального цветка — руты, в нем были стихи наших поэтов, работавших тогда в советском тылу, — Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Костаса Корсакаса, Эдуардаса Межелайтиса и мои. Иосиф Уткин внимательно рассматривал эту небольшую книжицу, которой было суждено проложить путь литовской литературе к всесоюзному читателю. И Иосиф Уткин сказал:

— Послушайте, а что, если нам устроить в Союзе писателей обсуждение этой книжки? .. Ведь и нам было бы интересно услышать от литовских товарищей побольше о вашей республике и о вашей литературе. Московским литераторам было бы интересно разобрать то, что уже дали нам наши друзья литовцы...

Мы с радостью подхватили эту мысль. Нам было лестно, что сам Иосиф Уткин согласился подготовить доклад об этой книжке. В эти дни вышел на русском языке и сборник сказок Пятраса Цвирки «Серебряная пуля». Обе эти книжки мы взяли за основу обсуждения...

Тогдашний руководитель наших писателей Костас Корсакас договорился обо всем с участниками будущего обсуждения, несколько раз встречался с Уткиным. Наконец вечером 11 марта 1943 года состоялось расширенное заседание Национальной комиссии Союза писателей, посвященное обсуждению этих двух книг. В заседании участвовали все литовские поэты, находившиеся в то время в Москве, — не было лишь Людаса Гиры, который жил в Горьковской области, в Балахне, где формировалась Литовская дивизия. Русских писателей пришло не много. Но для нас это обсуждение имело принципиальное значение. Наша молодая литература впервые выходила на

всесоюзную арену и стала объектом внимания русских писателей.

Заседание открыл писатель Петр Скосырев. Он сказал, что хотел бы подробнее ознакомиться с тем, над чем работают сейчас литовские писатели, но даже две изданные книжки на русском языке уже дают основание для обмена мнениями. Он предоставил слово Иосифу Уткину, который в своей большой речи откровенно и с большой симпатией разобрал первую коллективную книгу литовских поэтов на русском языке.

Иосиф Уткин вспомнил первые дни Советской Литвы, когда немало писателей заняли руководящие посты в республике. «Это заинтриговало нас потому, что показало роль литературы в общественной жизни Литвы, — говорил поэт. И продолжал: — . . .Без преувеличения можно сказать, что подлинная писательская дружба может возникнуть лишь при искренней, профессиональной оценке и хороших взаимоотношениях. Итак, если мы желаем перейти от вежливых дипломатических отношений к настоящей дружбе, мы обязаны перевести эти отношения на плоскость простоты и дружелюбия. Мы должны говорить так, как говорят писатель с писателем» [1].

Говоря о народных истоках литовской поэзии, поэт заметил: «Мне кажется, что общий камертон литовской поэзии — это камертон народного слова, народной песни. Вообще литовская поэзия отличается благородством. Ее контролирует сам народ. Чтобы завоевать популярность в народе, надо оставаться народным. В Литве были и футуристы, и декаденты, но все это не проникло в гущу народа, все это осталось литературным экспериментом. Там, где писатели не прислушиваются к народному камертону, литература теряет общественное значение».

Поэт высказался против сухой публицистической поэзии. «Мне кажется, — говорил он, — что лучшее средство для проникновения в душу литовского крестьянина, рабочего и даже интеллигента — соединить в своем творчестве картины природы Литвы с мотивами народного творчества. Это мы и видим в творчестве литовских поэтов — и Венцловы, и Саломеи Нерис, и Гиры, и Корсакаса.

---

[1] Автору была доступна лишь запись этого обсуждения на литовском языке, так что цитаты здесь даны в обратном переводе на русский язык.

Книга «Живая Литва» вышла, — и это очень хорошо. Книга приятна тем, что в ней доподлинно чувствуются живая Литва, живые люди. Начав великое сотрудничество наций, мы его продолжим и в интеллектуальной области. «Живая Литва» — это первое наше знакомство с литовской поэзией, но очень приятное знакомство».

После этих вступительных слов поэт Иосиф Уткин подробно разобрал сборник, он сказал, что путь литовской поэзии — «это путь, отмеченный именами Донелайтиса *, Страздялиса *, Дионизаса Пошки *, Майрониса, Юлюса Янониса». Он шире коснулся и связи молодой нашей поэзии с народным творчеством, языком, указав одновременно, что истинно народное искусство — это искусство, которое стоит «на высоте современных проблем и интересов своей нации».

О самом сборнике «Живая Литва» поэт сказал следующее: «...Если каждый литовский поэт, вошедший в этот сборник, отличается своим творческим лицом, то для лица всей книги, бесспорно, характерна одна черта — борьба за живую Литву. И вот еще что характерно для этого сборника — любовь авторов книги к своей родине, к ее природе, ее истории, следовательно, к ее будущему. Эта горячая любовь к родине и ненависть к ее поработителям — порука будущей темы победы. Этой победы дождется литовский народ, и о ней еще напишут литовские поэты».

Далее докладчик охарактеризовал отдельных поэтов, особенно выделив Саломею Нерис. «На наш взгляд, — сказал он, — литовская нежность, гуманность и, если хотите, скромность литовского народа нашли свое яркое выражение в лирике Саломеи Нерис. Очарование интонации народных песен удачно соединяется в творчестве поэтессы с ее собственным лиризмом, и это, по-видимому, приближает поэзию Саломеи Нерис к вкусам литовских читателей».

Подробнее остановившись на творчестве Людаса Гиры, Костаса Корсакаса и моем, Иосиф Уткин закончил свой доклад следующими словами:

«Сборник «Живая Литва» особенно интересен для нас как барометр общественных настроений Литвы. Этот барометр показывает бурю. Но мы не боимся ее, а вместе со всем литовским народом, с литовскими поэтами ждем ее. Девятый вал народного гнева окажется последним

в море фашистского разгула. Вместе с этим девятым валом мы выйдем на берег освобожденной Литвы. Но путь к берегу ведет через тяжелую, жестокую борьбу. Литовский народ готов к этой борьбе. Готовы к ней и литовские поэты, о чем свидетельствует сборник их творчества «Живая Литва».

Мы восприняли слова Иосифа Уткина как поощрение и призыв большого русского поэта смелее осваивать новые темы, энергичней искать новых форм, не отходя от борьбы своего народа и насущных проблем.

На совещании мы читали свои стихи на родном языке, а Уткин читал их в переводах на русский язык.

Поэт и впоследствии интересовался нашей литературой, борьбой литовцев, подвигом Мельникайте*, мечтал увидеть своими глазами Литву. Его стихи тогда переводил для московских и американских литовских газет Костас Корсакас.

Я был счастлив, когда во время подготовки к печати первого моего поэтического сборника на русском языке «Родное небо» (он вышел в 1944 году) Уткин вызвался написать к нему короткое вступительное слово. Для меня, молодого советского поэта, была очень дорога такая помощь Иосифа Уткина. Готовя этот сборник, я еще несколько раз встречался с поэтом. К сожалению, мне уже не довелось вручить ему вышедший из печати сборник. Летом 1944 года я уехал в освобожденную Литву и больше не увидел в живых Иосифа Уткина. Осенью 1944 года он погиб в авиационной катастрофе. Его безвременная смерть вызвала глубокую скорбь не только у его старых товарищей, но и у всех литовских поэтов.

...Зимой 1943 года — вечером 29 декабря — мы собрались в Московском Доме литераторов. Мы волновались, входя в зал, где когда-то звучали голоса Горького и Маяковского, теперь не раз выступали Толстой и Симонов, Фадеев и Эренбург. В этот вечер литовские и русские писатели и представители общественности Литвы отмечали 125-летие выхода в свет поэмы Кристионаса Донелайтиса «Времена года».

Для участников вечера были напечатаны пригласительные билеты с изображением титульного листа первого советского издания «Времен года» в 1940 году. Для русских читателей Донелайтис тогда представлял своего рода экзотику; его творчество еще не успело войти в оби-

ход литературы советских народов, но уже делало оборонную работу — отрывки о немецких помещиках и колонизаторах передавали по московскому радио и читали на литературных вечерах.

Александр Фадеев открыл вечер, обрисовав положение литовского народа в суровые годы войны и его усилия в борьбе против гитлеризма, а также коротко ознакомил слушателей с литовским поэтом. Он вел вечер. Костас Корсакас в своем докладе подчеркнул те стороны творчества Донелайтиса, которые стали такими актуальными в военное время, в особенности его борьбу против немецких колонизаторов. С большим темпераментом, как и обычно, выступал Людас Гира, он показал значение творческого подвига Донелайтиса для литовского народа в его борьбе за независимость и свободу. На трибуну поднялась Саломея Нерис, замечательные стихи которой постоянно звучали по московскому радио и со страниц многих газет страны. Теперь она читала популярное впоследствии стихотворение, посвященное памяти Донелайтиса:

Он разил врагов бессмертным словом,
Жег сатирой жгучих клейм лютей.
Мы потомки, склада мы иного,
Мы Литву из вражеских когтей

Можем вызволить оружья силой,
День освобождения придет!
Зазвенит весна в отчизне милой,
И на лицах радость расцветет [1].

На этом вечере на мою долю выпала честь прочитать стихотворение «Донелайтис», написанное еще в первый год войны:

Как дуб, ты перерос немного рабства время,
В простор грядущего вершину устремив.
И, глядя сквозь века, ты будешь вечно жив,
Как бурасы в твоей немеркнущей поэме [2].

Стихи Нерис и мои читались на вечере также и в переводе на русский язык.

В эти дни поэт Давид Бродский переводил «Времена года» и уже завершал работу над крупными фрагментами поэмы. Очень выразительно прочитал эти отрывки на

---

[1] Перевод В. Державина.
[2] Перевод Д. Бродского.

вечере актер Малого театра Царев, который часто читал стихи литовских поэтов по московскому радио. Находившиеся в зале русские писатели — автор «Цусимы» Алексей Новиков-Прибой, Валентин Катаев, Корней Чуковский и другие — впервые ощутили силу и очарование неизвестного им доселе поэта. Во время антракта они выражали свое глубокое восхищение литовским поэтом.

— Какая мужицкая сила! — с энтузиазмом говорил Новиков-Прибой.

Фадеев звонко, от души, смеялся, когда читали описания свадебного пира у Донелайтиса, где поэтизируются различные блюда.

— Это замечательно! Это напоминает «Гаргантюа и Пантагрюэля»! Да, это настоящий литовский Рабле, пышущий жизнелюбием. Его следует как можно скорее показать русскому читателю. Вся страна должна узнать об этом великом литовском поэте. Подумать только — он ведь писал в допушкинскую пору!

Донелайтисом восхищались и Катаев, и Чуковский. Если первый перевод Донелайтиса на русский язык появился уже в 1946 году, можно сказать — сразу по окончании войны, то в этом большая заслуга русских писателей, которые так горячо поддержали желание литовцев представить поэму Донелайтиса советскому читателю.

Отрывки из «Времен года» читали на вечере также Казимера Кимантайте и сам переводчик Бродский.

После официальной части состоялся концерт, на котором Александра Сташкевичюте исполняла литовские народные песни и произведения из классического репертуара. В концерте приняли участие выдающиеся русские исполнители — пианист Лев Оборин и скрипач Давид Ойстрах.

Это было прекрасным проявлением сотрудничества литовской и русской литератур, дружбы народов. Об этом вечере нельзя забыть в истории нашей литературы. Он еще раз показал бессмертие Донелайтиса, тесную связь его искусства с нашим временем и его проблемами. В моей памяти вечер остался как светлая страница в суровых военных буднях.

Всем нам хотелось поближе познакомиться с Александром Фадеевым. В это время он был руководителем всего огромного Союза советских писателей, но не это

было главным. Немногочисленные, но прекрасные книги видного писателя мы с наслаждением читали в досоветское время. Знали, как ценит Фадеева-писателя критика. Многие из нас ознакомились и с литературоведческими работами Фадеева, — они в какой-то степени отвечали на множество занимавших нас вопросов — таких, как общественная роль искусства, метод социалистического реализма, положительный и отрицательный герой и т. п.

И вот по какому-то случаю или просто так мы решили пригласить его к нам в Постпредство.

Стол был накрыт со всем возможным по тем временам богатством. На нем были довольно вкусные блюда, которые из консервов и других продуктов, полученных Постпредством, сумела приготовить наша искусная повариха Яня. Посреди стола высились бутылки «Московской» и грузинского вина. А нашего гостя все нет и нет.

Близилась полночь, когда, задержавшись на каком-то совещании или заседании, наконец на лестнице показался Фадеев вместе со своим тогдашним заместителем по делам национальных литератур Петром Скосыревым. Гостей встретил наш руководитель Костас Корсакас и пригласил их в комнату, в которой мы ждали их с нетерпением. Фадеев каждому крепко пожал руку, улыбаясь своим открытым красивым лицом, потом обеими ладонями провел по преждевременно поседевшим, серебристым волосам и извинился, что заставил себя ждать. Гости сели за стол, а вокруг уселись мы. Здесь находились почти все наши писатели, начиная с прибывшего из дивизии Йонаса Марцинкявичюса. Рядом с Юстасом Палецкисом сидела Саломея Нерис, дальше — Пятрас Цвирка, Аугустинас Грицюс и другие. Вскоре завязался откровенный, непринужденный разговор.

Гости не заставили себя упрашивать, — по-видимому, проголодались. За столом все быстро оживились. На часдругой мы словно забыли войну, несчастья, всяческие невзгоды, преследующие нас и наших товарищей... Стало даже весело, — Фадеев смеялся так молодо, беззаботно, заразительно, что нельзя было не залюбоваться им, так и пышущим добрыми чувствами ко всем собеседникам. Многих из нас, а то и всех, он уже величал по имени-отчеству, и мы диву давались, как это он успел запомнить. Потом он попросил нас почитать свои стихи, ска-

зав, что поэзию он любит страстно (позднее я убедился, что Фадеев знал на память десятки, а то и сотни образцов русской классической и советской поэзии). Мы читали стихи по-литовски, потом в переводах на русский, и гость интересовался, как, по нашему мнению, они переведены — передан только смысл или и звукопись, аллитерации, внутренние рифмы... После Нерис, Корсакаса (Гиры, кажется, не было) я тоже прочитал недавно написанное стихотворение «Родине и любимой». Йонас Шимкус тут же принялся критиковать мои стихи: мол, сейчас их нельзя считать удачными, так как в них нет, как тогда говорилось, «боеспособности». Вообще-то говоря, этот спор возникал у нас не первый раз — каждое произведение военного времени должно быть составлено из призывов бить врага или в нем могут быть выражены и другие чувства, которые в эти трагические времена волнуют не только поэтов, но и всех людей. Когда в печати появилась написанная в Балахне моя «Родина», некоторые товарищи критиковали ее за отсутствие пресловутой «боеспособности». Интересно было услышать, что думает на этот счет Фадеев. Внимательно выслушав стихи и упрек Шимкуса, он со всей серьезностью сказал:

— Мне нравятся стихи, которые, даже не упоминая войны, своими образами и чувствами всех, а прежде всего нашего бойца, призывают защищать то, что им дорого. Я уверен, что такое стихотворение на читателя или слушателя воздействует поглубже рифмованных статей, которые теперь, к сожалению, пишут иные поэты...

Мнение авторитетного писателя для нас было весьма важным, и споры в нашей среде на этом прекратились. Наряду с «боеспособной» литературой наши печать и радио давали теперь и много лирики, которая была мало связана с военной действительностью, но на самом деле обладала взрывчатой эмоциональной силой...

По просьбе Фадеева, мы пели литовские песни, рассказывали ему про Литву. Он до войны из Прибалтийских республик побывал только в Латвии, но наша республика интересовала его, и он охотно нас слушал. (Впоследствии довелось услышать от Фадеева, что в раннем детстве он с родителями некоторое время жил на окраине Вильнюса, в местности «Волчья лапа», — иначе говоря, в Вилкпеде. «Когда брат на меня сердился, — рассказывал Фадеев, — он дразнил меня: «Волчья лапа, волчья

лапа...») Потом Фадеев сам стал петь интересные и редкие северорусские и сибирские песни. Пел он сочным, звучным баритоном. Песни были полны глубокого чувства, часто трагичные и суровые...

Наши писатели, за войну физически ослабевшие, после нескольких рюмок стали громко галдеть, кое-кто даже задремал. А вот гость чувствовал себя непринужденно и бодро. Он рассказывал веселые истории, пережитые в молодости и во время войны, и по-прежнему заразительно, от души смеялся. Душевным человеком оказался и Петр Скосырев. Этот писатель довольно долго жил в Туркмении, писал о ней (широко известен роман Скосырева «Стрелок из лука» и его научные работы о туркменской литературе). Он старался каждого из нас приободрить и похвалить за первые шаги на всесоюзной литературной арене... Во время войны и после он не раз помогал нам — советами и прочим.

Если бы не один инцидент, нашу первую встречу с Фадеевым и Скосыревым можно бы назвать удачной. А инцидент был небольшой, но характерный. Юстас Палецкис, сидя рядом с Саломеей Нерис, долго и душевно с ней беседовал, а потом поцеловал ей руку. Саломея на этот поцелуй прореагировала своеобразно и неожиданно для всех. Она вскочила со своего места и довольно громко, так, что услышали все за столом, воскликнула:

— Что! Неужели я какая-то девка, чтоб со мной так обращались?

И выбежала. Я был одним из тех, кому обычно удавалось успокоить Саломею в таких случаях (а Саломея обижалась довольно-таки часто), так что я тоже встал из-за стола и пошел ее искать. Увы, я опоздал. Саломеи нигде не было. Сторож, еще не спавший и сидевший внизу, у двери своей клетушки, сказал, что Саломея недавно выбежала из Постпредства... Я вернулся наверх, надел пальто (была зима, темная, холодная ночь) и, выскочив на улицу, стал тыкаться по ближним переулкам в поисках поэтессы... Увы, нигде ни слуху ни духу... А жила она в то время довольно далеко, снимала комнату на Страстном бульваре, и мне было страшно, как она доберется до дому... (На другой день она как ни в чем не бывало пришла в Постпредство, и ни она, ни я про вчерашний инцидент не обмолвились ни словом... Об этом незначительном эпизоде я рассказываю только потому, что

он показывает характер Саломеи, нервной и подчас чудаковатой, — пожалуй, поэту и полагается быть таким...)

Позднее я довольно часто встречался с Фадеевым, и мои симпатии и любовь к нему все время росли, — он относился ко мне с неизменным вниманием, лаской и дружбой. Не забывал и о первой встрече в нашем Постпредстве и стихах, которые я тогда читал...

С русским литературоведом и критиком Корнелием Зелинским, кажется, первым познакомился Костас Корсакас. Его имя нам тоже было известно уже давно, с досоветских лет. Тогда он был идеологом так называемых конструктивистов и сотрудничал в различных изданиях; я почему-то запомнил его по журналу или альманаху, названному несколько необычно — «Бизнес». Корнелий Зелинский был крайне благовоспитанным человеком. Даже во время войны он ходил аккуратно одетым, в белоснежной сорочке, при элегантном галстуке. Он хорошо знал русскую классическую и советскую литературу, но основная его тема сейчас — национальные советские литературы. В то время он, кажется, для заграницы писал какой-то труд о советских литературах, их специфике и общих закономерностях; не знаю, был ли этот труд издан. Зелинский интересовался и литовской литературой, и в этом незаменимым помощником для него был Корсакас — он с Зелинским долгими часами беседовал в нашем Постпредстве. Глубже ознакомившись с проблемами нашей молодой советской и классической литературы, Зелинский начал писать о них. Во время войны он снабдил интересным вступительным словом сборник стихов К. Корсакаса «В разлуке» (на русском языке) и сразу после войны — мой сборник «Край Немана». В московских газетах и журналах Зелинский опубликовал немало статей о нашей литературе, особое внимание уделив творчеству Саломеи Нерис. Материалы нашей литературы он не раз приводил и в своих более крупных трудах.

Еще перед войной, на первой встрече с советскими писателями в ресторане «Арагви» летом 1940 года, я познакомился с известным литературоведом Валерием Кирпотиным. Более близкое знакомство завязалось в годы вой-

ны. У Кирпотина была квартира в Лаврушинском переулке, в писательском доме, где тогда довольно долго жил и Костас Корсакас. Оказалось, что Кирпотин родом из Аникщяй. Наши рассказы о Литве и его родном Аникщяе, столь знаменитом в Литве несколькими крупными писателями, заинтересовали Кирпотина. Я помню, во время войны мы с Корсакасом бывали в его квартире, где комнаты и даже коридоры были сплошь заставлены шкафами с книгами. Кирпотин основное внимание уделял вопросам русской классической литературы (его перу принадлежит несколько капитальных исследований жизни и творчества Достоевского), но он писал и о нашей литературе, прежде всего о переводе «Времен года» Донелайтиса. После войны он побывал в Литве, помог нам организовать работу в Союзе писателей, посетил свой родной Аникщяй, Вильнюс, Каунас, Палангу.

Во время войны у меня в гостинице «Москва» несколько раз побывал ленинградский профессор Борис Ларин. Мы познакомились или в 1940 году или весной 1941 года, когда я, работая в Наркомате просвещения, получил от него несколько писем. Ларин писал, что он лингвист, приезжавший в Дайнаву до первой мировой войны и там практически углублявший свои познания литовского языка, основы которых получил от Бодуэна де Куртенэ, Эдуарда Вольтера и Казимераса Буги. Он мечтал снова попасть в Литву. Просил прислать школьные учебники литовского языка, чтобы ознакомиться с новой литовской терминологией различных наук. Жаловался, что без нашего вызова не может приехать в Литву. Мы послали ему такой вызов, и Ларин весной 1941 года приехал. Хотя угроза войны уже существовала, мы старались о ней не думать, когда показывали гостю Вильнюс и когда вместе с языковедом Пранасом Скарджюсом в одно воскресенье поехали в Дубингяй, чтобы полюбоваться поразительными по красоте озерами... В Литве Ларин тогда познакомился с Пятрасом Цвиркой и Юлюсом Бутенасом, вновь побывал в Дайнаве, где бродил в юности... Сейчас он приехал в Москву из осажденного, голодающего Ленинграда. Не помню, чтобы он жаловался, — а его семья находилась в эвакуации, в трудном положении, сын работал где-то на лесоповале... Ларин и

теперь разговаривал о филологии, об исследованиях литовского языка, о необходимости сразу же после войны издать литовско-русский и русско-литовский словари.

(Как известно, Ларин и после войны не порвал связей с Литвой — он был избран действительным членом нашей Академии наук, немало работал в области изучения литовского языка, перевел на русский «Землю-кормилицу» Пятраса Цвирки.)

В гостинице «Москва» я познакомился с интересным человеком и года два довольно тесно общался с ним. Это был пожилой уже человек, видный советский математик, действительный член Украинской Академии наук Николай Крылов. Почти каждый день мы заходили друг к другу почаевничать. Это была своеобразная личность. Когда я предложил ему как-то билет в театр, он поблагодарил и сказал:

— В театр я больше не хожу, хоть в свое время и любил. По правде говоря, навидался я всякой всячины, вам понадобится много времени, чтобы увидеть такое. Например, я видел Травиату, какой вам, пожалуй, и не видать. Вообразите только — женщина с дивным голосом, а толщиной в три обхвата. И лицо молодое, красивое, просто прелесть. А толщина, сами понимаете, просто слов нет. И знаете, как она играла? Первый акт разгуливала по сцене и восхищала всех своим голосом. А потом ложилась в постель и не вставая пела до конца. Ведь если такая толстуха по сюжету заболела бы чахоткой, — представьте себе, как публике было бы смешно... Вы знаете, лежа в кровати, эта Травиата пользовалась необыкновенным успехом, просто триумфом... Зачем же мне ходить в театр? Ведь ничего интересней я там не увижу...

Как-то он начал объяснять, что полезно для здоровья пить воду из серебряной посуды. Мол, католики давно знают об этом, и из таких сосудов пьют освященную воду — в воде растворяется серебро. Он сам тоже вылечился такой водой от какой-то болезни...

Академик интересовался работами наших математиков. Увы, по этому вопросу я мало что мог ему сказать: Антанас Баранаускас, Адомас Якштас — вот и все наши математики, о которых я знал... А он мне рассказывал:

— За свою жизнь я написал чуть ли не двести ра-

бот... И знаете что? Я пришел к выводу, что весь мой труд лишен всякого смысла. Зря потратил жизнь. Никому от этих моих работ ни холодно ни жарко.

Я попытался было протестовать, но не переубедил академика. (Конечно, он был не прав в этом — в математике его труды, как утверждают знатоки, занимают видное место.)

Академик был страстным любителем эпиграмм. Он знал их сотнями — не только русских поэтов, но, например, Гёте и других. Сам он тоже писал эпиграммы, высмеивая то научного работника, в годы войны спекулирующего водкой, то гражданина, лезущего без очереди за хлебом. Любил остроумие Маяковского, но не мог ему простить стихотворение о Пушкине, в котором Маяковский-де запанибрата хлопал по плечу великого поэта. Принес мне почитать Марка Аврелия, писателя дохристианской эпохи, одного из последних императоров Рима, в сочинениях которого, по словам академика, можно отыскать много черт христианства, и португальца Эса де Кейроша (этих интересных авторов я лучше узнал только по совету академика).

Как-то академик пришел в мою комнату в крайнем волнении. В руке он держал заявление на имя директора гостиницы. Директор нашу этажную, интеллигентную и очень вежливую женщину, перевел на другой этаж. А эта этажная, оказывается, глубоко уважала академика, каждый вечер сама стелила ему кровать, сразу же присылала монтера, если гас свет, и оказывала другие знаки внимания старику. Теперь, когда ее перевели на другой этаж, он почувствовал себя осиротевшим и несчастным и просил меня тоже подписаться под заявлением. На другое утро академик позвонил мне и весело сообщил, что добрая этажная вернулась к нам...

Как-то у меня в комнате погас свет. В это время у академика чинила проводку женщина средних лет (теперь женщины работали и монтерами), и академик позвонил мне, что она зайдет. Женщина оказалась разговорчивой, все быстро починила и принялась расспрашивать, откуда я. Потом спросила:

— Скажите, а вы верите в бога и святых угодников?

Ошарашенный неожиданным вопросом, я нарочно ответил:

— Как тут не верить? Конечно, верю...

Женщина удивленно уставилась на меня.

— А вы? — спросил я в свою очередь.

— Ну, нет, — ответила она. — И вы не верите. Нарочно так говорите.

И она принялась дискутировать со мной о религии и атеизме.

Когда она ушла, я позвонил академику:

— Знаете, ваш монтер интересная женщина. Она устроила мне экзамен — верю я или нет...

— Да, она уже была у меня несколько раз, и всегда мы беседуем по какому-нибудь абстрактному философскому или мировоззренческому вопросу. Интереснее всего, что революция растормошила людей, заставила их мыслить. И многие мыслят оригинально, хоть иногда чуть наивно... Но меня радует, знаете ли, обострившаяся пытливость людей. А чему еще научит народ эта война!.. Вот увидите, после войны люди будут не только лучше, но и гораздо умнее!

ВОЕННЫЕ БУДНИ

Все теплей и уютней становилось на улицах Москвы. Как и каждый год, неожиданно, как-то вдруг, появились почки на липах, зазеленели парки. Люди, всю зиму мерзшие в нетопленных квартирах, бледные и ослабевшие, высыпали на улицы. Но на лицах у всех теперь виднелись не подавленность и уныние — улыбка появлялась гораздо чаще, чем несколько месяцев назад. Мы знали — впереди еще тяжелые испытания, но Сталинградская битва была выиграна, и все верили, что это — коренной перелом в этой войне.

Хотя мы и часто переезжали, переселялись из гостиницы в гостиницу, с квартиры на квартиру, мы, писатели, тогда довольно продуктивно работали.

Саломея выступала в литовской и русской печати, ее стихи дышали не только болью за Литву, не только неутолимой тоской, но и верой в победу, в освобождение Советского Союза и Литвы, в новую жизнь. Она участвовала в митингах, в литературных вечерах, подписывала воззвания, предназначенные для распространения в Литве. Подружившись с поэтессой Марией Петровых, она готовила на русском языке сборник «Сквозь посвист пуль», который и появился в этом году. Чуть позднее я

выступал с основным докладом на обсуждении подготовленной к печати книги «Пой, сердце, жизнь», вышедшей в конце года. В обсуждении участвовали Цвирка, Шимкус, Корсакас. Зная чувствительность поэтессы, я боялся обидеть ее каким-нибудь неосторожным замечанием, но обсуждение прошло оживленно и тепло.

Пятрас Цвирка после сказок «Серебряная пуля» написал немало замечательных рассказов о зверствах немцев в первую и вторую мировые войны. Эти рассказы свидетельствовали о расцвете таланта нашего друга. Людас Гира писал много антигитлеровских стихов. К сожалению, здесь не всегда он поднимался до уровня своих лучших произведений. (Когда весной 1943 года появился сборник его стихов «Насилие и решимость», Цвирка тут же придумал довольно хлесткое двустишие, вызвав наш смех.)

Йонас Марцинкявичюс издал сборник рассказов «Отомщу», Костас Корсакас наряду со стихами писал цикл статей, подчеркивающих традиции нашей литературы в боях с германским империализмом. В эти дни особое звучание приобрели произведения не только Даукантаса и Майрониса, но и некоторые книги Валанчюса *, Видунаса *, Якштаса *. У каждого из нас в столе набралось немало материалов, которые уже не умещались в газетах — в «Тиесе», «Тарибу Лиетува» и приложении к ней — «Литература и искусство», которое начало выходить в конце 1942 года, «Уж Тарибу Лиетува» и «Тевине шаукя». Надо было подумать о более крупном издании — альманахе.

Нашу идею горячо одобрили руководящие товарищи и издательство. Корсакас начал собирать материал для альманаха, а я написал для него вступительную статью, где подчеркнул:

«Этот сборник, выходящий во время Отечественной войны в героической Москве, на которую с надеждой обращены глаза всего свободолюбивого мира, служит ярким доказательством того, что культура литовского народа, временно подавленная в родном краю, сейчас живет, растет и развивается в великой нашей Родине.

Сейчас, когда весь Советский Союз героически кует победу на фронте и в тылу, наше литературное слово станет еще одним снарядом по врагу в той священной войне, в которой и наши братья литовцы плечом к плечу с дру-

гими народами Союза достойно и героически оружием и трудом прокладывают путь к окончательной победе, к свободе Советской Литвы».

Альманах открывался широко известной впоследствии поэмой Саломеи Нерис об убийстве детей в Палангском пионерлагере в начале войны — «Мама! Где ты?». Дальше были помещены рассказ Цвирки «Немец», поэма Гиры «Адам Мицкевич в Поволжье», рассказы «Белый клевер» Балтушиса, «Звезда» Марцинкявичюса, «Четверо на берегу реки» Шимкуса, «Йокубас сжигает старосту» Ю. Банайтиса, стихи Корсакаса, Межелайтиса, Мозурюнаса, Реймериса и мои, мой рассказ «Так будет лучше», статья Корсакаса «Донелайтис против германских колонизаторов». Кроме того, материал обсуждения книг «Живая Литва» и «Серебряная пуля» в Союзе писателей СССР. Таким образом, получился альманах почти в сто страниц большого формата, который не только в военное время оказался бы серьезным вкладом в литовскую литературу.

Потеплело, и нас привлекали улица, парк, лес. Поэтому для многих из нас показалось не только серьезным заданием, но и удовольствием работать по воскресеньям в одном из подмосковных совхозов. Как и всюду, здесь тоже ощущалась нехватка рабочей силы, и помощь литовской колонии для совхоза была очень кстати. Выехав на электричке за город, через какой-нибудь час мы уже оказывались в полях, засеянных хлебами и засаженных овощами. Всю весну мы добросовестно пропалывали овощи и окучивали, а вечером, усталые, но довольные, возвращались в город с чувством не зря потраченного дня... Совхоз впоследствии выдал за нашу работу Постпредству овощи, и это было очень важно, — что ни говори, всем нам не хватало витаминов, кое у кого начиналась цинга...

В начале июня в Постпредстве мы устроили торжественный юбилей сорокалетия творческой деятельности Людаса Гиры, в котором, как я уже упоминал, приняли участие И. Эренбург, П. Скосырев и другие. Приятно было приветствовать старого поэта, автора стихов, любимых в народе, который сейчас все свои силы отдает той же цели, что и мы все. Потом состоялся банкет, со всей пышностью, возможной в военное время. В маленьком зале Постпредства на втором этаже, за большим столом,

рядом с юбиляром и Броне Гирене, сидели руководители партии и правительства — А. Снечкус, К. Прейкшас, М. Гедвилас, Ю. Палецкис, писатели, друзья... Было много тостов, поздравлений, пожеланий. Юбиляр, которого в буржуазной Литве, кажется, ни разу публично не чествовали, чувствовал себя на седьмом небе. Всесоюзное правительство, по ходатайству ЦК Компартии Литвы, наградило его орденом Трудового Красного Знамени. Все мы радовались вместе с ним. Это была первая столь высокая награда нашему писателю...

Настало лето. Многие боялись нового наступления гитлеровцев. Верховное главнокомандование, наученное тяжелым опытом, энергично готовилось к летним сражениям. Все яснее становилось, что основные бои начнутся в районе Курска — Орла. Здесь немцы собирались применить новейшее оружие — танки «тигры», «пантеры» и самоходные орудия «фердинанды», которые, к счастью, уже не представляли неожиданности для нашей армии. На выставке трофеев, устроенной в июне в столице, все могли увидеть эти танки, разбитые нашими орудиями... Примерно в середине июня в Москве еще несколько раз объявлялась воздушная тревога, но бомбы падали где-то на подступах к городу. Эренбург писал о все еще угрожающих Москве налетах гитлеровских стервятников.

6 июля мы услышали о начале Курской битвы. Немцы пошли в развернутое наступление. Гитлер, как обычно, хвастливо заявил, что победа под Курском удивит весь мир. Но немцы в этой битве добились некоторого успеха только в самые первые дни. Вскоре Красная Армия перехватила инициативу. Победа на самом деле удивила весь мир, но это не была победа немцев.

Потери с обеих сторон были огромные. По плотности огня подобных битв еще не было ни во время первой, ни во время этой мировых войн.

24 июля было объявлено о «полной ликвидации летнего наступления немцев». Завершилась одна из самых больших битв в мировой истории. Она окончательно решила исход войны в пользу Советского Союза.

В Курской битве успешно приняла участие и Литовская дивизия. Илья Эренбург в статье «Литва» писал: «Далеко от Литвы сражается Литва: на русской, орловской земле. В истории лета 1943 года Литовская дивизия сыграла заметную роль. Она сдержала удар, когда нем-

цы начали наступление на Курской дуге. Литовцы не пропустили немцев, они выстояли и через несколько дней сами перешли в наступление. Среди многих мучительных неожиданностей, которые подстерегали немцев этим летом, была и Литовская дивизия».

5 августа были освобождены большой русский город Орел и Белгород. По радио было прочитано сообщение, каких раньше никто не слышал:

«Сегодня, 5 августа, в 24 часа, столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий...»

Наверное, ни один москвич в этот вечер не пошел спать. Улицы и площади заполнили люди. Ровно в полночь загремел салют, и в небе вспыхнули тысячи ракет. Это ликовала столица, это ликовала вся страна, начавшая новый этап войны — окончательное освобождение родины и разгром врага. И наши сердца бились сильнее — близился час освобождения Литвы. Мы знали — впереди еще сотни битв и сражений, тысячи, а может, и миллионы павших. Но как нет в мире силы, которая могла бы задержать весну, так нет теперь и силы, которая остановила бы Красную Армию, несущую свободу. Сейчас уже мало кто думал о втором фронте. Люди все сильней верили, что наша страна одна может справиться с врагом.

Газеты и радио каждый день сообщали о новых победах (23 августа был окончательно освобожден Харьков), но они все чаще помещали материалы об ужасающих зверствах гитлеровцев на временно оккупированных территориях. Массовые убийства мирных граждан и военнопленных, виселицы, пытки в застенках гестапо, голодная смерть, каторжные работы в Германии, плановое уничтожение многих городов и деревень, убийства миллионов в концлагерях — нет слов, чтобы передать все преступления гитлеровцев на советской земле. Воины и мирное население читали об этих зверствах, и в сердцах у всех росла еще бо́льшая ненависть к заклятому врагу и страстное желание как можно быстрей изгнать его со своей земли и прикончить в его собственном логове...

Мы, рядовые люди, все больше слышали о подвигах партизан за линией фронта. Хотя информация была далеко не полной, мы уже знали, что и в Литве, особенно

в лесных районах, ширится партизанское движение. Партизаны пускают под откос эшелоны врага, едущие на фронт, взрывают немецкие штабы и склады, освобождают людей, угоняемых в гитлеровское рабство... Мы услышали об этом от партизана Миколаса Пирмайтиса, который перешел линию фронта и добрался до Москвы в ноябре 1943 года. О жизни Вильнюса во время войны мы получили сведения от доставленного на самолете одного еврейского писателя. Он нам рассказал также о Казисе Боруте, который смело помогает преследуемым евреям.

Мы узнали, что гитлеровцы захватили и в середине июля в Дукштасе после страшных пыток убили партизанку Марите Мельникайте, так ничего и не узнав от нее о ее товарищах. Эта весть взволновала всех нас. Саломея Нерис, собрав весь доступный материал, написала поэму о героине. Я написал первый очерк о партизанке, который был опубликован в «Правде» и передан по Всесоюзному радио. Впоследствии, когда я получил больше данных, то написал о Марите Мельникайте более подробно; этот второй очерк был издан по-литовски и по-русски, его перепечатали многие иностранные журналы и газеты, а после войны он вышел на румынском, болгарском, немецком языках. Простая литовская девушка стала героиней всего Советского Союза, как Зоя Космодемьянская, погибшая в 1941 году в Подмосковье. Марите Мельникайте стала первой партизанкой Отечественной войны в Литве, посмертно награжденной орденом Ленина и Золотой Звездой.

Еще гремела Курская битва, когда пал Муссолини. Это было второе страшное поражение Гитлера за одно лето. Настроение людей в Советском Союзе и престиж страны сильно возросли. Был создан комитет «Свободная Германия», целью которого было отвлечь честных немцев от Гитлера и поднять их на борьбу против фашистского режима. В комитет вошли военнопленные-антифашисты и некоторые немецкие эмигранты, находившиеся в Советском Союзе с довоенных лет, в том числе мои знакомые писатели Иоганнес Р. Бехер, Эрих Вайнерт, Фридрих Вольф и другие; председателем комитета был избран Вайнерт. Комитет начал свою пропаганду в немецкой армии и в самой Германии.

С фронтов каждый день поступали сведения о новых

победах, — теперь они непременно отмечались салютом. Мы взволнованно слушали сильный голос Левитана, который сообщил, что 8 сентября освобожден весь Донбасс. В конце октября уже шли бои за Киев на Украине и за Витебск, Гомель и Могилев в Белоруссии. Был форсирован Днепр.

Как и все население Советского Союза, мы в этот год тоже жили победами — тяжелыми, кровавыми, но великими и решающими. Осенью состоялась Тегеранская конференция, на которой, как известно, было принято решение в мае 1944 года начать операцию «Оверлорд» — открытие второго фронта. Это было необычайно важным событием. Правда, как все советские люди, мы были научены горьким опытом и не слишком верили обещаниям союзников...

От осени 1943 года осталось в моей памяти пребывание в доме отдыха бойцов нашей дивизии в Воскресенске, километрах в шестидесяти от Москвы по Рязанской железной дороге.

За прекрасным лесом, на берегу реки, в местности, сильно напоминающей Литву, был дом, в котором отдыхали раненные в боях наши солдаты. Здесь было очень тихо — никаких отзвуков фронта. Не прилетали гитлеровские самолеты. Бойцы жили в чистых комнатах, получали усиленное питание. Отдохнув, они снова возвращались на фронт. Здесь я приведу свои записи, сделанные еще тогда, осенью 1943 года.

Солнце ранней осени светило так ласково и приветливо, что нам казалось, что мы находимся в Литве. Кругом высились белые березы, а под ногами шелестел зеленый папоротник, и пахло опавшей листвой. Сквозь поредевшую листву просвечивало чистое голубое небо, в воздухе витала паутина.

Костер распространял доброе тепло, вверх подымались дрожащие струи дыма, и было хорошо, как на родине погожим осенним днем, когда мы, мужицкие дети, сидели вокруг костра и пекли картошку.

Наши бойцы приехали сюда, в далекий тыл, после тяжелых боев прошлой зимы и лета. Грудь каждого из них украшают ордена и медали — за отвагу, мужество, за освобожденные города, за тысячи уничтоженных захватчиков.

То один, то другой бросает в костер охапку хвороста.

— Зимой там этого не было... — говорит боец с орденом Красной Звезды, — костры там не разводили...

И всем понятно, что «там» — значит на передовой.

Бойцы вспоминают минувшую тяжелую зиму, когда наши братья сражались с фашистами под Орлом. Тогда землю покрывал глубокий снег, по которому ни пройти, ни проехать. Люди толкали застрявшие в снегу машины, целые сутки проводили в чистом поле, в котором свирепствовала пурга.

— Мы шли на фронт, — вспоминает молодой боец, бывший крестьянин из-под Биржай, — и подчас нам казалось, что мы идем не по полям, а по снежному морю. Мы шли днем и ночью, днем и ночью. И когда усталые глаза видели ветку куста, вынырнувшую из-под снега, нам вдруг казалось, что вдалеке в снежной каше виднеется деревня, где мы найдем отдых и тепло. Но ветка находилась в двух метрах от нас, и мираж рассеивался, исчезал... И мы снова шли по бесконечным дорогам все дальше и дальше, все ближе к врагу.

Эти люди, которые сидят сейчас вокруг костра, рабочие, крестьяне, интеллигенты Литвы, за годы войны прошли большую, жестокую школу...

— Бывало, надо дома овцу зарезать — у меня рука не поднимается, — рассказывает крестьянин из-под Дусетос. — Да и теперь, наверное, никто бы меня не заставил зарезать овцу или даже курицу. Пока я не был на фронте, меня страшила даже мысль, что я увижу там трупы и кровь. Но когда я увидел разрушенные деревни, убитых мирных граждан, трупы женщин и детей, искалеченных врагом, у меня появилось какое-то новое чувство. Отвращение, смешанное с ненавистью. Бывало, лягу ночью и не могу заснуть — часами смотрю в темноту и курю. А когда еще начну думать о Литве, о жене и детях, которых там оставил, не могу больше лежать, — кажется, должен встать и как можно быстрей идти к своему пулемету и стрелять, как только увижу фашистов, и бросать в них гранаты, и черт знает что еще... Чтоб только поскорей они перевелись и здесь и там, в Литве...

Литовцы этим летом вместе с другими соединениями Красной Армии участвовали в исторических сражениях на Курско-Орловской дуге. Они своей грудью сдержали наступление немецких «тигров» и «фердинандов» и на-

леты авиации и не пропустили ни на шаг фашистов в глубь страны.

— Без преувеличения можно сказать, — рассказывает молодой лейтенант, — что для наших ребят зимние бои послужили хорошим уроком. Они так отлично научились воевать, что в дни самых больших сражений летом наши потери были совсем незначительными, а фашисты несли большой урон. Ведь за лето мы уложили их не менее тринадцати тысяч. Уничтожали ли литовцы когда-либо, не считая Грюнвальда, столько этих головорезов?

Боец приносит сухой хворост и бросает в костер. Огонь на минуту гаснет, потом резко взрывается белым ярким пламенем.

— Мы шли вперед днем и ночью, поначалу отражали атаки врага, а потом принялись колотить их так, что они стали удирать куда глаза глядят, — рассказывает рабочий из Каунаса, недавно оправившийся после тяжелого ранения ноги. — Бывало, смотришь ночью — на западе горят десятки деревень. Это фашисты, отступая с советской земли, уничтожают наше имущество. Красными столбами поднимается к небу огонь, и ты стремишься вперед, только бы успеть... Кажется, это твой дом сжигают оккупанты. А вокруг — плодородная орловская земля, только она под властью оккупантов заросла полынью, крапивой и чертополохом. Ночью видишь в небе яркие звезды, чувствуешь, как пахнет полынь, а днем в высокой траве жужжат пчелы и в поднебесье заливаются жаворонки. И берет такая тоска по Литве, что хоть плачь... Врываешься в деревню и видишь, что она пуста, еще тлеют сожженные дома, на земле валяются трупы фашистов, рядом с ними — факелы для поджога домов, бензин, карабины. А людей нет, — кого угнали на каторгу, кто спрятался. Только когда затихает грохот сражений, из погребов, из кустов и лесов возвращаются женщины, дети, старики... Под немцами они так измаялись, что едва держатся на ногах... Дети бледные, испуганные. И когда люди видят, что их освободила Красная Армия...

— О да, — прерывает его пожилой сержант. — Вы помните, друзья, как мы вошли в одну деревню? Идем по улице, мимо еще горящих домов, запыленные, потные, на другом конце деревни еще трещат пулеметы и ухают ручные гранаты, а тут нас встречают дети с цветами. Ко

мне подбежала старушка, обняла, поцеловала — ну просто мать родная. Плачет, прижимается ко мне, повторяет: «Сынок, сынок...» — и мне даже неловко: мужчина, а вот-вот зареву, как девица.

Вороша палкой головешки, широкоплечий жемайтиец рассказывает о фашистской армии:

— Началась война, немцы принялись бомбить и обстреливать из пушек Таураге. Крик, суматоха, пожары, трупы... Я и думаю: вот это силища! Да и потом я считал, что фашисты смелые, хотя, конечно, чтобы бомбить спящий, ни о чем не подозревающий город, особой храбрости не надо. Но вот пригляделся я к ним, особенно этим летом, — просто иногда даже смех разбирал. Сижу в окопе, над головой летят самолеты. Вот, думаю, сейчас нам всыпят. Да и правда, — как завоет, кажется, все кишки вымотает. Вой длинный и мерзкий, чтоб его черти драли! Прижимаемся к земле, ждем затаив дыхание. Вдруг — бац что-то рядом с окопом, и ничего. Взрыва нет. Потом опять то же самое. И третий раз. Вылезаю я из окопа гляжу — а вокруг бочки лежат.

— Бочки? — спрашиваем мы.

— Они самые. Одни деревянные, наверно, из-под селедки, другие железные, такие, в каких бензин держат. Днища просверлены. И когда такая бочка летит вниз, она свистит похуже бомбы. А действия, конечно, никакого. Разве что прямо в башку попадет. Да куда им там попасть... Эге, думаю я, значит, дело твое плохо... фашисту уже надо, чтоб его боялись, а если ты его не боишься, то он тебя боится и улепетывает во всю прыть...

Бойцы рассмеялись.

— Правда, немец молодец против овец, а против молодца сам овца, — откликается кто-то.

— А теперь, ребята, — обращается к нам один капитан, — расскажите нам, что слышно в Литве, вы же больше знаете...

Увы, все, что мы знаем о Литве, не может порадовать наших друзей. Мы рассказываем, что оккупанты ограбили Литву, многих увезли на каторгу, что в Каунасе, на Лайсвес-аллее, полно всяких шмидтов, мозеров, фрицев, нет недостатка в них и в других городах, что университеты закрыты, студенты и профессора разбежались кто куда, тысячи людей томятся в тюрьмах и концлагерях, что творческая деятельность, такая оживленная и плодо-

творная в Советской Литве, сведена на нет. Но наш народ не побежден. Наши братья в Литве знают о борьбе своих соотечественников в Советском Союзе и равняются на них. Мы часто получаем известия о том, что наши партизаны пустили с рельсов еще несколько составов с боеприпасами и солдатами, снова взорвали склады, заминировали дороги, сожгли хозяйство немецкого колониста, убили фашистского прихвостня. Мы рассказываем, что их, красноармейцев, ждет не дождется вся окровавленная Литва. Особенно нетерпеливо ждет она теперь, когда освобожден Смоленск, исторический город, когда фронт все больше приближается к Литве.

Вот Смоленск, и на рассвете
С первого холма
Принесет нам свежий ветер
Запах твой, Литва, —

напевает боец известную песню Людаса Гиры, ее подхватывают другие. Потом песня умолкает. Мы сидим задумавшись, глядя на пляшущий огонь.

Я смотрю на серьезные лица и не сомневаюсь, что многие теперь думают: быть может, сейчас в Литве у такого же костра в лесу сидят партизаны, вернувшиеся из похода, и говорят о том, что недалек тот день, когда и они и мы на самых высоких холмах Литвы, по примеру седой старины, разведем костры победы, пламя и дым которых увидит весь свободный советский край голубого Немана.

В доме отдыха я встретил несколько человек своеобразной судьбы.

— Вот он только что был в Литве, — сказал мне боец, показав худого паренька, которому с виду было не больше восемнадцати лет.

Паренек был в галифе, но вместо гимнастерки носил гражданский пиджачок. Он улыбался бледным лицом доверчиво, дружески, как будто с его плеч только что сняли тяжелый груз.

— Вы на самом деле недавно из Литвы? — спросил я.

— О нет, меня немцы еще зимой забрали и привезли на фронт. Оттуда я удрал и оказался у партизан в Ленинградской области... А там...

— А где вы в Литве жили?

— В Каунасе. Знаете Верхнюю Фреду?

Услышав этот ответ, я даже вздрогнул.

— И когда вы были в Верхней Фреде?

— Полгода назад.

— Знаете там проспект Техники?

— А как же, ведь я жил в доме номер два по проспекту Техники...

— Ну и ну! — буркнул я, не веря своим ушам. Ведь в доме номер три живут или жили они, мои близкие... — А в доме номер три? Не знаете, что там?

— Не могу сказать. Знаю только, что дом цел и что в нем живут литовцы. А кто они такие.. Видите ли, я на самом деле не из Фреды... Там я жил не так уж долго, работал на железной дороге и, можно сказать, только спать приходил к приятелю...

Черт возьми! Он ничего больше не мог рассказать... Никакие расспросы не дали ничего нового.

Другой человек, с которым я здесь познакомился, был каменщиком из Паневежиса. Он рассказал, что немцы схватили его и увезли на работы. Он работал под Дрезденом на испытательном военном аэродроме.

— Там испытывали новые самолеты. Они часто падали и разбивались. Нашим делом было собирать обломки разбитых самолетов, сгружать на машины и весь лом свозить на пустырь, откуда уцелевшие части потом увозили на завод, на переплавку.

— И как же вы сбежали из Дрездена?

— Где уж там сбежишь! — ответил человек. — Это не так уж просто — всюду часовые, надписи с угрозой расстрела на месте... Было иначе. Узнав, что я каменщик, один немец через свое начальство (а может, он и сам был каким-нибудь начальником на аэродроме) как-то после работы вызвал меня — ему надо было в ванной привести в порядок плитку. Такое дело для меня раз плюнуть... Я починил ему все, что надо, еще зацементировал несколько плиток в прихожей, а немец спрашивает у меня, откуда я родом. «Из Литвы», — говорю я. «А, из Литвы? — заинтересовался немец. — Знаю Литву, бывал там во время первой войны. Послушай, но ведь в Литве много гусей...» — «Гуси-то есть», — говорю я немцу. На этом наш разговор и кончился. Прошла какая-нибудь неделя — немец опять зовет меня что-то починить у него

в доме. Я починил, собираюсь возвращаться на аэродром, а он: «Знаешь что, я для тебя выхлопотал две недели отпуска. Можешь съездить в эту свою Литву». — «Спасибо, господин начальник, — говорю я, удивившись и обрадовавшись немецкой доброте. — Очень уж соскучился по родине...» — «Ну ладно, ладно, — говорит немец. — Но мне за это ты привезешь гусей. Вот я уже и ящик приготовил». Немец повел меня на кухню, а там фанерный ящик с дырками по бокам. «Привезешь живых гусей. А дырочки, — говорит он, — чтоб гуси, когда повезешь, не задохнулись. А вот еще справка, что ты можешь свободно провезти гусей из Литвы в Дрезден. Понял?» — «Как тут не понять, господин начальник, говорю, все понимаю и буду счастлив отблагодарить господина начальника». Так я, значит, уехал в Литву и вернулся в родной Паневежис.

— Ну и как, привез немцу гусей?

— Не такой я дурак, чтобы, вырвавшись, возвращаться в пасть собаке. Ящик бросил где-то по дороге, а сам вернулся и начал скрываться. Но меня опять поймали. Слава богу, не пронюхали, что я уже бывал в Германии и не вернулся туда. А то бы солоно пришлось. Поймали — и на восток, рыть окопы. Кругом леса, болота. Потом русские как начали жарить из «катюш», немцы разбежались, ну и мы — дай бог ноги. Спасибо, большевики поднажали — мы и не заметили, как оказались на другой стороне фронта... Там начали расспрашивать, какой я национальности. Я хорошо по-русски говорю, вот меня и прислали в Литовскую дивизию, а оттуда сюда на поправку... Сами видите, время такое, всякая хворь к человеку цепляется. Главное — зубы расшатались, цинга называется... Врачи витамины прописали...

Встретился еще один — из Алитуса, бывший офицер буржуазной армии. Он прикидывался горячим советским патриотом, говорил, что страшно ненавидит гитлеровцев и рвется отомстить им... Рассказывал, как немцы в первые дни войны шли через Алитус и кто-то застрелил одного или двух солдат. Потом немцы поднимали мужчин с кроватей (было раннее утро), выгоняли на улицу и несколько сот расстреляли... Рассказывал он об этом волнуясь, — казалось, по сей день помнит каждую подробность кровавых событий... Уже потом один ответственный наш работник сказал мне: со временем всплыло, что

офицер сам участвовал в расстрелах, а с какими целями оказался по другую сторону фронта и как попал в дом отдыха — это уже другая история...

В доме отдыха мы нередко встречали друзей и знакомых. Приехав вместе с нами, здесь отдыхала и работала Саломея Нерис. Каждый день мы видели нашего наркома финансов Юозаса Вайшнораса и молодую балерину Гене Сабаляускайте * (перед войной она уехала в Ленинград, в балетное училище, и осталась в тылу). Мы устраивали литературные вечера для бойцов, на которых выступали наши деятели искусств...

Мы видели молодую девушку Янину Наркевичюте. Она ходила отдельно от всех, опустив голову, ни на кого не глядя. Мы не подходили к ней. По правде говоря, руководство дома отдыха и не советовало нам этого делать. Как мы позднее узнали, Янина тяжело болела. Комсомольский работник, депутат Верховного Совета СССР, эвакуировавшаяся в начале войны из Литвы, в апреле 1943 года она была отправлена на самолете в Литву для организации партизанского движения. Самолет в Белоруссии на партизанской территории под Бегомлем попал в аварию. Наркевичюте получила тяжелые ранения и, не приходя в сознание, на самолете была доставлена снова в Москву. Здесь она оказалась в руках замечательных врачей и после лечения (раненая с большой благодарностью вспоминает особенно правнучку декабриста врача Татьяну Тизенгаузен) начала поправляться. Когда она уже могла ходить, ее послали в Воскресенск. (После войны Янина Наркевичюте много лет работала заместителем председателя Каунасского горисполкома. Эта женщина, очень чуткая к делам культуры, стала большим другом писателей и людей искусства.)

В этом доме мне еще раз пришлось побывать, кажется, весной 1944 года. Выйдя на станции, я направился в сторону леса — за ним вскоре должен был показаться и дом отдыха. Я не поверил своим глазам, увидев, что нет больше высокого зеленого леса с огромными соснами и елями. Деревья были переломаны, словно спички. Многие из них рухнули, вывернув корни, другие сломались посередине. Огромное пространство, где сотни лет зеленел лес, теперь было похоже на поле сражения. Только нигде не было видно воронок и следов огня... Оказалось, что некоторое время назад здесь прошел ураган... Но что

самое удивительное — за этим буреломом стоял уцелевший дом отдыха. Бойцы рассказывали, что звуки ломающегося леса были похожи на грохот настоящей битвы — такой стоял гром и треск! Ураган чуть было не снес и дом отдыха, бойцы уже «эвакуировались» из него, но, к счастью, ветер внезапно затих, и дом уцелел...

В Москве все жили ожиданием. Очень часто по вечерам небо озарялось огнями салюта — это отмечали новые подвиги Красной Армии, освобождавшей города страны.

Всесоюзное правительство, а также и руководители нашей республики уже составляли планы восстановления. Никто не сомневался в том, что подобные планы вскоре будут нужны и даже необходимы. Из дивизии демобилизовали часть состава, который на специальных курсах в городе Шуя готовился к административной работе в освобожденной Литве. Ясное дело, будет нелегко сразу же восстановить партийный и советский аппарат. Кадры, оставшиеся в Литве, почти полностью выбиты, многие погибли на поле боя и в партизанских отрядах. Борьба была страшной, жестокой, безжалостной...

Каждый из нас все чаще задумывался о том, как будем жить и работать в освобожденной Литве. Мне было ясно, что вернуться к административной работе, которой я был занят с лета 1940 года, было бы нецелесообразно, — всю войну, невзирая на многочисленные обязанности, я старался прежде всего писать. Поэтому и обрадовался, когда ЦК Компартии Литвы согласился освободить меня от обязанностей наркома просвещения, назначив на мое место бывшего моего заместителя Юозаса Жюгжду.

Мы все чаще разговаривали о возвращении в Литву как о конкретном деле. Цвирка, встретив Людаса Гиру — он теперь жил в Москве, в Постпредстве или в гостинице «Москва», — шутил:

— Знаешь что, Людас, пора тебе подумать о возвращении в Вильнюс...

— А что? — отвечал Гира. — Я и так думаю... Сам видишь, привожу в порядок рукописи, чтобы в Литве можно было издать.

— Рукописи не самое важное дело... Пора позаботиться о белом коне! Ведь тебе, старейшине литовских поэтов, непременно надо в освобожденный Вильнюс, да-

же на гору Гедиминаса, въехать на белом коне... Эффект, понимаешь ли! Можешь себе представить, какой это произведет фурор во всей Литве!

— А знаешь, и правда было бы неплохо... — смеялся Гира вместе с нами. — У тебя богатая фантазия, Пятрас...

Мы рассуждали, когда будет освобожден Смоленск, когда Минск... Корсакас даже опережал события.

— Видите, что творится на фронтах! — горячился он. — Если будем двигаться вперед такими темпами, не успеем оглядеться — и в Вильнюсе не станет немцев... А оттуда и до Берлина рукой подать...

Такой оптимизм Корсакаса вызывал улыбку, потому что мы не забыли его пессимистических пророчеств, когда наша армия отступала все дальше на восток.

— Черт те что, — говорил он тогда. — Видите, что творится... Немцы все идут и идут вперед... Вот увидите, что еще будет...

Появилось желание больше и лучше работать, а сейчас главным моим делом снова стала литература... Я писал стихи (после войны они составили книгу «Там, где яблоня высокая»), очерки (книга «Из военного блокнота», позднее — «На полях войны»), статьи. Настроение было приподнятое, работа спорилась.

Жизнь шла своим чередом. Теперь многие из нас ходили в московские театры. Несколько раз в неделю мы посещали то Большой или Малый, то Художественный, Вахтанговский и другие театры. Каждый вечер они собирали полный зал. Среди зрителей было немало военных, прибывших по делам из действующей армии. Можно было видеть людей в форме американской и английской армий — это члены миссий наших союзников спешили посмотреть спектакли знаменитых русских театров... Московские зрители, исхудалые, изнуренные войной, одетые очень скромно, прямо-таки рвались в театры, — поговаривали, что билеты они часто приобретали с рук, переплачивали, выменивали на продовольственные товары. А в продовольствии еще избытка не было...

В театры мы зачастую ходили вместе с Цвиркой. Он становился страстным поклонником московских театров. Тогда еще можно было увидеть всю старую гвардию МХАТа — Качалова, Москвина, Тарханова, Книппер-Чехову — и многих других актеров с мировыми именами.

Ставили классический репертуар русской и мировой драматургии, пьесы Островского, Чехова, Горького, инсценировки Толстого и Достоевского, произведения Шекспира, Шеридана, Гольдони. Успехом пользовались и пьесы советских авторов, написанные на военную тематику. Оперные театры, Большой и его филиал, показывали привычный репертуар — «Князя Игоря», «Евгения Онегина», «Пиковую даму», «Кармен» и многие другие знаменитые оперы, а из балетов чаще всего шло «Лебединое озеро». Мы посещали и концерты в Консерватории на улице Герцена или в Зале имени Чайковского на площади Маяковского, где выступали лучшие ансамбли, скрипачи, пианисты, певцы Москвы. Очень часто в антракте представления или концерта конферансье сообщал новейшую сводку, и были слышны залпы очередного салюта... Это были удивительные, незабываемые вечера — живая Москва, живая страна, живое искусство великой державы...

Наша дружба сейчас была тесной и теплой, тем более что почти все мы уже жили в одном городе. Мы проводили беседы о вышедших из печати или подготавливаемых книгах, о коллективных сборниках. В обсуждениях и литературных беседах участвовали Нерис и Цвирка, Гира и Корсакас, Шимкус и Балтушис, Драздаускас и Межелайтис... Это был творческий, трудолюбивый коллектив, который выполнял немалую пропагандистскую работу. Главной целью нашей пропаганды была свобода всей Советской страны, а вместе с ней и нашей Литвы...

Это не означает, что наша жизнь была сплошь официальной. Очень часто она искрилась остроумием, на ходу рождались анекдоты...

Захожу я как-то к Гире, который вместе с женой жил в гостинице «Москва». Вижу — Гира взволнованно бегает по комнате, то и дело повторяет:

— Нет, нет, как хочешь, а я не согласен... Этот вопрос для меня имеет принципиальное значение, понимаешь?

— Что у вас случилось? — вмешался я.

— Вот послушай, дружище, — обращается Гира ко мне. — Мы с женой все утро спорим. Положим, поэт женат. Имеет ли он право иметь еще и свою «музу»? Скажи, дружище, твое мнение очень важно для нас...

— Я бы на этот вопрос ответил положительно, — пошутил я.

— Вот видишь, видишь, — кипятится Гира, — и товарищ Антанас поддерживает мое мнение...

— Людас... — строго предупреждает Гирене.

— Нет, нет, говори что хочешь, а я не согласен — и все... Ты только подумай, возьми всю историю литературы... У Данте была Беатриче... А Петрарка с его Лаурой... Да, наконец, Адам Мицкевич и Марыля... Нет, нет, я этот вопрос считаю принципиальным и не уступлю... «Муза» поэту необходима, вот видишь, и товарищ Антанас поддерживает меня...

Я не мог не улыбнуться, а семейный спор продолжался, и, кажется, всерьез...

Большую радость доставили литовцам, жившим в Москве и вне ее, подарки прогрессивных литовцев Америки, дошедшие до нас поздней осенью 1943 года. Башмаки, одежда, сигареты «Честерфильд» и замечательные безопасные лезвия — это сейчас всем пришлось очень кстати. Комиссия, созданная нашим правительством, распределяла подарки и большую часть отправила бойцам дивизии. Немало одежды досталось детским домам. Кое-что получили и мы. Без сомнения, всем нам пригодилась материальная поддержка, но куда сильнее было моральное воздействие. Там, по ту сторону Атлантики, жили наши братья, которые с радостью приветствовали рождение Советской Литвы летом 1940 года и сейчас не остались равнодушными к судьбе своей родины. Они вместе с нами переживали трагедию этой войны, глубоко сочувствовали всем нам, следили за нашими боями и победами, широко освещали в своей печати (которую мы получали в Москве с большим опозданием) боевой путь Литовской дивизии и жизнь литовцев в эвакуации...

Мы очень радовались, что литературное общество литовских рабочих в Америке во время войны издало две крупные книги — «Злейший враг литовского народа» (сборник исторических и научных работ) и подготовленный Корсакасом сборник нашей поэзии и прозы «Литва в огне». По своему объему это были, пожалуй, самые крупные наши издания того времени. Без всякого сомнения, они сыграли немалую роль в формировании антигитлеровских настроений наших эмигрантов в Соединенных Штатах Америки.

Этой же осенью, когда газеты все чаще упоминали Смоленск, я писал:

Через Смоленск — на задымленный запад!
    На горизонте — Литва.
Как он ни горек, пожарища запах,
    Верю — отчизна жива!

Вспыхнуло небо предутренним светом.
    Наши сверкают штыки.
Вильнюс и Каунас скоро с приветом
    Встретят родные полки.

Из лесу выйдут бойцы-партизаны,
    Дети — из ям, погребов...
Нашего знамени бархат багряный —
    К счастью и радости зов!

Голову мать, от печали седая,
    Сыну уронит на грудь
И, обнимая, промолвит: «Ждала я...
    Сын мой, был труден твой путь!»

Красноармеец ребенка обнимет,
    Заулыбается вдруг:
Наше грядущее он подымет,
    Нету сильней этих рук [1].

Я размышлял о детях Литвы, о своем сыне. Найду ли его, когда вернусь? Вопрос был таким тяжелым, что я снова проводил ночи без сна...

Близился новый год, третий новый год без дома... Этот год был тяжелым, как и прежние, но он уже был освещен великой победой. В конце года были освобождены две трети территорий, захваченных гитлеровцами в 1941—1942 годах, в том числе Смоленск и Киев, но все еще находились под оккупацией большая часть Западной Украины и Белоруссии, все три Прибалтийских республики, окрестности Ленинграда. Но уже расползалась по швам коалиция Гитлера, и народы Европы чувствовали приближение свободы.

Люди работали много, жили трудно. Но настроение было хорошее, большинство не сломилось даже перед лицом великих испытаний. Почти в каждой семье были трагедии — на фронтах погибли дети, отцы, иногда несколько человек из одной семьи. И все-таки каждый гражда-

---

[1] Перевод О. Колычева.

нин Советского Союза, каждый москвич понимал и чувствовал, что лишения, тяжелая работа на заводах, недоедание все равно придут к концу, что страна придет к несомненной, настоящей победе, что фашистскую Германию и государства, легкомысленно связавшие с ней свою судьбу, ждут поражение и суровая расплата за бедствия, страдания и смерть, которые они принесли миллионам людей нашей и других стран, за выжженные и растоптанные огромные территории, за испепеленные города, за весь ужас, который уже несколько лет испытывает Европа.

ПУТЬ ДОМОЙ

Начался решающий 1944 год. Еще раз подчеркиваю, что я не претендую хотя бы кратко изобразить важнейшие события войны. Их было так много, они были так необычны, ошеломляющи своими масштабом и значением, часто даже не всесоюзным, а мировым, что было бы наивно пытаться изобразить это в книге, которая ставит своей целью передать опыт автора и близко знакомых ему людей. И все-таки пускай пунктирно, но надо отметить важнейшие события весны и лета этого года. Некоторые из них были тесно связаны с освобождением литовской нации от угрозы полного физического уничтожения...

Год начался значительными победами под Ленинградом и Новгородом. Ленинград был освобожден от блокады. Огромные сражения проходили на Украине. 10 апреля была освобождена из-под румынской оккупации Одесса — прекрасный город у Черного моря. В мае гигантской катастрофой кончилась гитлеровская оккупация Крыма. В июне была прорвана линия укреплений в Карелии и занят Выборг. Это случилось всего через несколько дней после того, как союзники СССР после долгих проволочек наконец высадились во Франции, в Нормандии. Сообщение об открытии второго фронта (только что был освобожден и Рим) заняло четыре полосы московских газет.

Без сомнения, вся страна ликовала, но наши собственные победы были столь впечатляющими, что все видели: значение второго фронта теперь гораздо меньше, чем могло быть год или два тому назад. Внимание литовцев теперь было сосредоточено на Белоруссии. 23 июня там

началось развернутое наступление под командованием Баграмяна, Черняховского и других полководцев.

Наши армии долго готовились к наступлению, они действовали, поддерживая тесную связь с многочисленными и хорошо организованными силами партизан Белоруссии, а затем Литвы. Гитлеровские группировки снова оказались в так называемых котлах и безжалостно уничтожались — особенно под Витебском и Бобруйском. 3 июля советские воины ворвались в Минск.

Можно себе представить, что чувствовали и переживали этой весной и летом мы, литовцы, жившие в Москве, в других городах тыла или сражавшиеся в Литовской дивизии, которая с боями приближалась к Литве. И этой весной мы интенсивно работали. Пожалуй, самым важным результатом совместных усилий была новая книга альманаха «Пяргале». Содержание его довольно разнообразное. Здесь опубликованы широко известные впоследствии рассказы Цвирки «Колокол», «Немецкий номер» и «Свинка», кроме того, начало написанного в стихах «Сказания о Соколе», шедевры лирики Саломеи Нерис «Не гасни, огонек», «Днепр», «В степи», «Тебя я жду», «Когда буду далеко», поэма Гиры «Друзьям по творчеству», «Происшествие в вагоне» Грицюса. Марцинкявичюс представил повесть «Настоятель Моркунас» — о ксендзе-патриоте, Корсакас — цикл военных стихов, работы «Кристионас Донелайтис и его «Времена года» и «Симонас Даукантас против германских захватчиков». Были напечатаны стихотворения Мозурюнаса и Межелайтиса, переводы стихов Симонова, Суркова, Щипачева и Уткина, моя поэма о Вильнюсе — «Вечный город» и рассказ «Отец», основанный на впечатлениях начала войны и посещения Дебесского детдома. (Альманах не успел выйти в Москве — матрицы были привезены в Каунас и напечатаны уже здесь. Вскоре мы уже сумели выпустить журнал, названный традиционным, очень дорогим для нас именем «Пяргале».)

Наше настроение этой весной можно было бы назвать нетерпеливым радостным ожиданием. Конечно, его отравляло отсутствие сведений о судьбе близких. Кажется, только Корсакас через Балиса Баранаускаса *, тогдашнего начальника отдела штаба партизанского движения в Литве, узнал, что его жена в Литве жива. У остальных не было такого счастья.

Одно мучительное событие потрясло нашу колонию той радостной весной, когда на полях страны и Европы повеял ветер победы. Во время авиационной катастрофы погиб хорошо известный всем нам скромный и талантливый юноша, сын Юстаса Палецкиса — Вильнюс. Девятнадцатилетним юношей он эвакуировался из Литвы вместе с родителями и собирался включиться в борьбу народов за свободу. Вильнюс давно интересовался планерами и авиацией. Погиб он неожиданно — самолет взлетел над аэродромом и тут же упал из-за неполадок в моторе. Тело погибшего было выставлено для прощания в верхнем зале Постпредства. Мы стояли у гроба, ошеломленные, смотрели на белое лицо юноши и не находили слов, чтобы утешить раздавленных отчаянием родителей, которые старались не показать своего горя, словно подчеркивая, что их несчастье — только капля в океане горя миллионов людей. Всех глубоко взволновала Саломея Нерис. Она, как и все мы, близко знала покойного и прочитала у его смертного ложа поэму, строфы которой были наполнены не только отчаянием, но и предчувствием победы, не только горем, но и верой в бессмертие подвига человека.

О Вильнюс, мальчик крылатый,
Твой безрассудный полет
Поспорил с бурей косматой —
Сквозь бурю сердце поет.

Икар! Поник он в бессилии,
Застывшая кровь холодна.
Нет! Не сломались бы крылья,
Когда б не враги, не война... [1]

Поэма кончалась строфами, предпоследняя из которых не раз цитировалась после смерти Саломеи Нерис, — казалось, поэтесса написала ее о самой себе, предчувствуя свою трагическую кончину и вечную жизнь в народе:

Не плачьте, дорогие, обо мне,
Я не покинул вас, и по весне
Пробьюсь я снова к вам ростком зеленым.
Я буду с вами в подвигах труда
И в шумном шелесте краснознаменном...

Мы расставались с юношей, который словно бы олицетворял собой путь своего поколения и его зачастую

[1] Перевод С. Мар.

трагическую судьбу... Потом мы безмолвно стояли в зале крематория, слушали прощальные речи и чувствовали: пока будем живы, в нашей памяти всегда останется этот прекрасный юноша.

...При освобождении Минска Красная Армия на восток от города окружила огромную германскую группировку, в которой находилось сто с лишним тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Примерно сорок с лишним тысяч из них было убито и ранено, а пятьдесят семь тысяч во главе с генералами и офицерами были проведены по Москве. Говорят, это было поразительное шествие. Гитлеровцы, рвавшиеся когда-то к Москве, теперь брели по ее улицам, кажется — по Садовому кольцу, грязные, пыльные, небритые, оборванные, пришибленные. Жители Москвы, стоя на тротуарах, смотрели на них с презрением, спрятав радость в суровости лиц. Не было слышно никаких возгласов, иногда принимались свистеть дети, но их тут же успокаивали взрослые. Сразу же за немцами ехали машины и смывали улицы, чтобы на них не осталось даже запаха людей, которые, уничтожив миллионы, теперь шли в плен... Я не видел этой картины своими глазами, потому что тогда меня уже не было в Москве...

...Мы, московские литовцы, ни на минуту не сомневались в том, что близок час, когда Красная Армия пересечет границы Литвы. Кто же первым увидит родную землю, кто прильнет к ней, кто первым обнимет наших друзей, если только они окажутся живыми? Тянулись дни, когда мы не находили себе места — при встрече тревожно и радостно делились новостями, ждали салютов, почти каждый вечер освещающих небо, слушали радио, каждый час надеялись услышать голос Левитана, который теперь сообщал только радостные, добрые вести...

Наконец мы узнали, что наш Центральный Комитет создает первую группу, которая войдет в Вильнюс в день его освобождения. Мы строили догадки, кто попадет в эту группу, надеясь, что это счастье выпадет на нашу долю, и боясь, что надежды могут оказаться тщетными... Выяснилось, что с первой группой, в которой находились руководители партии и правительства, полетят несколько человек — Цвирка, Шимкус, Банайтис, Йонас Каросас * и я. Это было великой радостью для нас и од-

новременно огорчением для тех, кто оставался в Москве. Один из нас, Людас Гира, кстати, уже тяжело болел и лежал в Кремлевской больнице.

Особенно тяжело переживала это Саломея Нерис.

— Поскорей бы в Литву! — говорила она той весной, и ее глаза горели надеждой и радостью. — Я так хочу побыстрей оказаться дома... И вещи уже начала укладывать... Скорей бы к огню своего очага...

— Но найдем ли мы свой очаг, Саломея? Ведь там побывали, и довольно долго, заклятые враги нашей нации...

По лицу Нерис скользила тень раздумья и страданья.

— Конечно, там многое окажется другим, чем мы себе здесь представляем. Но война закончится, все, что разрушено, восстановим своими руками. Будем работать так, как никогда еще не работали.

Иногда нас волновало, что лицо Нерис все время было бледным, она казалась болезненной. Но на наши расспросы она отвечала, что здорова, что было маленькое недомогание, но уже прошло или вот-вот пройдет, поскорее бы домой... Никто из нас тогда, увы, не догадывался, что поэтесса больна раком печени...

Я хорошо помню солнечное утро в июле 1944 года, когда мы собрались в Постпредство: настал долгожданный час возвращения домой. Правда, Литва еще не была освобождена, сражения еще шли где-то за Минском, но мы не могли усидеть на месте, торопились в Вильнюс, в Каунас...

Среди провожавших была и Нерис. Она рвалась вместе с нами, но руководящим товарищам показалось, что неразумно везти поэтессу в прифронтовую полосу, да еще с ребенком. С другой стороны, в связи с ожидаемыми событиями писатели нужны были и в Москве — надо было готовить материал для радио, для всесоюзной печати... Я так и вижу Нерис, ее влажные глаза, лицо, полное тоски, радости и печали, когда на аэродроме она глядит на нас, пока трехмоторный «дуглас» подкатывает поближе к краю взлетного поля. Последние объятия, и мы поднимаемся по трапу в самолет. Толпа внизу машет руками, нам предстоит полет в неизвестность. Самолет отрывается от земли, и у нас перед глазами еще долго остаются любимые, взволнованные лица... Потом под нами пролегает Москва, и вот мы уже летим над сожженными

станциями, разбомбленными городками, поваленными лесами, полями сражений, окопами... Два наших «дугласа» сопровождают истребители.

У магистрали Москва — Минск все выжжено. На сотни километров протянулась зона смерти, где немцы уничтожили все, что только было на земле. Еще не заросли огромные воронки от бомб, они отчетливо видны с птичьего полета...

Пролетев над разрушенными дотла Вязьмой и Смоленском, мы приземлились на военном аэродроме под Борисовом, который Красная Армия освободила всего лишь несколько дней назад. Неподалеку еще добивали окруженные немецкие дивизии.

На аэродроме мы встретили группу американских журналистов, среди которых была старая наша знакомая Анна Луиза Стронг, которая в 1940 году посетила Литву и даже написала книгу о Советской Литве. Она недавно прилетела с Аляски через Дальний Восток. Встреча интересная и неожиданная.

Глянув на нас глазами опытной журналистки, она хитро улыбнулась и спросила:

— В Вильнюс?

— Примерно в ту сторону... — дипломатически ответил кто-то из нас.

— А, понимаю, — сказала Анна Луиза Стронг. — Литовское правительство возвращается в свою столицу...

Но долго разговаривать некогда: они возвращаются из Минска в Москву, а мы садимся в машины...

Кстати, у американских журналистов в их поездке было немало неожиданностей, которые не всегда выпадают на долю фронтовых корреспондентов. Им показали, как советские «катюши» громят полчища окруженных нацистов, не желающих сдаваться в плен. Немцы пробовали пойти в психическую атаку, пытаясь вырваться из окружения, и «катюши» задали немало работы могильщикам...

Мало того. Леса кишели остатками немецких армий. И каковы были удивление и радость корреспондентов, когда с поднятыми руками из леса вышли три немца и сдались им в плен!

Командование фронтом, встретившее нас еще на аэродроме, разместило нашу группу в большом сосновом

лесу, в уцелевшем доме отдыха. Здесь еще несколько дней назад находились немцы. Всюду валялись бутылки французского коньяка и вин. А лес вокруг был пронизан солнцем, с дерева на дерево прыгали белки, в двух шагах от дома алела земляника, выглядывала из-за листьев черника. Растянувшись на теплом мху в лучах солнца, мы чувствовали себя как на маевке или прогулке в лесу доброго мирного времени. Потом с Владасом Нюнкой * мы редактировали воззвания, которые надеялись издать, как только окажемся на территории Литвы... Работать было трудно — мыслями мы уже были в Вильнюсе, Каунасе... Нелегко было сосредоточиться, хотя я вроде бы привык писать в любом месте — и на железнодорожном вокзале, и в поезде, и в окопе, и в крестьянской избе, где вповалку спят солдаты... Даже шум не мешал мне. А теперь, наверное, мешала непривычная тишина, которую лишь изредка нарушали эскадрильи наших самолетов, летящие на запад... Я вспомнил трагические дни лета 1941 года, когда здесь, в белорусском небе, хозяйничали гитлеровские стервятники... Теперь здесь снова война, но все идет наоборот...

Однажды в лесу, где мы жили, появился Александр Твардовский. Одет он был в поношенную военную форму, которая видела и пыль белорусских дорог, и дым костра. Поэт был в отличном настроении, он много шутил, рассказывал о последних боях в Белоруссии и пророчествовал, что Вильнюс будет освобожден через несколько дней. Просил меня сразу же написать статью о древнем Вильнюсе, — солдатам, которые сражаются за освобождение Вильнюса и Литвы, надо пошире узнать о столице Литвы, о ее истории и культуре. Долго не ожидая, я тут же, в лесу, на пне, написал статью. (Только сейчас, во время работы над этой книгой, я узнал, что статья была напечатана в той же газете Третьего Белорусского фронта «Красноармейская правда», в которой тогда появилась и третья часть «Василия Теркина». По случаю освобождения Вильнюса московская «Правда» наряду с другим материалом опубликовала волнующие стихи Саломеи Нерис «Здравствуй, Вильнюс!»).

Двигаясь дальше на запад по Московско-Минскому шоссе, мы встретили колонны немецких военнопленных. Теперь немцы уже не представляли опасности. Колонны

численностью в две-три тысячи сопровождали на восток два красноармейца, вооруженные автоматами, — один впереди, другой сзади. И немцы, оборванные, заросшие щетиной, брели дальше на восток, скорей всего довольные, что им не пришлось умереть за империю кровавого Гитлера...

Немцев вылавливали и в белорусских лесах. Армия ушла на запад, и в плен фашистов брали партизаны — крестьяне, женщины, дети. Немцы сдавались по трое, по десять, по двенадцать, по пятнадцать. Иногда в деревню приходили несколько десятков сразу и просили крестьян взять их в плен.

— Не тот уже фриц, не тот... — качая головами, говорили белорусские крестьяне. — Все их бешенство как рукой сняло. Сперва они нас гоняли и ловили, а теперь любой подпасок каждый день берет в плен по нескольку фрицев.

Чем дальше, тем больше немцев. Необозримые колонны, по восемь в ряд, все идут и идут по пыльному шоссе и другим дорогам Белоруссии на восток. Кто они? Откуда? Где они побывали? Здесь есть всякие — богачи и бедняки, из Берлина, Ганновера, Баварии, из Клайпеды и Тильзита, из Франкфурта и Бремена. Некоторые из них топтали поля всей Европы. Их руки замараны кровью греческих патриотов, югославских женщин и литовских детей. Из-за их жестокости выплакали глаза польские старухи, норвежские дети, они сжигали деревни в Белоруссии и на Украине...

Минск. Огромная, наводящая ужас груда развалин. Вот я снова в Минске, точнее говоря, в разрушенной и сожженной Помпее. Улицы завалены камнем, кое-где торчат уцелевшие стены домов. Редко увидишь жителя, — они перебиты, увезены на германскую каторгу или еще не вернулись из лесов, где целых три года укрывались от нацистских зверств и сражались против оккупантов.

Неподалеку от вокзала возвышается огромное современное здание правительства Белоруссии. В начале войны немцы не разбомбили его и оставили для своих нужд. Отступая, они заминировали здание, но наши саперы успели вовремя.

ЛИТВА!

Литва! Наконец-то граница Литвы под Мядининкай. Рядом с дорогой высятся руины исторического замка — их пощадила война. Зато городок превращен в пепелище. На каждом шагу сожженные немецкие машины, подбитые танки, орудия, груды амуниции. У дорог еще валяются трупы, еще горят дома. Но люди уже возвращаются в родные места и со слезами глядят на разрушенные немцами хутора.

Наши друзья не могут сдержаться, не прокричав трижды звонкое литовское «валио!», когда мы пересекаем границу Литовской республики. Веет запахом родной земли, лесов и озер, нас встречают цветущие луга.

В Вильнюсе еще идут бои, и мы вынуждены ждать в Науёйи Вильня. Городок почти цел, по улицам ходят штатские. Мы заходим в какую-то канцелярию — из столов уже извлечены кипы бумаг. Прошения о выдаче имущества расстрелянных евреев — одежды, мебели. Списки жителей, вывезенных в Германию. Документы в основном на литовском языке... А в стороне Вильнюса изредка раздаются глухие удары — это взрываются бомбы, а может, снаряды. Время от времени вдалеке едва слышно трещит пулемет. В небе появляются и исчезают самолеты, — мы сразу видим, что это наши.

Удивительно яркое лето. Солнце светит щедро, и за городком кое-где уже белеет рожь.

— Эти несколько дней в Науёйи Вильне для меня превратились в вечность, — жалуется Банайтис.

А Цвирка добавляет:

— Пока мы здесь сидим, немцы весь Вильнюс взорвут. Слышите, как грохочет?

И становится не по себе. Поскорее в Вильнюс!

...Наконец-то — Вильнюс! Машина по узким улочкам старого города въезжает в центр, и мы видим величественный символ государственности нашей нации — гору Гедиминаса, где на вершине башни развевается красное знамя, вернувшее Литве свободу.

Здравствуй, светлый замок Гедиминаса!

На улицах Вильнюса под ногами хрустит битое стекло. На центральной улице Гедиминаса торчат сгоревшие танки. И немецкие и наши... Еще дымятся дома, хлопают одиночные выстрелы. Мы с Пятрасом идем по улице

Сераковского и видим, как наши бойцы выносят из дворов убитых. На улицах видны лужи крови. Пахнет горелым, кровью и цветущими деревьями.

Я один по улице Сераковского поднялся на холм — манил дом, в котором мы жили... Вот улица Кудирки, где в вечер первого дня войны падали бомбы, вот и каменный трехэтажный дом. Я смотрю вверх — окна нашей столовой, как и везде в городе, без стекол. Все вылетело от грохота. Я чувствую, как сильно, ужасно сильно бьется сердце... Вхожу в дом. Нигде ни души. Долго стучусь в дверь своей квартиры. Мне открывает какой-то поляк, спрашивает, что мне угодно. Когда я говорю, что здесь до войны была моя квартира, он без долгих споров пропускает меня и принимается объяснять, что он здесь временно... Появляется и его жена — испуганная худая женщина. Поляк объясняет, что оказался здесь в последние дни, а кто жил раньше, не знает... Я брожу по пустым, запущенным комнатам. В столовой по-прежнему стоит стол, купленный еще когда мы жили в Клайпеде. И шкафчик с откидным столиком, на котором я в Клайпеде писал свой первый роман... В других комнатах замечаю несколько знакомых стульев. В кабинете ни письменного стола, ни книг. Да, от моей библиотеки не осталось и следа. Нет даже книжных полок, которые подарил мне тесть, когда мы переезжали в Вильнюс. Не встретили меня ни жена, ни сын. Я спросил, не известно ли что-нибудь жильцам о моей семье.

— Мы ничего не знаем... Мы здесь недавно... — снова повторяет женщина.

— Пан не пожелает сюда вернуться? — спросил у меня поляк.

— Не знаю, не знаю... — ответил я и, не сказав больше ни слова, вышел на лестничную площадку.

Постучался в квартиру напротив — в ней до войны жила семья инженера Блинструбаса. Дверь открыла старуха, потом появилась и Наталья Блинструбене. Она с удивлением смотрела на меня, я на нее. Мы поздоровались. Я хотел спросить о своей семье, но она сама пригласила меня в квартиру и заговорила:

— Живы ваши, живы, не волнуйтесь... Знаете, к нам заходила такая Сакалаускене из Каунаса, она жила в Верхней Фреде... Она мне все про вашу жену и сына рассказывала... Все время были живы...

Я поблагодарил и вышел. Больше меня ничто не интересовало. Но она догнала меня на лестнице и заговорила:

— Когда пришли немцы, ее забрали в тюрьму... вашу жену... А сын ваш Томукас некоторое время жил у нас... Но они живы... Еще две недели назад...

— Спасибо вам...— сказал я и принялся стучать в квартиру художника Микенаса.

— Нет...— сказала Блинструбене.— Только мы здесь остались и, кажется, доктор Норкунас, что живет в бывшей квартире Жюгжды. А другие куда-то разбежались перед сражениями...

— А Борута?

— И его нет... Знаете, когда умерла его жена, он вообще здесь редко появлялся...

— Умерла жена?

— Да, умерла... от синусита.

Я вышел на улицу. Был светлый, жаркий день. Улицы пустовали. Изредка появлялись прохожие с узлами на плечах — свои или где-нибудь награбленные вещи. Люди казались изможденными — совсем не те вильнюсцы, каких мы знали до войны. Женщины в мятых, выцветших платьях, перешитых юбках, непричесанные, в туфлях на деревянных подошвах.

— Вы не знаете, барин, где здесь солдаты дают покушать? — спросила меня старушка, держа за руки двух худеньких, бледных мальчиков лет пяти и семи.— Вот сироты говорят, солдаты хлеб дают...

Женщина говорила по-литовски.

— Откуда вы, матушка?

— Из Игналины мы... Но вот их мама в Вильнюсе работала, в столовой. Вышла дня три назад на работу и не вернулась. Соседи говорят, видели, лежит застреленная... А кто и как — одному богу известно...

Я сказал старушке, что им надо идти в центр, может там и найдут солдат...

Сердце обуревали противоречивые чувства. «Были живы... Были живы...» — все еще звенело в ушах. А сейчас? Где они? Ведь за Каунас, наверное, еще идут бои. Остались ли они живы?

Любовь, тоска, горе, но вместе с тем и надежда загорелись в груди... «Нет, без всякого сомнения, живы!» — думал я. И я их найду, и мы снова встретимся, чтоб ни-

когда больше не расставаться... С невероятной силой вернулось прошлое, в голове вспыхивали и гасли сотни картин — обрывочных, бессвязных. И я с болью вспомнил, что есть еще один человек, с которым меня связала война и с которым нелегко будет расстаться.

«Они были живы... Они были живы...» — то и дело повторял я.

На улицах Вильнюса день ото дня мы встречали все больше знакомых. Казалось, им очень интересно видеть нас, — они хотели узнать, что же будет дальше, без немцев. Появились профессора Юозас Бальджюс-Балдаускас, Лев Карсавин, Василий Сеземан. Мы обрадовались, увидев старого друга писателя Винцаса Жилёниса. В начале войны его арестовала литовская охранка, которая работала рука об руку с гитлеровским гестапо. Жилёнис рассказывал о первых днях оккупации, о своем аресте, тюрьме, страшном националистическом терроре.

— Немцы поначалу были слишком заняты... Они довольно долго не смогли бы разобраться в настроениях и отношениях местного населения. Но им на помощь тут же пришли белоповязочники. Они начали ловить людей, заточать в тюрьмы, расстреливать... Я чудом избежал смерти...

Жилёниса я отвел в старый город, где на углу Кафедральной площади и Большой улицы уже обосновалась редакция газеты «Тарибу Лиетува». Вернувшийся вместе со мной из Москвы Йонас Шимкус пытался наладить выпуск газеты, которой не хватало всего — сотрудников, бумаги, наборщиков и печатников, а главное — электроэнергии (немцы, отступая, всюду уничтожали электростанции). Шимкус обрадовался старому знакомому, с которым немало работал вместе, и сразу же попросил его писать — прежде всего о страданиях литовцев под гитлеровской оккупацией. Шимкус мечтал уже в ближайшие дни издать первый номер в освобожденном Вильнюсе и выпустил его 16 июля, но еще до этого технический директор типографии Завиша в каком-то немецком бункере отыскал движок и доставил его в типографию... Жилёнис в тот же день засел за материалы для «Тарибу Лиетувы». Хоть и трудно было сосредоточиться, я тоже устроился здесь же, в редакции, за столом и описал первые впечатления о дороге в Вильнюс и о самой столице. Нельзя было ждать, надо было поскорей дать людям

правдивую информацию, убедить их в том, что гитлеровцы не вернутся, что пора расчищать развалины и, похоронив погибших, думать о восстановлении Вильнюса и жизни...

В конце июля выпускать «Тарибу Лиетуву» назначили Ромаса Шармайтиса, а Йонас Шимкус уехал в сторону Каунаса, освобождение которого ожидалось со дня на день. (Как известно, Каунас освободили 1 августа. Уже через неделю, 8 августа, в Каунасе появился первый номер каунасской газеты «Тарибу Лиетува». Любопытно, что в тот же день очередной номер «Тарибу Лиетувы» вышел и в Вильнюсе. Когда выяснился этот курьезный случай в истории нашей журналистики, в Вильнюсе выпуск «Тарибу Лиетувы» был прекращен и 9 августа было возобновлено издание «Тиесы».)

Одним из первых мы встретили на улице, загроможденной сгоревшими танками, заваленной битым стеклом и скошенными сучьями деревьев, художника Мечиса Булаку *. Оказывается, он не ушел из Вильнюса даже во время самых жарких сражений и по-прежнему жил в старом городе, в пустой комнате Художественного института у костела св. Анны. Мечис Булака рассказывал нам о том, чего мы еще не знали, довольно медлительно, а нам хотелось быстрее (и здесь проявился его легендарно флегматичный характер). Мы услышали радостную весть, что живы наши друзья художники Юозас Микенас и Антанас Гудайтис.

— А Витаутас Монтвила? — вскричали мы с Цвиркой одновременно, впившись глазами в Булаку.

— Расстрелян Монтвила... в Каунасе... И скульптор Винцас Грибас, и журналист Юозас Беляцкас, и адвокат Андрюс Булота * с женой расстреляны...

— Монтвила? Что ты говоришь? Неужели это правда?

Хоть мы и не ждали от своего друга веселых новостей, известие об убийстве Витаутаса Монтвилы показалось нам невероятным и жестоким. Я вспомнил встречу с поэтом в Каунасе в начале советского периода, его оптимистическое настроение, его планы на будущее. Неужели мы никогда больше его не увидим, неужели он никогда не посмотрит на нас взглядом своих необычайно глубоких голубых глаз и никогда не пожмет руки своей крепкой теплой рукой рабочего?

Но весть оказалась правильной. О последних днях поэта на свободе мне подробно рассказала жена Витаутаса (уже в Каунасе). И мне долго-долго недоставало одного из самых старых и задушевных моих друзей — Витаутаса. Вспоминая его красивую голову, голубые, умные и проницательные глаза, его медленный, спокойный говор, полный веры в победу истины, вспоминая его таким, каким когда-то знавал в Мариямполе, — стойким, принципиальным, влюбленным в свободу и поэзию, — я радовался лишь тому, что дело Монтвилы живо, что подвиг поэта, его слава останутся в сердцах...

У Мечиса Булаки мы с Цвиркой временно и обосновались. Здесь теперь было много места — комнаты просторные, хоть и без стекол, как и во всем городе. Булака слышал, что моя семья жила в Каунасе, но уже давно не имел о ней никаких вестей...

Художественная академия (теперешний Художественный институт) уже два года, как была закрыта немцами. Булака, еще молодой человек, казался усталым и постаревшим.

— Вот видишь это? — показал он крюк, прикрепленный к окну. — А вот и веревка, — вытащил он из чемодана толстую веревку.

— Для чего все это?

— В любую ночь в дверь могли постучаться агенты гестапо. Если попадешь к ним в лапы — смерть, концлагерь или сумасшедший дом. Веревка — хорошая штука. Она нужна не только тогда, когда человек решил повеситься. Ею можно воспользоваться и когда надо спуститься с третьего этажа, спасаясь от гестапо.

— Она пригодится еще и для Гитлера, — добавил я.

Следы хозяйничанья немцев в городе были так многочисленны, что казалось, нужны будут десятилетия, чтобы устранить их. Особенно пострадал центр. На главной улице не больше половины уцелевших домов. Но Красной Армии удалось почти сразу выбить врага из Антакальниса и старого города, поэтому осталось неразрушенным и несожженным все самое дорогое для литовского народа. Уцелели университет, Академия наук, Литовское научное общество в Антакальнисе, основанное Басанавичюсом, уцелели все замечательные соборы Вильнюса — св. Анны, св. Петра и Павла, св. Иоанна, Кафедральный, Бернардинский, здание старой ратуши и другие достопримеча-

тельности. Вильнюс был изранен, изувечен, но прекрасен, как всегда.

В городе почти не осталось жителей. Сто тысяч человек погибло во рвах Панеряй. Других перед началом боев фашисты хватали в квартирах и загоняли в подвалы. В подвал под зданием больничных касс на улице Гедиминаса были согнаны сотни вильнюсцев. За четыре дня, которые провели там люди, некоторые умерли от удушья, другие сошли с ума. Их спас советский партизан, убивший нациста, который собирался взорвать убежище. В Лукишкской тюрьме обнаружили много трупов. В кинотеатр «Пан» немцы согнали пятьсот человек и подожгли дом. Спаслись наши знакомые профессора Вильнюсского университета — К. Белюкас *, Ю. Бальджюс, Л. Карсавин и В. Сеземан.

Мы узнали, что погиб не успевший эвакуироваться в начале войны нарком коммунального хозяйства Валерионас Книва *. Лучшего литовского хирурга, специалиста с мировым именем, профессора Владаса Кузму, как рассказывали, немцы замучали, заставив его работать без отдыха. Балиса Сруогу вывезли в концлагерь.

Многим литовским интеллигентам пришлось побывать в застенках гестапо. Некоторые из них психически заболели, другие лишь случайно остались в живых. Гестапо долго содержало в концлагере одного из самых талантливых поэтов Литвы — Теофилиса Тильвитиса.

Для литовской интеллигенции были созданы невыносимые условия. Писатели, журналисты, профессора работали счетоводами, писарями, кладовщиками. Каждый, кто не пожелал сотрудничать с оккупантами, страшился за свою свободу и жизнь. Видных людей принуждали делать заявления против советской власти в специальных изданиях. Таким образом от некоторых интеллигентов были получены заявления, которые все равно не спасли их от террора. Видные представители науки и искусства укрывались в глухих деревнях и лесах.

Террор проявлялся и в виде особой «опеки» над искусством. Когда в 1942 году в Каунасе была устроена выставка литовских художников, на нее явились агенты «Пропагандаштаффеля» и приказали выбросить картины многих художников. Вильнюсский гебитс-комиссар палач Хингст разорил Вильнюсский музей, обставив музейной мебелью свою квартиру, довольно много вещей он увез

в Германию. Вузы были закрыты, зато на улице Субачяус действовал большой публичный дом.

Во время массовых убийств евреев ужас и отвращение к фашистам охватили добродушный литовский народ. За помощь евреям была арестована и подверглась пыткам вильнюсская общественница Она Шимайте. (Тогда мы слышали, и даже сообщали в печати, что она погибла, но позднее оказалось, что эта замечательная женщина, близкая подруга Саломеи Нерис, осталась в живых. Недавно она умерла в Париже.) Многие литовские интеллигенты, рабочие и крестьяне спасали жизнь приговоренных к смерти людей. Мы узнали, что Антанас Венуолис * взял на воспитание крохотную русскую девочку, которую везли немцы (кажется, она выпала из повозки). Таких случаев, когда литовцы брали к себе детей других национальностей, было много, и они показывали гуманизм нашей нации.

Несмотря на неслыханный террор, подавляющая часть литовской интеллигенции различными способами боролась против оккупантов. Немцы не раз пытались мобилизовать литовцев в армию. Ни одна из этих мобилизаций не принесла плодов. Тогда все бешенство фашистов обрушилось на интеллигенцию в Каунасе и Вильнюсе. Подверглись арестам целый ряд ученых, профессоров и преподавателей. Они попали в концлагерь.

Особенно свирепствовали оккупанты, почувствовав, что дни их господства в Вильнюсе и во всей Советской Литве сочтены. Под Вильнюсом начали сооружать укрепления. На работы сгоняли людей разного возраста, даже больных. Многих мужчин, согнанных на работы, так и не дождались домой. Их насильно одели в немецкую форму и угнали в сторону фронта. Другие люди, строившие укрепления, разбежались.

Поначалу город казался вымершим. Изредка увидишь старушку, несущую уцелевшие вещи из разрушенного дома, иногда увидишь семью с пожитками, возвращающуюся из-за города. Но в столице уже обосновались центральные учреждения — Совет Народных Комиссаров, наркоматы, редакции... Жизнь налаживалась.

После освобождения города председателем горисполкома был назначен М. Шумаускас. По его указанию наши партизаны (несколько десятков отрядов участвовало в

освобождении Вильнюса) стали помогать хоронить трупы, расчищать улицы.

Вильнюс стал тыловым городом. На предприятия начали возвращаться рабочие. Людей прибывало. Учреждения были полны посетителей — все жители хотели включиться в дело восстановления Вильнюса. Особенно повышали настроение вести о только что освобожденных городах и населенных пунктах Литвы. Красная Армия приближалась к западной границе Литвы — к западной границе Советского Союза. Указатели на шоссе показывали дорогу на Каунас и на Кенигсберг.

Не раз ночью, когда мы спали в комнате Мечиса Булаки, в городе раздавался лай зениток — они отгоняли от города немецкие самолеты. Гулкий двор во много раз увеличивал звук выстрелов, и они раздавались громом — по спине бегали мурашки. Несколько раз во время воздушной тревоги мы спускались в убежище во дворе. Но вскоре привыкли к этому громыханью и уже не вставали с постели, тем более что, набегавшись за день по Вильнюсу, умирали от усталости. . .

В первые дни в освобожденном Вильнюсе мы видели вооруженных поляков. Это были полувоенные части, подчинявшиеся лондонскому правительству, так называемая «Армия Крайова», одетые во что придется. Они разгуливали по Вильнюсу и, как жаловались нам остававшиеся здесь во время боев вильнюсские литовцы, терроризировали в основном их, а немцам, кажется, особенного вреда не причиняли.

— Знаешь что, — сказал я Цвирке, — могу поручиться, что лондонское правительство вот-вот объявит, что не Красная Армия, а поляки освободили Вильнюс.

— Мне вильнюсцы, которые слушают радио, рассказывали, что так оно и есть. . . — рассмеялся Пятрас.

Несколько дней спустя этих поляков в Вильнюсе уже не было видно. Одни говорили, что Красная Армия их разоружила, другие — что в лес под Рудининкай приехала Ванда Василевская с другими представителями польской армии, разъяснила цели польской армии и пригласила тех, кто согласен с ней, идти в одну сторону, а тех, кто нет, — в другую. Большинство пошло на сторону польской армии, других разоружили. . .

С каждым днем мы тревожились все больше и больше. Казалось, все бы отдал, лишь бы быстрей попасть

в Каунас и, если позволит судьба, увидеть своих... Но Каунас все еще находился у немцев. Поговаривали, что фронт остановился где-то под Жежмаряй или Румшишкес...

В КАУНАС! В КАУНАС!

В Каунас! В Каунас!

Люди говорили, что немцы, отступая, взрывают Каунас, а жителей угоняют с собой. Другие рассказывали, что в Каунасе немцев уже нет, что Красная Армия взяла их в клещи и они отступили на запад...

Я нигде не мог найти Пятраса. Лишь позднее узнал, что он встретил Йонаса Марцинкявичюса и уже уехал в Каунас.

Транспорта не было. Я бегал по городу, но так ничего и не нашел. Добрался пешком до дороги на Каунас — по ней на запад ехали только военные машины. На мои просьбы остановиться никто не реагировал. Я снова вернулся в город.

Не помню уже, каким образом на следующий день все-таки удалось сесть в какой-то американский «джип» на высоких колесах и с жесткими сиденьями и выехать в сторону Каунаса.

Мимо бежали деревни, поля, леса, словно прокручивали полузабытую киноленту назад. Картина очень отличалась от той, что мы видели в Белоруссии. Лишь изредка виднелись сожженные избы с торчащими из пепелища трубами. Хутора здесь уцелели, вокруг домов зеленели деревья, а поближе к Каунасу потянулись живописные сады. Местами казалось, что здесь и не было войны.

Вдали показалась знакомая башня монастыря в Пажайслисе, потом — Петрашюнай. И людей здесь всюду было гораздо больше, чем на восток от Вильнюса.

Наконец через долину Адама Мицкевича мы спустились в город. Тоннель, по-видимому, был взорван, завален камнями и землей.

Мы остановились у бывшего железнодорожного вокзала. Машина уехала дальше. Я стоял и смотрел на груды кирпича и камней, — вот вокзал, с которого я когда-то ездил домой, к родителям, в Берлин, Париж, Москву, Таллин... Казалось, прошла и исчезла бесконечно длинная жизнь...

Я зашагал в сторону Немана, надеясь переправиться по железнодорожному мосту на другой берег, как это делал до войны. Приблизившись к реке, я увидел, что мост тоже взорван. Вздыбились изогнутые стальные фермы, словно здесь погибло и утонуло допотопное чудище, только диковинные его лапы торчат из воды... Справа вдалеке темнел взорванный мост на Алексотас. За рекой виднелся знакомый пейзаж, над которым господствовал громоздкий элеватор. «Собор святого Элеватора», — вспомнил я старую шутку каунасцев и улыбнулся.

Людей в штатском почти не было видно. Мимо прошел какой-то железнодорожник. Он очень пристально глянул на меня, словно силясь вспомнить что-то. По улице носились военные грузовики, санитарные машины, «виллисы».

День был яркий. В небе висело летнее солнце, становилось все жарче. Я спустился к Неману. Красноармейцы переправлялись через реку на лодке. Их пропускал вооруженный солдат.

Я подал ему мандат депутата Верховного Совета СССР. Он глянул, вернул мне его и покачал головой — нельзя. В разговоры не вступал. Я вспомнил, что у меня еще есть удостоверение корреспондента «Правды». Увидев его, солдат посмотрел мне в лицо, отдал честь и усадил в лодку, в которой уже было несколько бойцов. Через несколько минут я уже был на той стороне.

По знакомому шоссе я поднимался в гору, в Верхнюю Фреду. По обеим сторонам высились гигантские тополя, под которыми мы так часто останавливались вечерами, когда были молоды, недавно знакомы, влюблены. Вся Фреда казалась невероятно зеленой, только деревья у самой дороги были занесены пылью, которую вздымали тысячи машин, проехавшие здесь в эти дни. Вот и сейчас откуда-то непрерывно катились военные машины, — никто не обращал на меня внимания.

Поднявшись в гору, я свернул налево. Еще три минуты, еще минута... Вот я вижу край сада и кровлю деревянного домика; все так, как несколько лет назад. За воротами во дворе вижу старика и дородную женщину, но не узнаю их. Во дворе блеют овцы, гогочут гуси, виляет хвостом белый пес... Нет, женщина узнала меня. Бежит открывать калитку.

— Здравствуйте, здравствуйте... Как жаль, что ва-

ших нет дома... Вот увидите, ваш сын настоящий мужчина. А Андрюкас поменьше, но какой бойкий, какой сорванец... И госпожа Венцловене, и госпожа Рачкаускене... Все в деревне, знаете, там, куда ездили во время войны...

Пришел и ее муж, медлительный и обеспокоенный. Он сухо пояснил, что арендует сарай для скота и половину дома. Сами они из Шанчяй, когда-то ремонтировали наш дом, оклеивали обоями... А женщина уже побежала готовить для меня еду...

Да, Фреда... Та самая Фреда, с которой связано столько лучших воспоминаний — и моих и Пятраса. Сколько счастья, сколько человеческого тепла дали нам жившие здесь люди! Наша с ним молодость неразрывно связана с этим садиком, с домом, с этими комнатами, в которые я сейчас вхожу... Та же непритязательная мебель, семейные фотографии, картины Марите Цвиркене. Я вхожу в комнату тещи — кровать, книжная полка (на ней книги, написанные Пятрасом и мною), дальше — кабинет профессора. В нем тоже все по-прежнему, как три или четыре года назад. Неужели время действительно может остановиться, застыть, оцепенеть?

Женщина принесла на террасу тарелку с жареным мясом и с малосольным огурцом. Она рассказывала все новые и новые подробности: как дети играли, как лазили по деревьям, как Томукас читал какие-то стихи о северных льдах... Я ем с аппетитом, потому что в Вильнюсе питание было еще более скудным, чем в последнее время в Москве. Женщина принесла из сада полный передник яблок — желтых, ароматных...

Надо бы позвонить в Каунас. Ведь в городе должны быть какие-то знакомые. Я вхожу в переднюю и поднимаю телефонную трубку. Тишина такая, что кажется — звенит в ушах. Без сомнения, станция выведена из строя. Как я мог об этом забыть? Поворачиваю выключатель — лампочка не горит...

Часа два я отдыхаю в садике и дома. Ищу следы недавнего пребывания наших близких — какие-нибудь письма, записи, фотографии. Видно, все спрятано или взято с собой... Только теперь я чувствую, что бесконечно устал. Усаживаюсь в кресло в большой комнате и погружаюсь в дремоту. Сумерки, тишина, прохлада, слышно только, как во дворе блеет овца...

Проходит много времени. Я поднимаю голову и вижу знакомое лицо Каролиса Вайраса *... Брат моего тестя, дядя Элизы и Марите... Перед войной я не успел как следует познакомиться с этим человеком. А стоило бы. Увидев меня, он улыбается всем своим худым лицом, идет ко мне с распахнутыми объятиями, и мы крепко обнимаемся — впервые в жизни.

— В городе мне сказали, что кто-то видел Пятраса... А позвонить нельзя...

— Пешком? А как через Неман?

— Как же иначе, если не пешком? Отвыкли мы ездить... А через Неман — просто; у развалин моста Алексотаса его переправил мальчик, дал ему два яблока — и все...

Каролис Вайрас — человек шестидесяти с лишним лет, сухощавый, чисто выбритый, элегантный даже теперь, после всех невзгод оккупации.

— Я только что вернулся из Качергине... Говорили, немцы весь город взорвут. . А — почти цел!

И, довольный, смотрит на меня. Я доволен не меньше его — вот во Фреде целы даже окна домов.

— Правда, электростанция, фабрики взорваны... И наш Дом писателей около электростанции, где перед войной жили Марите с Пятрасом...

Потом он принимается рассказывать об Элизе, Томасе, Андрюкасе, теще... Все должны бы находится в Клангяй, куда они ездили и во время оккупации. И Каролис Вайрас начинает длинную историю о том, как он в первый год войны ходил по вильнюсским учреждениям, пытаясь освободить мою жену, попавшую в тюрьму... Я понимаю, что этот благородный человек тогда не испугался ни охранки, ни гестапо, и испытываю к нему благодарность...

Сегодня я поближе познакомился с этим замечательным человеком, и мне приходит в голову: как часто в одном городе, на одной улице, даже в одном доме живешь с людьми и не знаешь, оттолкнут они тебя в беде или протянут руку помощи тебе и твоим близким... Каролис Вайрас успокаивает меня — фронт скоро продвинется на запад, Клангяй расположена на холме, поодаль от главной дороги, идущей вдоль Немана, мои у хороших людей — он тоже не раз бывал там за эти годы...

К Каролису Вайрасу, бывшему буржуазному дипломату, я раньше относился немного критически. А человек

он интересный, и мне теперь жалко, что я раньше поближе не сошелся с ним... Когда-то, после снятия запрета литовской печати, он работал в редакции одного из первых наших периодических изданий «Лиетувю лайкраштис» («Литовская газета») в Петербурге. Там он познакомился с Майронисом. Потом восемнадцать лет провел в Соединенных Штатах Америки, подружился с Йонасом Шлюпасом *, Микасом Петраускасом * и Владисловасом Дембскисом *, редактировал прогрессивные газеты. Довольно долго работал в Лондоне и Южной Африке, знал Бернарда Шоу, переписывался с Гербертом Уэллсом, видел Голсуорси, ходил на прием к Черчиллю и английскому королю... Все это, без сомнения, интересно, но этот человек дорог и для нашей культуры — он перевел на литовский язык вольтеровского «Кандида» (эту книгу я читал еще в гимназии) и множество других произведений, в первую очередь английских и американских. До войны он занимался журналистикой, кажется без особого успеха, писал какие-то сенсационные книжонки о различных неурядицах в семьях английских королей, — все это давало ему небольшой доход, и жилось ему нелегко. Теперь я увидел, что это мягкий, добрый, но вместе с тем и настойчивый человек, который ничего не испугается, спасая любимых людей от несчастья...

Поговорив с Каролисом Вайрасом, я просто ожил. Он знал, что еще несколько дней тому назад вся семья была жива. Теперь, как только фронт передвинется за Велюону, при первой возможности надо съездить туда и забрать их в Каунас...

Пятраса я так и не увидел. Он носился по городу, и найти его будет не просто. Женщина, покормившая меня, рассказала, что он уже раза два побывал во Фреде с какими-то друзьями, но тут же ушел... Разумней всего было бы нам искать машину и добираться до Клангяй...

На следующее утро я ушел побродить по Каунасу. В городе не было не только машин, но и людей. Лишь постепенно, испуганно озираясь, люди возвращались из ближних и дальних деревень, уже освобожденных Красной Армией. Чувствовалось, что они чего-то боятся. Когда я разговорился с ними начистоту, выяснилось, что пропаганда гитлеровцев и литовских националистов за эти несколько лет сумела даже некоторых интеллигентов убедить в страшных вещах: что монголы (непременно мон-

голы!), придя в Литву, будут расстреливать всех и резать, а если и не убьют, то отрежут уши и носы, повытягивают жилы. Смешно было слушать всю эту чушь, но я заметил, что далеко не всегда удавалось мне убедить своих собеседников.

Я бродил по пустому, неприветливому городу, такому же зеленому и прекрасному в обрамлении лесов, омываемому живописными реками. Встретил профессоров, — первым, кажется, медика Пранаса Мажилиса *, который рассказывал, что его в годы оккупации выгнали из университета и теперь он первым встретил Красную Армию. Свернув с Лайсвес-аллеи мимо гостиницы «Лиетува», я сразу же увидел наш Дом писателей, половина которого обрушилась. Наверху в чьей-то квартире виднелся рояль, в других комнатах стояли столы, кровати, шкафы. Здесь до войны жили Цвирка, Корсакас, Марцинкявичюс, Бинкис, Ева Симонайтите...

Встретил знакомых, вернувшихся из Москвы. Нет, транспорта ни у кого не было! И я, переправившись на пароме на другую сторону Нерис, оказался в Вилиямполе. Остановился у дороги, ведущей вдоль реки в Велюону и дальше, и принялся ждать машину. Прождал несколько часов, но машин все не было. Редкие грузовики поднимались по Жемайтийскому шоссе. В Вилиямполе тоже было пусто. Кто-то сказал, что дальше, слева, гитлеровцы, отступая из Каунаса, уничтожали евреев. Пройдя несколько кварталов, я действительно увидел обгоревшие дома, в подвалах которых все еще лежали трупы недавно убитых людей. В одном из подвалов стоял стол, на нем — большой бронзовый семисвечник и навалившийся на стол мертвый седой старик. Из подвалов несло сладковатым трупным запахом.

Я вернулся в город. Решил проведать брата Пиюса, который жил в конце Жалякальниса, недалеко от клинической больницы. Жалякальнис тоже казался вымершим. Какая-то баба едва волочила узел с одеялами и бельем. Когда я спросил, откуда она это несет, она посмотрела на меня жадными, злобными, чуть испуганными глазами:

— Барин, идите в больницу, оттуда несут, кто только желает...

— Послушайте, разве можно!.. — крикнул я, а баба принялась оправдываться:

— Барин, да вы не подумайте, ей-богу, я честная шпикулянтка... Я за всю войну никакой политикой... Я честная шпикулянтка...

И потащилась со своей ношей дальше.

Какие-то типы взламывали чужие двери, из окон подавали ковры, посуду, стулья, другие грузили все это на тележки. Работали основательно, стараясь кончить свои грязные дела, пока не появилась милиция или солдаты.

Квартира брата была заперта. Незнакомая соседка объяснила, что брат с семьей перед боями уехал в деревню, может быть на родину, и не вернулся. Квартира пока еще не ограблена — кто-то ее стережет.

Я снова вернулся в центр. Солнце было в зените. Окна многих магазинов только что выбили. Незнакомые люди копошились внутри, дети несли в охапках коробки с немецкими надписями — эрзац-мед и стиральный порошок. Зачем они детям? В городе снова встретил Каролиса Вайраса. Оба кое-как переправились через Неман у взорванного моста и пешком по Мариямпольскому шоссе поднялись в гору. У «Майстаса» остановился военный грузовик. Белокурый шофер утомленными, горячечными глазами посмотрел на меня, на мое удостоверение корреспондента «Правды». Сказал, что едет на фронт. Хотя штатских перевозить запрещено, для меня, как корреспондента, и моего спутника сделает исключение. Мы взобрались в кузов, и грузовик тут же свернул на дорогу, которая идет по левому берегу Немана на запад.

Ехали мы довольно быстро. Изредка за деревьями виднелась голубая лента реки, потом шоссе удалялось от Немана, и грузовик с грохотом несся мимо кустов и деревьев. Окрестности здесь тоже почти не пострадали — лишь изредка появлялись сожженные хутора. Но людей нигде не видно — поля пустые, кругом ни души. Далеко на западе гремели орудия — то вроде замолкнут, то зарокочут снова. В Качергине мы переночевали. Утром нашли другую машину, груженную артиллерийскими снарядами. На той стороне Немана показалась Вилькия, высокое городище Серяджюса... За Серяджюсом самолет на бреющем полете пронесся над нами, пустив несколько очередей. Шофер рулил дальше, только выругался:

— Эх, сволочь, метит в нашу машину...

— Не лучше ли остановиться? — спросил я.

— Что вы говорите? Я и так опаздываю: утром надо было быть на месте...

К счастью, ни одна пуля машину не задела, снаряды не взорвались, самолет куда-то исчез... Вдалеке возникла Велюона. Еще не доехав до нее, мы разглядели на берегу лодку и, поблагодарив шофера, сошли, надеясь переправиться на другую сторону Немана.

Грузовик уехал. Мы вдвоем остались на берегу. Можно было столкнуть лодку с берега, но нигде не было весел. Раздумывая, что бы тут предпринять, в крохотной заводи мы увидели качающийся у берега труп. Мертвец был в штатском, он лежал ничком в воде, лица не было видно, и вода омывала длинные темные волосы...

Через полчаса мы увидели мальчика, идущего к нам из дома, стоящего поодаль от берега. Он храбро нес на плечах весла и еще издали кричал нам:

— На тот берег не хотите?

Вскоре мы оказались за Неманом, недалеко от деревни Клангяй. Мальчик сказал, что знает всех жителей Клангяй. Каролис Вайрас всучил ему несколько марок — мальчик сказал нам, что работает не ради денег... В их деревне все в порядке, только людей гораздо меньше, чем до войны... А брат скоро вернется из партизан...

— А если погиб?

— Его друг был у нас, сказал, что жив-здоров, — весело ответил мальчик, доверчиво глядя на меня.

Мы поднимались по проселочной дороге в Клангяй. С каждым шагом росло наше волнение, — казалось, дороге нет конца. Женщина, которую мы встретили на холме, сказала, что хорошо знает моих жену и сына. Они жили у Станюлисов. В деревне боялись, как бы немцы, отступая, не расстреляли всех и не сожгли изб, все сидели во время стрельбы в погребах, но теперь, слава богу, все обошлось... И здесь на западе был слышен гул орудий, — правда, чуть послабее, чем на той стороне Немана... Женщина сказала, что немцы теперь уже не вернутся, и побежала вниз с горы, неотложные дела гнали ее в Серяджюс.

Мы вошли во двор Станюлисов. Старуха встретила нас и сразу узнала меня, хоть ни разу не видела.

— А Юлите (мою жену она почему-то называла Юлите) так ждала, так ждала... Ах, здесь такой офицер был из Каунаса, рассказывал, что вы уже в Вильнюсе... И То-

мукас радовался. Такой смышленый мальчик, бывало читает и читает все книги, какие только найдет в деревне...

Она отвела нас в чистую комнату, где еще недавно жили мои близкие, хотела угостить простоквашей, но я не мог терять ни минуты.

— Уже с утра они ждали со всеми вещами, хотя сколько там этих вещей, боже ты мой... у дороги, внизу... Наверно, взял кто-нибудь в машину, вот и уехали... Куда уехали? Домой, куда же еще?

И старуха поставила передо мной тарелку холодной простокваши и положила кусочек хлеба.

Оставив в деревне Каролиса Вайраса (он искал продукты), я чуть ли не бегом отправился обратно на дорогу. Через несколько минут я увидел, что с запада едет грузовик. Шофер спросил у меня дорогу на Арёгалу. Я объяснил, как мог. Шофер махнул мне, чтобы я забирался в кузов. В кузове я увидел лежащих раненых солдат. Они были обмотаны кровавыми бинтами и тяжело стонали. Найдя свободное местечко, я съежился в углу, и машина по незнакомой дороге стала подниматься в гору, удаляясь от Немана.

Мы долго блуждали по полям и выехали не в самое Арёгалу, а на Жемайтийское шоссе. По-видимому, мы оказались недалеко от фронта. Все громче гремели пушки; вскоре появилось несколько немецких самолетов, они бомбили машины на дороге. Наш шофер свернул в сторону Каунаса. Недалеко от дороги взорвалось несколько бомб, поднимая вверх черные фонтаны торфа. Неужели теперь, когда война идет к концу, когда от гитлеровцев скоро не останется и следа, мне суждено погибнуть от случайной, глупой бомбы? Но машина мчалась на восток, и самолеты исчезли так же неожиданно, как и показались. Мимо летели поля, сожженные усадьбы, на полях торчали подбитые танки — немецкие и советские... Вскоре промелькнул Бабтай. В нескольких километрах от Каунаса грузовик свернул к большой крестьянской усадьбе, у которой висел флаг с красным крестом, и остановился во дворе. Санитары снимали раненых с грузовика и уносили в избу.

Был вечер. Я чувствовал нечеловеческую усталость. Спросил у офицера, не смогу ли здесь переночевать, и он показал мне на гумно. Здесь на соломе спали солдаты, но

я легко нашел место и для себя. Никто не обращал на меня внимания. Я лег на солому одетым и проснулся лишь тогда, когда в щелях стены заалело восходящее солнце...

Утром через Вилиямполе и весь город я вернулся во Фреду. Дорога длинная, но ночной сон, хотя и тревожный, все-таки освежил меня... Я снова приблизился к дому. Открыл дверь, услышал голоса, забытые и волнующе знакомые.

Я вошел в большую комнату и увидел ее — Элизу! Ни она, ни я не могли сказать ни слова. Судорога сдавила горло. По щекам покатились горячие слезы — не знаю, мои или ее... Из кухни прибежал мальчик — высокий, тонкий, голубоглазый. Он удивленно смотрел на меня, словно не понимая, кто это...

— Я всем говорил, что ты в Вильнюсе, — сказал сын. — Но я знал, что ты в Москве...

— Почему же ты так говорил?

— Да ведь немцы, — откровенно, по-взрослому серьезно ответил он.

Вдруг я увидел, что в волосах Элизы протянулась седая прядь... И понял, что она пережила за эти годы.

Появилась теща и заплакала, увидев меня. Эта добрая женщина во время войны страдала и за себя, и за дочерей, и за внуков, и за нас с Пятрасом, за всех. А Пятраса не было — он поспешил в Велюону.

— Мы уже в Клангяй знали, что вы с Пятрасом в Каунасе, — сказала Элиза. — У нас вчера был Йонас Марцинкявичюс... Приехал к своим родным в Серяджюс, нашел жену и нас навестил. Удивительный человек...

(Через несколько дней я встретил в городе Шимкуса, и он передал мне записку Йонаса, в которой тот сообщал, что видел мою и Пятраса семьи. Так тогда из-за перебоев с транспортом и отсутствия телефона на каждом шагу встречалась всякая путаница...)

Я смотрел на жену и сына. Всем своим естеством я понял, что эти люди — огромное счастье, которого для меня не пожалела судьба, так безжалостная к миллионам. Что значит горе нескольких лет, бессонные ночи, если они снова со мной? Свои игрушки показывал мне Андрюкас, сын Пятраса, моложе моего, но бойкий и очень живой мальчик... Томас нес мне книги и драму собственного сочинения, в которой было множество персонажей — верблюды, мыши, вороны, кузнечики и, кроме того, Амун-

дсен. Амундсена он взял из поэмы Боруты, — оказывается, он знал наизусть всю эту поэму, и не только ее... Борута иногда заходил в Фреду...

Жена казалась усталой, бледной, но закаленной пережитыми годами и какой-то посмелевшей. Томас поначалу чуждался меня, потом все больше привыкал и говорил со мной недетским языком, — он ведь раньше срока узнал горький вкус жизни, видел печаль и слезы матери.

Когда вечером мы с Элизой остались вдвоем, я рассказал ей о себе все начистоту, ничего не скрывая. Рассказал о горе, которое пережил, так неожиданно расставшись с ней и с сыном, о военном времени, о тоске по родине и одиночестве, и о женщине, с которой меня свела судьба.

— А я могу поклясться, что чиста перед тобой... — негромко сказала Элиза.

— Верю, — ответил я. — Спасибо тебе... И прости меня, если можешь...

— Я не могу не простить...

Не стану утверждать, что этот разговор, откровенный с обеих сторон и, казалось бы, решающий, сразу распутал трагедию трех людей. Она длилась еще целый год, временами мы все жестоко страдали. Я не хочу об этом рассказывать. Это важно только для нас... И если я все-таки не счел возможным умолчать о ней, то лишь потому, что в книге об эпохе должно найтись место и этой ситуации, которая не сотни, а тысячи раз повторялась с различными людьми. Как она кончалась — зависело от характеров людей, от уровня их морали и от множества других обстоятельств, которые иногда трудно определить словами. Решение восстановить рухнувшую было жизнь — было трудным, долгим и мучительным процессом. Если он, к нашему счастью, удался, я благодарен за это Элизе.

Хватит об этом... Счастье было таким полным, что казалось, его не выдержит человеческое сердце. А война все еще бушевала... Есть было нечего. Одежда износилась. Жить негде. Вернуться ли в старую квартиру в Вильнюсе, с которой связано столько радостных и столько тяжелых воспоминаний, которая ограблена, опустошена, загажена? И где же, наконец, жить — в Вильнюсе или Каунасе? Каунас — город моей юности, полный очарования для меня. Вильнюс — центр государственной и культурной

жизни республики. Пока я остался в Верхней Фреде, в маленькой комнатке. А на западе в тихую погоду глухо рокотали орудия.

РАССКАЗ ЭЛИЗЫ

Много дней мы с Элизой делились своими переживаниями за эти годы. Рассказы были беспорядочные, как попало. Из памяти выплывал то один, то другой эпизод, случай, картина. И это разорванное повествование становилось все ярче, все тяжелей, но оно было освещено счастьем последних дней, как солнцем. Здесь я хотя бы коротко перескажу то, о чем мне поведала Элиза.

— Ты помнишь, мы собирались недельки две отдохнуть у Крутулисов в деревне Ерузале? Знакомые хвалили этих добрых и культурных людей, а место было спокойное — кругом зеленые поля, хлеба, луга, живописные перелески. Когда мы с Галиной и детьми оказались там, мы нашли у них немало людей из Вильнюса. С каждым часом они все прибывали. Были Булавасы, Юозас Юргинис *, Антанас Рукас *, актриса Кубертавичюте *, актер (а позднее писатель) Антанас Шкема *. Был и Балис Сруога с семьей, — он задумчиво сидел за домом на пригорке, один, ни с кем не разговаривал... Хозяин дома уступил нам, женщинам, кровати, сколько их было в доме, а мужчины уходили спать, кажется, на сено. Милый Антанас Крутулис сказал, что из продуктов у него есть только картошка и он отдает ее в наше распоряжение... Конечно, ее хватило ненадолго.

В Вильнюсе уже были немцы. Издали город казался спокойным, никто не бомбил его. Однажды утром я отправилась пешком в Вильнюс, надеясь купить что-то на базаре. День был жаркий, дорога пыльная. Ехали немецкие грузовики и мотоциклы. Солдаты ухмылялись, заговаривали со мной и другими женщинами. Обочины были усеяны обертками из-под шоколада и апельсиновыми корками... Вот бы раздобыть два апельсина для детей... Но все это, разумеется, не для нас...

Пыльная, потная и усталая, я добралась до Вильнюса и купила кое-что на рынке на Лукишкской площади. Вернулась обратно. Вскоре продукты снова кончились. Оставив Томаса с малознакомой няней из Каунаса, я снова направилась в город. Не выдержала и заглянула в

нашу квартиру. Ключ у меня был, и я кое-что оттуда забрала.

Поначалу все казалось спокойным. Но в следующий раз, когда я решила зайти домой, квартира уже была запломбирована. Я отправилась за угол, в управление домами. Здесь меня, по-видимому, уже ждали. Вооруженные люди погнали меня в квартиру и принялись делать обыск. Это были литовцы-белоповязочники. Один из них держал наготове револьвер; другие двое, в длинных сапогах, были похожи на простых крестьян, как я поняла, они были из-под Вилькии. Наконец самый молодой из них сказал:

«Вы не помните меня? В тот день, когда началась война, мы плавали в Тракай в одной лодке. . . Я студент, медик. . .»

Правда, его лицо показалось мне знакомым. Когда обыск был закончен, студент сказал:

«Теперь вы пойдете со мной. . .»

Мы вышли из квартиры. Куда он меня ведет? Что будет с сыном? Где ты? Я оказалась на улице св. Иоанна. Там разместилась литовская охранка.

Какой-то начальник долго рассматривал мои документы. Прочитав, что моего отца зовут Мельхиорасом, он поднял на меня глаза:

«Еврейка?»

«Нет», — ответила я, хорошо еще не понимая, чем грозит такое подозрение.

«Но Мельхиор — еврейское имя».

«Совсем нет. Мельхиор — это Меркелис. А Меркелисом был и епископ Гедрайтис *. . .»

Начальник вряд ли поверил мне. Он принялся расспрашивать о том, где ты. Скрывать мне было нечего, я рассказала, как мы провели первый день войны, как нас, женщин, вместе с детьми увезли от бомбежек за город. . . Находившийся в комнате студент подтвердил, что во всяком случае о том, что ему известно, — о нашем пребывании в Тракай, — я говорю правду. Закончив допрос, начальник вызвал вооруженного белоповязочника и приказал меня увести. Меня заперли в темной, грязной, вонючей одиночке. До той минуты мне еще казалось, что все скоро кончится, что я никому не сделала ничего плохого и меня выпустят. Увы, я оказалась под арестом, и никто из моих близких не знал, где я нахожусь.

Лишь несколько раз в день открывалась дверь и вооруженный человек вносил бурду, именуемую кофе, или прокисшие щи и крохотный кусочек хлеба. Так миновало несколько дней. Однажды в камеру вошел какой-то юноша, похожий на студента, и подал мне табак и бумагу.

«Кури, — сказал он. — Будет лучше».

Потом спросил:

«Скажи, где ребенок? Его адрес?»

Я сказала.

И дверь снова закрылась.

Теперь я поняла, что домой могу и не вернуться.

Ночью, едва забрезжил рассвет, проснувшись, я услышала во дворе гомон и крики толпы. Разбудили и меня и велели одеться. Когда меня вывели во двор, я увидела сотни две арестантов. В основном евреи — мужчины, женщины. Все волновались, женщины стонали. Какой-то сотрудник Наркомата просвещения, уже успевший зарости щетиной, узнал меня и сказал:

«Видно, погонят людей на расстрел... И вы здесь, среди евреев?»

Я не успела ничего ответить. Часовой ударил прикладом винтовки его и меня и разделил нас. Некоторое время спустя я услышала, как выкликают мою фамилию. Я снова оказалась у начальника.

Войдя в кабинет, я заметила, что на месте начальника уже другой человек. Я повторила то же самое, что уже рассказывала предыдущему. Он снова долго изучал мой паспорт и расспрашивал, не еврейка ли я. Интересовался, кто из находящихся на воле видных людей знает меня и может свидетельствовать о моей национальности. Я перечислила несколько человек. Вернулась в камеру.

Шума на дворе уже не было слышно. Людей увели. В другую тюрьму или на смерть — я не знала...

Несколько дней спустя мне снова велели одеться и вывели во двор. Там составили целую группу и погнали нас сперва по главной улице, потом через Лукишкскую площадь... Куда? Шедшая рядом женщина, назвавшаяся Буткене, сказала, что нас ведут в Лукишкскую тюрьму. Так и было. Мы оказались в этом мрачном здании, в большой камере, где уже сидели несколько уголовниц.

Пища была отвратительной, у многих начался понос. В углу камеры стояла параша. Уголовницы искали друг

у дружки в голове вшей и тут же давили их. К счастью, на следующий день их перевели в другую камеру.

Меня допрашивали почти каждую ночь. Посреди ночи будили и вели в комнату, где сидели угрюмые, невыспавшиеся и злые мужчины с винтовками. Повторялись одни и те же вопросы, главным из которых был — где ты. По-видимому, следователи надеялись от меня, измученной тюремной духотой, голодом, бессонницей, получить то, о чем я сама не знала... Я все время отвечала то же, что говорила прежде. Меня снова возвращали в камеру.

Со мной было около пятнадцати женщин. Одни стонали и охали, другие мрачно молчали. Некоторые рассказывали всем свои истории, другие были сдержаннее, — по-видимому, опасались провокаторов. Когда надзиратель открыл камеру и спросил, кто пойдет чистить отхожие места, вызвалась я, потому что выполнять эту работу показалось мне куда лучше, чем сидеть в камере и слушать нескончаемые стоны. Приходилось и полы мыть в кабинетах начальников. Они сидели в начищенных сапогах, пускали вонючий дым и, глядя, как исхудалая, слабая женщина моет пол, ухмылялись:

«Мой, мой, чтоб было чисто... Ползай у наших ног, большевичка...»

Не буду говорить о том, что я перечувствовала, видя тупые лица этих «патриотов»...

Можно было привыкнуть ко всему — к отвратительной пище, к грязной камере, к вони, к женским стонам. Хуже всего было, что я ничего не знала ни о сыне, ни о тебе. Удалось ли тебе уйти из Вильнюса? Может, и тебя где-нибудь допрашивают? Может, ты погиб от вражеской пули или случайной бомбы? Узнает ли кто-нибудь, где я и где ребенок?.. Эти мысли особенно донимали ночью, когда камера затихала, а я лежала, не могла заснуть от духоты и открытыми глазами смотрела в темноту...

Шли дни, как обычно в тюрьме, похожие один на другой. Я чувствовала себя несчастной, обессиленной. Но я старалась не поддаваться мрачным настроениям, знала, что хуже всего здесь потерять надежду...

Не знаю, сколько прошло времени, пока нас не перевели в другую тюрьму, — кажется, недалеко от железнодорожного вокзала, на улице Панерю. Здесь камера в деревянном бараке была теснее и товарок тоже было меньше. Я не могу забыть Алдону Казанавичене, которую

знала еще до войны. Эта революционно настроенная женщина, повидавшая всякого на своем веку, и теперь держалась мужественно, не стонала и не жаловалась. Собираясь долго сидеть в тюрьме, она, прибыв в нашу камеру, хоть было лето, выбрала место у печки (она уже готовилась к зиме). Каждое утро делала зарядку. Со мной и другими женщинами она держалась запросто, как могла утешала и успокаивала нас...

Однажды появились какие-то немцы в военной форме. Их спутники, литовцы, показывая на меня, на ломаном немецком языке затвердили: «Комиссарфрау», — по-видимому, ждали указаний. Но старший по чину немец, скорей всего, как следует их не понял, махнул рукой и прошел мимо.

Со дня ареста прошло полтора месяца. Никаких вестей с воли... Меня мучила тревога за близких, за их будущее. Что будет со всеми нами? В камеру просачивались слухи, что немало евреев уже расстреляно, что погибли адвокат Булота с женой... Может, расстреляют и нас, и никто даже не узнает, где покоятся наши кости. Мысли были жуткие, все труднее становилось отгонять их...

И вот однажды надзиратель, открыв дверь, вызывает меня в канцелярию. Не зная, что ждет меня — смерть или жизнь, я снова оказалась в кабинете начальника. Здесь мне отдали сумочку, — не хватало нескольких дорогих вещиц, подаренных мамой и тобой. Но я ничего не сказала... Мне было все равно. Начальник подал мне бумагу, где я подписалась, что осведомлена о своей передаче под надзор Каунасского отдела безопасности. Я вышла на улицу и у дверей тюрьмы увидела дорогие лица — матери и дяди Каролиса Вайраса... Мы бросились друг к другу в объятия.

«Где Томас?» — спросила я.

«Томас жив. В Каунасе», — ответили мать и Каролис одновременно.

Я едва держалась на ногах. Увидев где-то себя в зеркале, заметила, что через всю голову протянулась прядь седых волос.

От матери и дяди Каролиса я узнала все о Томасе. Потом их рассказ дополнила наша добрая знакомая Эляна Яугялене.

В те дни, когда мы еще жили у Антанаса Крутулиса,

словно предчувствуя недоброе, я рассказала Галине Корсакене, что в Вильнюсе, недалеко от вокзала, живет семья наших старых знакомых Яугялисов. Яугялис был фельдшером на вокзале. Когда меня арестовали и я не вернулась в Ерузале, Галина пешком сходила в Вильнюс, отыскала их квартиру и сообщила, что ребенок остался без матери. Дома находился только Яугялис, который с Галиной не был знаком. По-видимому, он побоялся провокации и сказал, что ничего об этом не знает и знать не хочет.

Тогда няня решила отвезти Томаса в город. Он попал к Блинструбасам, которые жили в нашем доме. Инженер Блинструбас и его жена заботливо приютили перепуганного Томаса. Вернувшись домой и услышав от мужа, что случилось, Яугялене решила мне помочь. Взяв извозчика, она подъехала к дому, в котором мы жили. Теперь нашу квартиру уже заняли немецкие офицеры, и наша няня уже служила у них. Она и открыла дверь (немцев не было дома). Яугялене быстро сориентировалась, сказала, что она моя тетя, отобрала у няни присвоенную одежду, еще взяла из квартиры, сколько успела, моих вещей, сложила в извозчичью пролетку и, взяв Томаса, повезла к себе. С оказией дала знать моей матери в Каунас. Та вместе с Каролисом Вайрасом с большим трудом добралась до Вильнюса (устроиться даже на товарный поезд стало проблемой, а других средств передвижения не было). Так Томас путешествовал от одних добрых людей к другим, как, кстати, многие дети в эти дни, и наконец очутился в Каунасе, в семье Каролиса Вайраса. А Каролис отправился в охранку, искал меня там. Мама ждала на улице, она боялась, что Каролиса могут задержать и не выпустить. После долгих бесед и доказательств Каролису удалось получить разрешение взять меня из тюрьмы. По-видимому, свою роль сыграло и то, что первый пыл литовских националистов, когда они безоглядно ловили и расстреливали своих врагов, уже прошел и они успели несколько разочароваться в своих «освободителях» немцах, которых они так ждали...

Мы вернулись в Каунас. Путешествие было тяжелым. Яугялис, работавший на железной дороге, помог нам сесть в товарный поезд.

Надо ли рассказывать, какой радостью было снова увидеть в Каунасе, в квартире дяди, сына? Ребенок был

перепуган непонятными событиями и незнакомыми людьми. С мамой и сыном я вернулась во Фреду, где росла, где пережила столько счастливых дней. Здесь, обрадовавшись, с криком: «Мама!» — бросился ко мне и Андрюкас Цвирка.

Жизнь в отчем доме была тревожной. Не раз заходили знакомые и почти незнакомые люди и сообщали, что намечена облава для увоза в Германию или поиски партизан и что мне лучше не ночевать дома. Сколько раз в сумерках я спешила спрятаться здесь же, неподалеку, у доброй женщины Анеле Куприявичене! Иногда я уходила в город к дяде (там, правда, было опаснее), к знакомым Тарасявикюсам и другим добрым людям. О грозящей опасности частенько сообщал мне изможденный полицейский, живший в конце Фреды. Он, без всякого сомнения, сочувствовал нам, преследуемым людям. Однажды сообщил мне об опасности сосед, профессор Стяпонас Колупайла *. Вся жизнь в оккупированном Каунасе — это страх за судьбу детей и свою собственную...

Огромной радостью было узнать, что ты жив. Как-то вечером в наш дом во Фреде зашла жена Стяпонаса Кайриса * (позднее — эмигранта и врага Советской Литвы), которая сказала, что слышала тебя по московскому радио. Ты читал посвященные сыну стихи «Дубок», которые взволновали ее. Наша старая знакомая Генюшене, которую в первый день войны ранили в нашем доме, тоже тайно слушала Москву и однажды сообщила мне, что ты уехал на фронт военным корреспондентом. У нас приемника не было. Война продолжалась, но я была счастлива — у меня был сын, и я знала, что ты на свободе, живой, тоскуешь о нас.

Я боялась выходить из дому. Время от времени одна знакомая баба звонила мне по телефону, коверкая язык, говорила нарочно с еврейским акцентом, всячески поносила меня и пугала. Когда я выходила на улицу, я слышала, как наши «патриотки» кричат:

«Смотрите, она еще тут шляется, эта большевичка! .. Расстрелять ее! ..»

В такой атмосфере мне пришлось жить все эти годы.

Кроме жестоких и подлых людей я встречала тогда и удивительно добрых, которые помогали мне, укрывали в минуту опасности, не боясь ни литовской охранки, ни немецкого гестапо. Их я не забуду, пока жива.

Я вернулась в Каунас, и меня начала беспокоить судьба твоей библиотеки. Казис Борута, приехавший из Вильнюса в Каунас, тоже посоветовал мне спасать ее. Я вспомнила замечательное собрание, которое ты накапливал многие годы, вспомнила, как ты любил книги. В нашей квартире жили немецкие офицеры авиации. Борута рассказывал, что они топят книгами печки и швыряют их из окон на улицу. Я решила сделать все для спасения библиотеки, тем более что в квартире, знала я, остался твой большой архив — рукописи, письма, фотографии. Я поехала в Вильнюс и, встретив Юозаса Юргиниса, вместе с ним отправилась в свою квартиру. Дверь открыл элегантный немецкий офицер. В прихожую он впустил только меня. Когда я сказала, зачем пришла, он очень удивился. Он заявил, что знает, что я сидела в тюрьме. Лучше, мол, побыстрей мне отсюда убираться и никогда больше не возвращаться, так как он может пристрелить меня, как собаку, и за это он не будет отвечать. (Няни в квартире уже не было. Заметив, что она беременна, немцы выгнали ее. Она вернулась в родную деревню и, как я слышала, еще во время войны умерла.)

Я вышла из квартиры, которая мне больше не принадлежала. Мне не принадлежало ничего, что было в ней, только счастливые и мучительные воспоминания. Все-таки, посоветовавшись с Юргинисом, я пошла на улицу Тауро, в дом, где жили Сруога, Креве, Миколас Биржишка *. Я решила зайти к бывшему своему профессору, ректору Вильнюсского университета Миколасу Биржишке — вдруг он поможет спасти библиотеку, взяв ее хотя бы для университета. Дверь открыла Броне Биржишкене. Узнав, по какому делу я пришла, она крикнула:

«Прошу уйти и больше сюда не показываться! Мой муж сам знает, что ему надо делать!»

Я поднялась по лестнице выше этажом, где жил зять Биржишки Жакявичюс *. Принялась рассказывать ему о библиотеке и просить, чтобы он позаботился о передаче ее университету. (Тогда я ничего или почти ничего не знала о его преступной деятельности в начале войны.) Жакявичюс холодно и грубо отрезал:

«Знаю, знаю! Вы сидели в тюрьме! А как поступить с библиотекой — наше дело!»

И захлопнул дверь.

На углу улиц Тауро и Уосто я увидела своего профес-

сора Креве-Мицкявичюса с женой. Профессор узнал меня, остановился, подал руку, поздоровалась и его жена. Кажется, им было приятно меня встретить. Расспрашивали, как я живу; они уже слышали о моих злоключениях. Когда я сказала, что только что ходила к Миколасу Биржишке и Жакявичюсу, Креве с печальной улыбкой сказал:

«Не надо, не надо... Не надо к ним ходить. Ничем они вам не помогут... Живете в Каунасе? Вот и хорошо... А к ним не ходите. Ничего путного из этого не получится...»

Короткая беседа с этими добрыми людьми меня как бы приободрила...

Представители охранки не раз делали обыск в нашем доме во Фреде, якобы искали партизан. Однажды наш знакомый из-под Велюоны, Челконас, поставил во дворе лошадей, а сам ночевал у нас. Утром, когда гость уже успел уехать, снова пришли сотрудники охранки. Обнюхав все углы, они решили забраться во дворе на чердак сарая — не прячутся ли там партизаны. Из предосторожности они гнали впереди себя по лестнице меня, выставив револьвер, — если партизаны будут стрелять, попадут вначале в меня... Никого не обнаружив, все-таки составили протокол. Только вместо «Челконаса» пытались записать «Челкова», может собираясь нас обвинить в укрывательстве русского военнопленного. С большим трудом мне удалось заставить их переписать фамилию.

Я жила в постоянном страхе и решила уехать из города в деревню. Взяв обоих детей, на телеге добралась до Клангяй, родины Пятраса Цвирки. В избушке проживало много людей. Еще были живы мать и отчим Пятраса, а также взрослые дети — Юлюс, Бене, Забеле, Йонас. Сестра Пятраса Аницета вышла за Казиса Микелькявичюса, жившего по соседству. Там было просторнее, и я с детьми перебралась к ним. Вся эта семья встретила нас очень радушно. Мы получили отдельную чистую каморку. Молока было вдоволь. Микелькявичюс полюбил обоих мальчиков, часто беседовал с ними, философствовал, а меня вся семья уважала и любила. Непривычная к деревенской жизни, я сразу почувствовала себя как дома. Я знала, что здесь, далеко от немцев, могу жить спокойнее, хотя по деревням бродил какой-то Ставскис, которого все вокруг избегали как немецкого холуя.

Пожив месяц-другой в деревне, я, если по Неману ходили пароходы, возвращалась в Каунас. В Каунасе все труднее было с едой. Но тут на помощь пришли твои родные, особенно сестра Забеле Черникене. Она часто присылала нам из Виштитиса продукты. Как-то мы даже сами решили съездить туда. Мы пожили в твоем родном доме, проведали твою сестру Кастанцию в деревне Рекетия и задержались у Забеле, над озером Виштитис. Твоя мама баловала нас, как могла. Все жалели нас, говорили о тебе, строили догадки, суждено ли им тебя еще когда-нибудь увидеть...

Так тянулись годы оккупации. Долгое время мы слышали о необыкновенных успехах немцев на фронтах, но их поражение под Москвой показало, что не все их слова соответствуют истине. Оккупанты начали собирать теплые вещи для солдат. Некоторые дамочки из Фреды, жены бывших сметоновских офицеров, тащили немцам дорогие шубы своих мужей. Те, кто победнее, должны были жертвовать чулки, перчатки или хотя бы шапку. После Сталинграда немцы совсем повесили носы, — стало ясно, что до победы далеко... Но на вокзале люди все же видели зимой вагоны, набитые замерзшими русскими военнопленными. Во Фреде находился лагерь военнопленных. Всех потрясло известие, что немцы застрелили соседского парня Тамошюнаса, который протянул кочан капусты изголодавшимся пленным. Даже те, кто всегда старался держаться подальше от политики, все яснее видели звериный характер германского фашизма. Преследование евреев и массовые убийства вызывали все большее возмущение.

Не только немцы, но и их холуи чувствовали себя все более беспокойно. Много было разговоров о союзниках СССР, сопротивлении гитлеровцам в различных оккупированных странах; фронт все приближался к Литве. Немало убийц, а вместе с ними и ни в чем не провинившихся, запуганных людей собирались удирать на Запад...

Я не могу не вспомнить добрым словом Казиса Боруту, который несколько раз заходил к нам, подолгу разговаривал со мной и играл с детьми, очень радовался, когда Томас читал ему его стихи. Он успокаивал меня и утешал, и его доброты, человечности я не забуду никогда. К нам захаживал и бывший директор «Сакаласа» Антанас Кнюкшта. Он особенно жалел Андрюкаса, носил для него

подарки, предлагал денежную помощь, говоря, что рассчитается с Пятрасом, когда тот вернется в освобожденную Литву.

Очень тепло поздоровался со мной Альбинас Жукаускас, с которым я встретилась на улице. Он сказал, жалеет, что в начале войны не успел уйти из Литвы... В самом конце оккупации во Фреде побывали Алексис Хургинас* и Генрикас Радаускас*. Это все люди, которые, кажется, желали нам только добра...

Фронт приближался к Литве, и стали появляться различные слухи. Одни говорили, что немцы где-то у Даугавы построили такие укрепления, что их не осилит советское оружие. Другие твердили, что могущество немцев сломлено и что они без оглядки удирают на Запад. Немецкие прислужники через газеты и устно разглагольствовали, что Красная Армия, в которой служат почти одни монголы, будет резать всех подряд, в первую очередь детей. Испугавшись уличных боев в Каунасе, я снова уехала в деревню. В последнее время я перебралась в Клангяй, к Казису Станюлису, положительному, мягкому, советски настроенному человеку. С приближением фронта он просто ожил. Немецкой пропаганде не верил. У своего дома долго строил прочное убежище, в котором мы могли бы спрятаться, если бы начались бои вокруг — я с детьми и он со своей старой матерью. Взяв у кого-то лодку, из Каунаса спустились по Неману мои мама и отец (пароходы по Неману уже не ходили). Разнеслись слухи, что Каунас заминирован, и как только в него войдет Красная Армия, все взлетит в воздух. Но здесь, в глухой деревне, на опушке леса, далеко от большака, идущего по берегу Немана, под опекой Станюлиса, мы чувствовали себя в безопасности.

На востоке горел Серяджюс. Вдалеке была слышна перестрелка, но трудно понять, в какой стороне. В полях за деревней упало несколько снарядов, но вреда никому не причинили. И вот однажды в деревне появился красноармеец на коне. Он спросил у моей мамы, вылезшей из убежища, когда здесь были немцы. Она ответила, что вчера, требовали бежать на Запад вместе с ними. «Не такой я дурак, чтоб с немцами бежать», — сказал тогда Станюлис и не подумал трогаться с места.

Потом появились несколько красноармейцев с миноискателями. Как всадник, так и саперы вели себя с людь-

ми очень вежливо, ничего не требовали и никому не угрожали. Один из саперов оказался украинцем и тут же подружился с моей мамой, которая выросла на Украине. Фронт совсем незаметно для нас откатился на запад, в сторону Юрбаркаса...

Через день-другой мы увидели лошадку, запряженную в телегу. В телеге сидел Йонас Марцинкявичюс в военной форме, а рядом с ним жена Марите и десятилетний сын... Это были наши старые добрые знакомые. Йонас, сейчас, кажется, корреспондент, прибыл в освобожденный Каунас и тут же выбрался в Серяджюс на поиски семьи. Узнав, что в Клангяй живу и я, он приехал проведать меня. Мы все радовались. Йонас с мужиками из Клангяй опрокинул несколько рюмочек и рассказал, что вы с Пятрасом живы, уже находитесь в Вильнюсе...

Мы рвались домой. Станюлис помог сложить в телегу вещи и привез нас к Неману, к большаку. В сторону Каунаса ехали военные грузовики. Мы упросили взять нас. Через Бабтай мы попали в Каунас, оказались у взорванного железнодорожного вокзала. Ужас нескольких лет, бессонные ночи, тоска, горе подходили к концу... В пустом Каунасе мы первым увидели Пятраса Цвирку, который, не заметив нас, на военной машине промчался мимо. Он не расслышал наших криков... Как мы узнали позднее, он уехал в Клангяй искать нас.

В ВЕРХНЕЙ ФРЕДЕ

Мы снова жили во Фреде, в доме, где провели столько счастливых дней... Правда, не все. Жена Пятраса Мария все еще находилась в Москве, а Меркелис Рачкаускас — в Клангяй. Война продолжалась, и можно было ждать любых неожиданностей, хотя и того, что мы уже успели пережить, казалось, больше чем достаточно...

Сидя на солнечной террасе дома, гуляя с детьми в саду, проводя вечера при свете керосиновой лампы, мы рассказывали о пережитом и каждый раз вспоминали все новые эпизоды суровых дней, которые уже миновали... И Пятраса, и меня необычайно радовали дети. Пятрас удивлялся бойкости своего сына, его рисункам, а мой декламировал мне стихи, в основном Боруты. Оба мальчика неплохо разбирались в войне и технике. Пятрас на ходу выдумывал детям сказки, которые они слушали с рази-

нутым ртом. Как-то он в шутку заключил пари с семилетним Томасом, что тот пешком дойдет до Вилиямполе и вернется. Мы даже не заметили, как мальчик исчез из Фреды. Его удалось поймать где-то в Алексотасе, далеко от Фреды: он был очень недоволен, что ему не разрешают выиграть пари...

Но во Фреде мы бывали недолго. Надо было думать о еде, о жилье, об одежде. Поэтому бо́льшую часть времени проводили в городе, очень часто на попутных машинах добирались до Вильнюса.

Город, который поначалу казался вымершим, понемногу менялся. Мы встретили некоторых актеров. Как я уже упоминал, из Вильнюса в Каунас перебралась и обосновалась на углу улиц Донелайтиса и Мицкевича редакция газеты «Тарибу Лиетува». Эту газету редактировал старый наш друг Йонас Шимкус, и редакция сразу же стала местом, куда мы заглядывали каждый день, чтобы послушать новости, встретиться с знакомыми и новыми сотрудниками газеты. Пороги здесь обивали не только друзья, но и враги. Я помню, как-то, когда в редакционной комнате сидели Марцинкявичюс и Цвирка, зашел бывший сотрудник фашистской оккупационной прессы и протянул панибратски руку. Руки ему никто не подал. Тогда он начал выражать свое недовольство какими-то неполадками в магазинах и тем, что в городе нельзя разменять крупные советские купюры на деньги помельче, — мол, нет даже копеек, чтобы купить газету. Марцинкявичюс, не выдержав, предложил непрошеному гостю убираться, и тот, не солоно хлебавши, ушел... В редакцию приходили люди, владеющие пером; они писали о зверствах гитлеровцев в Каунасе, приносили проекты того, как наладить разрушенное городское хозяйство — пекарни, столовые, магазины.

«Тарибу Лиетува» каждый день приносила добрые вести — что под Биржай гитлеровцам нанесен новый удар, что в освобожденном Укмерге начались восстановительные работы. Появлялись сообщения из освобожденного Шяуляй. Мы знали, что там сражается Литовская дивизия, в которой у нас столько друзей и знакомых. «Тиеса» и «Тарибу Лиетува» публиковали стихи, рассказы, статьи — Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Пятраса Цвирки и других советских писателей. Писатели, активно работав-

шие в эвакуации, и сейчас составили основной актив сотрудников печати в освобожденной Литве.

Мы ходили по городу и видели, как с каждым днем с домов исчезают немецкие вывески — Deutsches Kaufhaus, Deutsche Apotheke, Gaststätte, Deutsche Bierstuben, Deutsche Schneiderei [1]... Казалось, Каунас недавно был превращен в чисто немецкий город: немцы называли его даже не Каунасом, а Кауэн, серьезно доказывали, что он построен ими и испокон веков был германским городом... На Лайсвес-аллее и других улицах витрины были разбиты, магазины опустели. Горком партии и горисполком начали кое-где открывать полупустые магазины. Вошел в силу приказ о свободной торговле — оборотистые каунасцы открывали крохотные закусочные, даже лавочки с пирожными и конфетами. Все больше людей было на рынках, — одни предлагали купить залежалые отрезы, башмаки на деревянной подошве, поношенные брюки и пиджаки, другие покупали. Цены были необычайно высокими.

При встречах с людьми открывалась все более ужасная картина зверств гитлеровцев в Литве. При помощи своих холуев во время войны они расстреляли сотни тысяч человек, которые в 1940—1941 годах поддерживали советскую власть и не успели эвакуироваться. Это были наши рабочие, крестьяне, — всех убивали вооруженные белоповязочники. Убивали и евреев. Казнь проводилась самыми ужасными способами, — нередко в землю закапывались живьем взрослые мужчины, женщины и даже дети. В городах — в Каунасе и Вильнюсе — теперь очень редко можно было встретить человека еврейской национальности. Большая часть их была истреблена в Вилиямполе, на каунасских фортах, особенно в Девятом, в Панеряй под Вильнюсом, некоторых вывезли из Литвы. Газеты уже писали о деревне Пирчюпис в Вильнюсском крае, где гитлеровцы сожгли всех жителей — сто девятнадцать человек.

Народное хозяйство Литвы было разграблено. Мало осталось скота. Хлеб, молоко, мясо превратились в проблему, — все это можно было получить только с большим трудом, по высоким ценам. Органы власти занялись рас-

---

[1] Немецкий магазин, немецкая аптека, гостиница, немецкая пивная, немецкая портняжная... *(нем.)*

пределением продуктов, ввели карточки, которые, кстати, были здесь на протяжении всей войны. Помню, какая у нас была радость, когда нам с Пятрасом в каком-то каунасском магазине удалось раздобыть по два фунта смальца.

Находясь по ту сторону фронта, мы представляли себе, что вся Литва сопротивляется оккупантам и ждет не дождется освобождения. Как-то не хотелось верить и думать, что в Литве остались люди самых разных убеждений. Одни действительно оказывали активное или пассивное сопротивление нацистам. В различных местностях Литвы действовали партизанские отряды, которыми руководила Коммунистическая партия. Им помогала значительная часть населения, не побоявшаяся террора немцев и литовской охранки. Но другая часть нейтрально относилась к немцам, а третья сотрудничала с ними и грабила собственный народ. Это различные политиканы бывшей буржуазной Литвы, крупные собственники, которые куда выше свободы Литвы ставили свое имущество, сотрудники охранки, бывшие полицейские чины, часть офицеров, шаулисы и прочие. Вместе с немцами эти элементы (в их руках во время оккупации оказались печать и радио) вели самую лживую пропаганду против Советского Союза, его правительства, политики и союзников... День изо дня населению Литвы лгали о Красной Армии, которая поначалу-де была разбита наголову, потом каким-то образом очухалась и вот-вот придет и истребит все население. Поэтому многие ни в чем не повинные люди, не причастные к кровавым злодеяниям гитлеровцев и литовских националистов, с приближением Красной Армии к Литве вместе с настоящими преступниками, которых ждал суд, без оглядки бежали на запад. А гитлеровская пропаганда ошеломляла своим полным игнорированием законов морали и логики.

Одним из первых я встретил в Каунасе видного переводчика Пранаса Повилайтиса *, который еще до войны перевел на литовский язык «Анну Каренину» Толстого, «Идиота» Достоевского, «Книгу Сан-Микеле» Акселя Мунте и другие значительные произведения. Приехав по делам в Каунас со станции Юре, где он жил во время войны, он рассказал мне и Цвирке характерный прием гитлеровской пропаганды.

— В первые дни войны, — рассказывал Повилай-

тис, — когда появились немцы, разнесся слух, что кто-то у нас по соседству, в ограде костела, застрелил местного ксендза. Когда все затихло, я подошел к костелу и действительно увидел там убитого. Кто виноват, не было ясно, — ксендз мог быть и жертвой случайной пули немца или литовца-белоповязочника. Он лежал на земле, и, наверно, на следующий день прихожане похоронили его. И как я удивился, увидев несколько дней спустя в литовской газете снимок этого ксендза и пространное описание того, как его жестоким образом убили отступающие большевики. Кстати, когда его застрелили, никаких большевиков вокруг давно не было. В довершение всего лицо ксендза в газете было страшно изуродовано (а я видел его у костела с неповрежденным лицом). Не знаю, то ли его так «разукрасили» перед тем, как сфотографировать, то ли специально обработали клише. Все равно это была мерзкая ложь. Я сразу понял методы гитлеровской пропаганды, поэтому и впоследствии мало верил в «жестокости» большевиков, о которых писали газеты... Запершись в своей комнате, я на протяжении всей оккупации переводил на литовский язык «Тихий Дон» Шолохова. Я знал, что раньше или позже его напечатают. Сейчас услышал, что в Каунасе снова создано Государственное издательство. И вот погрузил рукопись в чемодан и привез ее сюда...

Обрадованные встречей с человеком, который без всяких деклараций шел с нами, мы с Цвиркой сами отвели Повилайтиса в Государственное издательство. Там с удивлением листали огромную рукопись. Вот настоящий советский человек, который нам сейчас так нужен!

А таких людей было немало. Учителя, не дожидаясь призывов и просьб, сами собирались в пустые школы, приводили в порядок инвентарь, готовились к новому учебному году. Инженеры приходили в горком партии и горисполком, предлагая свои услуги в восстановлении разрушенного энергетического хозяйства (некоторое время спустя был получен энергопоезд, который начал давать немного энергии для Каунаса), взорванных промышленных предприятий, мостов... Трудное положение сложилось с книгами. Из Москвы вернулась часть работников издательства во главе с Игнасом Гашкой. Оказалось, что книг почти нет. Изданные до войны были давно раскуплены. Книги Цвирки, Нерис, Марцинкявичюса, Гиры,

Корсакаса, Жилёниса и других литовские фашисты изъяли из библиотек и книжных лавок и, следуя своим наставникам гитлеровцам, уничтожили. В Каунасе действовали несколько книжных магазинов, где можно было найти букинистические книги — их приносили владельцы или новые хозяева квартир... (Позднее у букинистов я находил и книги из своей довоенной библиотеки.) Надо было как можно скорее организовать широкое издание оригинальных и переводных книг — художественной литературы, журналов, учебников, политической литературы...

Но типографии были разграблены гитлеровцами — вывезены лучшие шрифты, машины выведены из строя, отдельные части растащены или спрятаны. Типографские рабочие ушли на другие предприятия, которые обещали им хлеб и заработок.

Лишь постепенно в издательство начали приходить авторы, переводчики, редакторы, корректоры. Я тоже, встретив несколько интеллигентов, ходивших по Каунасу без работы, послал их в издательство, где они в тот же день приступили к работе и плодотворно трудились не один год...

Все больше друзей возвращалось из оккупированной части Литвы, которую постепенно освобождала Красная Армия. Каждому новому человеку мы были рады: семья литовских писателей увеличивалась, а задачи были очень уж большие...

Часто я теперь бывал в Вильнюсе. Все еще не знал, где мне окончательно обосноваться. В старую квартиру возвращаться не хотелось — слишком уж много было связано с ней переживаний. Отыскав свободную квартиру на улице Тауро, я перевез туда остатки мебели из старой квартиры. Увы, потолок здесь был пробит снарядом. Добрый месяц я искал мастеров, которые бы могли заделать дыру. Мастера охотно брали у меня деньги, я угощал их, если удавалось достать, водкой, они все ходили и ходили ко мне, все говорили и говорили о ремонте, о материалах, рабочей силе, даже принесли стремянку, а дыра в потолке зияла по-прежнему... Наконец мы решили, что в Каунасе до поры до времени будет лучше. Республиканские учреждения обосновались в Вильнюсе, и в Каунасе стало легче с квартирами, тем более что город в войну почти не пострадал.

Как-то приехал из Вильнюса секретарь Центрального Комитета КП Литвы Казис Прейкшас и попросил вместе с ним съездить к профессору Пранасу Мажилису. Профессора Мажилиса, одного из виднейших гинекологов Каунаса, в прошлом социал-демократа, человека, сочувственно относившегося к советской власти, «правительство» Амбразявичюса, как только Каунас заняли немцы, исключило из университета. Теперь он был одним из тех, кто встретил Красную Армию, входящую в Каунас. Мажилис рассказал нам с Прейкшасом о судьбе каунасских профессоров во время оккупации. Мы хотели выяснить, кто из профессуры остался в Литве и мог бы взяться за восстановление Каунасского университета. Мы перебрали целый ряд фамилий, и постепенно становилось ясно, что в ректоры университета лучше всего подошел бы профессор Антанас Пуренас*. Этот видный химик был одним из самых авторитетных наших ученых. В годы оккупации он держался достойно, не был причастен к гитлеровской политике. Теперь он жил где-то за Кармелавой, и Прейкшас дал мне свой «виллис», которым правил красноармеец, поручив отыскать профессора и доставить в Каунас. Я быстро разыскал Пуренаса, объяснил ему дело и усадил в открытый «виллис». Красноармеец пустил машину на полную скорость; Пуренас испуганно схватил меня за рукав, умоляя притормозить, но шофер не пожелал изменить привычную скорость, и мы мгновенно оказались в Каунасе. Без долгих упрашиваний А. Пуренас согласился стать ректором и тотчас же приступил к организации университета. Университет получил замечательное помещение напротив Военного музея; здесь когда-то размещалось буржуазное министерство иностранных дел, а в 1940—1941 годах — Центральный Комитет Коммунистической партии Литвы.

Из Москвы пришел сборник наших поэтов, изданный на русском языке, — «Дорога в Литву», я получил и свой первый сборник на русском языке «Родное небо». Всем нам, писателям, находившимся во время войны по ту сторону фронта, это живо напомнило о недавнем прошлом.

Газеты писали, что Красная Армия на северо-западе от Мариямполе подошла к границе Восточной Пруссии. Гул канонады, который был отчетливо слышен в Каунасе, теперь отдалился, — по-видимому, в те места, где расположена моя родина, где живут мои родственники.

Немецкие самолеты все еще появлялись над Каунасом. Случайная бомба сожгла одну из лучших городских библиотек — библиотеку имени Винцаса Кудирки в старом городе. Когда-то, в годы моего студенчества, эта библиотека, организованная прогрессивными интеллигентами Каунаса, размещалась на втором этаже одного из домов на Лайсвес-аллее. В ней можно было получить всю периодику того времени и множество книг на литовском, русском и других языках. Библиотека пользовалась необыкновенной популярностью, ее посещали ученики, студенты, мелкие чиновники, образованные рабочие. Теперь сгорели огромные сокровища, собранные за много лет.

Люди все еще опасались, что фронт может вернуться. Мать Пятраса Цвирки, услышав, как вдали рокочут орудия, бросив все, пешком приходила за пятьдесят километров из Клангяй во Фреду. Почему-то считая меня авторитетом, она озабоченно спрашивала:

— Скажи, Антанукас, всю правду — придут или нет немцы? Так стреляют где-то под Юрбаркасом, что слушать страшно...

— Нет, матушка, не бойтесь, — успокаивал я ее. — Немец уже не тот. Если б были у него силы, он ни Вильнюс, ни Каунас не оставил бы... А теперь, сами видите, держится из последних, сил, но скоро ему конец...

— А в Клангяй всякое говорят... Одни так, другие этак... Я уж тебе, Антанукас, за твои добрые слова барана из деревни пришлю...

— Спасибо, зачем мне баран? — отказывался я, но женщина, по-видимому, думала, что это самая подходящая награда за «добрые слова».

Все еще проблемой был любой транспорт. Даже Верхняя Фреда была как бы отрезана от Каунаса. Автобусов не было и в помине, через Неман можно было переправиться только на лодке, и не очень-то весело бывало возвращаться из города в сумерках. Случалось всякое — одиноких прохожих на глухих улицах раздевали.

Руководство Каунасского университета настойчиво приглашало преподавать в университете. Вильнюс был основным не только государственным, но и культурным центром республики. Квартиры у нас не было ни в том, ни в другом городе. Но в Каунасе была Фреда, близкие люди, комнатка, в которой можно было жить и месяц, и два, и, наконец, если придется, и полгода...

УЖАС ПАНЕРЯЙ

Во второй половине августа я участвовал во вскрытии массовых могил под Вильнюсом. Это была жестокая и незабываемая картина. Я попытался сразу же, ничего не преувеличивая, описать ее и теперь повторяю некоторые места старого очерка.

Я видел плодородные поля Вердена, где трудолюбивые французские крестьяне выращивали виноград и пасли тучные стада. Во время прошлой войны немцы превратили окрестности Вердена в поле смерти. На месте деревень и городков остались груды битого кирпича и камня, огромные, необозримые глазом кладбища и памятник жертвам войны величиной с цитадель. Под ним — черепа, ребра, скелеты людей.

Я видел городок Ливны в России. В нем побывали нацисты. Когда я ехал на военном грузовике с Орловского фронта, перед глазами открылась широкая панорама разрушенного города. Не было ни одного живого человека. Обгоревшие и искалеченные стволы деревьев тянули к небу сучья, словно взывая о мести убийцам, убившим город.

Городок Дросково помнят все бойцы Литовской дивизии. Правда, там не сохранились даже остовы домов. Остались только груды щебня. Даже птица не находила здесь приюта. Вокруг городка нацисты выжгли всю растительность, уничтожили каждый дом, каждую улицу, двор и садик, в котором резвились дети.

На родине Льва Толстого в Ясной Поляне я видел разорванные портреты гения, комнаты, загаженные немецкими солдатами, сожженную школу и больницу. Весь мир гордился Россией, породившей этого человека. Гитлер сказал, что народ, который почитает Толстого, не достоин имени культурного народа. Спятивший ефрейтор хотел убить Толстого.

Человек, прошедший через Вязьму, Смоленск, Минск и сотни других городов и сел, где побывал оккупант, не забудет наводящую ужас картину смерти и уничтожения. Его сердце наполнится горем и страданием, которые исподволь превратятся в неугасимый огонь мести.

Война — тяжелое и жестокое дело. Никто не удивляется, когда люди гибнут с оружием в руках, сражаясь

на фронте. Это страшно, но неизбежно. Государства не раз воевали между собой, но международные военные законы предусматривают границу между тем, что неизбежно, и тем, что строго запрещается. Если воюющие государства не отвечают за врагов, павших на фронте, то они несут полную ответственность за бессмысленно разрушенные города, умышленно уничтоженные больницы, истребленное гражданское население. Немцы уже во время прошлой войны плюнули на международные соглашения, которые подписали сами. Но тогда еще были пределы, преступить которые они опасались. Понадобился приход к власти в Германии банды преступников, дегенератов и садистов во главе с величайшим убийцей всех времен Адольфом Гитлером — и вот упали все путы, которые еще связывали потомков тевтонов.

Находясь в тылу, мы не раз слышали о массовых убийствах населения в оккупированных немцами странах. Ужас Панеряй и Девятого форта не давал нам заснуть. Панеряй и Девятый форт находились в Литве, то есть в нашем сердце. Скептики иногда сомневались: может, это преувеличено, не может же быть такого. И вот я в Панеряй. Вместе с тремя тысячами вильнюсцев через ворота в густом переплетении из колючей проволоки я вхожу в ужасное царство смерти. Здесь, по самым скромным подсчетам, нацисты уничтожили во время войны не менее ста тысяч человек — детей, женщин, мужчин и стариков.

Сквозь кроны тоненьких зеленых сосенок равнодушно светило жаркое августовское солнце, как и тогда, когда изо дня в день сотни и тысячи человек шли через эти ворота, над которыми могла быть надпись из «Ада» Данте: «Входящие, оставьте упованья». Терпко пахло выросшим на краях рвов вереском. Мы приближались к огромной круглой яме. Дул легкий теплый ветерок, принося тяжелый сладковатый запах отрытых трупов. В яме лежали сотни тел. Этих людей расстреляли всего несколько месяцев назад. Они еще не истлели. В карманах найдены хорошо сохранившиеся вещи. Вот зачетная книжка. Вот четки женщины, проведшей долгие месяцы в заключении. Образок верующего. Детская игрушка — кукла с оторванной головой. Ребенок принес ее сюда, в последний путь своего скорбного детства. В ту же могилу свалилась и его

мать — ее голова прострелена разрывной пулей. Младенцу палач пожалел пули — закопал живьем. В кармане убитого врача найден стетоскоп, — видно, врача схватили, когда он шел к больному.

Несколько сотен трупов — лишь малая частица тех, которые погибли здесь с первых дней войны. Их расстреливали здесь без передышки — с шести часов утра до сумерек. Расстреливали по-разному — со связанными за спиной руками, с завязанными глазами, приказав бежать по насыпи, с обеих сторон которой зияли глубокие рвы, или по доскам, положенным над ямой. Младенцев расстреливали из револьверов, подбрасывая жертвы в воздух. Размозжали черепа детей о деревья, еще живых ребят засыпали землей. Люди, жившие по другую сторону колючей проволоки, каждый день слышали полные ужаса голоса убиваемых. Иногда раненым удавалось выползти из ямы. Их приканчивали на краю рва. Иногда жертвы, сошедшие с ума от невыносимых страданий, возвращались в Вильнюс. Их ловили и снова увозили в Панеряй. Из Вильнюса на станцию Панеряй каждый день шли эшелоны смертников. Некоторые пытались бежать по пути. Их расстреливала охрана эшелона.

Шло время. В широкий мир проникали сведения об убийствах невинных людей. Красная Армия, как неудержимая река жизни и ненависти, выметала немцев с советской земли все дальше на запад. На Кубани, в Керчи, под Харьковом, Смоленском и в других местах были обнаружены огромные кладбища.

На Московской конференции было сделано торжественное заявление о том, что убийцы гражданского населения не уйдут от расплаты даже на краю света: после войны они будут найдены и привезены на суд в места преступления. Немцы побоялись опубликовать эту декларацию, но она дошла до слуха и мучеников и палачей. Эсэсовцы принялись поспешно заметать следы своего преступления. В прошлом году и в Панеряй они начали уничтожать улики страшных зверств. Они согнали сотни людей, которые должны были вскрыть могилы и сжечь трупы. Целыми неделями горели огромные костры. Один костер занимал площадь в сорок девять квадратных метров. На слой бревен складывали слой трупов, на них снова бревна и хворост, потом снова трупы. Обливали бензином, мазутом, маслом. Для ускорения работ был достав-

лен подъемник для подачи трупов из ям на костры. Все велось с чисто немецкой аккуратностью. Некоторые костры горели с трудом — тлели неделями, заражая всю окрестность смрадом горящих трупов. Пепел они просеивали через сита — там оставались золотые зубы. Бывали дни, когда набиралось несколько килограммов золота.

Люди, работавшие на сожжении трупов, позднее, чтобы не осталось свидетелей преступления, были расстреляны. Уцелели только четверо из них. Им удалось бежать. И теперь они показывают нам места массовых убийств и сожжения трупов. Показывают глубокие ямы, полные золы и костей. Земля, пропитанная человеческой кровью, почернела и затвердела.

Я слышал их слова. Над могилами мучеников они звучали как проклятье нацистским палачам. Они звучали как крик о мести. Эти люди, измученные страданьем, с ногами, истертыми железными кандалами, прошли через весь ад пыток, какие только в состоянии придумать воображение выродков.

Трупная команда жила в глубокой яме, вымощенной камнями. Их было восемь десятков. Несколько из них под глубокой каменной стеной долго рыли подземный ход. Каждый день они жили под страхом смерти. Многие сошли с ума. Немцы хотели, чтобы погибли они все. Но осталось четверо, которые, словно неподкупная совесть, рассказывают живым о невиданных страданиях и смерти невинных людей.

Кого убивали нацисты? Евреев? Да. Они убили евреев — ученых, врачей, писателей, актеров, рабочих, людей всех профессий. Но не только евреи погибли в Панеряй. Здесь нашли смерть сыновья литовских крестьян, отказавшиеся идти в немецкую армию. Погибли эстонцы и латыши, привезенные со своей родины, погибли польские ксендзы и монахи, которые не побоялись немецкого террора и организовали борьбу за свободу, погибли крестьяне за невыполнение поставок, за то, что воспротивились немцам, сгонявшим их с земли. Погибли целые приюты для стариков и инвалидов — нацисты не считали нужным содержать их. Погибли матери с детьми, схваченные на улице или ночью вытащенные из домов.

Панеряй навеки останется местом огромной, страшной трагедии. Это ужасный памятник, который будет по-

казывать грядущим поколениям, какую «культуру» несли нашему краю заклятые враги литовского народа. Пожары, убийства, дома терпимости, разбой, кандалы каторжника, голод, нагайка и смерть — вот украшение этой «культуры», знакомое всем народам, на долю которых выпало несчастье побывать в гитлеровском рабстве.

Панеряй не единственное место в Литве, заваленное трупами, пропитанное невинной кровью, взывающее о возмездии. Почти у каждого города простирается огромное кладбище. Они будут вскрыты, и мир услышит об адском режиме неслыханного самоуправства, насилия, убийств, которые несчастная Литва терпела целых три года. Мир услышит о тех ужасах, которые перенес наш мирный народ, угодивший в руки садистов.

Красная Армия неудержимо шагает на запад, возвращая Литве и другим народам свободу, желание жить и творить. Она идет на запад, как совесть народа, которая не успокоится до тех пор, пока не будут наказаны все виновники страшных убийств и других преступлений. Она идет с востока, словно восходящее солнце, рассеивая кровавую мглу фашистской ночи, в которой три года раздавались выстрелы и сотни тысяч невинных людей падали в рвы смерти. Там, где появляется армия-победительница, там встают из пепла города, а память погибших поднимает трудолюбивые народы на светлый подвиг близкой и окончательной победы.

НАСТРОЕНИЯ

В Каунасе и Вильнюсе появилось больше людей. Многие вернулись из деревень, из только что освобожденных районов. Они перепуганы, рассказывают о всяких страшных вещах — как укрывались, как гитлеровцы их куда-то гнали, как они сбежали, как погибли знакомые, угодившие в зону боев. Некоторые с первого же дня без колебаний приходили в только что созданные советские учреждения и предлагали свои услуги, — казалось, они искренне ждали возвращения советской власти и радовались концу оккупации. Другие пытались переориентироваться и корчили из себя страшных врагов гитлеризма. Были и такие, которые, встречая нас, без стеснения поносили советскую власть. Это особенно любопытная категория людей. Им были не по душе и перебои с продуктами,

и отсутствие электричества, и беспорядок в учреждениях, хотя сами они не спешили предлагать свои услуги. Эти люди откровенно считали себя выше других советских наций и без стеснения швыряли в их адрес ядовитые, злобные словечки. Они никак не могли понять, как это Красная Армия, которую презирали еще несколько лет назад, вот-вот окончательно разгромит «непобедимую» гитлеровскую, и объясняли это невероятно большой помощью союзников. Теперь они восхваляли этих союзников, хотя еще полгода назад кричали всякую чепуху о «еврее Рузвельте» и «подлых плутократах британцах». При каждом удобном случае они говорили о ссылках 1941 года и уверяли, что из Литвы в Сибирь будет вывезено все население. Клевету немецкой пропаганды они повторяли с наслаждением, а сами возомнили себя единственными патриотами Литвы. При удобном случае любили поговорить и о «культурности» немцев, о их чисто выбритых (во всяком случае, в начале войны) лицах, о надушенных мундирах. Я помню одну каунасскую дамочку; когда ей кто-то сказал, что гитлеровцы вроде бы расстреляли ее мужа, она ответила:

— Да, это правда... расстреляли. Но, знаете ли, все равно они такие культурные! Кушали апельсины и шоколад... Пили французское вино... И какое обхождение с женщинами!

Вернувшись в освобожденные Вильнюс и Каунас, мы оказались в совершенно другой среде, чем представляли себе. Оказалось, что вильнюсцы и каунасцы (в особенности каунасцы) еще выбиты из колеи, что правильное мнение по тому или иному вопросу в их головах перемешано с жуткой чепухой. Некоторые совсем неплохие люди от души удивлялись тому, что Красная Армия никого не вешает, не расстреливает, не пытает маленьких детей и не делает прочих мерзостей...

В Москве нам казалось, что наши писатели, которые провели оккупацию в Литве, с первого же дня подключатся к нам и помогут через печать рассеять яд гитлеровской пропаганды, помогут выпрямить согнувшегося, деморализованного человека. Конечно, нашлись и такие. Винцас Жилёнис с первых же дней после освобождения Литвы начал работать в советской печати. Каролис Вайрас тоже сразу же после освобождения Каунаса включился в работу, не боясь ни возвращения немцев, ни ли-

товских националистов. Материал для газет приносили Алексис Хургинас, позднее — Юлюс Бутенас, приехавший из Дзукии. Но было немало и таких, которые озирались, прикидывали, выжидали...

Чего они ждали? Одни, без сомнения, не могли поверить, что военная машина Гитлера окончательно сломана. Другие думали, что в конце войны или вскоре после нее с Советским Союзом рассорятся Великобритания и Америка. И не только рассорятся, но и начнут воевать. А раз уж начнут воевать, то непременно явятся «освобождать от большевиков» дорогую Литву. Период сразу же после освобождения Вильнюса и Каунаса был трудным, нервным, полным слухов, самых странных настроений и невероятных надежд...

Как только была освобождена южная Литва, в Каунас приехали мои мать и брат Казис. Я радовался, снова встретив любимых людей. Им пришлось видеть горящие деревни, пережить ужас боев, потерять все имущество. Они озабоченно спрашивали у меня, что же будет дальше, и не очень хотели верить, когда я объяснял, что в Литве снова будет советская власть. О Красной Армии они тоже наслышались самых диковинных рассказов и толков. Мол, немцы к некоторым проявляли жестокость, но многих не трогали, а вот советская власть... И они открыто выкладывали свои опасения, которые были вызваны, разумеется, большей частью той же пропагандой гитлеровцев и их литовских пособников...

Каждый день я диву давался, как трудно договориться с некоторыми интеллигентами. Кроме всего прочего, казалось, что некоторые из них очень дорожат спокойной жизнью и боятся, как бы только кто-нибудь ее не нарушил. Некоторые хвастались, что во время оккупации можно было заниматься спекуляцией и даже нажиться на этом... Отвратительные разговоры!

Гораздо приятнее было встречаться с друзьями и знакомыми, проведшими войну по другую сторону фронта. Они стали возвращаться в Литву. Эти люди не колебались, они знали, кто друг, а кто враг литовского народа. Им было ясно, что надо приложить все усилия, чтобы поскорее восстановить промышленность, сельское хозяйство, просвещение Литвы, чтобы еще до конца войны начать нормальную жизнь...

31 августа 1944 года в Вильнюсе началась сессия

Верховного Совета Литовской ССР, на которую собрались далеко не все депутаты, избранные до войны. Одни погибли на фронтах, другие — в партизанских отрядах. Сессия обсуждала самые актуальные вопросы этих дней. Юстас Палецкис сделал развернутый доклад об освобождении литовских земель и задачах народа в борьбе с немецкими захватчиками, а Антанас Снечкус — о ликвидации последствий немецкой оккупации в сельском хозяйстве. Я снова встретил старых друзей и знакомых — М. Мешкаускене, М. Мицкиса, генералов В. Виткаускаса и Й. Мацияускаса, старого революционера, одного из организаторов партизанского движения во время войны Б. Баранаускаса, агронома Р. Жебенку, ученого-химика Ю. Матулиса *. Всех их заботило, чтобы поскорей кончилась война, чтобы земля, которую советская власть отдала тем, кто ее обрабатывает, отобранная во время оккупации, отданная бывшим помещикам и кулакам или немецким колонистам, снова вернулась нашим крестьянам.

В Вильнюс вернулся Казис Борута, которого мы так часто вспоминали во время войны. Счастье, что наш старый друг уцелел. Как я уже упоминал, о нем через фронт к нам проникли некоторые сведения. Мы слышали, что он прятал преследуемых евреев в помещении Академии наук. Теперь Борута рассказал, что отступавшие гитлеровцы поймали его где-то в Судуве и угнали рыть окопы, но ему удалось сбежать. Бродил по Вильнюсу Пятрас Вайчюнас *, вскоре появился и сын Людаса Гиры Витаутас Сириос Гира. Из Аникщяй, где он провел оккупацию, приехал Антанас Венуолис, из Алитуса — Казис Якубенас * (мы узнали, что он во время оккупации публично читал антигитлеровские стихи). Уцелела во время войны, хотя и побывала в гестапо, Ева Симонайтите. Поговаривали, что где-то под Бабтай на своем хуторе живет Казис Пуйда * (он вскоре умер), а на родине своей жены, под Биржай, — Винцас Миколайтис-Путинас.

Впервые за несколько лет, проведенных по разные стороны фронта, на дружескую встречу собрались писатели 26 сентября в Вильнюсе, в Наркомате просвещения. В этом разговоре участвовало примерно тридцать человек, если включить сюда представителей газет и радио. Из писателей пришли Теофилис Тильвитис, вернувшийся из родной деревни Таурагнай, где он жил после освобо-

ждения из концлагеря в Правенишкес, Казис Борута, Пятрас Вайчюнас, Казис Якубенас, Каролис Вайрас, Алексис Хургинас и другие. Корсакас, руководитель Союза писателей, сделал доклад об обязанностях и задачах писателей в это трагически-героическое время. Я обстоятельно рассказал о нашей деятельности в тылу, о наших изданиях, о работе на радио и в печати прогрессивных литовцев США, о нашем выходе на всесоюзную арену. Писатели откровенно делились своими невзгодами военных лет; в некоторых выступлениях чувствовалась определенная растерянность, но вместе с тем и искреннее желание быть со своим народом, помочь выиграть войну и свободу. Во встрече участвовал Казис Прейкшас, а нашу беседу дружески и вместе с тем приподнято, как всегда, завершил Юстас Палецкис, призвав всех трудиться на благо дорогой Советской Литвы. Все мы ощущали, что не хватает Витаутаса Монтвилы и Балиса Сруоги. Одного мы никогда уже не встретим, а второго? Кто знает. . . Не было еще и Саломеи Нерис, но уже несколько дней спустя, вечером 30 сентября, она вернулась в древний, любимый Каунас, к ожидающим ее друзьям. . .

В ОСВОБОЖДЕННОЙ ЖЕМАЙТИИ

5 октября газеты сообщили, что началось наступление на Клайпедском направлении, что линия обороны прорвана. Прошло несколько недель, и мы узнали, что вся оккупированная территория Литвы, а именно Юрбаркас и вся Жемайтия с Тельшяй, Мажейкяй, Плунге, Кретингой и Палангой, — наша. Осталась неосвобожденной Клайпеда, за которую как раз и шли бои.

Мы не могли усидеть в Каунасе. Носились по городу, искали средства передвижения. Кажется, Йонас Марцинкявичюс, встреченный в редакции «Тарибу Лиетувы», сказал, что в городе находится со своим «виллисом» корреспондент «Известий», который собирается отправиться в освобожденные районы. Уже на следующее утро этот корреспондент, Марцинкявичюс, Цвирка и я переправились на пароме в Вилиямполе и свернули на Жемайтийское шоссе.

Каждый раз, когда мне приходилось путешествовать по жемайтийской земле, мое сердце пронизывала странная тоска. Даль, открывающаяся с высоких бугров

Шатрия и Медвегалис, сотни холмов, лесов, рек и озер невольно наводили на мысль о далеком прошлом с непролазными лесами, с такой силой описанными Симанасом Даукантасом, о тех веках, когда жемайтийцы годами сражались с крестоносцами за родную землю.

Может быть, эта тоска охватывала сердце потому, что вокруг не было видно романтических замков, — только тихие деревушки на солнцепеке, только далекие хутора, только пахарь с плугом, обрабатывающий землю, напоенную кровью праотцев. . .

И вот несколько лет спустя я снова путешествую с друзьями по опустошенной войной жемайтийской земле. . .

Осенней красотой встретила Жемайтия, пахнущая увядающей листвой садов, шумящими аллеями старых парков и сонными прудами водяных мельниц. Далеко на западе гремела канонада, она все удалялась, а здесь перед глазами открывались разрушенные усадьбы, сожженные городки, по дорогам брели домой беженцы — усталые, перепуганные. . .

В разрушенный Расейняй вернулись первые жители. Рабочий лесопилки в детской коляске вез уцелевшие пожитки. Согбенная женщина вела за руку девочку, и ее глаза, полные невыразимой тоски, блуждали по угрюмым грудам развалин в поисках былого крова. В устрашающие развалины превратились школы, библиотеки, дома рабочих, чистые, просторные учреждения в новых домах. Уцелел только «Жемайтиец» Винцаса Грибаса, словно символ бессмертия этого края и убитого скульптора. Поля, насколько видит глаз, изуродованы окопами и загажены проволочными заграждениями. Гитлеровцы собрались здесь держаться месяцами. Но ничто не помогло головорезам — они отхлынули на запад. . .

Дороги только что прокатившейся войны. Прибитые к земле хлеба фронтовой зоны до сих пор еще не убраны. Кое-где в стенах уцелевших изб зияют пробоины, крыши снесло как страшным ураганом, кругом валяются бревна. Эта картина заставляет содрогаться сердце: ведь это все твое — и этот город, и эти избы, и нескошенные поля, и все невыразимое горе, принесенное Гитлером на нашу землю. . . Ведь все это — твое. . .

Ужасное впечатление немного смягчается, когда углубляешься в Жемайтию. Отсюда гитлеровцы удирали с такой скоростью, что некогда им было все уничтожить.

И Плунге, и особенно Тельшяй удивительно прекрасны после тех развалин, в которые превращен Расейняй. Радуется сердце, когда ходишь по улицам этих городов, которые вскоре снова оживут. Здесь уцелело то, что мы строили, любили, с чем сжились. И сердце наполняется благодарностью к тем замечательным парням — русским, грузинам, узбекам, которые, сидя на мощных, гремящих танках, по улицам городов и проселков спешат дальше на запад: их ждут Клайпеда, Тильзит, Лиепая. . . В этом походе участвуют и литовцы, пережившие гитлеровскую оккупацию.

Мы видели нескончаемые колонны советских танков, которые спешили на фронт. И хорошо было смотреть на усталые, но веселые лица. Эти люди победили в сталинградском аду, сражались под Харьковом и освобождали Киев. Брали штурмом Севастополь и Одессу. В туманной ночи мы слышали песню на жемайтийской дороге. Бойцы, разложив костер рядом с дорогой, пели нежную песню далекой Грузии «Сулико». . . И думалось, что нельзя победить людей, которые прошли сотни километров через огонь, грохот боев, смерть и даже в час усталости улыбаются, смеются и поют. . .

Днем танки встречают на дорогах крестьянские телеги, груженные деревенскими пожитками, на которых сидят женщины и дети. Возвращаются люди, изгнанные гитлеровцами из домов. Неторопливо бредут по дорогам выносливые низкорослые жемайтийские лошадки, а крестьяне рассказывают остановившимся бойцам о своих невзгодах.

За последние месяцы гитлеровцы грабили жемайтийскую землю, как могли. Отнимали не только скот, но и одежду, и обувь, и домашнюю утварь. Не только немцы, но и их прислужники литовцы поднимали панику, пугали Красной Армией, заставляли людей покидать насиженные места. В этом мы убедились, приехав в Тельшяй.

Город пуст, словно выметен. . . Совсем как только что освобожденный Каунас. Но здесь еще более пусто, — даже не по себе. Мы идем туда, идем сюда — хоть бы одного человека увидеть. Но нет, мы ошиблись. Вот из переулка рядом с костелом появляется еще не старая, довольно прилично одетая женщина. Она смотрит на нас с удивлением и испугом. Внимательней всего она смотрит на Йонаса Марцинкявичюса, на котором форма стар-

шего лейтенанта Красной Армии. Видно, ее удивляет что мы между собой разговариваем по-литовски. Помолчав, женщина спрашивает:

— Откуда будете?

— Из Каунаса приехали, — отвечает Пятрас Цвирка.

Видно, что женщина не верит.

— Из Каунаса? — удивляется она. — Знаю и я Каунас. Там моя двоюродная сестра жила... Одному богу известно, жива ли еще...

— А зачем ей умирать? — откликается Йонас Марцинкявичюс. — Каунас же почти цел. Только фабрики и мосты немцы...

Женщина еще больше удивляется, что мы разговариваем весело и рассказываем о таких неслыханных, невероятных вещах.

— Может ли быть такое? Тут ведь говорят, что там жуть что творится...

— А что же? — не вытерпел я.

— Я же знаю Каунас, бывала... Несколько раз была... Вот говорят, в садике перед театром жуть сколько людей повешено...

— Кто же их там повесил? — смеется Йонас.

— Да вы не смейтесь, не смейтесь... Кто повесил? А кому же еще, как не большевикам?..

Нам и смешно, и зло берет. А женщина продолжает:

— Перед кино, — как оно там называется, кажется, «Форум»? — говорят, целые кучи ушей и носов навалены...

— А чьи эти носы-то? — давится от смеха Цвирка.

— Как так чьи? Людей, чьи же еще...

— И их, значит, большевики?

— А мне откуда знать? — Женщина понемногу пятится. — Откуда мне знать?.. Говорят, тоже ихнее дело...

— Эх, тетка ты, тетка! — сердится Цвирка. — Ну и набралась же ты где-то пропаганды!.. И смех, и срам слушать. Только последние сволочи могут выдумать такое. Иди домой и всем своим знакомым об этом скажи...

Женщина исчезает в каком-то переулке.

Мы бродим по городу, ищем случайных прохожих. Марцинкявичюс кричит:

— Эй, мужики, местную газету нашел! Хотите почитать? Совсем свежая...

Он приносит несколько номеров газетенки. Послед-

ний выпущен всего несколько дней назад. В нем призывают население «оказывать сопротивление большевикам», описывают, как местные «патриоты», в том числе городское начальство, помогают немцам рыть окопы, чтобы большевики не заняли священную Жемайтию. Полистав, мы находим и описание «зверств» в Каунасе, о которых рассказывала женщина. Газета утверждает, что на территории Литвы, занятой Красной Армией, женщины и дети уже согнаны в концлагеря («Чем сам воняет, тем других мажет», — сказал Пятрас), что большевики пускают вниз по Неману бутылки со взрывчаткой, чтобы люди вылавливали эти бутылки и взрывались, что в Каунасе и Вильнюсе множество мирных граждан перевешано и прирезано, что советские летчики обстреливают людей, работающих в поле, и одному уже прострелили ногу. . .

Откуда редакция черпала все эти идиотские сведения? Тут голова редактора отлично работала и придумала следующую версию. Мол, жители Каунаса по Неману пускают бутылки с письмами — не со взрывчаткой, а с описанием зверств; в низовьях Немана люди вылавливают бутылки и полученные сведения посылают прямо в газету.

Несмотря на всю машину гитлеровской пропаганды, люди, оказывается, с величайшей неохотой уходили из родных мест. Они прятались в лесах, в глухих деревнях и, как только появлялась Красная Армия, возвращались домой. . .

Мы встречаем людей, которые долго скрывались от отправки на гитлеровскую каторгу, — оборванных, изнуренных. Они со слезами радости приветствуют освободителей. Вырубленный вдоль дорог лес свидетельствует, что и здесь, как в Белоруссии, как в Восточной Литве, оккупант хорошо знал о мужестве советских партизан.

Страшными были годы оккупации для жемайтийцев. Гитлеровские бандиты творили произвол в деревнях и городах, они ловили рабов для Германии. Крестьян изнуряли тяжелые поставки. Тюрьма, концлагерь, расстрел и здесь были повседневными явлениями.

— Испокон веков наша землица не видала того, что мы увидели под Гитлером, — рассказывал крестьянин недалеко от Варняй. — За словечко против немцев сам

едва избежал расстрела. Теперь можете понять, как мы чувствуем себя, когда этих извергов уже нет на нашей земле...

— Ну, а как там, в Литве? — все еще не придя в себя, расспрашивал нас учитель в окрестностях Кретинги. — На самом деле там монголы?..

— Человече, — не вытерпел я, — там начинают работать школы, университеты, консерватория. Освобожденная Литва нуждается в интеллигентах, как земля весной в дожде. Поскорей езжайте на свое место, вас ждут дети... Они хотят учиться, а вы торчите тут и... трясетесь...

— Я — ничего... я у родных, — оправдывался учитель. — Мы читали в газетах... Говорили, что правда... собственными глазами видели...

Так объясняют многие.

Моросил дождь, когда мы стояли на городской площади в Кретинге. Вокруг высились тоскливые развалины — на городок еще в начале войны упали немецкие бомбы. Руины успели зарасти полынью и крапивой. Еще дымились дома, подожженные немцами. Где-то неподалеку гудела мощная Балтика, омывая чистый песок только что освобожденной Паланги. Советская артиллерия уже рокотала у стен литовской Клайпеды.

В Кретинге больше не падали немецкие снаряды, но город выглядел как после чумы. Среди громоздящегося кирпича трудно было встретить человека. По городу ходил испуганный евангелический священник. Мы встретили старого знакомого, бывшего офицера Литовской дивизии Витаутаса Гирджюса, который приехал сейчас из штаба фронта, разместившегося в Платяляй.

— Эх, ребята, хорошо бы закусить, — сказал Йонас Марцинкявичюс.

Все мы были страшно голодны. Корреспондент «Известий», сев в «виллис», уехал в Палангу, а мы бродили вокруг кретингского костела. В ограде мы встретили несколько монахов-францисканцев, которые, увидев нас, проявили живейшее любопытство.

— А вы случайно не Пятрас Цвирка? — спросил один из монахов, по-видимому запомнив Пятраса по какому-нибудь снимку в газете.

— Не ошиблись.

— А вас я тоже где-то видел. . . А, помню, вы же. . . — монах сказал и мою фамилию.

Марцинкявичюс между тем прищелкнул каблуками, отдал честь и представился:

— Генерал Марцинкявичюс. . .

Монахи, узнав, откуда мы и кто, пожелали непременно с нами потолковать. Близился вечер, и они пригласили нас в мрачную трапезную монастыря, угостили отварной курицей и вином. Мы рассказали о Каунасе и Вильнюсе, а они слушали нас с величайшим интересом. Пятрас тут же принялся разъяснять советскую политику в отношении религиозных культов, но, по-видимому, монахи не очень-то ему верили. Сами они говорили осторожно, ни добрым, ни плохим словом не поминали ни гитлеровцев, ни советскую власть. Это, пожалуй, был единственный раз, когда мы обедали с монахами.

Когда мы снова оказались на площади городка, там стоял «виллис» с несколькими мужчинами. Это приехал присланный из Вильнюса исполком, который начнет организовывать жизнь в разрушенном городке.

Пятрас Цвирка рассмеялся:

— Хорошо, что приехали, а то мы тут втроем собирались взять власть в свои руки. . .

Наш «виллис» тоже вернулся из Паланги. Корреспондент «Известий» рассказал, что Паланга почти цела. Мы жалели, что сами туда не съездили. Корреспондента покормили в какой-то воинской части, он на голод не жаловался, и мы повернули обратно. . .

Еще перед отъездом из Каунаса мы решили непременно отыскать в Жемайтии Кипраса Петраускаса. Находясь в тылу Советского Союза, мы не раз тревожились за судьбу виднейших деятелей культуры, в том числе и Кипраса Петраускаса. Вернувшись в Литву, мы расспрашивали всех знакомых: «Как Кипрас Петраускас?» И радостно было слышать, что он жив-здоров. А его друзья утверждали: «Кипрас не раз говорил: «Будь что будет, а я из Литвы никуда не уйду».

Мы знали, что Кипрас иначе и не может думать. Но фронт, так сильно продвигавшийся летом, остановился, и знаменитый певец остался на немецкой стороне, под Тельшяй. И снова неделями и месяцами никаких вестей о нем. . .

Уже смеркалось, когда наш «виллис» свернул на до-

рогу, ведущую на хутор Кипраса Петраускаса. Этот хутор поклонники певца — общественность Литвы — подарили Кипрасу по случаю его тридцатилетия сценической работы, до войны.

Не тронутая войной, поодаль от большой дороги стояла старинная усадьба в окружении по-осеннему багровых деревьев. Кипраса мы застали дома и после радушной встречи вошли в просторную столовую. В комнате, освещенной карбидной лампой, мы сели за широкий, гостеприимный литовский стол. Вопросы и ответы с обеих сторон, казалось, никогда не кончатся. Во время оккупации хозяину пришлось пережить не один тяжелый час. Как певец Кипрас получал сто марок в месяц. Это, без сомнения, было издевкой. Немцы Кипраса ограбили: унесли из дома не только часть одежды — сценической и бытовой, но и прочее имущество.

— Позавчера, убегая, они меня затащили в комнату, заперли и выставили шнапс, а сами в это время забрались на чердак и из дымохода украли тридцать четыре колбасы! — не то в шутку, не то всерьез возмущался певец.

На хуторе Кипраса Петраускаса в годы войны нашли приют несколько десятков человек. Здесь жили не только каунасские актеры с семьями, но и много людей, которых немцы пригнали в Литву из дальних местностей Советского Союза. Много теплых слов о хозяине рассказывали нам эти люди, у которых гитлеровцы отобрали дом и родину.

Наши беседы, оживленные, пылкие, беспорядочные, как всегда после долгой разлуки, затянулись за полночь. Мы говорили обо всем: о литовской опере и московских театрах, певец вспоминал друзей и знакомых своей юности — Шаляпина и Горького, рассказывал о событиях последних дней — как из окрестностей Тельшяй удирали немцы. Хозяин искренне рад нашему приезду; он доволен, что сможет без помех служить искусству во славу своей родины Литвы.

Мы предлагаем певцу ехать в Каунас вместе с нами. Ни минуты не колеблясь, Кипрас соглашается, тем более когда он узнает, что его ждут друзья в театре, что по его песне тоскуют Вильнюс, Каунас и вся Литва. Приятно видеть, когда он, немолодой уже человек, сохранивший всю молодость и красоту духа и тела, собирает

вещи в дорогу; его движения проворны, гибки. И когда мы собирается на следующее утро в путь, его большая «семья», люди самого разного возраста — мужчины, женщины, дети — толпой выходят провожать хозяина, просят его как можно скорее вернуться.

«Виллис» мчится по жемайтийским дорогам, объезжает мосты, взорванные немцами, взлетает на холмы и спускается в долины. Крупная фигура Кипраса едва уместилась в тесной машине. Оказывается, певец удивительно хорошо знает Жемайтийский край. Берега каждого озера и реки, леса и перелески он не раз исходил здесь на охоте и на рыбалке. Он прекрасно знает деревья и травы, различает зверей и птиц. И, глядя на это благородное лицо олимпийца, на его по-юношески стройный стан, понимаешь, что только постоянное общение с природой поддерживает в человеке расцвет таланта и сил, не угасающий долгие годы. . .

Когда мы по дороге в Каунас снова проезжали Расейняй, крестьяне уже косили хлеба на полях. Другие расхаживали с топорами вокруг разрушенных домов, прикидывая, с чего бы начать. . . Жемайтиец упорным трудом за несколько лет залечит раны своих деревень и городов. Снова вырастут леса, уничтоженные оккупантами, зазеленеют вытоптанные поля. Но никогда не исчезнет из сердца ненависть к фашизму, заклятому недругу нашей земли.

Рассеивалась ночь над Балтикой. Клайпедские маяки уже видели солнце свободы, восходящее на востоке.

ВМЕСТЕ

Пятрас Цвирка только несколько дней провел дома, когда все близкие собрались во Фреде. Он был необычайно подвижным. То он, сев за стол в редакции «Тарибу Лиетува», пишет статью по какому-нибудь злободневному вопросу, то едет на совещание или заседание в Вильнюс, то бегает по учреждениям, добывая продукты, башмаки или керосин (в учреждениях сидели в основном чиновники времен оккупации, деморализованные, закоснелые, нелегко с ними было объясниться). Даже такое пустяковое дело, как талон на кубометр дров или шапку, превращалось в проблему, съедающую уйму времени и нервов. . . Пятрас собирался обосноваться с семьей в

Каунасе и целыми днями искал подходящую квартиру. Пустых квартир было довольно много, но все еще ждали, что вернутся их владельцы. Особенно много энергии и внимания уделял Пятрас Государственному издательству, типографии и журналу «Пяргале». Это тоже было трудным делом. Куда ни пойдешь, к кому ни обратишься, всюду сталкивался со стеной; казалось, чиновничье отупение, недобросовестность, корысть, а иногда и открытый саботаж дошли до предела. . .

Саломея Нерис тоже жила в Каунасе.

— Как я счастлива, если б ты знал! — говорила она, когда мы встретились. — Квартиру получила на улице Майрониса, довольно плохую, без запора, с выбитыми окнами, но разве это важно? Важно, что уже свободны Вильнюс и Каунас, что скоро свободной станет вся Литва. . .

— А Палемонас?

— В Палемонас вернуться нет возможности. Наш домик ограбили подчистую — ни окон, ни дверей, ни одного предмета мебели. . . А жить-то ведь надо. . .

Некоторое время спустя поэтесса со своим мужем Бернардасом Бучасом * поселилась в Каунасе, в Жалякальнисе, на улице Дайнавос.

Я не раз захаживал сюда к Саломее. В комнатах коекак была размещена случайная мебель. В одной из комнат скульптор Бучас устраивал свою мастерскую. Было ясно видно, что семья оказалась здесь после кораблекрушения и все еще не могла прийти в себя.

— Как хорошо дома! — говорила Саломея. — Забот и хлопот больше, чем я думала, но как хорошо чувствовать под ногами родную землю. . . Только вот многих людей не могу понять, даже узнать. Они стали другими, чем были. Эгоисты, думают только о себе, а послушаешь разговоры — диву даешься, кто им набил голову такой чепухой. . . Как все было ясно там, в Москве! Там ты знал: вокруг советские люди, твои друзья, а на западе, по ту сторону фронта, — родной край и оккупанты. А тут все смешалось. . . Кое-кто продался гитлеровцам, иные мечтают о восстановлении сметоновской или другой Литвы. . . И многие спекулируют, лгут, крадут, клевещут. . . С каким удовольствием я вспоминаю сейчас Москву, нашу жизнь там. . .

Поэтесса интересовалась нашими писателями, спра-

шивала, кто уже вернулся после военных действий в Вильнюс и Каунас. Старалась часто встречаться с ними, выяснять вопросы, которые поставили перед каждым война, оккупация. Потолковав с одним и другим, она нередко с грустью говорила:

— Странное дело... Мы, которые находились в войну на той стороне, понимаем друг друга с полуслова, нам ясны все проблемы нашей нации и ее будущего... А вот поговорила я с поэтом, — она упомянула его имя, — и удивилась — так у него все в голове перемешалось... Никак не поймешь, что он думает и чего хочет...

В Каунас вернулась и Ева Симонайтите. Она радовалась, встретив своих старых друзей — Цвирку и Нерис. В Каунасе уже были София Чюрлёнене-Кимантайте, поэт старшего поколения Адомас Ластас, Казис Якубенас и Йонас Грайчюнас *, беллетристы Викторас Катилюс * и Казис Янкаускас *. Я получил письмо из Меркине, от Юлюса Бутенаса:

«Дорогой Антанас,

«Я от души обрадовался, получив весточку от тебя. Замечаю по печати, что ты развернул деятельность. Во время гитлеровской оккупации я кое-что знал из жизни Советского Союза: иногда ходили по рукам сброшенные с самолета листовки, страницы «Тиесы» и других газет. С интересом и тоской читал тот номер «Тиесы», где был ваш снимок, как вы посещаете на фронте солдат Литовской дивизии. Оттуда узнал и о вашей литературной деятельности. Я сокрушался, что не успел уйти. Тогда не сориентировался, что это возможно, все уж слишком быстро произошло. Не пришлось бы пережить и тот кошмар, от которого все три года мои нервы были напряжены и сердце подавлено...»

Городские власти выделили для писателей неплохое помещение — красивый дом бывшего премьер-министра Юозаса Тубялиса в Жалякальнисе. Вместе с Цвиркой мы осмотрели дом, и он показался нам подходящим, хотя со стен были содраны шелковые обои, с окон сорваны занавеси, мебель растащена. «Ничего, — думали мы, — мебель наберем в брошенных квартирах, найдем другие занавески...» В двух свободных комнатах мы поселили и Еву Симонайтите, оставшуюся без жилья. Увы, оказалось, что получить любой пустяк гораздо труднее, чем думалось поначалу. Мы несколько раз собирались

здесь, одни сидели на подоконниках, другие стояли. Разговоры вязались с трудом и были нелегкими. . .

Видя, что с домом Тубялиса хлопот не оберешься, мы получили для писателей дом на улице Траку. Здесь находилось несколько пустых квартир, и в одну мы поселили семью Каролиса Вайраса, а другая досталась каунасскому филиалу Союза писателей, как мы его назвали.

Хоть и с трудом, наша печать крепчала. В конце августа вышел первый номер журнала «Яуную грятос» («Ряды молодых»). Среди сотрудников журнала было много товарищей, которые всю войну несли на своих плечах литовскую литературу. Редактором числился Пятрас Цвирка, но больше всего работал Э. Межелайтис. Журнал был напечатан на плохой бумаге, но все-таки он олицетворял собой жизнеспособность нашей культуры. Вскоре должен был выйти первый номер «Пяргале».

В начале октября в Вильнюс вернулся Винцас Миколайтис-Путинас. Его привез один из сотрудников редакции «Тиесы», посланный с «виллисом» в Бижрай. Трудно представить нашу радость, когда мы снова встретили бывшего своего профессора и большого поэта, которого, несмотря на разницу в убеждениях, всегда уважали и любили. Путинас приехал в Вильнюс с большой бородой, которая, по общему мнению, ему шла. Мы знали о его поведении во время оккупации, о его растерянности, метаниях, о не вышедшей из печати книги стихов, в которой были и антисоветские строфы. Нам хотелось, чтобы этот большой талант, искренний и все принимающий глубоко к сердцу человек, антифашистские стихи «Зима» которого дошли до нас в Москву, теперь, в вихре конца войны, не погиб бы напрасно, втянувшись в какие-либо антисоветские козни. Свою роль, по-видимому, сыграло дружеское письмо Корсакаса, посланное еще в конце августа в деревню, где жил Путинас, и его посещение Миколайтиса-Путинаса, а также и та теплая атмосфера, которой постарались окружить его мы, писатели, жившие в Вильнюсе и Каунасе. В первых числах ноября снова начал работу Вильнюсский университет, закрытый гитлеровцами. Историко-филологическим факультетом стал руководить профессор Йонас Вабалас-Гудайтис *, в числе его сотрудников оказался и Миколайтис-Путинас. Это, без сомнения, оказалось большой победой нашей возрождающейся национальной культуры. Свою квартиру на

улице Тауро Путинас нашел разграбленной и поселился по соседству, в бывшей квартире Креве. Здесь я не раз бывал у него в конце войны и в послевоенные годы и беседовал о делах, касающихся нашей культуры и литературы. Мы радовались тому, что видный писатель, вернувшийся в Вильнюс, приветствовал через газету «Тиеса» разрушенную, искалеченную, но поднявшуюся для новой жизни отчизну Литву:

Кормилица моя, отчизна,
Ты позвала меня —
Я — здесь,
Чтоб в жертву подвигу принесть
Рассвет, что над землею брызнул.
. . . .

И тех, кто в зареве огня
Идут сплоченными рядами
Дымящимися городами
Во имя завтрашнего дня,
И тех, кто прибыл к торжествам,
Исполнив боевые клятвы,
Тех, кто склонился к верстакам,
Тех, кто готовит праздник жатвы
Под нашим истощенным кровом, —
Я всех хочу прославить словом [1].

Это был искренний голос патриота, полный страдания и силы. В последующие годы, подвергнув искренней переоценке прошлое, судьбу нашей нации и ее перспективы на будущее, Миколайтис-Путинас, как известно, встал в ряды советской литературы и создал целый ряд значительных произведений. . .

НАШИ ЗАБОТЫ

Надо было как можно скорее восстановить разрушенное, разграбленное народное хозяйство. Поля были вытоптаны, потравлены танками и орудиями, скот вырезан, люди разбежались. Большие участки заминированы гитлеровцами. Добраться из одного крупного города в другой было нелегко, а небольшие местности можно было посетить только пешком или на военных машинах. В деревнях у людей еще были продукты, хотя,

[1] Перевод Ст. Куняева.

конечно, не всюду и не у всех. Зато в городах склады пустовали, пекарни были выведены из строя. Близилась зима, а в городах не было топлива. Кто-то заботился об этом, но любая мелочь превращалась в проблему. Оконного стекла не раздобудешь ни за какие деньги. (Ко мне заходил профессор Казимерас Грибаускас *, видный ботаник, он просил помочь раздобыть где-нибудь угля для теплиц ботанического сада. С великим трудом уголь мы где-то нашли, и даже во время первой, самой тяжелой, зимы сад не пострадал.)

И все-таки жизнь понемногу налаживалась. Партия и правительство прилагали неимоверные усилия, чтобы республика не только возродилась, но и посильно помогла окончательной победе, которая, как все чувствовали, была уже не за горами. В Литве еще гремели бои, когда было принято постановление о строительстве цементного завода в Науёйи Акмяне и целого ряда других предприятий. . .

Как грибы после дождя, несмотря на нехватку учителей и помещений, возникали школы — начальные и средние. Уже первой весной открылись оба университета — в Вильнюсе и Каунасе, — закрытые во время оккупации.

Я не был готов к преподавательской работе, но, поддавшись настойчивым уговорам, почувствовал, что не имею морального права отказаться преподавать в Каунасском университете. Вновь открылся историко-филологический факультет, деканом которого и заведующим кафедрой литовского языка и литературы пришлось стать мне.

Наш факультет, как я уже упоминал, обосновался в большом здании напротив Военного музея; там когда-то размещалось буржуазное министерство иностранных дел, а в советский 1940—1941 год — Центральный Комитет партии. Здание отлично распланировано, в нем не только много комнат для аудиторий, но и большой зал-амфитеатр, где можно читать лекции сразу большому числу студентов. Здесь же обосновалось и руководство университета во главе с профессором Антанасом Пуренасом.

Я участвовал в заседаниях, когда мандатная комиссия отсеивала кандидатов, прибывших на отдельные факультеты. Молодежи было очень много. Мы радовались,

что гитлеровцам не удалось переловить ее и мобилизовать или увезти на работы. Другое дело — подготовка этой молодежи. Во время оккупации, по-видимому, учеба в средних школах тоже разладилась, требования стали невысокими, и во время бесед с кандидатами в студенты и контрольных письменных работ мы удивлялись, сколь велик процент тех, у кого очень смутное понятие о различных научных дисциплинах. Будущие филологи не отличали Майрониса от Янониса, Цвирки от Скабейки *, ничего не знали ни о Жемайте, ни о Билюнасе. Не многим лучше знания были по всеобщей литературе и языкознанию. Поступающие делали элементарные орфографические ошибки, несли чепуху. Конечно, встречались и более образованные, но это было исключением...

Кто-то из мандатной комиссии придумал проэкзаменовать будущих студентов по политическим знаниям. Тут результаты оказались просто курьезными. Совсем было не удивительно, что, прожив несколько лет в условиях оккупации и гитлеровской пропаганды, многие совершенно не разбирались в политике Советского Союза. Но попадались и такие, кто не знал, где сейчас идет война, какие государства воюют... Казалось, они свалились с Марса или с другой планеты.

Трудно было понять причины такой отсталости. Наверное, в последнее время до деревень почти не доходила печать, мало кто слушал советское радио, у многих в голове перемешались все события и все понятия...

На второй или третий день на мандатную комиссию будущие студенты стали приходить с газетами в карманах, чтобы еще издали было видно, что они интересуются вопросами политики. По правде говоря, с каждым днем они действительно стали все лучше «разбираться» в политике... Все начали читать «Тарибу Лиетуву» и «Тиесу». Это было несколько комичным, но вместе с тем показывало, что воспитатели могут добиться многого, если последовательно будут идти к своей цели...

Собиралась старая, довоенная профессура. Лишь незначительная ее часть не вернулась в Каунас — вместе с гитлеровской армией откатилась на запад. Но поскольку почти вся профессура гуманитарного профиля оказалась в Вильнюсе, нам пришлось довольно трудно. Все-таки у нас начали работать такие видные ученые старого поколения, как Игнас Йонинас и Аугустинас Янулай-

тис *. Появились и новые энергичные преподаватели — Ричардас Миронас *, Алексис Хургинас, Мейле Лукшене *.

Я начал преподавать введение во всемирную литературу и литовскую литературу. Хотя этими предметами я интересовался много лет, прочитал не только всю литовскую литературу, но был неплохо знаком и с мировой, оказалось, что работать очень трудно. Много часов каждый день приходилось готовиться к лекциям, а лекций было достаточно. Я снова перечитывал десятки произведений, конспектировал... По новейшей литовской литературе не было учебников, которые можно было бы рекомендовать студентам. Я оказался под бременем тяжелых забот, потому что, как всегда, хотел и старался работать добросовестно...

Еще полбеды, если бы все начиналось и кончалось лекциями. Но непривычная работа декана и заведующего кафедрой, когда в университете вообще не было людей, знакомых со спецификой работы советского вуза, требовала неимоверно много времени и всевозможных усилий. Часть преподавателей тоже были новыми людьми, непривычными к преподаванию, а старые частенько читали лекции так, будто ничто не изменилось с довоенных лет... Все это требовало много сил. Поздно вечером я возвращался пешком во Фреду, валился на кровать, но не мог заснуть — донимали нескончаемые заботы...

Была осень, погода все ухудшалась, шоссе на Фреду превратилось в месиво. Непременно надо было перебираться в город. Удалось раздобыть трехкомнатную квартиру в центре, на улице Донелайтиса, напротив главного здания университета. В этом доме я когда-то жил в подвале (сейчас владельцы сбежали на Запад). С большим трудом я перевез из Вильнюса оставшуюся мебель. Другую мебель временно одолжила мне Центральная библиотека, в которой работали чуткие люди — Каролис Вайрас и Юозас Римантас. По правде говоря, я уже раньше получил в этой библиотеке пустовавшую комнату, где ночевал, задержавшись допоздна в городе.

Теперь появилось немного больше времени. Я мучался оттого, что работа в университете отнимала основную часть сил и на литературу не оставалось ничего... Нас, писателей, было не так уж много, а газеты выходили, вот-вот должны были появиться журналы, издательство

ожидало рукописей. Я готовил к печати стихи, написанные за войну. Заглавие для сборника придумал Пятрас Цвирка — «Там, где яблоня высокая».

Как-то невольно, в связи с работой в университете, у меня в руках снова появился «Евгений Онегин» Пушкина... Казалось, это произведение ничем не было связано с нашей эпохой, с настроениями еще не закончившейся войны, и, может быть, именно поэтому на сей раз оно привлекало к себе с непонятной силой. Я читал поэму по вечерам, управившись с делами, и строфы, наполненные красотой, остроумием, философской глубиной, восхищали меня. Случайно я взял лист бумаги и попытался перевести несколько строф четвертой главы. Серьезно переводить я не собирался (знал, что за эту сложную работу как-то брался талантливый Казис Бинкис). Я удивился: мне показалось, что строфы по-литовски прозвучали довольно непринужденно и естественно. Той же ночью я перевел еще несколько строф и наутро показал Цвирке.

— А знаешь, пожалуй, неплохо! А может, ты бы взял и перевел всего «Онегина»? Понимаешь, каким бы это было вкладом в нашу культуру!

— Понимать-то понимаю, но и работа адская...

— А все-таки попробуй...

— Но все будут удивляться, почему я в такое время...

— Для хорошего дела любое время подходяще... Валяй, братец!

Чувствую, что работа захватила меня целиком. Улучив свободную минуту, я не мог от нее оторваться. Строфы «Онегина» звучали в голове днем и ночью. Перед некоторыми я останавливался, как перед непреодолимым препятствием, и потом по-детски радовался, найдя приемлемое решение. Я упорно продвигался все дальше. Вскоре заметил, что моих сведений об изображаемой эпохе и реалиях романа маловато — надо почитать и статьи Белинского, и обширные комментарии Бродского, и многое другое. Переведенные фрагменты — письмо Татьяны, ее сон, а потом и другие — я читал Цвирке, Меркелису Рачкаускасу и, кажется, Алексису Хургинасу, спрашивал у них совета. Я чувствовал, то эта работа затянула меня...

Теперь, поселившись в центре города, я не мог жало-

ваться на отсутствие гостей. Ко мне ходили близкие друзья, знакомые и совсем незнакомые люди. Одни — чтоб поговорить на актуальные темы политики и будущего республики, другие — чтобы поспорить, доказать, что не советская власть, а они правы, третьи — пожаловаться, что трудно с топливом, с продуктами, что на карточки выдают плохие промтовары, а то и ничего не дают, словно во всем этом виновата не война, а я лично.

Пришли жена и дочь Витаутаса Монтвилы, скромные, робкие, все еще не пришедшие в себя после ужасов, которые они пережили, когда был арестован и расстрелян их муж и отец. До войны я с ними не был знаком, хотя и слышал от друзей, что у Витаутаса есть семья. Теперь эти женщины ждали от меня помощи. Оказалось, что Витаутас с женой, презирая буржуазные законы, не обвенчались в костеле; в советское время они тоже не расписались. И каунасские учреждения теперь не желали признать Монтвилене женой поэта, а дочь — дочерью. Кроме того, никто и не подумал чем-нибудь помочь обеим женщинам, когда вернулась власть, за которую Монтвила отдал жизнь. Несколько месяцев пришлось обивать пороги учреждений, искать свидетелей, составлять акты, пока наконец не было окончательно доказано, что правда — это правда и что Монтвилене — это Монтвилене...

Захаживал ко мне мой давнишний друг Казис Борута. Во время войны умерла его жена, старше его возрастом, женщина ласковая и добрая. Казис остался с дочуркой Эгле, чуть старше моего сына. До войны, в Вильнюсе, когда мы с Казисом жили в одном доме, Томас, играя с Эгле, научился от нее читать. Когда мы гуляли по городу, он с величайшим интересом читал вывески — «Парикмахерская», «Столовая», «Пекарня» — и номера автомашин. Теперь Казис заходил ко мне угрюмый, иногда под хмельком. Садился, уставившись в одну точку покрасневшими глазами на измученном, небритом лице, и повторял:

— Надоела мне такая жизнь... Дом нужен... понимаешь, дом...

Понемногу я начал осознавать, что ему не хватает семейного очага. Он дружил с младшей сестрой М. К. Чюрлёниса Ядвигой. Наконец, появившись у меня однажды, он сказал, что ему нужна не только жена и подруга, но и мать для Эгле и что он уже женился...

Казис иногда рассказывал о своей жизни в Вильнюсе во время оккупации. Мне трудно было представить себе эту жизнь, потому что рассказ обычно бывал бессвязный. Казису самому часто приходилось скрываться от гестапо и прятать других. Но он все-таки работал и написал фольклорную повесть «Мельница Балтарагиса», для которой художник Йонас Кузминскис уже сделал гравюры. Книга вышла сразу же после войны, в 1945 году.

Некоторые взгляды Казиса меня удивляли. Всей душой ненавидя немецкий фашизм, он теперь выражал неясные сомнения в советской власти, особенно в ее национальной и культурной политике. Я часто спорил с ним, доказывал, что мы как нация в существующих условиях можем сохраниться и развивать свою культуру только в Советской Литве. Я рассказывал, какое внимание нашей литературе и культуре оказывали русские интеллигенты даже в труднейших условиях войны. Казис принимался рассуждать об истории нашей культуры, и я диву давался, как странно он ее иногда понимает. Переубедить его было нелегко. Он говорил о границах древней Литвы, и его никак нельзя было убедить в том, что сейчас бороться за их восстановление — и нереально и неумно. Он мечтал провести границу Литвы где-то в тридцати километрах от Варшавы и присоединить Кенигсберг к Литве. . .

Когда Красная Армия сражалась уже на территории Германии, взволнованный Казис прибежал ко мне:

— Ты слышал, Турция объявила войну. . .

— Кому? — удивился я.

— Советскому Союзу. Ты понимаешь, что теперь может быть?

Я рассмеялся.

— Когда-то она могла нам объявить войну. . . Но только не теперь. Если и объявила, то разве что Германии.

Казис так и ушел со своим мнением. Конечно, еще в тот же день выяснилось, что это кем-то пущенный слушок. Таких, «заблуждавшихся», было немало. Мне стало казаться, что и Казиса, и некоторых других наших интеллигентов кто-то нарочно вводит в заблуждение, старается забить им голову всякой чепухой. . . Видно, действует какое-то антисоветское подполье, где фабрикуют слухи о мнимых контратаках гитлеровцев, о планах Аме-

рики и Англии в отношении Прибалтики, и даже прогрессивная интеллигенция не всегда в состоянии различить, где правда, а где ложь.

Частым моим гостем бывал и Казис Якубенас. Раньше, до войны, мы встречались от случая к случаю и почти никогда не говорили по душам. Правда, несколько раз мы участвовали в совместных литературных вечерах, но чаще всего я слышал о нем от других, в основном от Боруты, который любил его как брата или сына. Теперь поэт рассказывал о разных эпизодах оккупации, когда он скрывался в Алитусе и других местах, и радовался, что кончилось немецкое рабство. Иногда меня удивляло и даже возмущало то, что он, как бы не оценивая по достоинству великого подвига Красной Армии, излагал мне какие-то подленькие подробности, услышанные от мещан, которые в отрицательном свете изображали армию-победительницу. Один поэт даже стихи написал о том, как красноармеец у кого-то забрал часы; эти стихи он читал на литературных вечерах, вызывая восторг мещан и националистов. Якубенас, вообще-то тихий и скромный парень, иногда, если затронуть волнующий вопрос, по которому у него было свое мнение, становился раздражительным и даже злым. При встречах с любым руководящим товарищем он откровенно излагал все, что ему было не по душе. Как-то я был свидетелем того, как Якубенас в Вильнюсе, сидя за одним столом с Юстасом Палецкисом, принялся критиковать советскую политику. Долго, внимательно и терпеливо слушал Палецкис поэта, а потом сказал:

— Знаешь, Казис, ты, видно, лучше всего разбираешься в том, как устроить мир. Время у тебя есть, садись за стол и изложи свои теории хоть в двух томах... Некоторыми предложениями, пожалуй, и воспользуемся...

Другие, вспомнив, что Якубенас был эсером, называли его ершом и серьезно к его разговорам не относились. Мол, такие люди, как он или Казис Борута, вечно находятся в оппозиции к любой власти...

Несколько раз заходила ко мне вдова знаменитого художника София Чюрлёнене-Кимантайте, моя бывшая преподавательница в университете. Она жаловалась на недомогания, на повышенное давление, которое мешает ей работать. С возмущением рассказывала о порядках во время немецкой оккупации, о преследованиях евреев

(потом я узнал, что она сама спасала евреев), о незавидном поведении некоторых литовских интеллигентов. Просила помочь ей в том или ином вопросе — немолодой женщине нелегко было устраивать свой быт. Какое-то московское учреждение, кажется Художественный фонд, выделило ей денежную помощь (как вдове художника, оказавшейся в затруднительном материальном положении). Она обрадовалась, когда я ей сказал, что еще до войны прогрессивная общественность высоко расценивала ее антиклерикальную повесть «Швентмаре». Сейчас София Чюрлёнене писала большую повесть из времен запрета литовской печати, но болезнь мешала ей работать... Было приятно, что эта просвещенная женщина не уехала в конце войны из Литвы, — на чужбине ее ждала бы нелегкая жизнь...

Пятраса Цвирку я видел, пожалуй, каждый день. Кажется, только что говорил с ним, а вот он уже, не попрощавшись, мчится в Вильнюс и неожиданно возвращается, с каким-то объявившимся в Каунасе русским писателем едет в Клангяй, чтобы гость познакомился с литовской деревней. Иногда гостей он привозит во Фреду. Таким образом в конце войны во Фреде побывал Александр Твардовский, один из виднейших советских графиков Орест Верейский и другие. Как всегда, Цвирка очень быстро сходился с новыми людьми и заводил дружбу. Из Москвы в Каунас вернулась и его жена Марите.

С Пятрасом, как обычно, мы много беседовали о литературе, бегали по учреждениям, устраивали неотложные проблемы с квартирами, топливом и другими необходимыми для каунасских писателей вещами. Пятрас мечтал засесть за большую работу, может быть — за роман. Но время для этого было очень уж не подходящим. Каждый день мы ловили вести с фронтов, следили за мировыми событиями, гадали о дальнейшем ходе войны, а между тем нас заедали тучи мелких, надоедливых, трудных дел, которые поглощали основную часть времени и энергии.

Пятрас наконец обосновался в Каунасе, на улице Траку. Как и я, почти каждую неделю он ездил в Вильнюс — на всевозможные заседания и совещания, которых было уйма и на которых никто без нас не хотел ничего решать. В Вильнюсе гостиницы все еще стояли без стекол, была осень, ветер, дожди, поэтому мы ночевали чаще всего у

своих друзей. Мы встречали все больше знакомых и приятелей, которые позднее нас вернулись из эвакуации.

Заходила ко мне и Саломея Нерис. В ее жизни бед и неурядиц было ничуть не меньше, чем в жизни другого человека в эти дни. Но поэтесса и в это трудное время писала и публиковалась в каунасской и вильнюсской печати. Она мечтала о исторической поэме большого объема; ее привлекала тема Маргириса *, и она часто сидела в Центральной библиотеке в поисках нужного материала.

ОКРОВАВЛЕННАЯ СУДУВА

Моя родная южная Литва — Судува — была освобождена. Но только в ноябре подвернулся случай съездить туда, где я рос, учился, в те места, с которыми связаны самые милые сердцу и самые тяжелые воспоминания моего детства и юности. . . Я знал, что в Судуве во время этой, как и предыдущей, мировой войны шли тяжелые бои, что многое здесь разрушено и уничтожено. Мариямполе в ту войну все-таки уцелел; эта война стерла город с лица земли. Но пусть говорят об этом мои записи, сделанные по горячим следам. . .

. . .Родные места волнуют и привлекают. Идут годы, ты видишь далекие государства, высокие горы, грохочущие города и широкие моря, но в твоем сердце всегда остается глубокое чувство любви, привязанности и благодарности к соломенной стрехе, убогой деревушке, селу, первому большому городу. Кажется, в них есть что-то особенное, что можешь почувствовать и пережить только ты и те, кто рос вместе с тобой. В родных полях и ромашка иначе пахнет и чабрец иначе цветет. Даже у плодов родного сада особенный вкус и запах, а хлеб в родной избе самый вкусный.

И когда после долгой разлуки возвращаешься под родное небо, сердце переполняет блаженство, — кажется, ты вернулся в свою молодость, как легендарный Фауст, которому, единственному из живых, была уготована такая судьба.

Но не каждое возвращение домой приятно. И это чувство тоски и счастья, такое естественное после четырехлетнего отсутствия, вскоре оборачивается горем, когда видишь, что́ за эти годы осталось от любимых мест,

которые ты часто-часто упоминал в разговорах с друзьями, о которых мечтал бессонными ночами, в вихре затяжной и тяжелой войны.

В осеннем тумане мы подъезжали к Мариямполе. Оживленный культурный центр, полный молодежи, когда-то был одним из самых красивых городов Литвы. Приятно было в нем жить и учиться. Каждый гимназист здесь знал, что прошлое Мариямполе недавнее, но славное. Здесь когда-то учились Йонас Басанавичюс, Винцас Кудирка, Йонас Яблонскис *, Пранас Вайчайтис *. Здесь некоторое время жила и умерла Жемайте. И образы этих людей многих вдохновляли на подвиг. Здесь действовали революционеры 1905 года. Здесь крестьяне сражались против буржуазной власти. . . Тихие мариямпольские улицы пахли травой, городской рынок благоухал медом и яблоками, привезенными из обильных и плодородных садов Судувы. В зеленом парке, полном воздуха и солнца, молодежь отдыхала, мечтала, писала стихи. Река Шешупе омывала тихие берега, и красивые здания уходили далеко от старой черты города, захватывая новые районы. Город рос, благоустраивался, богател.

Я знал, что Мариямполе разрушен во время войны. Но никогда не думал, что этот красивый город будет так жестоко, бессмысленно изуродован. Центральная улица, Костельная и другие улицы были превращены в груду развалин еще тогда, когда в 1941 году гитлеровцы рвались в Литву. Первой военной ночью мариямпольцы проснулись, разбуженные глухим ревом немецких самолетов и ужасающим грохотом бомб. Даже детям было известно, что в центре Мариямполе нет никаких военных объектов. Тем более гитлеровская разведка не могла не знать, где что расположено в пограничном городе. Но гитлеровские убийцы безжалостно разрушали города, построенные трудом и пóтом целых поколений. Берет грусть, когда идешь мимо руин, уже поросших травой. Ведь ты не раз гулял по этим улицам, насыщенным светом и настроением мирного труда, жил вот здесь, где торчит обгоревшая стена, вот и окно там было, где теперь зияет провал, и дверь, и лестница, по которой поднимался в свою комнату, вернувшись после трудового дня. А вот и парк, где родились первые твои замыслы и мечты, — он загажен, вырублен, изрыт немецкими окопами. . .

Люди. . . Их не стало. . . Твои друзья, с которыми при-

ятно бывало встретиться после долгой разлуки, повспоминать счастливые школьные дни, одни убиты, другие рассеяны военной бурей. Город пустынен и мертв. В него вернулась законная власть, советская власть. Но какое тяжелое бремя легло на ее плечи! Ведь придется восстановить каждый дом, каждую улицу, каждую сожженную или взорванную фабрику.

Город, в котором были живы гуманистические идеи Басанавичюса и Кудирки, три года оккупации провел под покровом ночи, какой не видели ни наши отцы, ни праотцы. Я не знаю, сколько жителей города и уезда уничтожили и увезли на каторгу озверевшие фашисты. Во всяком случае, не менее нескольких десятков тысяч. Могилы невинных граждан простираются рядом с Мариямпольской тюрьмой, где каждую ночь раздавались выстрелы палачей. Но глубокие рвы, наполненные трупами, пролегли в другом месте — за казармой, у высоких обрывов Шешупе, где уже во время прошлой войны палачи кайзера расстреливали своих жертв.

Старый житель Мариямполе Пранас Гринцявичюс, три с лишним года проведший в тюрьмах и лагерях и сбежавший на волю только в июле 1944 года, несмотря на усталость и пошатнувшееся здоровье, сегодня одним из первых стал работать. Этот человек, сам перенесший ад унижения, сейчас стал председателем Особой комиссии по расследованию зверств и разрушений оккупантов в Мариямпольском уезде.

— Может, вам интересно узнать, как хозяйничали у нас нацисты, — сказал он с печальной улыбкой и протянул мне целую кипу актов и протоколов. — Обо всем этом должна знать Литва, должны знать не только мы, но и дети наших детей.

Я не хочу излагать своими словами содержание актов и заявлений. Пусть говорит точный, суровый и сухой язык фактов.

Акт, подписанный целым рядом хорошо известных в Мариямполе людей — инженерами, агрономами, врачами, ксендзом, учителем, — составлен 6 октября 1944 года.

«Поскольку массовые убийства, организованные и проведенные немцами 1 сентября 1941 года и в другие дни в районе Мариямпольских казарм, хорошо известны и памятны жителям города, комиссия немедленно отправилась на место убийств для установления фактов. На

месте были обнаружены совершенно отчетливые следы рвов: на других участках бывшего стрельбища хорошо видны впадины шириной в 3 метра и длиной в 70 м на месте 8 рвов; они заросли более сочной травой таким образом, что составляют восемь ярких зеленых полос на берегу Шешупе. Комиссия установила, что сохранилось довольно много свидетелей происходившего: несколько сотен насильно согнанных для рытья рвов человек, несколько десятков строителей, каменщиков, работавших в то время в казарме, и несколько десятков посторонних людей, тайком наблюдавших за происходящим, видевших расстрелы из-за заборов, с крыш домов и возвышенностей. Поскольку доставка смертников производилась открыто, а звуки выстрелов (частично также и крики убиваемых) были слышны издали, то свидетелями случившегося становится весь город Мариямполе с его окрестностями.

Основываясь на собственных (с осмотра местности) и полученных от свидетелей данных, комиссия установила, что 1 сентября 1941 года и в позднейшие дни, по приказу немецких должностных лиц, на откосе у Мариямпольских городских казарм, упирающихся в излучину Шешупе, было убито примерно 7—8 тысяч человек еврейской национальности и примерно тысяча людей других национальностей, доставленных из Мариямполе и уезда. Комиссия установила, что рвы копали насильно согнанные люди, облавы проводили назначенные немцами полицейские или продавшиеся немцам лица, но отдавали приказы и показывали пример немцы. Основным охранением (последнее оцепление места казни) была немецкая жандармерия местной немецкой комендатуры. Убийства на месте инструктировали и командовали ими также немцы.

Комиссия, основываясь на показаниях свидетелей, установила, что казнь проводилась с невиданной жестокостью. Смертников укладывали ничком в рвы, а затем расстреливали с края рва из автоматов и присыпали слоем земли толщиной в две лопаты над каждым рядом. Убийства тянулись с 10 часов утра до 14 часов пополудни; вначале были расстреляны мужчины, потом женщины, дети, больные. В рвы смертников загоняли после предварительного обыска; их оставляли лишь с одеждой, прикрывающей половые признаки. Пополудни, когда унич-

тожали женщин и детей, уже не было ни желания, ни возможности блюсти порядок убийств, установленный немцами: людей просто сталкивали на окровавленный ряд тел и заступами, а также прикладами размозжали головы младенцам. Страдания убиваемых перед рвами, в рвах и во время суточного ожидания в переполненных казарменных конюшнях были ужасающими: большая их часть оказалась охваченной поразительной апатией и послушанием, своеобразным душевным обмороком и крайним отчаянием. Комиссия установила также, что поскольку убийцы большей частью были пьяны, примерно треть смертников попадала в рвы в обморочном состоянии, живыми или только тяжело раненными. Многие младенцы попадали в рвы живыми. Живыми их топтали в рвах сапоги немецких убийц, живыми их и накрыла земля. По показаниям свидетелей, ёмкость всех восьми рвов была примерно одинаковой».

Четыре жителя Мариямполе — З. Швирмицкене, К. Вашкялис, К. Бартушка и А. Бартушка, свидетели страшных убийств, в своем заявлении говорят:

«Перед десятью часами, по приказу немцев, бывший старшина Гиржада дал свисток, и должны были раздеться как мужчины, так и женщины. После обыска сперва начали выгонять из конюшен мужчин в колоннах примерно по 300 человек вниз, к выкопанным рвам, и велели лечь ничком. Стоя на краю, холуи Гитлера, вооруженные винтовками, автоматами и другим оружием, принялись расстреливать лежащих людей. Начальник гестапо прыгнул в яму вместе с другими палачами и топтал сапогами стонущих и умирающих людей. Выстрелы, крики умирающих и ругань палачей сводили с ума согнанных на работы рабочих, которые ждали такой же участи.

Когда затихли стоны, был дан приказ забросать тела землей. Земля пропиталась кровью. Тотчас же укладывали вторую партию наверх и снова расстреливали, — так рядами, одних на других, пока не заполнили весь канал.

Убийцы трудились вовсю: их ноги и руки были в крови, они не переставая кричали, как сумасшедшие, шатались. Остался непочатым только восьмой ров, который позднее заполнили почти одними литовцами, доставленными из Мариямпольской и других тюрем.

После страшных убийств «герои» 1 сентября устроили пирушку в бывшей столовой Климайте, где они ог-

мывали руки и одежду, запачканную кровью невинных людей, водой, а совесть и рассудок (если у них они еще имелись) — водкой и пивом», — заканчивают свидетели.

Мариямпольский рабочий И. Максимов, которого вместе с другими мариямпольцами пригнали, чтобы закопать могилы, в своем заявлении дает такие жуткие подробности убийств:

«Когда мы начали копать рвы, прибыл немецкий комендант в сопровождении своей свиты и мариямпольского окружного советника Гоштаутаса, поставленного немцами. В коротких речах они доказывали согнанным сюда рабочим, почему следует расстреливать евреев. Вскоре, примерно в 10 часов, раздался свисток, и с пригорка начали спускаться к Шешупе обреченные. Молодые мужчины от казарменных конюшен спускались строем совершенно голыми. Когда гнали также полуголых женщин, детей и стариков, строй, конечно, распался. Людей избивали всем, что попадалось под руку. Мужчин гнали отрядами по 200—300 человек, женщин и детей — по 300—400. С пригорка они спускались с криками, стонами, как бы что-то напевая. Вокруг берегов Шешупе выстроились два ряда охраны. Последний ряд состоял из немецкой жандармерии с ручными пулеметами. Расстрел проводился с края рвов. Смертники сами должны были лечь ничком в ров. Позднее, когда послушание убиваемых нарушилось, смертников силой сталкивали в рвы, и сверху, под командованием немецких штурмовиков, их убивали из автоматов. Большей частью применялись разрывные пули, но добрая треть, если не половина, смертников были завалены землей еще с признаками жизни. Директор государственной торговли города Мариямполе Субоцкис, лежа под слоем земли с простреленной грудью, приподнялся на руках из-под земли и попросил прикончить его, не хоронить заживо. Поскольку убийцы были больше или меньше пьяны, то неточные выстрелы убивали лишь часть погребенных. Больных и слабоумных просто сваливали живьем на расстрелянных, раненых и били заступами так, что от удара по голове летели в стороны мозг и глаза. По сваленным в ров живым, мертвым и умирающим палачи ходили, топтали их сапогами.

Поначалу соблюдался порядок: в ров укладывали два-три ряда убитых, каждый ряд засыпали землей. Но

когда дошли до страшно кричащих женщин и детей, тех сваливали просто кучами, едва присыпав сверху землей. Кричали как стоящие на краю, так и зарываемые. Земля еще долго колыхалась — это задыхались и страдали живые. Земля волновалась и на следующий день, когда согнали людей привести в порядок рвы.

То, что я пережил в тот страшный день, нельзя забыть: все еще стоят перед глазами убийцы, которые отмывали водой, привезенной пожарниками, забрызганные кровью лица, одежду и руки».

Недалек тот день, когда в Берлине будет развеваться Знамя Победы свободных народов. Победившие нации посадят на скамью подсудимых самых матерых убийц. Ни один из них не избежит заслуженного возмездия. Тогда будет воздано и за руины Мариямполе и за кровь невинных людей, пролитую на берегах тихой Шешупе.

А советский город Мариямполе поднимется из руин для новой жизни, к труду, науке и искусству, верный старым гуманистическим традициям, которые когда-то родились в стенах здешних школ и распространились по всей Литве.

После Мариямполе не многим лучше выглядела и Калвария. . . Этот красивый городок, перед первой мировой войной даже уездный центр, превратился в развалины. Старожилы рассказывали о зверствах гитлеровцев и литовских националистов — недалеко от озера Ория и в других местах в начале войны было убито много советских активистов и евреев. Я съездил к сестре Аготеле в деревню Салапяраугис, к югу от Калварии. Поля изрезаны окопами недавних боев, люди радуются, если уцелели их усадьбы и есть кусок хлеба. После радостной встречи сестра с плачем начала рассказывать о своих несчастьях. . . Хутор ограблен, вещи растащены. . .

Я хотел заглянуть к другой сестре, в деревню Рекетия, но меня предупредили, что поля и местами дорога заминированы немцами. Люди рассказывали о несчастьях — ранениях и даже гибели от мин. (Позднее сын сестры Констанции был тяжело ранен миной.)

Я добрался до Любаваса. От него почти ничего не осталось. По городку бродят несколько человек — голодные, в лохмотьях. . . В деревне Тремпиняй изба, в которой

я рос, сожжена огнем войны, другие строения полуразрушены. Семья брата ютилась в холодном и грязном сарае, пристроенном к клети. Увидев меня, люди плакали и рассказывали о страшных годах войны. . . Я узнал, что брат Пиют с семьей с приближением фронта оказался у сестры, потом отступил вместе с фронтом на запад. . .

Я вернулся из поездки подавленным, убедившись воочию в несчастьях и тяжелых переживаниях близких людей. . . Мои слова утешения, разговоры о том, что будет лучше, не действовали на них. Жизнь была искалечена, растоптана, сломана, дома ограблены или даже уничтожены. Увы, я ничем не мог им помочь. . .

Когда же я увижу этих людей снова веселыми, счастливыми, забывшими военные невзгоды? Настанет ли когда-нибудь такое время? В широком море людских страданий, в котором все оказались, иногда очень трудно сохранить веру в лучшее завтра. Люди слабо понимали, что происходит вокруг, и радовались только тому, что после всех бед и несчастий они снова, словно букашки после бури, крепко держатся, прильнув к матери-земле, которая никогда еще не обманывала бедного крестьянина. . .

ПОКИНУВШИЕ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

Осень выдалась угрюмой и мрачной. Гитлеровцы все еще держались в Клайпеде. Знакомые, приехавшие из Шяуляй и других городов, рассказывали тоже невеселые истории. Множество зданий школ, сельскохозяйственную Академию в Дотнуве гитлеровцы взорвали перед отступлением. Куда ни пойдешь, с кем ни встретишься — всюду слышишь только про несчастья, трагедии, бессмысленную гибель, про раненых, изувеченных, разлученных войной. . .

Литва потеряла много населения (позднее было подсчитано — примерно пятьсот тысяч человек) — на фронтах, в партизанских отрядах, павших от пули гитлеровцев и «своих» палачей. Кроме того, на территории Литвы было уничтожено примерно двести тысяч военнопленных красноармейцев. Теперь, когда почти вся ее территория оказалась по нашу сторону фронта, выяснилась еще одна трагическая вещь — вместе с гитлеровцами на запад откатилось примерно три десятка тысяч человек, в подавляющем большинстве интеллигентов. Среди убе-

жавших были и военные преступники — расстреливавшие людей, сотрудничавшие с гитлеровцами, политиканы, тем или иным образом помогавшие оккупантам, профашистские и клерикальные журналисты, издававшие антисоветский «Литовский архив»... Не было жалко ярых врагов своей нации. Они знали, что творят, и знали, что их ждет. Но Литву оставили и люди, не сделавшие никому ничего дурного, — они поддались пропаганде, панике перед приближением фронта или просто были угнаны отступавшими немцами. Это были крестьяне, рабочие, интеллигенты, в том числе писатели, художники, актеры, ученые — люди, много лет трудившиеся на благо нашей культуры, иногда даже не враждебные советскому строю, честно работавшие в 1940—1941 годы.

Всем нам было очень жалко Винцаса Креве-Мицкявичюса. Немолодой уже и не особенно крепкого здоровья человек, виднейший писатель, ученый, первый президент Академии наук, депутат Верховного Совета СССР, живший в начале войны где-то за городом (кажется, в Панемуне), не успел эвакуироваться. Воспользовавшись тем, что жена писателя была еврейкой (без сомнения, и тем, что он был членом Народного правительства), литовские фашисты запугали его и, получив от него антисоветское заявление, опубликовали в своем лживом сборнике «Литовский архив». Таким образом им удалось скомпрометировать одного из виднейших представителей нашей нации. Как известно, в конце войны Креве-Мицкявичюс оказался за границей. Умер он в нищете в Соединенных Штатах Америки. Но я рад, что его многочисленным и ценным литературным наследием пользуются поколения читателей Советской Литвы, и наша общественность дорожит его памятью.

В Литве мы не застали всех трех братьев Биржишек — Миколаса, Вацловаса * и Виктораса *. Эти братья-профессора были известны, как ученые, а Миколас, в прошлом социал-демократ, и как председатель Союза по освобождению Вильнюса. Миколас Биржишка издал немало трудов из области фольклора (песенного) и истории литовской литературы. Его близкие знакомые рассказывали, что профессор весь свой век мечтал стать президентом буржуазной Литвы. Когда Гитлер оккупировал Литву, Биржишке, быть может, почудилось, что повторится 1918—1919 годы и события, выбросив его на

поверхность, наконец посадят в кресло президента. Он стал сотрудничать с гитлеровцами, участвовал в созванном ими «съезде» в Каунасе, приветствовал Гитлера, а его зять, С. Жакявичюс, стал одним из самых ревностных пособников оккупантов в удушении литовского народа и истреблении евреев. Зная обо всем этом, мы не удивились, что этот бесхребетный социал-демократ бежал с немцами вместе со своим зятем. Но нас удивило бегство Вацловаса Биржишки. Вацловас Биржишка, когда-то нарком просвещения первой Советской Литвы 1919 года, позднее каунасский профессор и директор университетской библиотеки, был прогрессивным интеллигентом. Он прославился своими огромными трудами по библиографии, которые никогда не потеряют своей ценности. Очень демократичный, простой и душевный в быту, он любил прогрессивное юношество и не раз помогал ему. В Соединенных Штатах Америки Вацловас Биржишка, в далеком прошлом член советского правительства в Литве, по-видимому, оказался в неловком положении, и как-то неприятно было читать напраслину, которую он возводил сам на себя позднее в эмигрантской энциклопедии, доказывая, что в то время он был двурушником и на самом деле служил буржуазии... Викторас из всех трех братьев был наименее популярным, его знали в основном только коллеги — математики и физики. Сейчас все трое уже умерли, хотя Миколас в своих злобных националистических статьях все время грозился вернуться в Литву... Надеждам Миколаса Биржишки, как и русских эмигрантов, оказавшихся за рубежом после Октябрьской революции, не дано было свершиться.

Мне было жалко, когда я узнал, что Литву покинул один из лучших драматических актеров — Генрикас Качинскас *. Я не знаю причин и обстоятельств его бегства, но до сих пор не могу забыть этого тонкого актера удивительной силы и широчайшего диапазона, имя которого не вычеркнуть из истории нашего театра. Уехал и его брат, талантливый композитор Иеронимас Качинскас.

Не было и видного поэта Фаустаса Кирши. Я не удивился, что Литву оставил Бернардас Бразджёнис, особенно после того, как прочитал его антисоветские стихи, опубликованные во время оккупации... С Советской Литвой ему было не по пути. Но было странно, что из Литвы уехали солистки Владислава Григайтене и Винце

Йонушкайте, драматические актрисы Але Жалинкявичайте и Неле Василюте (они позднее вернулись и по сей день живут в Вильнюсе). Еще более удивлял отъезд прогрессивных поэтов — Юозаса Круминаса * и Антанаса Рукаса (правда, запуганные коллаборационистами, они во время оккупации стряпали и антисоветскую продукцию). Не было с нами поэта, мастера формы, ни к чему плохому не причастного человека Генрикаса Радаускаса. Я не буду перечислять других писателей, которые оказались за границей еще до войны и не вернулись в Литву из-за своих политических взглядов или растерянности... В рядах эмигрантов оказались живописцы Адомас Гальдикас и Викторас Визгирда *, кроме того, удивительный график, первый иллюстратор «Времен года» Донелайтиса Витаутас К. Йонинас *, не считая целого ряда менее известных художников. Нет сомнения, если бы они остались в Литве, они бы обогатили наше искусство многими прекрасными произведениями.

Из числа ученых мы хватились языковедов Пранаса Скарджюса, Антанаса Салиса *, молодого лингвиста Пятраса Йоникаса. Эти способные и трудолюбивые ученые принесли бы после войны огромную пользу в области исследования родного языка и в подготовке новых кадров языковедов. Оказавшись за границей, они не могут широко применить свои знания, а наши литовские языковеды, справившись с огромными трудностями, сами выросли в крупных специалистов, выступают со зрелыми и ценными научными трудами.

Так или иначе, с уходом этих людей наша культура понесла еще одну потерю, которая была восполнена новыми людьми лишь спустя много лет... Без всякого сомнения, останься упомянутые и не упомянутые здесь люди умственного труда в Советской Литве, отдай они свои знания, талант, энергию разрушенной войной родине, ее культуре, — сейчас они бы чувствовали всеобщую благодарность и любовь нашего народа. Очень жаль, что некоторые из этих людей, оказавшись за рубежом в трудном моральном и материальном положении, иногда занимались антисоветской деятельностью и этим нанесли урон своей родине, решившей пойти новым путем. Будущее окончательно выяснит эти вопросы и найдет истинных виновников.

ПЕРЕД КОНЦОМ ВОЙНЫ

Несмотря на всю занятость в университете, я довольно часто бывал на промышленных предприятиях и в научных учреждениях. Большинство каунасских фабрик взорвали гитлеровцы, другие не работали из-за отсутствия электроэнергии и сырья. Я отчетливо помню встречу с рабочими в Петрашюнай, на бумажной фабрике. Я говорил со сцены какого-то клуба об Отечественной войне, о лишениях, которые вынесла наша страна, об освобождении Литвы, о зверствах гитлеровцев, наконец — о необходимости «добить фашистского зверя в его собственном логове», как писали тогда газеты, и о задаче как можно скорее пустить уцелевшие предприятия. Несколько десятков рабочих, собравшихся в клубе, слушали меня молча, мрачно, сосредоточенно. Ни разу не прервали меня, но и не аплодировали — даже когда я окончил речь, — лишь некоторые из них пару раз хлопнули в ладоши. Когда я спросил, есть ли вопросы, они тоже помолчали и лишь потом начали поднимать руки.

— Почему так мало хлеба дают? — спросил один из них, и все оживились.

— А немцы не вернутся? — спросил второй, и все переглянулись.

— А как мы пустим фабрику, — сказал третий, — если немцы увезли все моторы, да если бы и были моторы, то все равно нет тока?..

Трудно было ответить что-нибудь конкретное, особенно на последний вопрос. Эти люди смотрели на меня таким взглядом, что я чувствовал — только из вежливости сдерживаются они и не говорят: «О чем ты нам тут толкуешь? Если б мы могли пустить фабрику в работу, неужто бы сидели здесь и тебя слушали?»

Тяжело бывало после таких встреч.

Примерно так же реагировали и крестьяне, когда я встретился с ними в школе городка Румшишкес. Но все-таки нашлись и такие, которые сами заговорили о том, что советская власть — это их власть и что надо помочь армии хлебом и мясом. Новый, радующий голос...

Довольно часто я встречался с учениками средних школ Каунаса. Они с глубоким вниманием слушали рас-

сказы о подвигах Красной Армии и Литовской дивизии. Все интересовались ходом войны, хотя, по-видимому, многое понимали по-своему. В откровенных разговорах я выяснял, что многие дети за войну сами навидались всякого, слышали о зверствах. Некоторые лишились братьев или отцов, — одни были в Красной Армии, другие, быть может, в Германии, третьи пропали без вести. Ученики охотно слушали стихи о войне, о тоске по родине, и подвигах Красной Армии.

Оживала и культурная жизнь Каунаса. Уже действовал Театр оперы и балета. В нем снова шли «Гражина», «Травиата», «Евгений Онегин», «То́ска», балет Ю. Пакальниса «Невеста». В начале декабря в театре торжественно отметили юбилей Крылова. В концерте участвовали лучшие артисты драмы и оперы. Театр был переполнен — все истосковались по таким вечерам.

Я был назначен руководителем Каунасского отделения Союза писателей, и на меня теперь свалились дополнительные обязанности. В первых наших встречах участвовали Пятрас Цвирка, Саломея Нерис, Казис Якубенас, Валис Драздаускас (тогдашний главный редактор Государственного издательства), Каролис Вайрас, София Чюрлёнене-Кимантайте, Адомас Ластас, Антанас Мишкинис, Алексис Хургинас... Как видим, многочисленный отряд талантливых людей. Но они сильно отличались друг от друга своими взглядами. А в настоящее время было нужно, чтобы писательское слово было ясным и целенаправленным, чтобы оно слышалось везде — в печати и с трибун. От идейных и творческих вопросов мы невольно переходили к бытовым — к всевозможным карточкам и ордерам, которые тогда занимали очень большое место в жизни каждого...

Мы все еще ощущали острый книжный голод. Типографии работали из рук вон плохо, печатали только газеты, из книг до конца 1944 года вышли считанные единицы. Мы с Цвиркой били тревогу в каунасской печати, ездили в Вильнюс, в Центральный Комитет. Но вообще-то дела улучшались. Довольно быстро был приведен в порядок разрушенный немцами водопровод, и город снова получил воду, а с прибытием энергопоезда появилась и электроэнергия.

Понемногу стало выясняться, что политическое положение в Литве становится все более напряженным и

сложным. Многие убийцы и коллаборационисты не успели или не пожелали сбежать с немцами. Теперь им не оставалось иного выхода, как скрываться в лесах и землянках по глухим деревням, у лесов и болот. Часть из них, без всякого сомнения, сознательно оставили немцы, чтобы они вредили советской власти, подстрекали против нее население и мешали восстановлению жизни. К ним примкнули и введенные в заблуждение люди.

Сбежавшие литовские националисты, увидев, что их хозяева терпят поражение, перешли в услужение к другим империалистическим государствам. По радио и другими способами поддерживая связь с бандитами, укрывающимися в лесах и землянках (вскоре на деле выяснилось, что это не идейные борцы, а заурядные бандиты), они твердили, что вот-вот возникнет новая война — между Советским Союзом и Англией и Америкой; главное — продержаться до того дня, а потом, когда придут «освободители», можно будет героями выйти из укрытия. Бандитское движение, направленное в основном против тех жителей Литвы, которые поддерживали советскую власть, было страшным. Озверевшие «борцы за свободу Литвы» убивали мужчин, женщин и детей, пытали их за то, что они взяли у кулаков землю, помогли чем-то Красной Армии, за то, что кто-нибудь из членов семьи тем или иным образом поддерживал советскую власть, — например работал председателем волисполкома или старостой... Бандиты полосовали ножами спины жертв, выжигали на лбу пятиконечные звезды, взрывали на дорогах грузовики, стреляли из засады...

Война подходила к концу, но длилась яростная классовая борьба, в которой в смертельной схватке столкнулись два фронта — советский и буржуазный. Вожаками бандитов стали бывшие офицеры буржуазной армии, полицейские, сотрудники охранки, раньше убивавшие «братьев литовцев» совместно с гитлеровским гестапо. Когда позднее, после войны, я ездил по Дайнаве, в Меркине мне рассказали, что советские народные защитники подстрелили немецкого офицера, который остался после отступления гитлеровцев. Этот немец, неплохо овладевший литовским языком, перед выборами в Верховный Совет СССР отбирал вместе со своими подручными у людей паспорта, чтобы те не могли голосовать «за большевиков». После ранения в живот ему оказали медицинскую

помощь, усадили на сани, и он показал народным защитникам место, где было спрятано примерно триста паспортов. Он показал и большой склад оружия, оставленный немцами. Говорят, что после этого литовские националисты в Дайнавских лесах расстреляли своих немецких советников как предателей.

Уже после войны из Клангяй в Каунас пришла смертельно перепуганная мать Пятраса Цвирки. Она рассказала, что зашла утром к соседям Кунцасам и увидела всю семью — родителей и детей — перебитыми. По-видимому, пришедшие из леса бандиты свели с ними какие-то счеты. (Кунцасы были прогрессивными людьми, еще перед войной читали «Культуру», у них часто бывали обыски. Погибло их пятеро, включая маленького ребенка. Двое из семьи, не ночевавшие в ту ночь дома, живы по сей день.) Убивали даже те семьи, из которых кто-нибудь ушел даже не добровольцем, а по призыву в Красную Армию. Убивали тех, что в красных обозах везли зерно и мясо, ходили на митинги, читали советскую печать. . . Невиданный террор обрушился на несчастных жителей Литвы, чаще всего трудовое крестьянство. Местные власти после гибели советского актива в годы оккупации часто были слишком слабыми, чтобы защитить людей от террора. И это происходило в те дни, когда Красная Армия приближалась к Берлину, когда она взяла его и когда не осталось никаких перспектив для восстановления буржуазной Литвы. Не приходилось слышать о том, чтобы бандиты осмеливались нападать на отряды Красной Армии или на отдельных бойцов.

Новый, 1945 год мы встретили скромно, желая друг другу как можно скорее дождаться конца войны. . . Это было не только нашим самым большим желанием, но и миллионов людей. . .

Уйдя с головой в нескончаемые заботы, мы вместе со всеми советскими людьми не могли не ликовать, когда в конце 1944 года была освобождена почти вся территория Советского Союза, когда из игры выбыли все сателлиты гитлеровской Германии. Новый год начался наступлением от Балтийского моря до Карпат. В середине января была освобождена разрушенная Варшава. Красная Армия подошла к Кенигсбергу, приблизилась к Берлину,

освободила Будапешт и Венгрию. Бои шли в Чехословакии.

В первых числах января Совет Народных Комиссаров республики утвердил новое Правление Союза писателей, в которое вошли и писатели, проведшие войну в оккупированной Литве, — К. Борута, Т. Тильвитис, П. Вайчюнас. В каунасский филиал тогда входили двадцать четыре члена. Любопытно отметить, что среди писателей был и ксендз Адольфас Сабаляускас — Жаля Рута. Вначале мы не знали, что с ним делать, но потом решили принять Сабаляускаса в нашу организацию — он в свое время перевел целиком «Калевалу», печатал стихи и драмы. Правда, спустя несколько месяцев Сабаляускас заявил, что задачи и требования Союза писателей ему не подходят, выполнять он их не сможет, и просил его больше членом не считать. . . (После войны еще был напечатан его перевод «Семи братьев» финского писателя А. Киви.)

Вечером 28 января в большом зале Каунасского университета на углу улиц Мицкевича и Донелайтиса, в том самом, в который я, поступив в университет, когда-то хотел попасть на торжества посвящения в студенты, состоялся первый после освобождения большой литературный вечер, который надолго остался в памяти всех его участников.

Зал был битком набит, в основном студентами. Пришло немало представителей каунасской интеллигенции — учителей, библиотекарей, профессоров.

Когда на трибуну поднялась Саломея Нерис, молодежь, которая еще никогда не видела поэтессы, только читала ее довоенные стихи и поэмы, овациями встретила популярную и любимую поэтессу. Саломея, как всегда, тихим голосом читала известные стихи военных лет, написанные вдали от Литвы, — «Пой, сердце, жизнь», «Тебя я ждала», «Под Сталинградом», «Почему молчит земля». . . Поэтесса волновалась, и рука, державшая листочки с текстом стихов, дрожала, в ее голосе звенел плач. . . Она так мечтала о своем Каунасе, о нашей молодежи в оккупированной Литве, — и вот перед ней сотни любознательных глаз, сотни дружеских добрых лиц. . .

Ева Симонайтите читала отрывок из начатого перед войной романа «Вилюс Каралюс». Пятрас Цвирка ознакомил с одной из новелл военного времени. Со стихами

выступили Алексис Хургинас и Адомас Ластас. Альпас Лепснонис прочитал очерк, посвященный памяти Витаутаса Монтвилы.

В заключение я прочитал стихи военного времени — «Волга», «Стальной город», «Литовец», «Рассказ о товарище», «Сыну», «Девушка у ключа».

Таких вечеров в Каунасе было немало. Через несколько дней в зале кинотеатра «Форум» собралось примерно восемьсот учеников старших классов и учителей города. Вечер открыл я, а свои произведения читали Нерис, Мишкинис, Якубенас, Ластас, Хургинас и Лепснонис. В зале был страшный холод — его давно не топили. Ученики топали ногами, но едва мы начали, воцарилась тишина, и вечер прошел с успехом. После вечера выступали актеры Государственного театра.

Еще в ноябре прошлого года из Горьковской области вернулись воспитанники детдома в Ичалках, а сейчас, в конце января, приехали дети из Дебес, из Удмуртии... Можно себе представить, сколько слез счастья было тогда и у детей и у встречавших их родителей, родных и близких.

Наконец была освобождена Клайпеда. Таким образом, вся территория Литвы, с Вильнюсом и Клайпедой, впервые в истории объединилась в одну республику, и эта республика была советской.

Освобождение Клайпеды наши поэты, в том числе и я, приветствовали новыми стихами, которые тут же появились в печати. В этом же зале «Форума» состоялся митинг жителей Каунаса. На нем я прочитал недавно написанные стихи:

О, как сердце хмелеет от ветров балтийских соленых!
Эти ветры доносят дыханье далеких краев.
Как воспеть мне свободу любимых полей обновленных
И какою мне песней прославить отеческий кров! . .
. . . .
Здесь, над Клайпедой вольной, маяк все такой же высокий.
В море брызни, маяк, огневой золотою струей!
Снова родины солнце впиваем, как счастья потоки,
В гуле вечных прибоев, немолкнущей песни морской [1].

Да, счастливые это были дни. Но повседневная жизнь ставила свои требования. Теперь они могут показаться пу-

[1] Перевод С. Мар.

стячными и смешными, а тогда они были почти трагичны. Как раз в эти дни «Тиеса» напечатала статью «Как вставить окна без стекла»:

«В связи с временным отсутствием стекла изыскиваются способы, как его хотя бы частично заменить. Для этого многие применяют фанеру. Но фанера почти не годится для окна. Она не пропускает света и плохо сохраняет тепло. Оказывается, что лучше всего вместо стекла использовать белую бумагу различных сортов: газетную, оберточную или просто сами газеты».

Да, Каунас переживал тяжелую зиму. Далеко не все квартиры отапливались. Заглянув на улицу Дайнавос, к Саломее Нерис, я часто находил ее в кухне вместе с ребенком — они дрожали в углу, набросив на себя всю теплую одежду.

— А топлива мы опять не достали... — жаловалась поэтесса.

Я досадовал. Но таковы уж военные будни. Никакие усилия раздобыть топливо не приносили результатов. Были для этого, разумеется, и так называемые объективные причины: в учреждениях не было порядка, благожелательности и — транспорта.

— У меня на родине, — как-то рассказывала Нерис, — ничего не осталось. Дом сгорел, нет больше ни братьев, ни матери... — И она замкнулась в себе, как обычно, ни одной слезой не выдала своего горя.

Как-то я проведал поэтессу вместе с женой и сыном. Она очень обрадовалась Элизе. Томас, тогда еще маленький мальчуган, удивил поэтессу — он с начала до конца продекламировал ее «Бабушкину сказку». Я помню, Нерис даже чуть растерялась из-за такой своей «популярности» и тут же начала критиковать эти стихи.

Я видел, что Нерис отбирает, переписывает, приводит в порядок написанное.

— Хочу издать новую книгу, — говорила она. — В ней будет не только война, не только то, что мы пережили, но и предчувствие мира... Ведь война кончается... Мы снова начнем жить вместе со своей освобожденной страной...

Новую книгу поэтесса назвала символически — «Соловей не может не петь». Она снова говорила, что хочет написать поэму о Пиленай, которую набросала еще в Москве. Она уже создала отдельные фрагменты поэмы.

О новых книгах думали и их готовили Цвирка, Корсакас и я... Мы чувствовали, что близится другая, более спокойная эпоха...

Миллионы молодых, талантливых, удивительных людей, не успевших показать миру, на что они способны, покоились в могилах, но и каждая новая смерть — тех, кого ты знал лично или о ком только слышал, которые успели сделать в жизни что-то хорошее и значительное, — ошеломляла...

После тяжелого ранения в Восточной Пруссии умер генерал армии Иван Данилович Черняховский. Это был один из выдающихся полководцев этой войны, хотя ему еще и не было сорока. Армия под его командованием освободила большую часть Литвы.

Скончался один из виднейших советских писателей — Алексей Толстой, автор «Петра Первого», «Хождения по мукам» и других произведений...

В Вильнюсе умер ученый, профессор Миколас Ремерис *. Это не только эрудированный юрист, но и колоритная фигура минувшей эпохи. Он вырос в атмосфере национального движения, но не раз доказал, что неплохо понимает и новые попытки создать более справедливый мир. Он интересовался новейшими явлениями литовской жизни, даже такими, каким было когда-то движение «Третьего фронта»... Во время гражданской войны в Испании он без колебаний встал на сторону республиканцев, публично выражал симпатии Народному фронту... Я сожалел, что мне не довелось поближе познакомиться с этим интересным человеком, о котором ходили легенды — большей частью веселые, показывающие его остроумие и оптимизм...

А в мире гремели шаги истории. Красная Армия стояла под Берлином.

Хотелось общения с людьми. Мы ездили по разбитым дорогам на периферию, в тряских грузовиках, в снег или проливной дождь. Мы торопились на литературные вечера, которые тогда проводились не часто, но привлекали толпы слушателей, желавших услышать о том, что все пережили и — что будет. Особенно запомнилось посещение Укмярге.

Еще до советского времени наши писатели поддерживали с Укмярге тесные и теплые отношения. Здесь работал учителем талантливый новеллист, родственник клас-

сика нашей литературы Йонаса Билюнаса, его однофамилец Антанас Билюнас. Он сотрудничал и в «Третьем фронте». И Билюнас и его жена Александра были почитателями литературы, друзьями писателей, и тогда здесь довольно часто проводились литературные вечера, Укмярге установила даже собственную литературную премию. Приехав в Укмярге на сей раз, мы нашли здесь не только Билюнаса, но и старого друга, тоже сотрудника «Третьего фронта», Пятраса Чюрлиса. Билюнас сейчас стал директором учительской семинарии, а Чюрлис — директором гимназии. Мы вошли в огромный зал неразрушенного, к счастью, здания гимназии, в котором нас ждали полторы тысячи учеников. От имени Союза писателей собравшихся приветствовал редактор «Тарибу Лиетувы» Йонас Шимкус. Состав писателей был довольно пестрым — они приехали из Вильнюса, из Каунаса, участвовали и местные, укмяргские. Певучие антифашистские стихи читал Якубенас, Сириос Гира выступил с острыми афористическими строфами, приветствовавшими Красную Армию — победительницу, всех взволновал Мозурюнас своими глубоко прочувствованными словами о войне. Жилёнис читал рассказ об оккупации, как и Билюнас. Выступил со стихами местный молодой поэт Стасис Заянчкаускас, редактор уездной газеты, позднее убитый националистами. Читал и я...

Учащиеся не скупились на аплодисменты, просили повторить некоторые произведения. В тот же день мы выступали и перед рабочими и интеллигенцией — и зал снова был набит битком, снова не покидало всех приподнятое, радостное настроение, хотя на лицах слушателей и замечались следы тяжелых переживаний и страданий...

В университете я каждый день встречался с прекрасной молодежью, которая рвалась к творчеству и знаниям, хотела все понять и все постичь. У нас было уже более двух тысяч студентов. Я принялся руководить литературным кружком. Кружок собирался часто и был довольно своеобразным. Одни студенты высказывались за советское направление, другие, с детских лет читавшие старых наших писателей и буржуазные журналы, все еще думали, что литература и искусство должны стоять как можно дальше от идеологии и политики...

Действовали и кружок любителей искусства, театральная студия, хор, кружок авиамоделистов. Часто про-

водились лекции на политические темы. Короче говоря, студенческая жизнь еще во время войны стала оживленной и интересной. Был организован рабфак для срочной подготовки в университет детей крестьян-бедняков и рабочих. Рабфаком руководил литератор Теодорас Шуравинас, позднее переводивший на русский язык лучшие произведения Жемайте.

МЫ ПОБЕДИЛИ!

Никто уже не сомневался в том, что весна этого года — последняя военная весна. Это повышало у всех настроение, казалось, вот кончится война — и тут же начнется удивительная, совершенно новая, интересная жизнь, люди станут добрее, умнее, их взаимоотношения будут человечнее, благороднее, мягче. . .

Пятрас Цвирка был почти неуловим, но я все равно встречался с ним чаще, чем с кем-либо из своих друзей.

— Послушай, а война-то кончается. . . Читал последнюю сводку? Наша армия уже сражается у стен Берлина. Гитлер может капитулировать быстрее, чем мы ожидали. . . А потом. . .

Он не говорил, что будет потом, но по его сверкающему взгляду, по взволнованным жестам можно было судить, что он думает не более и не менее как о возрождении мира.

— Черт, плохо с книгами. . . Но я готовлю новый сборник рассказов «Корни дуба». Говорят, бумаги нет. Ничего, съезжу к Вилису Лацису и достану по старому знакомству, — говорил он не то в шутку, не то всерьез.

Теперь Пятрас Цвирка, когда-то не считавший себя оратором, часто выступал — перед писателями, рабочими на фабриках, перед крестьянами в городках и деревнях. Говорил он интересно, вдохновенно, и люди охотно слушали его.

Во второй половине апреля я вместе с другими депутатами приехал в Москву, на сессию Верховного Совета СССР. Во время войны выборы не проводились, и поэтому съехались старые наши знакомые из разных республик. Из наших депутатов многих уже не было в живых. Каунасская работница Ядвига Буджинскене была расстреляна оккупантами, Адомас-Мескупас погиб в партизанах, профессор Владас Кузма умер в Каунасе во

время оккупации... Но на сессию приехали такие дорогие мне люди, как Изабеле Лаукайтите (ее позднее убили буржуазные националисты), генерал Винцас Виткаускас, старый революционер, но тогда мало кому известный писатель Александрас Гудайтис-Гузявичюс, командир партизанского движения Восточной Литвы во время оккупации Пятрас Кутка, бывшая партизанка, чудом выздоровевшая Янина Наркевичюте... И среди них — поэтесса Саломея Нерис...

К сожалению, ее здоровье было неважным. Она была бледной, жаловалась на плохое настроение, на боли в желудке, почти не могла есть. Конечно, никому и в голову не пришло, что она смертельно больна...

А время было просто удивительное... Сессия началась 25 апреля, когда Красная Армия завершила окружение Берлина и когда наши части на Эльбе, под Торгау, встретились с союзниками — американскими частями, таким образом разрезав германскую армию на две части...

Шверник, открывший заседание, во вступительном слове почтил память Франклина Делано Рузвельта, «великого политика мирового масштаба, одного из руководителей борьбы свободолюбивых наций против гитлеровской Германии...»

С докладом о государственном бюджете выступил народный комиссар финансов СССР Зверев.

На сессии от имени Литвы выступали Гедвилас и я. Наверное, каждый депутат, как и вся страна, в эти дни мало думал о сухих цифрах, все жили настроениями исторических событий. Я говорил о Миндаугасе * и Гедиминасе, о Кястутисе и Витаутасе, о подходящей к концу войне с потомками тевтонов и о первых достижениях возрождающейся литовской культуры — семидесяти пяти гимназиях, десяти театрах... Вернувшись после заседания в гостиницу, я написал статью для газеты «Тарибу Лиетува», в которой постарался выразить все, чем жил в эти дни:

«Одиннадцатая сессия парламента Советского Союза — Верховного Совета — собралась в Москве в исторические дни. Радостные сообщения с фронтов о великих победах Красной Армии, о боях на улицах Берлина, о полном окружении Берлина и взятии портового города Померании Штеттина были радостным аккомпанементом

к работе сессии. Во время вечерних заседаний депутаты слышат в зале салют Москвы своей победоносной армии, которая вместе с нашими союзниками добивает ненавистного врага свободолюбивых народов — фашизм.

В Москве каждый вечер, под звуки салютов победы, в небе, освещенном разноцветными огнями ракет, снова загораются Кремлевские звезды. Депутаты парламента вернулись в свои республики, полные веры в могущество своей великой страны и близость радостной победы. . .»

А в Берлине грохотали тяжелые бои. Гитлер решил погубить еще тысячи солдат и десятки тысяч мирных жителей, чтобы только продлить существование своей «империи». Затаив дыхание миллионы людей во всем мире следили за ходом последних боев в столице Германии. Наконец все кончилось. Над сожженным рейхстагом, недалеко от Бранденбургских ворот, водружен флаг Советского Союза. Гитлер покончил с собой. Покончили с собой и некоторые его ближайшие помощники, другие бежали на Запад, сдались в плен англичанам или американцам. В пригороде Карлсхорст представители гитлеровской армии 8 мая подписали акт о безоговорочной капитуляции. Самая большая и самая жестокая война всех времен кончилась. . .

9 мая правительство объявило праздником Победы.

Газеты печатали речи Молотова, Трумэна и Черчилля по случаю окончания войны.

Раньше казалось, что едва кончится война, как всюду загорятся погашенные огни, засверкают витрины магазинов, окна домов. . . Как-то не приходило в голову, что конец войны встретят темные города, — ведь почти всюду были взорваны электростанции, а окна зияли черными провалами или были забиты фанерой, заклеены картоном.

Но на улицах Каунаса сразу было видно, что люди как-то ожили. Они улыбались, поздравляли друг друга, целовались. На глазах у многих блестели слезы. И никто не стеснялся этих слез. . .

Мы, каунасские писатели, пришли в редакцию «Тарибу Лиетувы». Сюда приходили все новые интересные подробности о том, как гитлеровцы бросали оружие, как был подписан акт о капитуляции. И мы поздравляли друг друга, целовались, плакали. . . Потом кто-то принес водки

и соленую конскую колбасу. Мы подняли первый тост мирного времени — пили из стаканов и чашек...

На улицах хлопали выстрелы. Целый день, потом всю ночь воины, кто из револьверов, кто из автоматов, кто из винтовок, стреляли в воздух — салютовали Победе. Многие пускали ракеты. Звенел смех, кое-где раздавались песни...

Была весна. Над изгородями каунасских садиков свешивалась цветущая сирень. Зеленела гора Витаутаса и липы на Лайсвес-аллее. Солнце щедрой горстью сыпало лучи на стены города, они проникали в разбитые витрины, пустые магазины.

Открылась дверь, и в редакцию «Тарибу Лиетувы» вошла Саломея Нерис. Она принесла новые стихи. Как всегда, скромно и робко протянув конверт Шимкусу, она сказала:

— Посмотри... Написала... Может, подойдет... — И, не дожидаясь ответа, вышла. Мы с Шимкусом едва успели поздравить ее с окончанием войны.

— Замечательные стихи, — сказал Шимкус, пробежав глазами рукопись. — Взгляни.

И я прочитал:

ЗДРАВСТВУЙ!

Прошла гроза и непогода,
И смерть настигла
Тех, кто сеял гибель.
Здравствуй, дух свободы!
Надломленный
Ударом молний,
Ты был расщеплен, но упорно
В земле держались корни, —
Ты обрастаешь порослью земной.

Из-под развалин, из могил,
Как будто дальний отзвук звона,
Призыв донесся, чтоб ты жил,
Чтоб лепестки цветок раскрыл,
Чтоб пробудилась к жизни вновь
Рекою пролитая кровь.
Здравствуй, мой народ суровый!
Здравствуй, мир весенний, новый! [1]

Под стихами была дата первого мирного дня — 9 мая 1945 года.

---

[1] Перевод М. Зенкевича.

Пристроившись у редакционного стола, я тоже старался выразить чувства, которые не умещались в груди. Листок со статьей я оставил Шимкусу. На следующий день в газете было помещено стихотворение Саломеи, а под ним следующие мои слова:

«Закончилось последнее действие великой трагедии, какой еще не знала история мира. Народы свободной Европы — измученные, окровавленные, изувеченные — могут себя поздравить: прогремели последние выстрелы, и с этого дня начинается новая эпоха — время мирного созидательного труда.

Со сцены истории уходят злейшие убийцы всех времен, утопившие Европу в крови, в слезах и руинах. Одни из них уже дождались праведного суда народов, других еще ждет неизбежный и суровый приговор.

Четыре долгих года прожила наша Великая Родина. Мы пожертвовали во имя свободы множеством юных жизней, напряженным трудом, бессонными ночами в глубоком тылу и на фронтах. Но победила великая, нерушимая дружба народов Советского Союза. Победила правда. Жизнь победила силы смерти, свет победил мрак.

Немало жертв в борьбе с фашизмом понесла и наша любимая Литва. Сотни тысяч расстрелянных никто не воскресит из могил. Многие не вернутся с немецкой каторги. Лишь за многие годы мы сумеем восстановить разрушенные города и деревни.

Замечательная победа Советского Союза, нашей Великой Родины, победа, в которой участвовали и мы, насколько позволяли наши возможности, обеспечивает нашему народу долгие годы творческого, созидательного труда в братской семье народов Великой Родины.

За работу, друзья, восстановим нашу дорогую Родину! Да здравствует победа! Слава Красной Армии и ее литовскому соединению!»

ЭПИЛОГ





ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА

Здесь можно было бы поставить последнюю точку и завершить книгу.

Но ведь эпоха не кончается той датой, которую, как веху, устанавливает историк. Вот и я, завершая свою книгу, не могу не рассказать еще о некоторых событиях, которые служат продолжением жизни людей, описанных в книге, или, увы, завершают их жизнь.

Первое событие, о котором хочется рассказать, — возвращение нашего старшего товарища и наставника, ученого, писателя Балиса Сруоги. Как известно, после ареста в марте 1943 года Балис Сруога два года без пяти дней провел в Штутгофском концлагере. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, упорному характеру и силе воли Сруога дожил до того часа, когда Красная Армия освободила Северную Германию. Воины нашли писателя лежащим на снегу и взяли под свою опеку. Некоторое время спустя в Литве узнали, что Сруога находится в Торуни — городе на западе Польши. По поручению правительства республики полковник Фридис Крастинис без промедления сел в специальный самолет, добрался до Торуни и, разыскав здесь Сруогу, — тот работал переводчиком в каком-то армейском учреждении, — доставил его в Вильнюс.

О возвращении Сруоги газеты сообщили уже 13 мая 1945 года. В Литву писатель вернулся изможденным, больным человеком. Каунасские писатели, в том числе Цвирка, Шимкус, Якубенас, Мишкинис, Нерис, Симонайтите, Реймерис и другие, в литературном приложении газеты «Тарибу Лиетува» поместили приветствие коллеге:

«Мы, советские писатели Каунаса, узнав, что Вы, благодаря заботам нашей славной Красной Армии и Правительства, счастливо вернулись из гитлеровского ада в нашу древнюю столицу, посылаем Вам свои радостные приветствия и поздравления.

Поверьте, что семья советских писателей никогда не могла бы чувствовать себя полной без Вашего величественного слова, которое вскоре, без сомнения, снова зазвучит во всей нашей отчизне, испытавшей столько страданий и истосковавшейся по миру».

Сруогу с радостью и любовью встретили не только мы, но и вся освобожденная Литва. Все понимали, что когтей смерти избежал один из самых видных литовских писателей. Его спасение было как бы еще одним доказательством живучести нашего народа.

Сруогу я снова увидел, когда он приехал в Каунас.

Он шел по Лайсвес-аллее – высоченный и худущий, чуть сутулясь, задумавшись, не замечая никого вокруг, как бы продолжая размышлять о суровой своей судьбе и участи всей нации. Я уже знал, что он не застал дома семьи — жена и дочь оказались на Западе. Я окликнул его; он меня узнал, мрачно усмехнулся и сказал:

— Все-таки свиделись — один из ада, а другой...

— Другой тоже не из рая, — ответил я. — Ко мне, правда, судьба была более милостивой, чем к вам...

— Это как у кого получается, — с прежней суровостью ответил Сруога, — это уж как у кого получается...

Я не хотел расспрашивать его о пережитом. Рассказал, что у каунасских писателей есть теперь свой дом, они там собираются, читают свои произведения.

— А что, если я прочитаю что-нибудь из написанного в «приморской здравнице», где пребывал? — неожиданно предложил Сруога.

Я очень обрадовался и сообщил товарищам, что Сруога хочет почитать нам свои новые произведения.

Читал он «Песнь весны» — пьесу о древней Литве, сверкающую зеленью весны и ярким солнцем, и нам всем казалось странным, что эта пьеса написана в аду, наверное в те ночные часы, когда засыпали узники и охрана... Сам факт написания, не говоря уже о художественных достоинствах, показывал духовную мощь писателя и не мог не радовать.

Как-то, заглянув к знакомому глазному врачу Не-

мейкше, я застал у него Сруогу. Кажется, они давно дружили семьями, и Сруога, приехав в Каунас, нашел в этом доме радушный прием. У Немейкши сидела пожилая, интеллигентная с виду особа и рассказывала о своих военных переживаниях:

— Вообразите только, из дома уехали с кучей чемоданов, уложили все, что могли, — и золото, и серебро, и меха, — все, что было в доме... И все побросали в Германии... Жалко было нажитого, просто ужас... Да что я говорю, ничего не поделаешь, погибло — и ладно. . Одного вот не могу никак забыть: вообразите только, пропали наши дворянские грамоты!.. А где их теперь раздобудешь?

Сруога сидел в уголке дивана, слушал рассказ этой особы и язвительно улыбался. Выслушав всю тираду, сказал:

— Знаете, мадам, золото и серебро — чушь. Что есть, что нет этого добра. Плакать о нем нечего. А вот дворянские грамоты — это и правда страшная потеря... Тут невольно зарыдаешь... Куда же сунешься без дворянских документов, особенно в советское время?

Старуха то ли не расслышала, то ли не поняла и всерьез переспросила:

— Так вы говорите, профессор, нехорошо?

— Куда уж там! — серьезнейшим голосом ответил Сруога. — Подумать только... Другим в войну просто повезло — у кого дом сгорел, у кого гитлеровцы родителей или детей угробили, а вот у вас страшнейшее горе... дворянские грамоты погибли...

Но старуха была непробиваема. Она распространялась дальше:

— Старость не радость... Вот и вижу теперь хуже и недослышу...

— Вот и хорошо! — снова сказал Сруога. — Не надо ни газет читать, ни радио слушать. Теперь ведь на какую станцию ни наткнись, каждая свое твердит. И пойми тут, чья правда... А вам вот спокойно — живи себе на здоровье...

Летом Сруога отдыхал в Бирштонасе. Как-то в одно погожее воскресенье мы с Цвиркой решили проведать его. Достали где-то на несколько часов «виллис» и приехали в городок, в котором не были с мирного времени. Бирштонас был безлюден, окна дач заколочены, на улицах лишь

изредка попадались прохожие. Сруогу мы нашли на террасе одной из дач. Перед ним лежала стопка листов. Он работал, но обрадовался нам и придавил рукопись каким-то фолиантом.

— Так соскучился по работе, что просто не могу удержаться... Как будто колючку мне под хвост сунули, чтоб я быстрей бежал, — пошутил он. — Хорошо, что приехали, братцы. А я тут неделями строчу, не разгибая спины. Пишу книгу о «приморской здравнице».

Мы знали, что Сруога «приморской здравницей» называет концлагерь. Это был характерный для Сруоги юмор, которым столь щедро пересыпаны и страницы книги «Лес богов».

Он прочитал нам несколько страниц из этой книги, и Цвирка воскликнул:

— Страшная будет книга! .. И самое поразительное в ней — сруоговский смех...

— Без него я бы в лагере спятил...

На террасу заглянула юная девушка, стройная, белокурая, рослая, — тип настоящей литовки. Лицо, что говорится, кровь с молоком. Увидев нас, она зарделась, но вскоре освоилась и перестала смущаться. А Сруога сказал:

— Это мой ангел-хранитель... Без нее я бы тут с голоду подох. Ведь сейчас нет ни столовых, ни ресторанов...

Мы почувствовали, что «ангел-хранитель» Алдона Даугелайте действительно делает все, чтобы создать для Сруоги условия работы, а он своего «ангела-хранителя» просто обожает...

Мы погуляли с Сруогой по городку, посетили источники минеральной воды «Витаутас» и «Бируте» и собрались было уезжать, но тут медсестра, этот «ангел-хранитель», пригласила нас к себе. В деревянном домике на столе была выставлена богатая по тем временам закуска, получше, чем в Вильнюсе или Каунасе, а из-за мисок выглядывало даже горлышко бутылки... За обедом мы непринужденно разговаривали, и в нашу беседу включилась мама «ангела-хранителя». Потом, поблагодарив женщин и попрощавшись с Сруогой, мы уехали...

Позднее я часто встречался с Сруогой в Вильнюсе. Вернувшись в квартиру, где он жил перед арестом, писатель чувствовал себя одиноким. Иногда мы захаживали к нему — Цвирка, Борута и другие писатели младшего

поколения. Сруога, невзирая на запрет врачей, без конца пил черный кофе, если бывало, пропускал и рюмочку. Он снова стал профессором Вильнюсского университета, думал о новых произведениях. В это время Сруога особенно сблизился с Цвиркой, который старался помочь ему. Они разговаривали и переписывались о литературе, откровенно и искренне дискутировали на политические и литературные темы. Разрушенная войной жизнь, нечуткое отношение некоторых людей к творчеству Сруоги — все это омрачало жизнь надломленного человека. Весной 1947 года смерть вырвала из наших рядов Цвирку, а несколько месяцев спустя студенты, друзья и почитатели похоронили на том же кладбище и Сруогу.

Да, мы все не могли нарадоваться последней военной весне. Казалось, и солнце нынче ярче, и сирень душистее, и луга как никогда прежде искрятся росой... А люди полны надежд. Ложишься спать и не думаешь, что ночью завоет сирена и придется спускаться в убежище, не ждешь для себя и близких видимых и невидимых угроз, жданных и негаданных опасностей... Война подходила к концу, и это было главное.

А через Каунас тянулся людской поток. Изможденные, голодные, оборванные люди брели на восток. Это возвращались из Германии оставшиеся в живых мужчины и женщины из-под Минска, Витебска, Смоленска, Орла, угнанные оккупантами в Германию... Некоторые ехали на видавших виды телегах, усадив детей, прихватив клетку с канарейками, а то и корзину с курами, привязав к задку тощего теленка... В Верхней Фреде, в зеленом лесочке, разбил шатры цыганский табор. Что за цыгане, откуда они? Мой тесть Меркелис Рачкаускас отправился потолковать с ними. Он выяснил, что чудом уцелевшие цыгане (их гитлеровцы истребляли поголовно, как и евреев) возвращаются из Германии в родную Бессарабию или даже Румынию. Над разведенным костром уже булькал котел с каким-то варевом, одни цыганки нянчили детей, другие плясали у костра, третьи предлагали прохожим погадать... Пока тесть беседовал с цыганами, один из них вытащил из воза картонную коробку и торжественно открыл ее. В коробке были совершенно новые башмаки! Профессор примерил, и оказалось, что они ему в самый раз.

Паре башмаков из хорошей кожи тогда просто не было цены, и профессор, долго не торговавшись, купил их. Сунув коробку под мышку, он весело вернулся домой. Но каким было его и наше удивление, когда дома в коробке оказался только один башмак! .. Другого нет, хоть плачь. Профессор вернулся в табор, но цыгане божились, что продали ему целую пару. Объяснения и переговоры ни к чему не привели — профессор так и вернулся с одним башмаком в руках...

По деревням ходили, иногда забредая и во Фреду, немки с детьми. Они рассказывали, что идут из Пруссии, чаще всего из Кенигсберга. Изможденные, сбившиеся с ног, похожие на скелеты или на тех несчастных, что вернулись из немецких концлагерей. Побирались, просили хлебушка... За свои несчастья они, разумеется, должны были благодарить своего дорогого фюрера, которому наверняка в свое время кричали: «Хайль Гитлер!» и в победах которого не сомневались. Но наши люди теперь жалели несчастных женщин и голодных детей. Забыв собственные горести и обиды, они делились с нищими последним куском хлеба...

Вокзалы и поезда были полны бездомных беженцев, инвалидов в ветхих гимнастерках или в рваном гражданском платье. Проходя по вагонам, инвалиды пели песни о войне, несчастной любви, разлуке, тоске. Протянув руку, собирали подаяние. Играли на гармони или губной гармонике, а дети собирали милостыню. Никто ими тогда не занимался, не устраивал в дома инвалидов. Наверное, до них не доходили руки...

Из Германии стали возвращаться и литовцы, в конце войны оказавшиеся в советской оккупационной зоне.

Как-то в дверь нашей квартиры кто-то постучался. Я открыл и вначале не мог узнать этого высоченного, невероятно тощего человека, за которым стояли изможденные женщина и девочка. И вдруг меня осенило — это же мой коллега из Клайпедской гимназии Салис Шемерис *, поэт-футурист, участник «Четырех ветров», автор знаменитого сборника стихов «Граната в груди». Я пригласил нежданных гостей в дом, показал, где умыться с дороги. И тогда муж с женой, перебивая друг друга, поведали мне свою историю за последние месяцы. Оказывается, во время оккупации они жили в Вилкавишкисе, на родине Салиса. Оттуда попали в Германию и оказались даже

за Берлином, в Бранденбурге (позднее, в 1948 году, мне пришлось там побывать по делам репатриации наших граждан, оказавшихся в Германии). Салис Шемерис рассказывал о голоде, холоде, о том, как город безжалостно бомбили английские самолеты, — по его словам, для начала разрушившие улицы с борделями... Между тем Элиза на кухне уже жарила глазунью из всех яиц, которые мы получили по карточкам... С каким аппетитом уплетали яичницу наши гости! Переночевав у нас, на следующее утро они уехали на старое место работы — начинать новую жизнь в разрушенной Клайпеде.

В первых числах июня в Каунасе побывал милый гость — Всеволод Иванов. Вместе с корреспондентами «Правды» Мержановым и «Известий» Кудреватых он возвращался из Берлина, где был свидетелем эпохальных событий. Нам хотелось встретиться с писателем, которого знали лично (во всяком случае, Цвирка, Нерис и я) еще с 1940 года. Как я уже упоминал, в Вильнюсском драмтеатре до войны Юкнявичюс отлично поставил его знаменитую пьесу о гражданской войне «Бронепоезд 14-69». В свое время я читал несколько книг Всеволода Иванова, знал, как ценил его талант М. Горький. Я обрадовался, встретив в Каунасе этого приземистого, широкоплечего человека, еще не снявшего военной формы, с круглым улыбчивым лицом. Говорил Иванов ровным, спокойным голосом, иногда тихонько, добродушно смеялся, и по всему было видно, что он, как и его спутники, переживает необычайно счастливые для себя дни — дни победы...

Цвирка и я гуляли с гостями по Каунасу, привезли их во Фреду. Они радовались, что Каунас не слишком пострадал от войны, что он многолюден, а на главных улицах, в первую очередь на Лайсвес-аллее, уже застеклили витрины магазинов (больших стекол, правда, не было, пришлось сделать рамы, как в окнах квартир). Гостей интересовали Каунас и вся Литва, — Иванов вспоминал свой приезд сюда с Николаем Тихоновым до войны, в 1937 году, и сожалел, что некоторых из его тогдашних знакомых, как, например, Казиса Бинкиса, уже нет в живых, а Людас Гира, тепло встретивший их тогда, тяжело болен... Его удивляло, что Гира, которого он то-

гда знал как буржуазного поэта, примкнул к Советской власти и даже вступил добровольцем в Красную Армию...

По нашей просьбе гости устроили в редакции газеты «Тарибу Лиетува» вечер рассказов о Берлине, на который пришло немало каунасских писателей и журналистов. Всем было интересно услышать об уличных боях в Берлине, о капитуляции германской столицы... Всеволод Иванов рассказал о том, как они посетили бетонные подземелья еще не взорванной канцелярии рейха, обнаружили труп министра пропаганды Иозефа Геббельса, который покончил самоубийством вместе со своей многочисленной семьей, о том, как удирали из Берлина, поднимаясь на самолетах с широкой аллеи Унтер-ден-Линден, главари третьего рейха, о том, как искали труп Гитлера и как он был наконец обнаружен — облитый бензином и обожженный (об этом тогда почему-то не говорилось в печати)... Обо всем этом Всеволод Иванов рассказывал как о деле уже завершенном и имеющем чисто исторический интерес... Но рассказывал как талантливый писатель, пересыпая свое повествование неизвестными нам тогда деталями, и казалось, что ему не идет военная форма, — это был штатский до мозга костей человек, который, чувствовали мы, снова окажется в своей стихии, сев за письменный стол...

В моем архиве сохранились два снимка. На одном из них наши гости и мы с Цвиркой; на другом — писатель один. На этом снимке его рукой выведено: «Венцлове — с любовью, дружбой, поклоном. Вс. Иванов». В моей библиотеке сохранилась и подаренная им тогда книга «На Бородинском поле» со следующей надписью: «Товарищу Венцлове — в память хорошей встречи в Каунасе, когда мы вместе (вместе победили!) встретились после Победы и взятия Берлина. От всего сердца. Автор. 2/VI—45. Каунас».

В первую мирную весну мы большое внимание уделяли подготовке к столетнему юбилею Жемайте. Юбилей должен был стать первым большим праздником нашей национальной культуры после войны.

Один из юбилейных вечеров состоялся 9 июня в большом зале Каунасского университета, где еще до войны

проводились главные университетские мероприятия. Вечер открыл ректор Антанас Пуренас. После моего основного доклада перед переполненным залом студентов и представителей интеллигенции с интересными воспоминаниями о Жемайте выступили Чюрлёнене и Ластас, ее произведения читали актеры каунасского театра. Дальше следовала литературная часть, в которой свои произведения читали Якубенас, Хургинас, Ластас, Реймерис (он теперь руководил каунасским радио), Мишкинис и другие.

Я перечисляю всех участников, чтобы показать, кто тогда активно участвовал в культурной жизни Каунаса.

Второй вечер — для широкой общественности — состоялся несколько дней спустя в государственном театре. Здесь также читали произведения Жемайте, был и литературный вечер с участием тех же поэтов. Ни в первом, ни во втором вечере уже не смогла участвовать Саломея Нерис. В концерте пели виднейшие солисты — А. Сташкевичюте, А. Кучингис. Сотрудники Центральной библиотеки устроили содержательную и интересную выставку. Здесь были выставлены книги писательницы, рукописи, портреты и фотографии; выставку широко посещали не только жители Каунаса.

Юбилей Жемайте, без сомнения, имел тогда и политическое значение — наша интеллигенция наглядно убедилась в том, как советская власть ценит деятелей культуры прошлого, в особенности прогрессивное творческое наследие.

Июнь, первый июнь в свободной Литве... Казалось, вся природа ликовала под дуновениями свежего ветра.

Лишь одно стихотворение написала Саломея после «Здравствуй!» — «Яблони в цвету», пышущее любовью к весне, к деревьям, которые не раз вырывали с корнем бури, проносящиеся над Литвой... Стихи завершаются удивительным аккордом, который поэтесса, сама того не ведая, посылает как прощальный привет родине, родившей, вскормившей ее и научившей петь: «Будь благословенна, страна родная!»

Тяжелая болезнь неожиданно уложила в постель Нерис в те дни, когда ее сердце переполняли новые песни. Утрата близких, гибель друзей не могла заслонить ее веру в светлое будущее Советской Литвы. При разговорах с Нерис чувствовалось: она всей душой верит, что люби-

мая отчизна возродится для новой жизни в великой, свободной семье советских народов. . .

Но поэтессе так и не довелось принять участие в бурном возрождении родной земли. Пораженная тяжелой болезнью, страдальчески стиснув губы, она мужественно переносила боль. Поначалу она лежала дома, позднее ее перевели в больницу Красного Креста.

Во второй половине июня в Москве снова собирались депутаты Верховного Совета СССР, нам тоже предстояло ехать на сессию. Саломея Нерис, с трудом удерживая в руке перо, писала своему старому другу Юстасу Палецкису:

«Товарищ председатель,

в этот раз не могу вместе со всеми друзьями депутатами радоваться празднику сессии, я так обессилела, что уже не держусь на ногах. Лежу второй месяц: поначалу дома, сейчас в больнице. Почти ничего не могу есть. Оказывается, основная болезнь в печени длится уже который год, печень увеличена. Делали тяжелые и тщательные анализы. Во-вторых,— большое малокровие. В-третьих,— вчера начались сильные боли в области аппендикса. Сегодня исследуют: если нужна будет операция, то без промедления сделают. Моя книга уже вышла — сегодня принесут. Очень жаль, что нет под рукой, — послала бы Вам в дорогу. Поздравьте дорогих друзей — А. Снечкуса и др. Я всегда с Вами всеми».

Позднее меня часто мучила мысль, что какая-то злосчастная командировка в район помешала мне проведать Саломею в больнице Красного Креста, пока еще к ней пускали друзей и близких. Перед самой поездкой в Москву этой возможности уже не было. Попала к Саломее Элиза, которая отнесла ей только что вышедшую из печати последнюю книгу — «Соловей не может не петь».

— Я зашла в палату и увидела там Саломею, — вернувшись, рассказывала она. — Только что кончили зондирование, и она казалась страшно утомленной. Едва могла сказать слово, шевельнуть рукой. Увидев, что я принесла книгу, хотела взять, но не смогла поднять руки. По глазам я поняла, что она просит положить книгу перед ней на кровать. Я положила, но ей было плохо видно, она смотрела, скосив глаза. Тогда я подержала книгу у нее перед глазами. Снова по глазам поняла, что она хочет увидеть страницы. Я листала книгу и расслышала

слова: «Когда я поправлюсь...» Увы, трудно было верить, что она поправится, — на лице уже блуждала тень смерти. Книгу я оставила на тумбочке рядом с кроватью. Трудно было сдержать слезы при виде измученного лица Саломеи. Я сказала, что ты хотел ее проведать, но тебе пришлось срочно уехать. «Передай Антанасу мой привет», — скорей отгадала я слова, чем услышала. Погладила ее руку, не желая показывать волнение, тихонько вышла из палаты и больше уже не увидела ее живой...

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Первая сессия парламента Страны Советов после окончания войны...

На повестке дня единственный вопрос — о демобилизации воинов старших возрастных групп. Казалось бы, вопрос довольно специфический, но все находившиеся в зале заседаний понимали, что после принятия этого закона миллионы воинов вернутся туда, где они нужны позарез. Их крепкие руки, закаленные в горниле войны, восстановят города, электростанции, фабрики и заводы, вспашут поля родины, изрытые воронками и окопами...

В словах ораторов слышалась нескрываемая радость.

От имени нашей республики выступал Юстас Палецкис. Он рассказал о мужестве представителей различных национальностей, о перспективах, которые открыла победа перед народами нашей страны... Образно и взволнованно говорил он и об участии нашей нации в Отечественной войне, теплыми словами упомянул Литовскую дивизию.

— Плечом к плечу с представителями украинского, белорусского, грузинского, казахского и других советских народов, — говорил он, — бойцы Литовской стрелковой дивизии сражались под Орлом, отражали яростные атаки гитлеровцев на Курской дуге в июле 1943 года. После этого они перешли в наступление и с боями на сто двадцать киломеров продвинулись на запад. Летом 1944 года Литовская дивизия успешно участвовала в тяжелых боях в Белоруссии, на юг от Невеля. Она брала Полоцк, а позднее принесла свои победные знамена на родную землю литовцев. Бросив в бой три танковых дивизии, немцы пытались снова овладеть оставленным ими Шяуляй, и Литовская дивизия выстояла в тяжелом сражении.

Танки рвались вперед, но бойцы-литовцы сдерживали натиск и, подбив несколько десятков танков, оттеснили гитлеровцев. В октябрьском наступлении 1944 года Литовская дивизия участвовала в прорыве фронта врага и с боями прошла сто пятьдесят километров, перекрыв шоссе Клайпеда — Тильзит. Пытаясь отразить атаки, враг бросил в бой лучшие свои силы — дивизию «Герман Геринг», эсэсовцев и специальные танковые части. Вражеские танки утюжили наши окопы, но бойцы-литовцы не отступили. Четыре дня длился бой, во время которого были подбиты шестьдесят четыре «тигра» и истреблено много живой силы противника.

Символичен факт, что в литовскую Клайпеду, которую Литва утратила в 1939 году, при буржуазном правительстве, первой с боями ворвалась советская Литовская дивизия. Позднее до конца войны она участвовала в действиях против Курляндской группировки. За 1944 и 1945 годы только во время важнейших операций Литовская дивизия уничтожила не менее двух дивизий врага. Примерно двенадцать тысяч орденов и медалей вручено воинам Литовской дивизии, а двенадцати ее бойцам и командирам присвоено звание Героя Советского Союза. За успешные боевые действия Литовская дивизия награждена орденом Красного Знамени, за участие в боях за освобождение Клайпеды ей присвоено имя Клайпедской. . .

Юстас Палецкис в своей речи рассказал и о подвигах литовских партизан. . .

На следующий день по окончании сессии (это было 24 июня) Москва и вся страна пережила один из самых ярких праздников. Это действительно был день, как бы увенчавший длившуюся несколько лет войну и недавнюю победу. . . Этот день не раз изображали журналисты и писатели, и нет сомнения, что к нему даже много лет спустя будут возвращаться летописцы нашей великой страны. . .

Когда туманным утром мы вышли из гостиницы «Москва» и свернули на Красную площадь, здесь уже стояли в строю стальные колонны солдат и матросов — и не только на Красной площади, но и на улице Горького, в Охотном ряду, на площади Революции. . .

Стояли сводные полки десяти военных фронтов и

Военно-Морского Флота, составленные из отличившихся бойцов, участников великих сражений.

На гостевых трибунах рядом с Мавзолеем Ленина собрались депутаты Верховного Совета СССР, участвовавшие в только что закончившей свою работу сессии, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, прославленные ученые, художники, писатели, лучшие рабочие московских заводов и фабрик, члены дипломатического корпуса, руководители иностранных военных миссий и военно-морские атташе.

Ровно в десять, когда на Мавзолей поднялись руководители партии и правительства, из Спасских ворот Кремля на белом коне выехал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Навстречу ему на вороном коне направился командующий парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Оба были одними из самых популярных полководцев минувшей войны. Приняв рапорт, Жуков поднялся на Мавзолей и поздравил с победой воинов и гражданское население.

В воздухе развевались воинские знамена с разноцветными орденскими лентами, пронесенные через тяжелые сраженья... Шагали те, что обороняли Москву, Ленинград, Севастополь и Киев, сражались на Волге и в Одессе, освободили Литву, вышвырнули гитлеровскую армию из Варшавы, Будапешта, Софии, Вены, первыми ворвались в Берлин, сделали последние выстрелы по врагу в Курляндии и Чехословакии...

Долго шагали воины, овеянные славой бессмертных сражений, шагали с суровыми и просветленными лицами, — многие из них скоро вернутся в отчий дом, если только найдут его, в свои семьи, если не убили фашисты, в родной город, целый или разрушенный, на родные поля, засеянные хлебами или перепаханные стальными снарядами... Каждый думал сейчас не о смерти, а о жизни, мире, любви, работе, которую оставил несколько лет назад.

Пожалуй, самым впечатляющим моментом дня была минута, когда двести советских воинов внесли на Красную площадь склоненные к земле вражеские знамена. Когда-то под этими знаменами маршировали напыщенные «завоеватели мира» — к незнакомым городам, через реки и горы, к временным и воображаемым победам... Теперь наши воины принесли их к Мавзолею Ленина

и свалили в кучу — в лужи, в грязь. Шел дождь. И вражеские знамена валялись в куче как символ бесславия, поражения и проклятия народов — знамена разгромленных армий на брусчатке Красной площади, у места, где покоится Ленин. . .

Через площадь двинулась отечественная военная техника — зенитчики и батареи противотанковой артиллерии, прославленные «катюши», орудия всех калибров, бронемашины. Двигались тяжелые танки, легкие и тяжелые самоходки — целая лавина мощного оружия, созданного людьми для защиты родной земли, свободы, жизни отцов, братьев и детей. . . И ты в этот час всем сердцем чувствовал, что бессмертна идея социализма, что неизбежна победа добра над злом, правды над ложью, свободы над рабством. . .

Вечером следующего дня в Кремле, в пышном Георгиевском зале, мне довелось участвовать в правительственном приеме в честь участников парада. Здесь можно было увидеть знаменитых полководцев, грудь которых украшали ордена и медали. В черных фраках и белых манишках явились на прием иностранные дипломаты. Всеобщее внимание привлекали представители союзников. За столами, протянувшимися вдоль всего огромного зала, сидели рабочие и колхозники, некоторые в национальных костюмах. Был приглашен цвет науки, литературы и искусства страны — виднейшие ученые, писатели, художники, композиторы, актеры. Все они вложили свою лепту в борьбу народов за свободу и все от души поднимали тосты за победу. . . В конце зала, за отдельным столом, разместились руководители партии и правительства. Не было видно ни одного лица, которое не лучилось бы радостью: война длиною в несколько лет наконец кончилась. Все ждали, что начнется новая эпоха, и многим тогда казалось, что она будет куда легче, чем это оказалось на самом деле. . .

Кажется, в эти дни в моем номере в гостинице «Москва» как-то вечером зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос, спрашивающий меня. Собеседник представился Николаем Тихоновым. Это имя мне было более чем знакомо. Кто же в нашей стране не знает одного из лучших поэтов эпохи, одного из самых интересных прозаиков? Кто не знает, что этот человек почти всю бло-

каду прожил в Ленинграде, ни на день не прекращая работы? Он писал стихи, поэмы, рассказы, воззвания, каждый день люди видели его на фабриках, заводах, бойцы встречали его в воинских частях и в окопах. Он уже тогда прославился как человек несгибаемой воли, бесконечного мужества и упорства, который не склонялся перед трудностями. В феврале 1944 года Тихонов стал руководителем писательской семьи нашей страны — председателем Правления Союза советских писателей. С ним я не был знаком, ни разу еще не видел, поэтому его звонок меня не только удивил, но даже, пожалуй, озадачил.

Спросив, не занят ли у меня вечер, Тихонов пригласил к себе в гости. Он долго и основательно растолковывал, как найти огромный дом за Каменным мостом, неподалеку от Кремля, и как в этом доме отыскать квартиру под номером 274... Конечно, подумалось мне, он, как руководитель Союза писателей, желает узнать от меня о буднях нашей литературы в недавно освобожденной республике. А мою фамилию, скорей всего, разглядел в московских газетах, где довольно часто появлялись мои стихи и статьи...

Тихонов встретил меня приветливо, дружелюбно, без тени превосходства. Широкоплечий человек средних лет с угловатым, волевым лицом; высокий лоб в ореоле седых волос, озорные глаза, светящиеся любопытством и теплом. Он крепко пожал мою руку и провел в кабинет, в котором стоял, по-видимому случайно купленный, грубой работы книжный шкаф, а на стенах висели впечатляющие фотографии Кавказских гор. На огромном письменном столе высились кипы писем, громоздились стопками новинки русской художественной литературы. И другая мебель в квартире была случайной, по-видимому такой, какую Тихонову, переехавшему из Ленинграда в Москву, удалось достать... На стенах висели карты каких-то стран Азии и несколько картин неизвестных мне художников, — по-видимому, подарки авторов... (Позднее квартира Тихонова приобрела вид музея: здесь можно было увидеть немало редкостей — особенно дальневосточных, божки из черного и красного дерева, символ «боксерского восстания» — вырезанный из дерева кулак, украшавший знамя повстанцев, старые географические атласы, даже китайские или японские...)

Казалось, скудная обстановка меньше всего смущала хозяина. Он пригласил сесть, сам устроился напротив и, глядя на меня, словно на давно не виданного старого друга, спросил:

— Ну, а как там поживает наша Литва?

И сразу же началась беседа, непринужденная и теплая. Хозяин слушал внимательно, не пропуская ни единого моего слова, и казалось, все, что я рассказывал об освобождении Литвы, об оккупации, начале восстановления, о конце войны, для него ново, интересно, достойно внимания. Потом он ни с того ни с сего спросил:

— А вы довольны переводами своих стихов, которые появляются в русской печати?

Я принялся объяснять, что слишком слабо знаю русский язык и не могу компетентно судить о качестве переводов, а он взял со стола мою книжку «Родное небо» и сказал:

— Я тут смотрел... Некоторые переводчики могли отнестись к делу посерьезней...

Я ответил, что круг переводчиков пока невелик, да и эти переводят с самых разных языков...

— Это наша беда, — сказал Тихонов. — Между прочим, следовало бы привлечь наилучших переводчиков, в работу впрягся бы и я сам, и мы подготовили бы для русского читателя сборник литовских народных песен...

(Увы, из-за множества других дел и занятий эта мысль тогда так и не была осуществлена.)

Наш разговор перескакивал с одной темы на другую, как бывает, когда в беседе нет официальности, а ее действительно не было и в помине. Почувствовав, что засиделся дольше, чем полагается при первом знакомстве, и так и не дождавшись от Тихонова перевода разговора на деловые вопросы, я начал прощаться, но он удержал меня и пригласил в столовую. За большим столом сидели несколько незнакомых мне людей. Оказалось, один из них альпинист, до войны вместе с Тихоновым совершавший восхождения на Кавказе, другой — известный полярник. Сидел не известный мне даже понаслышке поэт, который по пути из Средней Азии в освобожденный Ленинград заглянул к старым друзьям...

За столом царила Мария Константиновна, жена поэта, с усталым лицом (без сомнения, следы ленинградской блокады). Она обрадовалась литовцу и тут же зая-

вила, что у нее какие-то родственные связи с Литвой. Расспрашивала, что я люблю, чего бы хотел: вкусы всех своих знакомых она уже давно изучила... Я сказал, что не избалован. Снова потекла беседа — свободная, живая... Время шло, и никто не собирался уходить. Разговор, конечно, касался войны, поэт рассказывал о блокаде Ленинграда... Потом вспомнил Литву, которую посетил вместе с Всеволодом Ивановым в 1937 году. Сказал, что привез из Литвы неизгладимые впечатления, вспомнил Людаса Гиру, который встречал их, кажется, где-то у границы Латвии, Александру Сташкевичюте и других людей, с которыми встречался тогда... Потом сказал:

— На своем веку я видел много стран и людей, но нигде не встречал такой удивительной природы, такой зеленой растительности и голубого неба, как в Литве. Счастливы наши поэты, живущие в таком прекрасном краю. Побывав в Литве, я понял, почему ее так глубоко любил Адам Мицкевич...

Поднявшись из-за стола, Тихонов вышел в соседнюю комнату и принес показать мне и другим гостям тканые ленты, янтарные изделия, фотографии, которые привез тогда из Литвы и сберег во время блокады... Это взволновало меня. Он рассказывал гостям об удивительных людях Литвы, трудолюбивых и скромных, о мечтательных песнях, о Каунасе, Немане, городе на Балтике — Клайпеде, об истории Литвы... Было видно, что Литва увлекла его надолго, и, быть может, даже со мной он решил познакомиться, побуждаемый своими воспоминаниями...

Я смотрел на этого человека, похожего на капитана дальнего плавания, исколесившего много морей, но постоянно помнящего об одной — небольшой и любимой — гавани... И не мог не полюбить сразу поэта, который прямо клокотал воспоминаниями, маленькими интересными историями, похожими и на действительность и на плоды фантазии... Да, это мореход, повидавший много морей и континентов, выдержавший шторм нескольких войн (он участвовал еще в первой мировой, потом в гражданской войне, а несколько лет назад — в войне с белофиннами)... Той ночью началось наше знакомство, никогда не прерывавшееся, с десятками встреч в Москве и Ленинграде, в Литве и за рубежом... Это знаком-

ство обогатило меня новыми знаниями, духовными ценностями, главная из которых — не тронутая годами дружба, несмотря на разницу в возрасте и жизненном опыте. Я сотни раз убеждался в прочности и постоянстве этой дружбы, в благородстве этого человека, в его глубокой любви ко всем нациям, уважении к их истории и культуре. Дружба с Тихоновым давала мне уроки любви к своей нации и светлого интернационализма. В обществе Тихонова я провел много незабываемых часов. Дружбой этого удивительного человека я дорожу по сей день, как одним из самых ценных подарков в своей жизни...

ДВЕ СМЕРТИ

Я уехал домой. А в это время самолет поднялся с каунасского аэродрома и перенес Саломею в Москву... Ее положили в Кремлевскую больницу, где лучшие специалисты Москвы старались спасти ее жизнь. Сразу после прибытия в больнице ее посетили А. Снечкус и Ю. Палецкис. Среди московских писателей, которые знали и ценили поэтессу, распространились тревожные слухи...

В этот день я был в Каунасе. Глубокой ночью пришло известие, что величайшая наша поэтесса Саломея Нерис 7 июля скончалась.

Все кружилось перед глазами, как в страшном сне. Невозможно было поверить в это. Увы, это была правда...

8 июля тело поэтессы на «дугласе» было доставлено в Литву. Я помню темнеющее небо над взлетным полем, самолет, который окружили мы, друзья поэтессы, помню тяжесть гроба на моих плечах... Помню ее бледное лицо в зале Центральной библиотеки на улице Донелайтиса и толпы, толпы, тысячные толпы... Золотистые слезящиеся свечи, печальная, хватающая за сердце музыка и цветы, цветы — горы цветов. Мы вынесли ее, нашего любимого друга, большого человека и поэта, на своих плечах — М. Шумаускас, К. Корсакас, И. Шимкус, Э. Межелайтис, Ф. Беляускас и я... Нескончаемая процессия, бредущая по улицам Каунаса, заплаканные глаза друзей и незнакомых... Сотни венков, тьма живых цветов и... Вдруг сгустившиеся тучи, невиданно сильный ливень, словно сама природа скорбела в этот тяжелый час.

Гроб с прахом Саломеи Нерис опустили в могилу в садике Музея культуры, под плакучими березами. Вместе с тысячами людей мы в последний раз склонили головы перед свежей могилой, где, кажется, похоронили часть самих себя, своей жизни, своей души.

(Все это прошло... Могилу под плакучими березами не первый год уже посещают люди, тысячи людей, знавших поэтессу и никогда не видевших ее...

Я тоже часто прихожу на эту могилу. Стою и думаю, что поэтесса сейчас жива в сердце нашего народа ничуть не меньше, чем тогда, когда она была среди нас... И я очень благодарен ей за дружбу, которая обогатила мою жизнь... И понимаю, что эти коротенькие воспоминания — лишь бледное отражение того, что никогда не вернется, но и не исчезнет из моего сердца, пока буду жив.)

В свой родной Вильнюс, свободный, но разрушенный и сожженный, кажется, уже в середине лета вернулся Людас Гира. Вернулся он первым из нас удостоенный почетного звания народного поэта Литовской ССР, отдавший последние годы жизни и юношеский пыл культуре и свободе Советской Литвы... Вернулся, завоевав любовь новых людей — прежде всего бойцов и партизан... Вернулся с пошатнувшимся здоровьем, которое не могли восстановить ни опытные врачи Кремлевской больницы, ни его воля к жизни.

Когда я посетил его в Жверинасе, в квартире на первом этаже деревянного дома, которую выделило ему правительство, он лежал в постели на высоких подушках, еще более высохший, чем последнее время в Москве, осунувшийся. Его глаза просияли при виде гостя, а руки шевельнулись, чтоб поздороваться, но сила иссякла, и они застыли, похожие на корни усохшего дерева.

В нем еще цепко держалась жизнь, в этом измученном болезнью теле, и поэт заговорил отчетливо и радостно:

— Как хорошо, что ты пришел... А я лежу, как видишь. Но поправлюсь, непременно поправлюсь... Ты не думай, я работаю, пишу. Вот и завтра ко мне придет секретарь. Диктую... Нелегко, но работаю... А как там друзья — Цвирка, Марцинкявичюс, Корсакас?

Я стал рассказывать ему о друзьях, но он прервал меня, так и не дослушав:

— Саломея... Мне она снится... Каждый день вспоминаю. И все не верю, не верю...

Потом он рассказал, как был счастлив, когда на вокзале его, вернувшегося из Москвы, встретил сын Витаутас, по которому он так тосковал всю войну и который, к счастью, остался жив... Потом улыбнулся бесцветной улыбкой и сказал:

— А знаешь, мой котик, которого я так часто там вспоминал... котик ведь нашелся... Монахини его во время войны приютили, и он, оказывается, в монастыре спокойно дождался мирных дней... И снова вернулся к нам...

— Да, я видел его во дворе, — ответил я. — Такой большой, совсем как пес. Меня увидел, как зарычит, — думал, вот-вот набросится...

Поэт тихонько рассмеялся и сказал:

— Да, большой у меня котик... и добрый... Никого он не трогает, хоть и страшный с виду...

Я еще несколько раз побывал у него. Гира говорил, что непременно поправится, вспоминал пережитые вместе эпизоды — в Пензе, в Балахне, в Москве, рассказывал о своих замыслах, говорил, что работает, хоть это ему дается все с большим трудом... Говорил о дружбе народов, о переводах наших поэтов на украинский, даже на киргизский язык, о новых книгах, расспрашивал, какие пьесы ставят театры. Все его интересовало, и это показывало, что интеллект все еще живет в этом человеке, который всегда был таким энергичным, подвижным, хотя сейчас жизнь в его организме, увы, исподволь угасала...

В первые дни июля 1946 года мы проводили его, старшего нашего товарища, видного поэта, человека сложной судьбы, прожившего нелегкую жизнь и еще до советского времени нашедшего для себя истинный путь — с новой, Советской Литвой,— проводили его на кладбище Расу...

Это была еще одна жертва военных лишений и страданий. Еще одна, но не последняя...

СПЛОЧЕНИЕ

Ярким событием в жизни тех дней явился Первый съезд советских писателей Литвы. Он проходил в конце октября 1945 года в Вильнюсе, в круглом зале Комиссариата народного просвещения.

Еще перед открытием съезда в кулуарах можно было увидеть пеструю, интересную, милую душе семью наших писателей. С некоторыми из них мы виделись в последний раз еще до войны. Сейчас в Союзе было семьдесят восемь вновь зарегистрированных членов и, по тогдашнему порядку, шесть кандидатов. Обширная семья. В организацию вошли люди разные по возрасту, таланту, характеру, да и в политических взглядах не было единства. Нельзя, конечно, утверждать, что в съезде участвовали разные группировки, но все-таки в идеологическом отношении существовали большие различия. Эти различия сформировались еще в буржуазное время, их не сгладили годы войны, на них повлияли последние события — падение фашизма, разруха, трудности восстановления, а в особенности вооруженная борьба националистов против советского строя.

Над нашими головами пронесся ураган, далеко не всем удалось выжить, а из тех, кто уцелел, многих не оказалось в Литве. И все-таки нельзя было не радоваться, пожимая руки писателям, которых несколько лет отделяла от нас линия фронта. Они много пережили, настрадались и теперь желали поскорей включиться в работу, столь нужную для нашего общества, пережившего ужасы войны.

Вот ветераны нашей литературы и молодые еще писатели. А. Венуолис-Жукаускас, который во время войны находился в родном Аникщяй, — немолодой, но еще крепкий человек, не покинувший родного края в годину страшных испытаний. Поговаривали, что за войну он немало написал. В. Миколайтис-Путинас недавно вернулся из деревни, но уже активно включился в нашу научную и литературную жизнь. С. Чюрлёнене-Кимантайте, моя университетская наставница, во время оккупации спасала людей от гитлеровцев. Колоритна фигура Йовараса *, — смахивающий на простого крестьянина поэт приехал из разрушенного Шяуляй с плетеной корзинкой (он знал, что в Вильнюсе голодно, и прихватил с собой масла, сыру и колбасы). Корзинку эту он взял даже на трибуну, — это вызвало оживление в зале. Была тут и ветхая старушка, прибывшая в этот зал из другой, давно отзвучавшей эпохи, — Мария Ластаускене (Лаздину Пеледа). Б. Сруога, человек, надломленный гитлеровским концла-

герем, высокий, тощий, с землистым цветом лица, то и дело как-то загнанно и испуганно оглядывался. Е. Симонайтите и Т. Тильвитис, тоже испытавшие на себе ужасы гитлеровской тюрьмы и концлагеря. А вот Й. Паукштялис из Кедайняй, хороший друг и писатель, вот К. Борута и К. Якубенас, В. Жилёнис, старый вильнюсец А. Жукаускас; вот А. Мишкинис, Ю. Бутенас и А. Хургинас. . . Я уже не упоминаю друзей, с которыми провели войну на востоке. Увы, среди нас уже нет Саломеи Нерис, и Людас Гира неизлечимо болен. . .

На наш съезд пришли также ученые, актеры, художники, музыканты. . . Всех деятелей культуры живо интересует то, о чем будут говорить писатели. Здесь можно встретить художника Ю. Веножинскиса и режиссера Б. Даугуветиса, профессора Й. Кайрюкштиса * и Ю. Юргиниса, который тогда делал первые шаги в науке. В съезде участвовали и руководящие товарищи — Ю. Палецкис, К. Прейкшас и другие.

Литовская литература — один из национальных отрядов великой советской литературы. Эту мысль подчеркнули гости, прибывшие из Москвы, Латвии и Белоруссии, об этом говорилось в приветствиях, присланных с Украины, из Киргизии. . .

С уверенностью можно сказать, что участники и гости ждали от съезда ответа на трудные, сложные, запутанные вопросы тех дней. Хозяйство и уклад жизни в Литве были разрушены войной, психика людей расстроена и утомлена, зловещим призраком возникло националистическое движение, ползли слухи о новой войне. . .

Волей-неволей тон задавать пришлось писателям, проведшим войну в России. Сама жизнь, война и борьба, в которых они посильно участвовали, совместная литературная деятельность и другие обстоятельства прочно и навсегда сплотили этот небольшой отряд. Все проблемы они представляли более четко, чем товарищи, оказавшиеся в оккупированной Литве. Надо подчеркнуть это, дабы не воскрешать старые споры, которые чуть было не разгорелись на самом съезде, — о том, что из наших писателей сколачивают отдельные группировки и противопоставляют их, причем одним из них отдается преимущество. Как бы там ни было, именно этот отряд тогда естественным порядком вышел на первые позиции.

К. Корсакас, открывший съезд, выступил с обстоятельным докладом о советской литовской литературе, которой к тому времени стукнуло всего лишь пять лет, да и из них львиная доля приходилась на войну. Й. Шимкус и я дополнили К. Корсакаса докладами о поэзии и прозе. Проанализировав истоки нашей советской литературы, мы уделили основное внимание литературе Отечественной войны и авторам, работавшим в эвакуации, хотя не забыли и о тех, кто жил и посильно трудился в условиях оккупированной Литвы. Мы говорили о задачах писателей, снова сплотившихся в одну советскую семью. Нам казалось тогда, что главная из задач — активно бороться за восстановление Советской Литвы, против вооруженного наступления националистов. Само собой, нам пришлось коснуться и политической и творческой растерянности, дезориентации некоторых писателей, живших в оккупированной Литве. . .

Мысли наших докладов углубили другие ораторы, в первую очередь Ю. Палецкис, П. Цвирка и К. Прейкшас. Они призвали писателей отказаться от затянувшегося «обдумывания» позиций, от ожидания каких-то «перемен», объясняли некоторые стороны марксистско-ленинского мировоззрения и метода социалистического реализма и призывали создавать литературу, которая своим содержанием и духом утверждала бы новую жизнь, боролась бы за нее, воспитывала наш народ в свете новых идей страны социализма. Я не ставлю перед собой цели подробней анализировать или цитировать сказанные тогда речи — пусть это сделают историки литературы.

Первый съезд наших писателей продолжался три дня. На нем выступили многие товарищи — пожилые, в расцвете сил и совсем еще юные. На трибуну поднимались старый поэт А. Ластас и вечный спорщик К. Якубенас, остроумно говорила о писателях и периодической печати Л. Янушите, Бутку Юзе разбирал отношения между писателем и народом, В. Жилёнис ставил вопросы детской и молодежной литературы, Ю. Балтушис призывал к общественной активности и к борьбе против бандитизма; А. Венуолис говорил о драматургии, А. Хургинас — о поэтических переводах, А. Мишкинис требовал немедленного издания книг советских писателей для школ, а Ю. Бутенас занялся журналом «Пяргале». Генерал Й. Мацияускас и бывший боец Литовской дивизии

И. Зинкус говорили об отношениях писателей и дивизии. Э. Межелайтис энергично поднимал проблемы организации и воспитания молодых писателей; Й. Марцинкявичюс, Ю. Жюгжда, П. Пакарклис, Ю. Юргинис и другие коснулись различных сторон нашей культуры.

Съезд принял устав Союза и избрал постоянное правление. В него вошли не только идейно зрелые советские литераторы, как Балтушис, Цвирка, Корсакас, Мозурюнас, Шимкус и Тильвитис, но и такие видные писатели, как Ю. Паукштялис, П. Вайчюнас и А. Венуолис. Съезд сделал все, чтобы сплотить лучших наших писателей в единую семью для общей цели — создания советской литературы.

Когда были избраны постоянные органы Союза, слово попросила писательница старшего поколения С. Чюрлёнене. Она в нескольких фразах очень метко охарактеризовала значение съезда.

— Я хочу от души поблагодарить правительство, партию и подготовительную комиссию съезда, — сказала она. — В это вложено столько труда! Я полагаю, что эта работа даст большие плоды, — пока проявились лишь характеры, души, чувства, а потом, после раздумья, дождемся и результатов. Большое спасибо!

Правление избрало своим председателем Пятраса Цвирку, который в 1940—1941 годах руководил Оргкомитетом Союза писателей. Этот выбор имел определенный смысл: Цвирка был одним из самых известных прозаиков младшего поколения и организатором литературного журнала «Пяргале».

Начался длительный, трудный и сложный процесс консолидации и воспитания писателей. Не всегда он проходил гладко из-за разницы в идейных и эстетических взглядах да и в характерах самих писателей; мешал этому и воцарившийся тогда стиль культа личности, которому были свойственны грубость, администрирование и командование там, где следовало применить убеждение. В первые же дни новое руководство Союза поняло, как сложна и трудна его работа. Я каждый день встречался с Цвиркой и не раз слышал от него жалобы — то на писателей, не спешивших включиться в активную литературную деятельность, то на некоторых руководящих деятелей, которые не всегда отличались терпением, тактом, а то и элементарной человечностью. Сам Цвирка ста-

рался отдать новой для него работе всю свою горячую душу, энергию и знания. Увы, организационной работы он не любил и не всегда занимался ею последовательно и терпеливо. Его тянуло к собственному творчеству, а для этого оставалось все меньше времени и сил. Как часто мой друг приходил ко мне мрачный, раздражительный, несчастный из-за наложенных на него обязанностей, которые чем дальше, тем больше были ему в тягость.

Обострялась борьба с так называемыми представителями безыдейного и аполитичного искусства, с литературными «молчальниками», — сильнее всего она развернулась примерно через год, в октябре 1946 года, на всеобщем собрании литовских писателей. Опубликованные перед этим документы о журналах «Звезда» и «Ленинград» послужили причиной для острой, хоть и не всегда справедливой, критики также и в адрес писателей нашей республики. Я видел, как нелегко было Пятрасу, особенно когда пришлось критиковать таких писателей, как Сруога или Миколайтис-Путинас. Борьба приобретала все более острый характер. Пятрас неукоснительно выполнял эту работу, но чувствовал себя подавленно. Он мучался тем, что, занявшись делами Союза, запустил собственное творчество. Он не мог интенсивно работать еще и из-за психологической атмосферы того времени.

В это тревожное время окончательно рухнул старый и утвердился новый строй, и у нас появлялись все новые люди, которые были готовы сражаться за советскую власть. Выросли новые, советские люди, которые, не пугаясь террора националистического подполья, приступили к строительству новой жизни, к созданию новой литературы и искусства нового типа. Цвирка относился к таким людям как к истинным друзьям, старался помочь им своим политическим и художественным опытом.

Уже после войны начал выступать в литературе революционер-подпольщик, прошедший нелегкую школу жизни, Александрас Гудайтис-Гузявичюс. Именно Цвирка, а не кто-нибудь другой, внимательно ознакомился с рукописью «Правды кузнеца Игнотаса» и дал ей «зеленую улицу», разглядев беллетристический талант автора. Цвирка ценил нового писателя за богатый жизненный материал, собранный им в тюрьмах буржуазной Литвы. С первыми своими произведениями, по-юношески пылкими, выступил в периодике Миколас Слуцкис. В первый

день войны немецкие фашисты «приветствовали» его в Палангском пионерлагере бомбами, в Литву он вернулся из деревни Константиновка, Малмыжского района, Кировской области, где провел войну в литовском детдоме. Начал печататься Юозас Мацявичюс — поэт, чуткий к явлениям новой жизни, тонкий лирик, певец природы и чувств человека. Поначалу несмело, но с завидным упорством пробивался в литературу Альфонсас Беляускас, комсомолец, в годы войны лесоруб и боец Литовской дивизии, тоже прошедший трудную школу жизни. Выступил со стихами сын железнодорожника Антанас Йонинас, талант и энергию которого не подкосила тяжелая болезнь. Живописные очерки и наблюдательные рассказы публиковал Йонас Авижюс. Еще в военное время при содействии Цвирки стал печататься воин Литовской дивизии К. Марукас. Теперь он тоже не сидел сложа руки. Я перечислил здесь лишь некоторых из тех, кто впоследствии стал интересным писателем.

Многие из них не раз говорили и писали о том, какое большое влияние в начале творческого пути оказал на них писательский авторитет Цвирки, его политическая стойкость, литературное мастерство, наконец, доброжелательность, душевная теплота. Он поддерживал каждого, у кого замечал проблески таланта, старался из искорки раздуть яркое пламя.

«Он приходил почти на каждое собрание, активно участвовал в прениях, много и интересно говорил, — писал А. Йонинас. — Нас восхищали и речь и манеры Цвирки. Он говорил непринужденно, не мог усидеть на месте, обычно разгуливал по всему залу, почесывая макушку, иногда перебивал сам себя. Его речь была плавной, искрилась остроумием и, может быть, поэтому хорошо запоминалась».

Конечно, тогда тоже было много молодых людей, которые устремились в литературу, стараясь занять в ней какое-то место, — их имена помнят сейчас разве что товарищи по началу литературного пути. Цвирка старался не оттолкнуть и таких: если они, не став писателями, останутся хоть добрыми друзьями книги, и это принесет пользу, говаривал он. На встречах с молодыми, на собраниях секции молодых писателей, на обсуждениях произведений и в повседневном общении Цвирка стремился привить им потребность в литературных занятиях, вос-

питывал любовь к социализму. Еще ребенком испытав на своем горбу буржуазный гнет, всей душой ненавидя фашизм в буржуазной Литве, Цвирка помогал молодежи понять и полюбить новую жизнь, которая строилась на руинах старого общества, возненавидеть силы прошлого, пытающиеся повернуть колесо истории вспять.

Да, Цвирка был добрым другом молодого поколения писателей, он умело пестовал таланты. Велика его заслуга в том, что в нашу литературу уже в первые послевоенные годы пришел целый отряд способных писателей — со своим жизненным багажом, с разнообразным опытом нелегких лет, писателей, готовых отдать жизнь за новый строй, за советскую литературу.

НАВОДНЕНИЕ

Весной 1946 года Каунас постигло стихийное бедствие. Военные действия давно уже закончились, настал мир, но оба наших главных города еще подстерегали несчастья. На вильнюсском вокзале в начале 1945 года взорвался состав с боеприпасами (не знаю, случайно или из-за диверсии), отчего пострадал весь привокзальный район и даже в центре города вылетели стекла из окон, а в Каунасе вышел из берегов Неман, да так, как еще никогда за всю историю города. Высокая вода с ревом хлынула на улицы и площади Каунаса. Она с клокотаньем несла зеленоватые льдины и катилась все дальше, заливая не только прибрежные районы, но и кварталы города, до которых никогда еще не доходила вода. Огромные льдины громоздились на центральной улице города — Лайсвес-аллее, вода залила улицу Донелайтиса, оказавшись перед Музеем культуры и главным зданием университета. Тысячи людей, услышав странный гул, выскакивали из постелей, спасая свою жизнь и имущество.

Трагическая судьба постигла каунасский пригород Вилиямполе. Исполинские волны с невероятной быстротой залили огромное пространство; многие жители проснулись лишь тогда, когда вода хлынула в двери, выдавив стекла в окнах, залила комнаты сперва до уровня кроватей, а через несколько минут достигла потолка и затопила вторые этажи. Люди спасались кто как мог — взбирались на чердаки, на крыши. Многие спаслись от смерти в одном белье, — мокрые, перепуганные, озябшие,

они ждали помощи. По небу катились сумрачные тучи. Моросил дождь, дул пронизывающий ветер. А реки Нерис и Неман разлились огромным озером, и волны несли на берег лед. Огромные льдины царапали стены, разрушали их, сносили целые деревянные дома и тащили их за собой. Наши реки Неман и Нерис, спокойные, тихие и мечтательные летом, сейчас, ранней весной, показали свою яростную силу.

Я побывал в Вилиямполе сразу после того, как из Каунаса сбежали немцы, — тогда еще дымились здания в гетто. В подвалах лежали мертвецы — старики, женщины, дети, — задохнувшиеся в дыму горящих домов и убитые гранатами. Пригород Каунаса был обагрен кровью сотен и тысяч невинных граждан. Стоял жаркий летний день. Удушливый, сладковатый смрад витал над горящими кварталами, над пепелищем и серыми, скорбными руинами, которые высились, словно безмолвные свидетели неслыханного в истории вандализма.

Теперь я снова оказался в Вилиямполе — пасмурным утром в конце марта. У полуразрушенного моста я сел в «амфибию» — прекрасное изобретение военной техники, на которое в дни наводнения хотелось просто молиться. Вилиямполе стал недоступным, и только «амфибии», которые, по просьбе секретаря Каунасского горкома партии И. Григалавичюса, предоставили городу саперные войска, смело продвигались по высокой воде, мимо плавающих телеграфных столбов и торчащих из воды крыш. В нашей «амфибии» находилось 1730 килограммов хлеба, который следовало доставить на ту сторону, где толпы промокших и продрогших людей глядели в страхе и тоске на свои затопленные дома, на улицы, превратившиеся в реки, на погребенное под водой имущество. У некоторых погибли родные. . .

За нами осталась запруженная льдами Нерис. Льдины высились исполинскими буграми, вдалеке чернели застрявшие во льдах дома. Люди рассказывали, что еще недавно было слышно, как мычат коровы и визжат свиньи на льдинах. Ледяные горы несли дома, скарб и скот в объятия Немана и вдруг застыли, вздыбившись над мостом зеленовато-серой громадой.

Мы уже были за Нерис, и наша «амфибия» плыла по превратившимся в реки улицам, мимо аккуратных деревянных и каменных домов. В комнатах плавали пись-

менные столы, детские кроватки, в оконное стекло бился головой утопленник, словно пытаясь вырваться на простор. Потоки мутной воды разлились огромным озером. На крышах кое-где еще сидели люди, решившие не покидать своих домов. Других уже успели снять.

На каждом шагу видишь картины, которых не забудешь, пока жив. В полузатопленном доме, у окна с тюлевой занавеской, над самой водой висит клетка, в которой скачут и поют канарейки. Из воды торчит крыша колодца, а на ней сидит взъерошенный котенок и испуганно смотрит в одну точку. На залитых огородах торчит из воды приколоченная к забору доска, а на ней сидят два пса, спасшиеся от смерти, но не от воды. Насколько видит глаз, простирается водная гладь, и псы смотрят на далекий берег и терпеливо ждут своих хозяев.

Моросит холодный дождик. Над Нерис и Неманом висят плотные, тяжелые тучи. Куда ни глянешь — вода, вода, вода. . . Из воды торчат дома, трубы фабрик, в воде болтаются бочки, мебель, дрова, кухонная утварь — все, что вода вымела из дворов, вытащила из домов через разбитые окна и открытые двери. Сила природы ужасающе равнодушна к горю и слезам людей. . .

За Вилиямполе, на холмах, мерзнет под дождем толпа. Хорошо одетый человек в котелке, столь редком в наши дни, невзирая на дождь, струйками стекающий по лицу и холеной бороде, приставив к глазам бинокль, равнодушно взирает на Вилиямполе и старый город, залитый водой. Наша «амфибия» пускает в ход колеса, и мы по Жемайтийскому шоссе поднимаемся в гору. Машина останавливается у большого красного здания, где нашли убежище пострадавшие от наводнения. Перед домом стоит толпа голодных, измученных бессонницей людей. Многие мокрые и грязные — пытались вытащить из воды, что еще можно было спасти. Хлеб, который раздают приехавшие с нами люди, утоляет их голод. Все гуще толпа у дома, куда привезли продукты.

В красном здании разместились потерпевшие. У окна сидят две старушки, которые всю свою жизнь провели в Вилиямполе, видели на своем веку много пожаров, болезней, несчастий. Теперь они лишились своего имущества. Восьмидесятилетняя старушка вытирает уголком платка скупые слезы, — она не знает, где теперь ее зять, дочка, внуки... Она даже не помнит, как ее спасли. На

соломе сидит семья — мать и трое детей. Старшему красноармеец отдал свою шинель — ребенок был в одной рубашке. Двое ребят запеленаты в платки, они тоже в одних рубашонках, — мать вынесла только их, имущество осталось под водой.

— Кто вас спас? — спрашиваю я у старухи, которая узловатыми, потрескавшимися от старости и работы пальцами ломает хлеб и старательно жует его беззубым ртом.

— Кто же спасет, сынок? Русские, красноармейцы спасли на этой своей большой лодке на колесах. Подъехали к моему домику и забрали... А наши ироды, соседи еще называются, пропади они пропадом, на лодке подплыли, не берут — и все. «Дай, говорят, двести червонцев, тогда возьмем». А откуда я их возьму, червонцы-то?.. За весь свой век таких денег не видала...

— Ироды, истые ироды, — отзывается другая женщина. — Бога они не боятся... Еще литовцы называются...

— Есть всякие литовцы, матушка, — говорю я. — Вот литовцы вам хлеба привезли.

С кем я только ни говорил, все эти люди — рабочие, женщины, старики, дети — много добрых слов сказали в адрес красноармейцев. Отважные парни, которые на своих «амфибиях» не так давно героически форсировали Березину, Дунай, Эльбу и сотни других рек, теперь показывали чудеса геройства, спасая от смерти каунасцев. Население Каунаса не забудет помощи, которую оказали ему советские воины. Ниже по течению военные части бомбили заторы льда. Вода понемногу стала спадать.

Несколько дней спустя угроза наводнения для Каунаса миновала. Стихийное бедствие нанесло огромный ущерб не только городу и его пригородам. Были уничтожены продовольственные склады, мосты, дома, скот. Тысячи людей оказались в положении военных беженцев. Накормить их, одеть, предоставить крышу над головой — дело нелегкое. С этой работой с первых же дней успешно справлялись партийные и советские органы. На помощь Каунасу пришли другие города Литвы и братские советские республики. Из различных городов прибыли составы с промышленными и продовольственными товарами. Но голову подняли и спекулянты, спешившие погреть руки на чужой беде. Были случаи, когда мародеров, пытавшихся ограбить покинутые дома, сбрасывали в воду. Власти приняли суровые меры против грабителей...

На берегах Немана и Нерис еще долго громоздились огромные горы льда. Торчали печальные останки мостов, недавно восстановленных Красной Армией. И было радостно видеть, с какой энергией трудится население Каунаса, чтобы в город вернулась нормальная жизнь...

В эти дни ко мне на улицу Донелайтиса пришла взволнованная сестра М. К. Чюрлёниса Валерия Чюрлёните-Каружене *. Она сообщила об опасности, нависшей над картинами великого художника. Оказывается, произведения Чюрлёниса уже довольно давно находились в надежном, казалось бы, месте — подвалах бывшего Государственного банка, в сейфах, где когда-то хранились драгоценности. Здесь они были и когда Красная Армия освободила город, однако до весны 1946 года никто их еще не передал в музей. Теперь, когда вода залила большую часть Каунаса, картины оказались в опасности.

Получив такое известие, я поспешил в горком партии и в горисполком. Здесь я нашел людей, которые поняли всю важность вопроса и ущерб, который мог быть нанесен нашему культурному наследию. Ключей нельзя было найти — их, кажется, увезли немцы. При помощи Цвирки удалось раздобыть газосварочный аппарат, и после нескольких дней тяжелой работы сейфы были наконец открыты. К счастью, только некоторых картин коснулась вода, просочившаяся в сейфы, — больше всего пострадали части цикла «Знаки Зодиака». Как сказал мне впоследствии профессор Паулюс Галауне, вода в принципе не нанесла особого вреда — картины были высушены, и оказалось, что краски не претерпели изменений. Это было для всех нас большой радостью...

Встречаясь с Валерией Чюрлёните-Каружене, я который раз убеждался в том, что всю свою жизнь и всю свою любовь она посвятила высокой цели — собиранию, хранению и исследованию произведений своего брата. И если сейчас тысячи людей могут любоваться картинами гениального художника, то в этом большая заслуга его сестры...

Наводнение и для меня обернулось тяжелым горем...

В Бабтай, у Жемайтийского шоссе, жил мой брат Пранас, по профессии ветеринар. Я очень радовался, ко-

гда застал его, вернувшись, невредимым вместе со своей семьей. Несколько раз мы виделись в Каунасе, беседовали, рассказывали о пережитом. Паводок разрушил Вилиямпольский мост, а вскоре после стихийного бедствия однажды вечером я получил телеграмму — мой брат тяжело заболел. Я бросился туда-сюда в поисках машины, чтобы доставить брата в каунасскую больницу. Увы, учреждения уже не работали, шоферы разошлись по домам. Частных машин и такси тогда вообще не существовало. И все-таки, уже глубокой ночью, машину удалось где-то раздобыть. Я приехал к только что налаженной паромной переправе. Паром не работал — закрыли на ночь. Пришлось вернуться в город. И только ранним утром мне удалось переправиться через Нерис. Не доехав до Бабтай, на шоссе я встретил телегу, в которой лежал Пранас... Он был смертельно бледен; когда телега остановилась, я услышал, что он тяжело стонет. Мы перенесли больного в машину и вскоре уже были в Каунасе, во дворе больницы Красного Креста. Здесь Пранаса положили в палату, и врач Яржемскис тут же приступил к операции. Оказалось, аппендикс уже лопнул, с операцией опоздали...

Почти каждый день я ходил к брату в больницу. Тяжело было смотреть на его красивое, но как бы спавшее, изменившееся лицо. Когда ему бывало лучше, мы вспоминали прошлое, свое детство, я рассказывал ему, как приглядывал за ним, как мы вместе росли. Вспомнили лето 1939 года, когда я жил у него над озером Сартай и готовил к печати сборник рассказов «Ночь». Долгими часами сидели в больнице молодая жена Пранаса и его дочурка. Не хватало лекарств. Я пытался достать их через Цвирку, который тогда уже жил в Вильнюсе. Но и там с лекарствами было туго. Цвирка писал мне: «Лекарства кое-как, порядком набегавшись, достал. Высылаю. Трудно было найти человека, чтоб их доставить...» Война внесла в быт сумятицу, сделала сложными и трудными самые простые вещи...

Пранас не поправился. Он не мог есть, страшно исхудал. Сделали еще одну операцию. Но она уже не могла спасти моего брата. Самое страшное, что он, как медик, понимал свое состояние... Он угасал, словно свеча, и умер, скорее всего от истощения — долгое время он ничего не ел...

Был поздний вечер, когда я вошел в палату и увидел его лицо без признаков жизни. Судорога стиснула горло. У постели рыдала вдова...

Эта смерть потрясла меня — Пранас был любимым моим братом. Мягкий, умный и трудолюбивый человек, он завершил свое образование уже взрослым, — насколько мог, я тоже ему тогда помогал... И долго не выходила из головы мысль: если бы не наводнение, если бы не разрушенный мост, мы успели бы вовремя доставить его в больницу и все бы обошлось...

Родные и друзья проводили Пранаса на кладбище у проспекта Витаутаса. Так или иначе, он оказался еще одной жертвой войны. Если бы не война и ее последствия, Пранас жил бы по сей день.

Все яростней зверствовало в Литве националистическое подполье. Из деревень в леса сбежало немало молодежи, уклоняющейся от службы в Красной Армии во время военных действий. Там ее завлекли в свои банды националисты, вскоре превратившиеся в заурядных бандитов. Они убивали новоселов, председателей волисполкомов и сельсоветов, работников милиции. Бывали случаи, когда они своих жертв резали пилой и пытали другими гестаповскими методами. Неблаговидную роль в разжигании политического бандитизма сыграло зарубежное радио. Обанкротившиеся литовские политиканы с самолетов сбрасывали главарям бандитов радиоаппаратуру, оружие, деньги, инструкции. Буржуазия, прикрываясь националистическим флагом, пыталась свергнуть социалистический строй. Все это было, разумеется, таким же безумием, как и попытка создать в начале войны так называемую «независимую Литву» в крае, оккупированном Гитлером, который бредил «тысячелетней империей» до Урала... «Независимая Литва» в самом центре этой империи!.. Глупость, очевидная для маленьких детей, но не для амбразявичюсов и тех, кто стоял у них за спиной... Так и сейчас... Советская Армия находилась в центре Европы, а «литовские патриоты», «борцы за свободу», уповая на возвращение былых времен, убивали, убивали, убивали тех самых литовцев, совсем как их наставники гестаповцы, а иногда даже изощренней...

Я не пишу здесь истории националистического под-

полья. Но как очевидец я обязан сказать, что эта история — кровава и грязна и никакие усилия бывших вдохновителей этого движения не смоют крови ни с этих «борцов за свободу», ни с них самих... Это страшная страница в истории нашего народа, и за нее несут ответственность натасканные гитлеровцами, а позднее науськиваемые империалистическими разведками руководители буржуазной Литвы.

В городке Меркине молодежь веселилась в клубе — бандиты швырнули туда гранату, убив и ранив юношей и девушек... Каждую ночь на хуторах убивали целые семьи, заподозрив их в симпатиях к Советской власти... В Верхней Фреде, на Соловьиной тропе, застрелили в его же доме комсомольца Витаутаса Гечяускаса, ученика IV гимназии. Это случилось по соседству с нами. Убийство каунасцам показалось жестоким и бессмысленным. Застрелили его, как позднее выяснилось, юнцы, пособники бандитов... Всплыли на поверхность всевозможные преступники, садисты... Решающий удар по националистическому подполью нанес сам народ, прежде всего отряды народных защитников, а покончила с ним коллективизация села.

Сразу после войны появились и заурядные уголовники, из-за которых жизнь стала еще опасней. Например, кто-то выстрелом из револьвера в Вильнюсе, за парком Вингис, серьезно ранил моего друга Пятраса Чюрлиса, который купался в реке. Когда мы жили в Каунасе, к нам часто заходила разговорчивая и симпатичная женщина из-под Расяйняй, мать преподавателя университета Эугениюса Мешкаускаса. Как-то она прибежала в слезах, едва выговаривая слова от волнения. Оказалось, что прошлой ночью к ним явились вооруженные люди, приехавшие на «виллисе». Всех разбудили, угрожая оружием, велели лечь на пол, а сами стали шарить по дому. Увезли лучшую одежду и почти все продукты. Однако второпях шофер банды потерял в избе удостоверение, которое женщина и привезла показать. Я понял, что по этой ниточке можно распутать весь клубок. Сходил в Каунасский уком партии и, рассказав всю историю, показал удостоверение. Шофера тотчас же отыскали и посадили в тюрьму. Здесь он несколько дней отмалчивался, а потом рассказал про своих сообщников и какую-то Марусю в Вильнюсе, которая «реализует» награбленное добро и

всегда держит самогон. Были задержаны и другие бандиты вместе с их сообщниками в Вильнюсе, Шяуляй и других городах Литвы. Милиция действовала весьма оперативно — удалось найти и вернуть пострадавшим почти все вещи, — правда, продукты уже были съедены... Оказалось, что в банду грабителей входило немало любителей легкой наживы... Я радовался, что мне удалось чем-то помочь людям в это суровое и немилосердное время. С наступлением ночи никто не был уверен, что доживет до утра...

Сейчас, когда я прохожу мимо величественного здания Республиканской библиотеки на проспекте Ленина в Вильнюсе, то частенько вспоминаю, что здесь не так уж давно высились остовы сожженных домов. Для расчистки развалин проводились субботники. В них участвовали рабочие, служащие учреждений, студенты, ученики. Сюда приходили работать и мы, писатели. Мы разбирали кирпичи, складывали их на носилки и уносили подальше — засыпать воронку из-под бомбы... Обычно я работал в паре с Теофилисом Тильвитисом. Отработав несколько часов, возвращались домой, довольные, что и мы внесли свою лепту в восстановление Вильнюса... Лишь позднее на расчистке развалин появились бульдозеры, грузовики. В первые послевоенные годы ничего этого не было — только люди, их любовь к городу и их руки...

ГОРЕ

Опуская многие события тех лет и дней, я не могу не остановиться на еще одной утрате, мучительной для меня, и не только для меня...

Я жил уже в Вильнюсе, на улице Уосто (сейчас — Пятраса Цвирки), в домике на холме, у калитки которого растет плакучая ива. Пятрас, председатель Союза писателей, теперь тоже поселился в Вильнюсе — у него была комнатка в здании Союза.

В последний год жизни Пятраса наша дружба стала особенно тесной и теплой. Мы виделись почти каждый день в Союзе писателей, чуть ли не через день он забредал ко мне. Бывал в отличном настроении, веселился, острил. Его семья по-прежнему жила в Каунасе, на улице

Траку, и он, по-видимому, находил у нас то тепло дома и радушие, в которых так нуждался. Он мечтал перевезти свою семью в Вильнюс. Подыскивал квартиру и все не мог найти, — одни были заняты, а другие оставались полуразрушенные, неотремонтированные. Мечтал об отдельном домике с садом, где можно было бы разводить цветы, а на досуге читать любимые книги, писать. Еще до войны он пристрастился к рыбной ловле, а теперь, откуда-то раздобыв ружье, решил начать охотиться.

Заходя к нам, Пятрас обожал «философствовать» на разные темы с моим маленьким сыном, на ходу выдумывая для него всякие истории, сочинял стихи, изобретал игры. Из Каунаса (а ездил он туда каждую неделю), от своего сына Андрюкаса, он привозил моему Томасу подарки, рисунки и послания, написанные неразборчивыми каракулями. Андрюс только-только научился выводить буквы, и смешные, часто рифмованные письма за него обычно писал отец.

Цвирка заходил к нам, и мы долго толковали о событиях дня, делились творческими замыслами, обсуждали литературные новости. Я читал ему недавно переведенные строфы «Евгения Онегина». В сущности, лишь благодаря его постоянному вниманию я завершил перевод поэмы. В последние дни жизни Пятраса мы собирались вместе написать предисловие к сочинениям Жемайте и составляли план этой статьи. Он снова перечитывал Жемайте, и его поражали сочность таланта этой простой деревенской женщины, ее знание жизни, национальная достоверность персонажей.

— Так писать, как писала Жемайте, очень даже нелегко, — говорил Пятрас. — Хотел бы я когда-нибудь написать рассказ не хуже «Снохи»...

— По-моему, у тебя есть вещи не хуже, чем у Жемайте.

— Ну, нет.., «Сноха» навсегда останется в нашей литературе...

Он радовался, что Жемайте и других наших писателей начали переводить на русский язык, что они станут известны в Советском Союзе. Особенно порадовал его выход в свет сочинений Донелайтиса в переводе Д. Бродского.

— Такие поэты рождаются раз в столетие. Донелайтис, Майронис, Нерис — поэтов больше их я не знаю а

Литве. Наших писателей тоже узнают все народы Советского Союза, как они уже знают Шевченко, Руставели. И правда, возможно ли такое где-нибудь в капиталистическом мире? С каким трудом там завоевывает признание литература маленькой нации; хотя и маленькие нации создали большие произведения, но кому они известны? Нет сомнения, у этих наций тоже есть гениальные писатели, которые могут удивить мир. Но кому это интересно в капиталистических странах, где все решает чистоган?

У него возник замысел злободневного произведения о борьбе с националистами, и перед самой смертью он начал писать роман «Река не возвращается». С большим интересом он читал в эти дни «Шуаны» Бальзака, где изображен контрреволюционный мятеж в Вандее во время Великой французской революции. Пятрасу казалось, что в этом романе можно найти аналогии с событиями в Литве.

— Я чувствую, это будет мой первый настоящий роман, — признавался он мне. — Все, что я до этого написал, — только пробы пера. Пора уже начать работать всерьез. Поеду летом на взморье, поселюсь в укромном домике, где никто не будет мне мешать, и осенью у меня будет готов роман.

Его мечте не суждено было сбыться.

Примерно за неделю до его смерти я встретил Пятраса на улице. Он сказал:

— Давно собираюсь проведать Пятраса Вайчюнаса. Знаешь, хворает человек, обрадуется гостям... Давай зайдем к нему...

Пятрас Вайчюнас был бледен. Он исхудал, казался тяжело больным, говорил с трудом, то и дело откашливался в платок и жаловался на отвратительное самочувствие. Пятрас сказал ему, что может отправить его на лечение, но Вайчюнас отказался — боится-де путешествий. Когда мы вышли, Пятрас сказал:

— Ясно как день — Вайчюнас не жилец... Протянет полгода — и конец. Жалко человека...

— Эх, Пятрас, — сказал я, — никто из нас не знает, когда придется расстаться... Но ты не унывай. Если умрешь раньше меня, обещаю отредактировать твои сочинения...

Пятрас мою довольно неудачную шутку воспринял всерьез, сердито покосился на меня и ответил:

— Смотри, чтоб мне твоих сочинений не пришлось редактировать...

(Пятрас Вайчюнас после нашего посещения протянул еще лет пятнадцать и успел кое-что написать. А мои слова обернулись трагической действительностью — я был редактором первого посмертного собрания сочинений Пятраса Цвирки...)

В последний раз Пятрас зашел ко мне дня за два до своей смерти. Казался грустнее обычного, был неразговорчив, куда-то подевалось неизменное остроумие, которым искрился каждый наш разговор. Пришел, тихонько сел и сидел так, ласковый и домашний, словно хотел что-то сказать и не решался. Казалось, его что-то гнетет. Я думал, что ему нездоровится, — в последнее время он лечил желудок. Мы говорили о кончине незабываемой Саломеи, о смерти поэта Бутку Юзе. Несколько дней до того Пятрас заходил более веселый — врачи советовали ему съездить на Кавказ.

— Может, там будет даже лучше, чем на взморье, — сказал тогда он. — Кавказ я очень полюбил. Нигде не найдешь таких замечательных людей и такой природы...

Теперь он сказал, что поездка на Кавказ отпадает, причина болезни желудка установлена и он скоро поправится. И никто из нас не знал, что он стоит на пороге смерти... Никто не мог отгадать, что уже несколько лет он страдает тяжелым атеросклерозом...

...Меня разбудил громкий стук в окно. Я вскочил, открыл дверь. Это был посыльный от А. Снечкуса. Остановившись в дверях, он прерывающимся голосом сообщил страшную весть:

— Умер Пятрас Цвирка...

— Что вы говорите? Чепуха! Я же вчера, на первомайском вечере, видел его в Союзе писателей...

И правда, Пятрас вчера зашел в зал клуба, где за скромным столом собрались писатели, подсел к одному, к другому, поговорил вполголоса. Рюмку, кажется, только пригубил и поставил на стол...

— Умер час назад... Товарищ Снечкус просил... Машина ждет на улице...

Я весь дрожал. Посмотрел на часы. Было половина

шестого утра. Час назад он сделал последний вздох... Нет, как можно в это поверить!.. В соседней комнате плакала Элиза.

В клинике уже были А. Снечкус, Г. Зиманас. Трудно было говорить. Плач, неудержимый и тяжелый, судорогой сдавил горло. Пятрас лежал в палате второго этажа. Взволнованные, пришибленные страшным известием, один за другим появлялись Р. Шармайтис, К. Корсакас, Й. Шимкус, М. Мешкаускене, министр здравоохранения Б. Пенкаускас...

Через час в Союзе писателей стали собираться вильнюсские литераторы, приехал Палецкис. Это была печальная встреча — совещание о похоронах нашего друга.

Тяжелая и печальная обязанность выпала на мою долю. Надо было немедленно поехать в Каунас — сообщить каунасцам, и прежде всего вдове Цвирки...

Пятрас лежал в круглом зале Наркомата просвещения. Казался таким же молодым, только страшно серьезным и бледным... Последний раз я поцеловал его белый красивый лоб... И меня охватила тоска...

На кладбище Расу садилось солнце, когда в могилу обрушились первые комья земли. Мы стояли над могилой дорогого нам человека, мучительно переживая потерю. Вот-вот опустятся сумерки, и нам станет еще тяжелей без того, который своим большим сердцем, талантом, оптимизмом, неизбывным весельем помогал нам жить, был настоящим другом в нашей борьбе за идеалы эпохи. Мы сознавали, что от нас ушел самый талантливый наш писатель, своими произведениями заслуживший любовь народа.

Смерть — это грань, показывающая человека во всем его величии или ничтожестве. И мы сразу поняли, какой человек жил среди нас. Пройдут десятки, сотни лет, но ничто не изгладит из памяти народной светлый образ Пятраса Цвирки, не заставит умолкнуть трепет его сердца, вложенный в многочисленные страницы его замечательных книг. Наш народ лишился одного из лучших своих сынов, оставившего произведения, полные жизни, которую он вынес из глубин народа и с лихвой вернул народу. Ему казалось, что все написанное им — лишь подготовка к великому творческому подвигу. А мы знаем, что оставленное им неоценимое богатство — неотъемлемая часть культуры нашей нации...

ШЛИ ДНИ, МЕСЯЦЫ, ГОДЫ...

Шли дни, месяцы, годы... Всходило солнце, озаряя воскресающие из руин города, зарастающие травой могилы жертв войны, радуя младенцев и целуя их улыбающиеся лица. Ночью в небе плыли созвездия, как миллионы лет назад, как через миллионы лет... Все ждали тишины и мира, но их все не было..

Атомные бомбы, упавшие с американских самолетов на Хиросиму и Нагасаки, обернулись угрозой новой войны. «Холодная война» между бывшими союзниками разгоралась все сильнее. В Европе не было устойчивости, настала пора, когда казалось, что в любой день может начаться новая война...

Время шло, не останавливаясь ни на минуту. Наша страна трудилась, работал и я — был всюду, куда звала меня Родина. Я писал, выступал на митингах и собраниях, объяснял сложную эпоху и наше место в жизни. Я путешествовал по Литве и по многим странам мира, добираясь до Китая, Индии, до берегов Исландии. Многие из этих поездок были связаны с величайшим движением нашего времени — борьбой за мир.

Я видел трудности на пути в будущее и старался не утратить веры в прогресс, в победу добра и в способность трудящихся Литвы и всей нашей страны создать новый мир, контуры которого обрисовал великий Ленин.

С момента событий, которыми я завершаю эту книгу, прошло немало лет. Моя голова поседела, но сердце осталось таким, как тогда. Не убывает в нем любовь к родной земле, к людям, не тускнеет моя мечта увидеть свой народ в семье других советских народов еще светлее, богаче и культурнее, чем сейчас, когда он только-только вышел на широкую дорогу...

Идут дни, месяцы, годы... Восходит и заходит солнце... В ночном небе у нас над головами плывут созвездия и космические станции. Наша жизнь — всего лишь миг. Жизнь народов и человечества — вечна. Да будет она благословенна!

ПРИМЕЧАНИЯ

Жюгжда Юозас (р. 1893) — советский историк, академик.

Жилёнис Винцас (1905—1964) — советский поэт и прозаик (романы «Школа в Будвечяй», «Отречемся от старого мира»).

Гедвилас Мечисловас (р. 1901) — прогрессивный общественный деятель в буржуазной Литве. В 1940—1956 гг. Председатель Совета Народных Комиссаров и Совета Министров Литовской ССР, в 1957—1972 гг. — министр просвещения Литовской ССР.

Креве-Мицкявичус Винцас (1882—1954) — виднейший прозаик и драматург, умер в США (рассказы «Под соломенной стрехой», повесть «Колдун», драмы «Шарунас» и «Скиргайла» и др.).

Шумаускас Мотеюс (р. 1905) — участник революционного движения, советский государственный деятель. В 1956—1967 гг. Председатель Совета Министров Литовской ССР, в 1967—1976 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

Палецкис Юстас (р. 1899) — журналист, поэт, прогрессивный общественный деятель в буржуазной Литве. В 1940—1967 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР, в 1966—1970 гг. — Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

Гловацкас Пиюс (1902—1941) — участник революционного движения, в 1940—1941 гг. — Председатель Госплана Литовской ССР.

Цвирка Пятрас (1909—1947) — один из основоположников литовской советской литературы и крупнейший мастер прозы (романы «Франк Крук», «Земля-кормилица», «Мастер и сыновья», рассказы, публицистика).

Климавичюс Казис (р. 1886) — прогрессивный педагог в буржуазной Литве, заслуженный учитель Литовской ССР.

Кудирка Винцас (1858—1899) — писатель и крупный общественный деятель эпохи национально-освободительного движения.

Пакарклис Повилас (1902—1955) — историк, юрист.

Адомас-Мескупас Ицикас (1907—1942) — участник революционного движения в Литве, в 1940—1941 гг. второй секретарь ЦК КП Литвы.

Гира Людас (1884—1946) — народный поэт Литовской ССР.

Генюшас Юозас (1892—1948) — советский педагог.

Шимкунас Пеликсас (1891—1970) — прогрессивный общественный деятель, географ.

Янонис Юлюс (1896—1917) — пролетарский поэт.

Микутайтис Пятрас (1906—1963) — педагог, участник революционного движения.

Юодялис Пятрас (1909—1975) — литературовед, переводчик.

Драздаускас Валис (р. 1906) — литератор-антифашист, переводчик.

Нерис Саломея (1904—1945) — крупнейшая литовская советская поэтесса, лауреат Государственной премии СССР.

Адомаускас Людас (1880—1941) — участник революционного движения, в 1941 г. нарком Госконтроля Литовской ССР. Расстрелян гитлеровскими оккупантами.

Зибертас Пранас (1895—1942) — коммунист, многие годы провел в тюрьмах буржуазной Литвы. Расстрелян гитлеровскими оккупантами.

Жемайте (Жимантене Юлия, 1845—1921) — прозаик и драматург, классик литовской литературы.

Гашка Игнас (р. 1891) — участник революционного движения, заслуженный деятель культуры Литовской ССР.

Прейкшас Казис (1903—1961) — участник революционного движения, в 1940—1948 гг. секретарь ЦК КП Литвы.

Снечкус Антанас (1903—1974) — советский партийный и государственный деятель, с 1940 г. до своей смерти первый секретарь ЦК КП Литвы.

Мешкаускене Михалина (Навикайте, р. 1907) — участница революционного движения, заслуженный деятель искусств Литовской ССР.

Борута Казис (1905—1965) — советский поэт и прозаик (роман «Деревянные чудеса», повесть «Мельница Балтарагиса» и др.).

Балтрушка Повилас (р. 1894) — участник Октябрьской революции, политработник Красной Армии.

Виницкис Янкелис (р. 1907) — участник революционного движения, партийный работник.

Казанавичюс Антанас (1892—1940) — участник революционного движения.

Казанавичене Алдона (1892—1968) — писательница, участница революционного движения.

Гелвайнис-Корсакас Костас (р. 1909) — советский литературовед, академик, поэт.

Грицюс Аугустинас (1899—1972) — прозаик и драматург (рассказы «Люди», пьесы «Накануне», «Жаркое лето» и др.).

Тубялис Юозас (1882—1939) — долгие годы премьер буржуазной Литвы.

Кирша Фаустас (1891—1964) — поэт-символист, умер в США.

Сруога Балис (1896—1947) — поэт, драматург, литературовед, во время фашистской оккупации узник концлагеря в Штутгофе (исторические драмы, репортаж о концлагере «Лес богов» и др.).

Миколайтис-Путинас Винцас (1893—1967) — народный писатель Литовской ССР, поэт, прозаик, драматург, литературовед (сборники «Пути и перепутья», «Дар бытия», романы «В тени алтарей», «Повстанцы» и др.).

Бинкис Казис (1893—1942) — поэт и драматург, одно время глава литовского футуризма (сб. «100 весен», пьесы «Поросль», «Генеральная репетиция» и др.).

Монтвила Витаутас (1902—1941) — один из основоположников литовской советской поэзии, расстрелянный гитлеровскими оккупантами.

Шимкус Йонас (1906—1965) — советский поэт и прозаик, один из организаторов литературной жизни в Советской Литве.

Теофилис Тильвитис (1904—1969) — народный поэт Литовской ССР (поэмы «Дичюс», «Пахари», «На земле литовской» и др.).

Балтушис Юозас (р. 1909) — народный писатель Литовской ССР, прозаик и драматург (роман «Проданные годы», пьеса «Поют петухи» и др.).

Бутенас Юлюс (р. 1908) — советский литературовед, прозаик.

Мишкинис Антанас (р. 1905) — поэт.

Сириос Гира Витаутас (р. 1911) — советский поэт, прозаик, драматург (романы «Буэнос-Айрес», «Бабье лето» и др.), сын поэта Людаса Гиры.

Грушас Юозас (р. 1901) — советский прозаик, драматург (пьесы «Геркус Мантас», «Тайна Адомаса Брунзы» и др.).

Паукштялис Юозас (р. 1899) — советский прозаик.

Чюрлёнене-Кимантайте София (1886—1956) — прозаик, драматург.

Симонайтите Ева (р. 1897) — народная писательница Литовской ССР (романы «Судьба Шимонистов», «Вилюс Каралюс», автобиографическая трилогия и др.).

Оринтайте Петронеле (р. 1905) — поэтесса, живет в США.

Брадунас Казис (р. 1917) — поэт, живет в США.

Довиденас Людас (р. 1906) — прозаик, живет в США.

Бразджёнис Бернардас (р. 1907) — поэт-мистик, реакционер, живет в США.

Сметона Антанас (1874—1944) — буржуазный политик, президент Литвы в 1919—1920 гг. В 1926 г. вместе с А. Вольдемарасом совершил государственный переворот и правил Литвой до 1940 г. Умер в США.

Рачкаускас Меркелис (1885—1968) — знаток античных языков и литератур, профессор, переводчик.

Марцинкявичюс Йонас (1900—1953) — советский прозаик (романы «Бениамин Кордуш» и др.).

Склерюс Каетонас (1876—1932) — крупный живописец-реалист.

Гальдикас Адомас (1893—1969) — крупный график, живописец.

Казокас Леонардас (р. 1905) — советский художник.

Рачкаускайте-Цвиркене Мария (р. 1912) — советская художница.

Калпокас Пятрас (1880—1945) — крупный живописец-реалист.

Жукас Стяпас (1904—1946) — прогрессивный художник, карикатурист и живописец.

Петраускас Кипрас (1885—1968) — советский театральный деятель, выдающийся оперный певец, основатель литовской оперы.

Йонушкайте Винце (р. 1902) — оперная певица, живет в США.

Балис Жигялис (р. 1886) — книгоиздатель, деятель культуры.

Кнюкшта Антанас (р. 1892) — книгоиздатель, деятель культуры.

Майронис (Мачюлис) Йонас (1862—1932) — крупнейший поэт периода национально-освободительного движения в Литве (сборник «Голоса весны», поэма «Молодая Литва» и др.).

Тумас-Вайжгантас Юозас (1869—1933) — крупнейший прозаик эпохи национально-освободительного движения (эпопея «Просветы», повести «Дяди-тетки», «Немой» и др.).

Шимкус Стасис (1887—1943) — композитор (опера «Деревня у поместья» и др.).

Балтрушайтис Юргис (1873—1944) — поэт-символист, писал на русском (сб. «Земные ступени», «Горная тропа») и литовском языках (сб. «Венок из слез» и др.). В 1920—1939 гг. был послом буржуазной Литвы в Москве.

Микенас Юозас (1901—1964) — народный художник СССР, скульптор.

Якшявичюс Альгирдас (1908—1941) — актер и режиссер.

Миронайте Моника (р. 1913) — драматическая актриса, народная артистка Литовской ССР.

Булавас Юозас (р. 1909) — юрист.

Даукантас Симонас (1793—1864) — историк, литератор, просветитель.

Станявичюс Симонас (1799—1848) — поэт, фольклорист.

Басанавичюс Йонас (1851—1927) — крупнейший общественный деятель периода национально-освободительного движения, этнограф, фольклорист, врач.

Мицкявичюс-Капсукас Винцас (1880—1935) — один из основателей КП Литвы, выдающийся деятель литовского и международного революционного движения.

Юкнявичюс Ромуальдас (1906—1963) — советский театральный деятель, режиссер.

Кардялис Йонас (1893—1970) — реакционный журналист, умер в Канаде.

Мильтинис Юозас (р. 1907) — выдающийся советский театральный деятель, актер, режиссер.

Балдаускас (Бальджюс) Юозас (1902—1962) – фольклорист и этнограф, профессор

Аугустинайтис Пранас (1883—1941) — литератор, ученый, общественный деятель.

Скарджюс Пранас (р. 1899) — филолог.

Пакштас Казис (1893—1960) — географ, клерикальный деятель. Умер в США.

Гудайтис-Гузявичюс Александрас (1908—1969) — участник революционного движения, народный писатель Литовской ССР (романы «Правда кузнеца Игнотаса», «Братья», «Заговор» и др.).

Виткаускас Винцас (1890—1965) — военный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Кузма Владас (1892—1942) — крупнейший литовский хирург, академик.

Лаукайтите Изабеле (1909—1948) — участница революционного движения, партийный работник, убита буржуазными националистами.

Даугуветис Борисас (1885—1949) — выдающийся театральный режиссер, драматург, народный артист СССР.

Йонинас Игнас (1884—1954) — историк.

Тарабилда Пятрас (р. 1905) — советский художник.

Дабушис Стасис (р. 1898) — языковед, переводчик.

Мицкис Матас (1896—1960) — агроном. В 1940—1941 гг. нарком сельского хозяйства республики.

Торнау Александрас (1895—1938) — адвокат, прогрессивный общественный деятель.

Вольдемарас Аугустинас (1883—1946) — реакционный

политический деятель, в 1919—1922 и 1926—1929 гг. премьер Литвы, в 1934 г. угодивший в тюрьму за попытку государственного переворота.

Галванаускас Эрнестас (1882—1968) — политический деятель буржуазной Литвы, финансист, умер во Франции.

Чиплис Адомас (р. 1904) — участник революционного движения, деятель культуры.

Зиманас Генрикас (р. 1907) — в 1940—1970 гг. редактор газеты «Тиеса», с 1970 г. редактор журнала «Комунистас».

Веножинскис Юстинас (1886—1960) — художник-живописец.

Ластаускене Мария (1872—1967) — писательница-реалистка, выступавшая вместе с сестрой Софией под псевдонимом Лаздину Пеледа.

Жукаускас Альбинас (р. 1912) — советский поэт.

Гедиминас (1275—1341) — великий князь Литовский, основатель столицы Литвы — Вильнюса.

Кястутис (1297—1382) — с 1345 г. великий князь Литовский, построивший Тракайский замок.

Витаутас (ок. 1350—1430) — сын Кястутиса, великий князь Литовский.

Корсакене Галина (р. 1910) — советская писательница (роман «Временная столица» и др.).

Ротомскис Повилас (1906—1960) — участник революционного движения, советский работник.

Кимантайте Казимера (р. 1909) — народная артистка Литовской ССР, театральный режиссер.

Банайтис Юозас (1908—1967) — советский общественный деятель, министр культуры Литовской ССР.

Келюотис Юозас (р. 1902) — журналист, переводчик.

Шармайтис Ромас (р. 1909) — участник революционного движения, директор Института истории партии Литовской ССР.

Реймерис Вацис (р. 1921) — поэт.

Мозялис Юозас (1904—1943) — участник антифашистского движения.

Диджюлис Каролис (1894—1958) — участник революционного движения, партийный работник.

Марукас Казис (Мариёнас Красаускас, р. 1921) — советский прозаик (повесть «В Жалякальнисе подметают улицы» и др.).

Мешкаускас Эугениюс (р. 1909) — философ, заслуженный деятель культуры Литовской ССР.

Межелайтис Эдуардас (р. 1919) — поэт, лауреат Ленинской премии (сб. «Человек» и др.).

Мицельмахерис Викторас (р. 1904) — участник революционного движения, заслуженный врач Литовской ССР.

Мацияускас Йонас (р. 1900) — участник революционного движения, генерал-майор, политработник Советской Армии.

Балтушис-Жемайтис Феликсас (1897—1957) — участник революционного движения, военный специалист.

Бaужа Александрас (р. 1908) — писатель, советский работник.

Петрила Данелюс (р. 1908) — участник революционного движения, советский работник.

Любецкис Миколас (р. 1919) — советский журналист.

Черняускас Тадас (р. 1917) — литератор, советский работник.

Крищюнас Йонас (р. 1888) — ученый растениевод и пчеловод, академик.

Беляускас Феликсас (р. 1914) — участник революционного движения, партийный и культурный работник.

Вайшнорас Юозас (р. 1911) — в 1940—1945 гг. нарком финансов Литовской ССР, переводчик.

Лауринайтис Йонас (р. 1900) — агроном, один из ведущих советских работников Литовской ССР.

Грегораускас Мариёнас (р. 1908) — экономист.

Юшкявичюсы Йонас (1815—1886) и Антанас (1819—1880) — фольклористы, языковеды, издавшие крупные сборники литовских народных песен.

Вальсюнене Валерия (1907—1955) — советская поэтесса.

Тауткайте Эугения (1899—1960) — деятель революционного движения, литератор.

Менчинскас Матас (1896—1942) — выдающийся скульптор.

Грибас Винцас (1890—1941) — выдающийся скульптор, расстрелянный буржуазными националистами в начале гитлеровской оккупации.

Диджёкас Владас (1889—1942) — известный художник.

Самуолис Антанас (1899—1942) — художник-живописец.

Эйдукявичюс Владас (1891—1941) — выдающийся живописец.

Ластас Адомас (1887—1961) — поэт-символист, вошел и в советскую литовскую литературу.

Мозурюнас Владас (1922—1964) — советский поэт.

Лепснонис Альпас (Куканка, р. 1910) — советский журналист, литератор.

Стимбурис Юозас (1889—1975) — участник революционного движения в буржуазной Литве, видный советский работник.

Брауэрис Исакас (1905—1970) — деятель революционного движения.

Янушкявичюс Зигмас (р. 1911) — ученый-кардиолог, академик.

Карвялис Владас (р. 1902) — генерал-майор, в 1943—1944 гг. командовал Литовской дивизией.

Жибуркус Йонас (р. 1901) — генерал-майор артиллерии, участник Великой Отечественной войны.

Петронис Пранас (р. 1910) — офицер буржуазной армии, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии.

Донелайтис Кристионас (1714—1780) — великий поэт, основоположник литовской художественной литературы (поэма «Времена года»).

Страздялис Антанас (1763—1833) — поэт.

Пошка Дионизас (1757—1830) — писатель, деятель культуры, этнограф (поэма «Мужик Жемайтии и Литвы»).

Мельникайте Марите (1923—1943) — партизанка, Герой Советского Союза.

Валанчюс Мотеюс (1801—1871) — первый литовский прозаик, епископ.

Видунас (Вильгельмас Сторосга, 1868—1953) — крупный писатель (трагедия «Мировой пожар» и др.), философ, умер в ФРГ.

Якштас Адомас (1860—1938) — католический деятель, поэт, литературный критик.

Сабаляускайте Гене (р. 1923) — народная артистка СССР, балерина.

Баранаускас Балис (р. 1902) — участник революционного движения, деятель культуры.

Каросас Йонас (1912—1974) — участник революционного движения, журналист.

Нюнка Владас (р. 1907) — участник революционного движения, партийный работник, экономист, в 1949—1961 гг. секретарь ЦК КП Литвы, позже — член-корреспондент АН Литовской ССР.

Булака Мечис (р. 1907) — советский график и декоратор.

Булота Андрюс (1872—1941) — общественный деятель.

Белюкас Казимерас (р. 1901) — географ, академик.

Книва Валерионас (1909—1941) — общественный деятель, в 1940—1941 гг. нарком коммунального хозяйства Литвы, убит гитлеровцами.

Венуолис Антанас (Жукаускас Антанас, 1882—1957) — народный писатель Литовской ССР, классик литовской прозы (роман «Усадьба Пуоджюнасов», сборник «Кавказские легенды» и др.).

Вайрас-Рачкаускас Каролис (1882—1970) — литератор-переводчик.

Шлюпас Йонас (1861—1944) — крупный деятель эпохи национального движения, один из первых литовских атеистов.

Петраускас Микас (1873—1937) — композитор, прогрессивный общественный деятель.

Дембскис Владисловас (1831—1913) — общественный деятель, повстанец 1863 г., конец жизни провел в США, где вел атеистическую работу.

Мажилис Пранас (1885—1966) — врач-гинеколог, академик.

Юргинис Юозас (р. 1909) — советский историк, академик.

Рукас Антанас (р. 1907—1967) — актер, поэт, умер в США.

Кубертавичюте Даля — бывшая драматическая актриса, живет в США.

Шкема Антанас (1911—1961) — актер и писатель, погиб в США.

Гедрайтис Меркелис (1536—1609) — епископ, издатель книг на литовском языке.

Колупайла Стяпонас (1892—1964) — профессор-гидролог, умер в США.

Кайрис Стяпонас (1879—1964) — инженер, политический деятель, публицист, социал-демократ, впоследствии реакционер, умер в США.

Биржишка Миколас (1882—1962) — литературовед, реакционный политический деятель, умер в США.

Жакявичюс Стасис — научный работник, сотрудник гитлеровских оккупантов, живет в США.

Хургинас Алексис (р. 1912) — поэт, переводчик.

Радаускас Генрикас (1910—1970) — поэт, умер в США.

Повилайтис Пранас (1900—1958) — переводчик.

Пуренас Антанас (1881—1962) — химик, академик.

Матулис Юозас (р. 1899) — химик, академик, с 1946 г. Президент Академии наук Литовской ССР.

Вайчюнас Пятрас (1890—1959) — поэт-символист, драматург.

Якубенас Казис (1908—1950) — поэт-антифашист.

Пуйда Казис (1883—1945) — драматург, переводчик.

Бучас Бернардас (р. 1903) — советский скульптор.

Грайчюнас Йонас (р. 1903) — поэт, переводчик.

Катилюс Викторас (р. 1910) — писатель.

Янкаускас Казис (р. 1906) — писатель.

Вабалас-Гудайтис Йонас (1881—1955) — профессор, психолог и педагог.

Грибаускас Казимерас (1886—1953) — ботаник.

Скабейка Лявонас (1903—1936) — поэт-символист, антифашист (посмертный сборник «Площади в полночь»).

Янулайтис Аугустинас (1878—1950) — видный историк, юрист.

Миронас Ричардас (р. 1908) — лингвист, санскритолог.

Лукшене Мейле (р. 1913) — литературовед.

Маргирис (XIV в.) — князь Пиленайский, в 1336 г., во время осады замка крестоносцами, сжег себя на костре.

Яблонскис Йонас (1860—1930) — виднейший языковед, педагог.

Вайчайтис Пранас (1876—1901) — поэт эпохи национально-освободительного движения.

Биржишка Вацловас (1884—1956) — известный библиограф, умер в США.

Биржишка Викторас (1886—1964) — инженер-технолог, математик, умер в США.

Качинскас Генрикас (р. 1903) — актер, живет в США.

Круминас Юозас (1904—1951) — поэт, умер в ФРГ.

Йонинас-Витаутас Казимерас (р. 1907) — выдающийся график, иллюстратор книг, живет в США.

Салис Антанас (р. 1902) — филолог, живет в США.

Визгирда Викторас (р. 1904) — художник, живет в США. Выставка его картин в 1967 г. была организована в Вильнюсе.

Ремерис Миколас (1880—1945) — профессор-юрист.

Миндаугас (ум. 1263) — в 1236—1263 гг. великий князь Литовский.

Шемерис-Шмераускас Салис (р. 1898) — поэт-футурист.

Йоварас (Йонас Крикщюнас, 1880—1967) — народный поэт Литовской ССР.

Кайрюкштис Йонас (1896—1957) — врач, академик.

Чюрлёните-Каружене Валерия (р. 1896) — деятель культуры.

СОДЕРЖАНИЕ

Антанас Томасович

Венцлова

БУРЯ В ПОЛДЕНЬ

М., «Советский писатель», 1978, 464 стр.
План выпуска 1978 г. № 277.

Художник *П. В. Лантух*
Редактор *М. Х. Парунакян*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *Л. П. Полякова*
Корректор *Л. И. Жиронкина*

ИБ № 1230

Сдано в набор 25.08.77. Подписано к печати 26.12.77. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 25,05. Тираж 100 000 экз. Заказ № 845. Цена 1 р. 90 к. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

